



А. ПЛАТОВ  
СЕКРЕТНЫЙ  
ФАРВАТЕР

## Annotation

В романе «Секретный фарватер» рассказывается о мужестве и героизме моряков-балтийцев в годы Великой Отечественной войны, о разгадке ими тайны немецкой подводной лодки «Летучий Голландец».

---

- [Леонид Платов](#)
  - [ВСТУПЛЕНИЕ](#)
    - [1. Вводная лекция по кораблевождению](#)
    - [2. Легенда о Летучем Голландце](#)
    - [3. «Списан за гибелью в Варангер-фьорде...»](#)
    - [4. Магический круг](#)
  - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [1. Спор о счастье](#)
      - [2. Особо ценный груз](#)
      - [3. Семьдесят три пробоины](#)
      - [4. Берег Обманный](#)
      - [5. Игра в пятнашки](#)
      - [6. На положении «ни гугу»](#)
      - [7. Поправка к лоции](#)
    - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
      - [1. Побывка в Ленинграде](#)
      - [2. Холод Балтики](#)
      - [3. На борту «Летучего Голландца»](#)
      - [4. Ужин с оборотнями](#)
      - [5. Особые приметы](#)
      - [6. Золотой вихрь](#)
    - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
      - [1. Шубин атакует](#)
      - [2. «Нельзя, не хочу, не скажу!»](#)
      - [3. Английский никель](#)
      - [4. Смерть перед рассветом](#)
      - [5. Камни Ристна](#)
      - [6. Клеймо «СКФ»](#)
    - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
      - [1. Один из гвоздей](#)

- [2. Пулеметчики и рыба пирайя](#)
    - [3. «Ю энд ай...»](#)
    - [4. Перехваченный гонец](#)
    - [5. По вызову: «Ауфвидерзеен»...](#)
    - [6. Штурм Пиллау](#)
  - [КНИГА ВТОРАЯ](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [1. Орден вдов](#)
      - [2. Правда сильнее бомб](#)
      - [3. Виктория в Балтийске](#)
      - [4. Письмо, не доставленное по адресу](#)
      - [5. «Их леве, Лоттхен!»](#)
      - [6. Каюта-люкс](#)
    - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
      - [1. Прокладка курса](#)
      - [2. Тема великого города](#)
      - [3. «Там леший бродит...»](#)
      - [4. Хозяин шхер](#)
      - [5. Шорохи и тени](#)
      - [6. Почерк Цвишена](#)
      - [7. Засада на острове Змеиный](#)
    - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
      - [1. На пороге Винеты](#)
      - [2. Встречный поиск](#)
      - [3. Донос из могилы](#)
      - [4. Донос из могилы](#)
      - [5. Старое секретное оружие](#)
  - [От автора](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)

- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Леонид Платов**  
**СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР**

*На море, кроме штормов и мелей, надо опасаться  
еще Летучего Голландца...*

*Оле Олафсон, бывший коронный лоцман.*

# **ВСТУПЛЕНИЕ ГРИБОВ**

## 1. Вводная лекция по кораблевождению

Он возобновил в этом году чтение лекций в Ленинграде.

С рассчитанной медлительностью раскладывая свои заметки на столе — тем временем стихали шелест тетрадей, приглушенный шепот, скрип стульев, — Грибов поймал себя на странном ощущении. Показалось, что не произошло, не изменилось ничего, что все еще предвоенный, 1940 год — те же стены вокруг, тот же привычный пейзаж за окном: гранит, Нева, туман над Невой.

Это было, конечно, не так.

Шел 1947 год — второй послевоенный.

И стены вокруг были уже не те. На фасаде военно-морского училища даже не успели закрасить надпись, которая предупреждала, что эта сторона улицы наиболее опасна во время артиллерийского обстрела.

Но главное — люди в училище другие.

Среди курсантов и слушателей насчитывается немало бывших фронтовиков. В 1941 году они ушли с первого курса в морскую пехоту — прямо в окопы под Ленинградом, некоторые заслужили там офицерские погоны и вот — после победы — вернулись доучиваться.

Грибов с интересом вглядывается в лица сидящих перед ним молодых людей. На фронте кое-кто отпустил усы, как положено ветеранам. Но есть и юноши среди двадцатипятилетних усачей. Вот того румяного, загорелого лица наверняка не касалась бритва. Курсанту лет восемнадцать, не больше. Между тем на его аккуратно разутюженной фланелевке висит медаль Ушакова. Значит, воевал, и воевал хорошо!

Втайне Грибов испытывает волнение, почти робость, точно это первая его лекция в жизни, профессорский дебют.

С чего начать курс? Как с первых же слов овладеть вниманием людей, которых в течение долгих лет учила, воспитывала война?

И курсанты испытующе посматривают на своего Грибова. За годы войны он похудел, но держится, в общем, так же подтянуто и прямо, подчеркнуто бесстрастно, как держался всегда. Ради сегодняшнего торжественного случая, видимо, больше обычного занимался своей внешностью: серебристый ежик на голове тщательно подстрижен, в ботинки можно глядеться, как в зеркало, погоны и нарукавные знаки внушительно отливают золотом. Грибов верен себе. Грибов традиционен...

Знает ли он, что традиционен? Вряд ли. То-то удивился бы, если бы



ему шепнули на ухо, что аудитории известны не только первые, вступительные слова его лекции, но даже жест, которым они будут сопровождаться!

Начиная курс кораблевождения, принято давать лишь самые общие понятия о метеорологии, океанографии, навигационной прокладке, мореходной астрономии. Вскользь упоминается и «плавание при особых обстоятельствах», то есть во льдах, в узкостях и шхерах.

Однако Грибов считал более педагогичным чуточку забежать вперед. В нарушение общепринятых правил позволял себе привести в вводной лекции какой-нибудь необычный случай из собственной своей богатой штурманской практики. «Хочу раззадорить молодое воображение», — пояснял он коллегам.

Но необычное с годами делается обычным. Так и навигационные «головоломки» Грибова стали в конце концов училищной традицией, даже удостоились включения в «фольклор», в изустные предания, которые с улыбкой передаются из поколения в поколение, от старшекурсников новичкам.

Заранее известно, что профессор округлым движением поправит манжеты со старомодными запонками, кашляет. Затем возможны были варианты.

Он мог вспомнить ночь на Черном море, когда, находясь на вахте, вдруг увидел по курсу медленно приближавшийся ряд огней. Спустя минуту или две он явственно услышал лай собак и кукареканье петухов.

Берег? Неужели ведет корабль прямо на берег?

В холодном поту молодой штурман кинулся к прокладке. Все было правильно! До берега оставалось семь миль. Но огни делались ярче, петухи заливались громче.

Лишь приблизившись к огням, Грибов понял, что перед ним не деревня на берегу, а караван барж.

Готовясь к путине, местные рыбаки переправлялись на Тендрскую косу — по обыкновению, со всем своим домашним скарбом и живностью...

Впрочем, профессор мог начать лекцию иначе: с вопроса.

— Назовите-ка самый длинный в мире пароход! — требовал он.

Курсанты принимались наперебой щеголять своей осведомленностью: «Титаник», «Куин Мэри», «Нормандия».

Грибов отрицательно качал головой. Хор голосов недоуменно смолкал.

— Обыкновенный грузовой пароход «Харьков», — невозмутимо объявлял профессор. — В течение месяца корма его находилась в

Николаеве, а нос — неподалеку от Стамбула.

Грибов не улыбается, только в глазах его прыгают веселые искорки. Выдержав паузу, он с удовольствием поясняет, что у входа в Босфор есть бухта, именуемая Ложным Босфором, — столь сходны очертания их берегов. Однажды, в плохую видимость, капитан парохода «Харьков» принял Ложный Босфор за настоящий и, войдя в узкость, посадил судно на камни. А трюмы были доверху набиты мешками с горохом. Тот размок в воде, набух и разорвал судно пополам. Пришлось сначала отбуксировать в док его корму, а потом уж и нос, чтобы снова склепать их вместе. Грибов присутствовал при этой удивительной отбуксировке.

Итак?..

Округлым движением профессор поправил манжеты, кашлянул. Карандаши с готовностью поднялись и в ожидании повисли в воздухе. Но ни один из традиционных примеров не был приведен.

— Вот шхеры! — Профессор повернулся к карте Финского залива, висевшей на стене. — Всмотритесь в них внимательно, товарищи слушатели и курсанты!..

Северная часть залива как бы украшена на карте бахромой или кружевами. Таков тамошний берег. Он состоит из бесчисленных мысов, перешейков, заливов, протоков и островов, окруженных опасными подводными и надводными камнями, которые называются в тех местах «ведьмами».

Это и есть шхеры.

Возникли они в результате торжественно-медленного прохождения древних ледников. Когда-то грозные ледяные валы с грохотом прокатились здесь, вздымая водяную пыль до небес, гоня перед собой множество камней и обломков скал. Прорубив северный берег залива, ледники спустились к югу и растаяли там. А шхеры — след от гигантской борозы — остались.

— Писатель, наверно, заметил бы, что природные условия сами по себе обостряют сюжет, — сказал Грибов. — Не берусь судить, я не писатель. Но в шхерах под конец войны имел место случай, который, по моему, следовало бы включить если не в курс кораблевождения, то хотя бы в роман.

Указка прочертила быстрый зигзаг над картой.

— Так ходят в шхерах. Это лабиринт, и запутанный. То и дело приходится пользоваться помощью створных знаков, особых ориентиров на

берегу. Их механизм чувствителен, как часы. Но одному нашему военному моряку, который забрался внутрь «часов», удалось их разладить. Он заставил служить себе створные знаки в шхерах. Моряка звали Шубин. Он был одним из моих учеников и незадолго перед войной закончил наше училище. Фамилия его уже принадлежит истории. Профессор мельком оглянул аудиторию. Пример забрал за живое! Слушают не дыша. А курсант с медалью Ушакова, подавшись вперед, даже в нетерпении приоткрыл рот.

— Этот район шхер был в руках врага, — продолжал Грибов. — Шубин вошел сюда ночью. Катер его был подбит, торпеды израсходованы. Но, сражаясь в необычных условиях, нашим с вами особым, «штурманским», оружием, он все же сумел посадить на камни немецкий корабль...

— Не просто корабль! Подводную лодку!

По аудитории прокатился шорох негодования. Это еще что за подсказка? Прервать профессора во время его лекции! Неслыханно! Черт знает что!

Опустив голову, курсант с медалью поднялся с места. Был он высокий, по-юношески угловатый и нескладный.

— Прошу извинить, товарищ капитан первого ранга!

— Но вы совершенно правы, — учтиво сказал Грибов, с интересом вглядываясь в пылающее от смущения простодушное лицо. — Я, конечно, оговорился, Шубин посадил на камни подводную лодку, которая двигалась в надводном положении.

Он помолчал, ожидая, не скажет ли курсант еще чего-нибудь. Но юноша сел и сконфуженно уткнулся в свои тетрадки.

Возмущенное перешептывание стихло. И вводная лекция продолжалась без реплик и пауз, пока в коридоре не прозвенел звонок.

Коридоры в военно-морском училище представляют собой лабиринт, подобный шхерам.

Если идти к выходу от кафедры кораблевождения, то первый отрезок зигзага — это коридор Героев. Стены его увешаны портретами Героев Советского Союза, когда-то учившихся в военно-морском училище. Их много. Катерники, подводники, минеры, они неустанно утверждали и умножали славу своего училища на всех флотах и флотилиях.

Коридор Героев разделяется на две части круглым компасным залом, в нишах которого стоят бюсты великих астрономов и мореплавателей: Коперника, Галилея, Колумба и Магеллана, а на полу нарисована картушка

компаса, подобие огромной звезды с торчащими в стороны острыми углами румбов.

Только адмиралам разрешается пересекать этот звездообразный круг. Но и адмиралы обходят его по узкой закраине — из уважения к компасу.

Грибов свернул затем в Адмиральский коридор — вторую портретную галерею. Со стен строго смотрели Ушаков, Нахимов, Бутаков, Можайский, Даль, Станюкович, Верещагин, Римский-Корсаков — бывшие воспитанники морского корпуса, преобразованного после революции в военно-морское училище. Некоторые из них не носили черных адмиральских орлов на погонах, зато прославились в литературе, живописи и музыке. Курсанты гордятся разносторонностью своих знаменитых предшественников.

В Адмиральском коридоре профессору встретился давешний курсант с медалью. Он вытянул руки по швам, резким рывком повернул голову, а Грибов с подчеркнутой вежливостью поднес кончики пальцев к козырьку фуражки — терпеть не мог небрежно отмахиваться ладонью, как делают порой некоторые офицеры.

Выражение наивного юного лица заставило его замедлить шаг. Курсант как будто хотел обратиться к профессору. Но, видимо, не решился, оробел.

Это было жаль. Грибов спросил бы его, откуда он знает, что Шубин посадил на камни подводную лодку.

Впрочем, будет еще, конечно, время спросить об этом.

Не спеша профессор спустился по лестнице. Поднес руку к козырьку фуражки, отдавая честь училищному знамени, подле которого стоял часовой с винтовкой.

И вот — набережная. У стенки покачиваются корабли. Пасмурно. Осень...

С неохотой покидал Грибов здание, где все так похоже на военный корабль, а под старыми сводами бодро и жизнерадостно звучат молодые голоса.

Дома была тишина. И она пугала.

Стены новой грибовской квартиры были очень толстые, старинной кладки. Шум почти не проникал сюда из других квартир. Раньше профессор был бы доволен этим. Но после войны тишина разонравилась. Пожалуй, он с удовольствием услышал бы из кабинета беззаботный смех, шарканье танцующих ног, пробежку неуверенных детских пальчиков по

клавишам рояля. Но немо, тихо было за стеной.

А сегодня в особенности не хотелось тишины. Когда-то день этот отмечали дома как маленький праздник. Папа начал новый учебный год! Он прочел вводную лекцию по кораблевождению!

Вечером собирались на старой квартире гости: несколько профессоров с женами, подруги дочери и два-три курсанта — из числа наиболее одаренных, которых Грибов предполагал оставить при кафедре.

Дочь была пианисткой-консерваторкой. Но она со смехом объявляла, что сегодня только танцует. И за рояль, при всеобщих одобрительных возгласах и даже рукоплесканиях, усаживали самого Грибова. Тапер он был не очень искусный, но старательный.

Последний раз отмечали этот день осенью 1940 года...

Профессор устало присел к столу. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, вытащил из кармана толстую записную книжку, заботливо перетянутую резиночкой. Сюда год от года заносил фамилии своих учеников, которые вышли в офицеры флота.

Никто не подвел своего профессора. Многие из бывших курсантов удостоились звания Героя Советского Союза, некоторые дослужились до адмиральского чина и во время войны командовали флотами и флотилиями.

Опустив книжку на колени, профессор откинулся в кресле и принялся представлять себе бывших учеников.

Рышков? Ну как же! Кудрявый, импульсивный, на редкость способный. Но не было у него, к сожалению, усидчивости, терпения. Все брал с лету, все давалось легко. «А я хочу, чтобы вы не только получали отличные отметки, — сказал как-то Грибов, — но и характер свой изменили!»

Все на курсе считали, что профессор «придирается» к Рышкову. Не считал этого лишь сам Рышков. Сейчас он адмирал, занимает большой пост в отделе разведки флота. При встречах, пожимая руку, улыбается: «Спасибо, профессор, за то, что были такой строгий!»

Донченко?.. А, тот с ленцой! Три раза подряд пришлось «провалить» его, пока, рассердившись, будущий знаменитый подводник не взял себя за шиворот, не посадил за учебники и не сдал экзамен с подлинным блеском. В 1942 году прославился поединком с немецким подводным асом в Варангер-фьорде. Вступил с немцем в бой и потопил его.

И Донченко и Рышков выдвинулись во время войны, пошли вперед, и очень ходко. Только один Шубин, бедный... А ведь был прирожденный военный моряк! Ясная голова и отважное сердце!..

Как живой, поднялся он со страниц записной книжки, выпрямившись

перед своим профессором, развернув широкие плечи. Невысокий. Плотный. В лихо сдвинутой набок фуражке с тупым нахимовским козырьком. Щуря и без того узкие, очень веселые глаза, чуть улыбаясь длинным, твердых очертаний ртом.

Что бы сейчас прозвенеть звонку у двери и Шубину появиться на пороге! Он бы вошел, размашисто шагая, держа фуражку, как положено, на сгибе левой руки, — был службист, отличный знаток устава. «Здравия желаю, Николай Дмитриевич! — сказал бы он, сдерживая из вежливости раскаты своего громкого, „командирского“ голоса. — Позвольте поздравить с возвращением в наш родной, выдержавший осаду Ленинград!..»

И вдруг — звонок у двери!

Не веря себе, Грибов бросился открывать. На пороге стоял давешний курсант.

Он молодцевато козырнул, не сгибая ладони и высоко подняв локоть. Затем последовала серия обращений, положенных по военно-морскому этикету:

— Разрешите войти... Разрешите представиться...

Но, переступая порог, курсант споткнулся и фамилию свою произнес неразборчиво. Грибов догадался, что гость очень волнуется.

— Виноват, — сказал он, любезно провожая его к вешалке. — Неясно расслышал фамилию.

— Ластиков, — повторил курсант. — Ластиков Александр, товарищ капитан первого ранга.

— Ага! — пробормотал Грибов, по-прежнему ничего не понимая.

Он пропустил гостя впереди себя, усадил в кресло. Затем, готовясь слушать, начал вытаскивать из карманов и методично раскладывать на столе трубку, зажигалку, автоматическую ручку, блокнот. Так делал всегда на экзаменах — давал время курсанту успокоиться, привыкнуть к новой обстановке, собраться с мыслями.

— Извините, что я вас беспокоил, — неуверенно начал гость. — Но, прослушав лекцию вашу...

— Неужели не понравилась? — пошутил Грибов.

— Что вы! Очень понравилась!.. Особенно когда вспомнили про гвардии капитан-лейтенанта.

— Шубина?

— Да. Он мой командир!

Курсант сказал это, чуть вскинув голову.

С новым, обостренным интересом Грибов всмотрелся в своего гостя. Перед ним сидел юноша, медлительный, чуть ли не флегматичный. Даже сейчас, в минуту волнения, лицо его с крупными, не совсем еще оформившимися чертами оставалось сосредоточенным и немного печальным. Светлые волосы были острижены под машинку.

Грибов перевел взгляд с лица на руки. Гость напряженно сжимал их, сам того не замечая. Были они шершавые, красные, словно бы обожженные.

— Я знаю, кто вы! — удивленно сказал Грибов. — Вы тот юнга, который зажал перебитый трубопровод, чтобы катер Шубина не сбавил ход!

Курсант смутился и обрадовался:

— А откуда вы знаете об этом?

— Была маленькая заметка в газете без упоминания фамилии.

— Но я только помог мотористу, — честно пояснил курсант. — Его гораздо сильнее обожгло. Еле выскочили тогда из шхер. Ну, думаем, все! Ключет нас жареный петух в темечко. Однако выскочили... В первый раз встретились с Летучим Голландцем, — многозначительно добавил он.

— С кем, с кем?!

— С Голландцем Летучим. Есть такая байка матросская, вы, наверное, слышали?

— Байка? То есть сказка, легенда, хотите сказать?

— Ну, легенда... Я-то, конечно, только в шхерах о ней услышал. Когда подлодка всплыла, командир ее и скажи: «Мой „Летучий Голландец“ стоит трех танковых армий». А второй офицер тут же сподхалимничал. «О да! — говорит. — Где появляется Гергардт фон Цвишен, там война получает новый толчок!» Вроде бы представились нам... Разве не рассказывал гвардии капитан-лейтенант?

Грибов покачал головой.

— После начала войны мы уже не виделись с ним. В Ленинград я вернулся только в этом году. А он еще в сорок пятом на Южной Балтике... В апреле, кажется?

— Двадцать пятого апреля, товарищ капитан первого ранга. За несколько дней до победы.

Грибов с сердцем передвинул зажигалку и блокнот на столе.

— Ни одного поражения не знал, — пробормотал Ластиков. — Все в жизни ему удавалось, все!..

— Да. Шутка в духе мадам Судьбы. По-бабьи неумно и зло.

Курсант вдруг закашлялся. Грибов знал этот трудный кашель, этот

мучительный спазм, который вдруг перехватывает горло и похож на сдерживаемое мужское рыдание. Но юноша пересилил себя.

Минуту или две профессор и курсант сидели так — молча и неподвижно, глаза в глаза. Подобное короткое молчание — над чьей-то дорогой могилой — сближает лучше самых хороших и правильных слов.

— Ну, ну! — Профессор первый отвел взгляд. Когда опять поднял глаза, курсант был уже спокоен.

— Цвишен, Цвишен! — в раздумье повторил Грибов. — Позвольте! Припоминаю: был такой командир подводной лодки! Но его, к вашему сведению, потопил Донченко, тоже мой ученик. Еще в 1942 году.

— Значит, не потопил! — Курсант упрямо мотнул головой. — Гвардии капитан-лейтенант этого Цвишена через всю Балтику гнал: от Ленинграда до Кенигсберга! У банки Подлой мы его, можно сказать, в полный рост на всплытии видели. Однако опять не дался. Не такой он примитивный, чтобы, даже со второго раза, дать себя потопить.

— Со второго раза, вот как? Был, значит, и второй раз?

— Это не считая того, — педантично уточнил курсант, — что гвардии капитан-лейтенант лично побывал на борту «Летучего Голландца».

Грибов в изумлении откинулся на спинку стула:

— Даже на борту?.. В официальных документах этого нет.

— Врачи поднапортили, товарищ капитан первого ранга. Когда гвардии капитан-лейтенант лежал в госпитале, признали у него сотрясение мозга. Что ни скажет, отвечают: «Брому ему дать, валерьянки!» Он о «Летучем Голландце» начинает докладывать, а врачи: «Успокойтесь, больной! Думайте о чем-нибудь другом!» Подошли к вопросу со своей узкоформальной медицинской точки зрения.

Грибов невольно усмехнулся. Все больше нравился ему этот юноша, который сидел перед ним выпрямившись, с силой сцепив пальцы. Как ни волновался, но докладывал о событиях неторопливо, рассудительно, только немного вразброс.

Некоторое время профессор молча смотрел на своего гостя. Потом снял трубку телефона и набрал номер:

— Товарищ Донченко? Здравствуйтесь. Грибов. Хотелось бы поговорить об одном эпизоде войны... Да, угадали! О вашей встрече с этим Цвишеном. Нет, истории пока не пишу. Просто заинтересовался по ряду причин. В будущее воскресенье удобно вам?.. Часов в девятнадцать? Очень хорошо. Жду.

Грибов повесил трубку на рычаг и повернулся к курсанту:

— Понятно, вы тоже приглашены.



Он придвинул к себе блокнот, медленно отвинтил крышку автоматической ручки.

— Ну-с, а теперь попрошу со всеми подробностями и, главное, в хронологическом порядке. Стало быть, встретились с «Летучим Голландцем» впервые весной тысяча девятьсот сорок четвертого?

— Так точно.

— Что ж, Донченко будет очень огорчен, узнав об этом в будущее воскресенье...

## 2. Легенда о Летучем Голландце

Будущее воскресенье! Ластиков едва дождался этого воскресенья. Нетерпение его было так велико, что он явился к Грибову минут за сорок до назначенного срока.

Отогнув штору у окна, Грибов смотрел, как курсант торопливо переходит улицу. Под дождем, однако не горбясь и не поднимая воротник!

Грибов одобрительно кивнул. Шубинская выучка! Деталь, но характерная!..

— В прошлое ваше посещение, — сказал он, заботливо усаживая гостя в кресло, — я, наверное, замучил вас расспросами... Не возражайте! Я знаю себя, я очень дотошный. Зато сегодня вам придется только слушать. Кроме того, дам прочесть кое-что. До прихода Донченко успеете это сделать. Но позвольте еще вопрос: знаете ли вы, что такое легенда?

Курсант удивился. А что тут знать или не знать? Впрочем, из осторожности он промолчал, понимая, что в вопросе подвох.

Грибов снял с полки энциклопедический словарь и перелистал его.

— «Легенда» — латинское слово, — прочел он вслух. — В первоначальном своем смысле означало нечто достойное прочтения». — Через плечо он строго посмотрел на курсанта: — Достойное прочтения! А как считаете: достойна ли прочтения легенда о Летучем Голландце, или байка, как вы ее неуважительно назвали?

— Я не знаю, — пробормотал Ластиков тоном ученика, не выучившего урока.

— Разумеется, вы не знаете и не можете знать. — Профессор неожиданно смягчился. — Вы моряк новой, советской формации. Но многие поколения моряков — и мое в том числе — находились под мрачным обаянием этой легенды. Несколько писателей обработали ее — каждый по-своему. Гейне, например, представил Летучего Голландца в романтических и привлекательных тонах. Гейневский вариант лег затем в основу оперы Вагнера. Слышали ее?

— Нет, — признался курсант.

— Совсем по-другому излагал легенду старик Олафсон. В тысяча девятьсот тринадцатом году он проводил норвежскими шхерами посыльное судно «Муром», на котором я служил штурманом. Тогда не было еще Беломорско-Балтийского канала. Из Ленинграда в Архангельск добирались, оглябая всю Скандинавию. Я бы сказал, что Олафсон излагал события со

своей профессиональной, лоцманской точки зрения, хоть и очень эмоционально. Уж он-то, в отличие от Гейне, не давал спуску этому Голландцу, потому что тот испокон веку был заклятым врагом моряков. Вернувшись из плавания, я записал олафсоновский вариант. Признаюсь, подумывал о публикации — у нас почти не занимаются матросским фольклором, — но тут началась первая мировая война, потом революция. Не до фольклора было. Да и робел отчасти, как всякий начинающий литератор. Только перед этой войной решил послать свое маранье в один журнал. А ответили недавно: «Рукопись, мол, интереса не представляет, сюжет слишком архаичен». Так ли это? Многое, по-моему, покажется вам злободневным.

Профессор нагнулся над ящиком письменного стола. А Ластиков, пользуясь случаем, огляделся по сторонам.

В первое свое посещение он не смог рассмотреть кабинет как следует — слишком волновался. Сейчас испытывал чувства благоговения и восторга. Он — в кабинете Грибова! Не многие курсанты удостаивались такой чести! Все чрезвычайно нравилось ему здесь, даже запах кожи, исходивший от широких низких кресел, какие обычно стоят в кают-компании. Пахло, кроме того, книгами и крепким трубочным табаком.

Ластиков ожидал увидеть вокруг редкости, которые привозят с собой домой знаменитые путешественники. На стене полагалось бы висеть изогнутому малайскому или индонезийскому ножу, — кажется, его называют крис? А под часами должен был бы сидеть раскорякой толстый деревянный, загадочно улыбающийся идол откуда-то из Африки или Азии.

Так, по крайней мере, рассказывали о кабинете Грибова.

Но ничего подобного не было здесь. Прежде всего обращал на себя внимание стол. Он был очень большой, и на нем царил образцовый порядок. Все предметы были расставлены и разложены строго симметрично. Остро отточенные карандаши в полной готовности торчали из узкого стаканчика.

Тускло мерцал анероид, а на стене, против письменного стола, висела карта обоих полушарий.

Без карты и анероида Грибов, конечно, никак не смог бы обойтись!

От старшекурсников Ластиков знал, что, окончив корпус лет сорок назад, Грибов удивил преподавателей и однокашников, выйдя в Сибирский флотский экипаж. «У сибиряков, — пояснял он, — под боком Великий океан, неподалеку Индийский, а учиться плавать надо, говорят, на глубоких местах».

Ему не пришлось жалеть о своем выборе. Перед начинающим

штурманом открылись перспективы такой разнообразной самостоятельной морской практики, о которой можно было только мечтать.

Неся дозорную службу и проводя гидрографические работы, Грибов исходил вдоль и поперек огромное водное пространство между Беринговым проливом, Мадагаскаром и Калифорнией. Впоследствии он побывал также в Атлантике и на Крайнем Севере.

Поискав в памяти нужный пример, он запросто говорит на лекции: «Как-то, определяясь по глубинам в Молуккском проливе», или: «Однажды, огибая мыс Доброй Надежды...»

Будто в гонг ударяют эти слова в восторженное юное сердце!..

Курсанты очень гордятся, что профессор их — один из старейших штурманов славного русского флота — не раз пересекал моря и океаны, плавал по «дуге большого круга». Поэтому ему прощается все: и то, что он невыносимо педантичен, и то, что отнюдь не отличается хорошим характером, и то, что беспощаден на экзаменах...

— Вот запись олафсоновского варианта!

Курсант обернулся. Профессор разглаживал на столе листки с машинописным текстом:

— Я, по возможности, старался сохранить живой разговорный язык. У Олафсона была одна особенность. О легендарном Летучем Голландце он говорил как о человеке, лично ему знакомом. «Тот моряк уцелеет, — повторял он, — кто до конца разгадает характер старика». Прием рассказчика? Наверное. Олафсон славился как рассказчик...

Грибов вручил курсанту свои записи и отошел к окну.

Дождь все моросил.

За спиной шелестели быстро перевертываемые страницы. Тикали часы.

...И вот в кабинет, вразвалку ступая, бесшумной тенью вошел Олафсон.

Он был в тяжелых резиновых сапогах и неизменном своем клеенчатом плаще, застегнутом на одну верхнюю пуговицу. Из-под козырька его лоцманской фуражки виднелись висячие усы и пунцовый нос.

Глаз видно не было. Быть может, они были закрыты? Ведь старый лоцман уже умер...

Старый! Грибову он казался старым еще в 1913 году. Между тем ему было тогда лет сорок с небольшим. Но есть люди, наружность которых почти не меняется с возрастом. Да и северная Атлантика неласкова к морякам. От ее ледяных ветров кожа на лице деревенеет, рано покрывается морщинами, похожими на трещины. А может, Грибов был слишком молод

тогда и каждый человек старше сорока казался ему уже стариком?

Грибову рассказывали, что шхерные лоцманы обычно держатся очень замкнуто, магами и кудесниками, ревниво оберегая свои маленькие тайны. Случалось, что, заглянув для отвода глаз в записную книжку, испещренную ему одному понятными знаками, лоцман отворачивал от курса только ради того, чтобы сбить с толку стоявших рядом с ним наблюдателей.

Олафсон был не таков.

Он имел постоянный контракт с русским военным министерством. Вдобавок на наших кораблях к нему относились приветливо и в изобилии снабжали рижским черным бальзамом, которым он лечился от ревматизма, профессиональной болезни лоцманов.

Теоретических знаний у Олафсона было немного. Он даже не любил прибегать к карте. Можно сказать, вел корабль не по карте, а по записной книжке. Зато обладал огромной памятью и наблюдательностью, знал наизусть все приметные знаки и глубины и умел правильно и быстро сопоставлять их с положением корабля.

Вечерами же, утвердившись на диване в кают-компании, лоцман принимался за свои морские истории.

Без конца мог рассказывать о кладбищах затонувших кораблей, о сокровищах, награбленных пиратами и погребенных на дне морском, о призраках, неслышной поступью пробегающих по волнам, о душах погибших моряков, которые царапаются по ночам в стекло иллюминатора, что предвещает несчастье.

При Олафсоне нельзя было плюнуть за борт, ибо это могло оскорбить морских духов. Однажды Грибов «накрыл» его в тот момент, когда он, стоя на баке, швырял в воду серебряные монеты — приманивал благоприятный ветер. В понедельник и пятницу — несчастливые дни — ни за что не вышел бы в море, какие бы премии ему ни сулили.

Олафсон был огорчен, узнав, что русский штурман скептически относится к этому.

— Вы еще молодой человек, — сказал он, с осуждением качая головой. — Очень, очень, слишком молодой! Вы любите, как это говорится, бравировать, рисковать. Напрасно!.. На суше я тоже не верю ни в черта, ни в его почтенную бабушку, но на море, признаюсь вам, дело обстоит иначе!

Оглянувшись на плотно задраенные иллюминаторы, он понизил голос почти до шепота:

— На море я верю в Летучего Голландца!..

Воображению Грибова представилась кают-компания на «Муроме».

Вечер.

От ударов волн ритмично раскачивается лампа под абажуром с бахромой. На зеленом угловом диване сидят офицеры, свободные от вахты, — все молодежь, совершающая свое первое плавание в заграничных водах.

Гильза от стреляного патрона заменяет пепельницу — так романтичнее! К концу вечера она доверху полна окурками.

Грибов обычно усаживался рядом с лоцманом, чтобы переводить для тех, кто не очень хорошо владел английским. (Олафсон рассказывал по-английски.).

Над ухом профессора снова зазвучал низкий, хрипловатый, с неторопливыми интонациями голос:

— На море, кроме штормов и мелей, надо опасаться еще Летучего Голландца...

Бывший коронный лоцман выжидает минуту или две — он из тех рассказчиков, которые знают себе цену. В кают-компании воцаряется почтительное молчание...

— Историю эту, очень старую, некоторые считают враньем, — так начинал Олафсон. — Другие готовы прозакладывать месячное жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды.

Итак, рассказывают, что однажды некий голландский капитан захотел обогнуть мыс Горн. Дело было поздней осенью, а всякий знает, что там в ту пору дуют непреоборимые злые ветры.

Голландец зарифливал паруса, менял галсы, но ветер, дувший в лоб, неизменно отбрасывал его назад.

Он был лихой и опытный моряк, однако величайший грешник, к тому же еще упрямый, как морской черт.

По этим приметам некоторые признают в нем капитана Ван-Страатена из Дельфта.

Иные, впрочем, горой стоят за его земляка, капитана Ван дер Декена.

Оба они жили лет триста назад, любили заглянуть на дно бутылки, а уж кощунствовали, говорят, так, что, услышав их, киты переворачивались кверху брюхом.

Вот, стало быть, этот Ван-Страатен, или Ван дер Декен, совсем взбесился, когда встречный ветер в пятый или шестой раз преградил ему путь. Он весь затрясся от злости, поднял кулаки над головой и прокричал навстречу буре такую чудовищную божбу, что тучи, не вытерпев, сплюнули в ответ дождем.

Мокрый от макушки до пят, потеряв треугольную шляпу, Голландец, однако, не унылся. Костями своей матери он поклялся хоть до Страшного Суда огибать мыс Горн, пока, наперекор буре, не обогнет его!

И что же? Голландец был тут же пойман на слове! Бог осудил его до скончания веков скитаться по морям и океанам, никогда не приставая к берегу! А если он все-таки пытался войти в гавань, то сразу же что-то выталкивало его оттуда, как плохо пригнанный клин из пробойны.

Господь бог наш, между нами будь сказано, тоже из упрямцев! Если ему втемяшится что-либо в голову, попробуй-ка — это и буксиром не вытащишь оттуда!

Вот, стало быть, так оно и идет с тех пор.

Четвертое столетие носится Летучий Голландец взад и вперед по морям. Ночью огни святого Эльма дрожат на топах его мачт, днем лучи солнца просвечивают между ребрами шпангоутов. Корабль — совсем дырявый от старости — давно бы затонул, но волшебная сила удерживает его на поверхности. И паруса всегда полны ветром, даже если на море штиль и другие корабли лежат в дрейфе.

Встреча с Летучим Голландцем неизменно предвещает кораблекрушение!

Пусть под килем у вас хоть тысяча футов и ни одной банки на сотни миль вокруг — камушки у Летучего всегда найдутся!

Еще бы! Нрав-то не улучшился у него за последние три с половиной столетия. Да и с чего бы ему улучшиться?..

Но, после того как господь бог наш придержал Голландца за полы кафтана у мыса Горн, старик уже не отваживается дерзить небесам. Теперь он срывает зло на своем же брате, на моряке.

Мертвый завидует нам, живым!

Мертвые завистливы, поверьте мне! А Летучему вдобавок до смерти надоела эта канитель. Который год, как неприкаянный, болтается он между небом и землей. Вот со зла и подстерегает моряков где-нибудь у камней.

Может попасться вам на глаза и в шторм и в штиль, вылезти под утро из тумана, появиться далеко на горизонте либо выскочить рядом, как выскакивает из воды поплавок от рыбачьих сетей.

Иной раз он показывается даже в солнечный день.

И это, говорят, страшнее всего!

Прямо по курсу замечают слабое радужное мерцание, как бы световой смерч. Он быстро приближается, уплотняется. Смотрите: это призрачный корабль, который в брызгах пены переваливается с волны на волну!

Тут, пожалуй, взгрустнется, а? Только что его не было здесь, и вот он

— на расстоянии окрика, виден весь от топа мачт до ватерлинии. Старинной конструкции корма и нос приподняты, с высокими надстройками, как полагалось в семнадцатом столетии, по бортам облупившиеся деревянные украшения. И на гафеле болтается флаг, изорванный до того, что невозможно определить его национальную принадлежность.

А что еще тут определять? Могильным холодом сразу потянуло с моря, словно бы айсберг поднялся из пучины вод!

Шкипер, остолбенев, смотрит на компас. Что это случилось с компасом?

Корабль меняет курс сам по себе! Но его не сносит течением, и в этом районе нет магнитных аномалий, а ветер спокойный, ровный бакштаг.

Это призрак, пристроившись впереди, повел следом за собой. Румб за румбом уводит корабль от рекомендованного курса.

По реям побежали матросы, убирая паруса! Боцман и с ним еще несколько человек сами, без приказания, бросились на помощь рулевому, облепили со всех сторон штурвал, быстро перехватывают спицы, тянут, толкают изо всех сил! Ноги скользят по мокрой палубе.

Нет! Не удержать корабль на курсе! Продолжается гибельный поворот!

И все быстрее сокращается расстояние между вами и вашим мателотом.<sup>[1]</sup>

Можно уже различить лица людей, стоящих на реях и вантах призрачного корабля. Но это не лица — черепа! Они скалятся из-под своих цветных головных повязок и сдвинутых набекрень маленьких треуголок. А на шканцах взад и вперед, как обезьяна в клетке, прыгает краснолицый капитан.

Полюбуйтесь на него, пока есть время!

Наружность Летучего Голландца описывают так. Будто бы просторный коричневый кафтан на нем, кортик болтается на поясе, шляпы нет, седые космы стоят над лысиной торчком.

Голос у него зычный, далеко разносится над морем. Слышно, как он подгоняет своих матросов, грозитя намотать их кишки на брашпиль, обзывает костлявыми лодырями и тухлой рыбьей снетью.

Поворот закончен.

Рулевой бросил штурвал, закрыл лицо руками. Впереди, за бушпритом, в паутине рей, увидел неотвратно приближающуюся белую полосу, фонтаны пены, которые вздымаются и опадают. Это прибой!

И будто лопнул невидимый буксирный трос. Видение корабля рассеивается, как пар. Летучий Голландец исчез. Слышен скрежещущий



удар днища о камни. И это последнее, что вы слышите в своей жизни...

Надо вам, пожалуй, рассказать еще о письмах.

Бывают, видите ли, счастливики, которым удастся встретить Летучего Голландца и целехонькими вернуться домой. Однако случается это редко — всего два или три раза в столетие.

Ночью на параллельном курсе возникает угловатый силуэт, причем так близко, что хоть выбрасывай за борт кранцы. Всех, кто стоит вахту, мгновенно пробирает озноб до костей.

Ошибиться невозможно! От черта разит серой, от Летучего тянет холодом, как из склепа.

Простуженный, хриплый голос окликает из тьмы:

— Эй, на судне! В какой порт следуете?

Шкипер отвечает, еле ворочая языком, готовясь к смерти. Но его лишь просят принять и передать корреспонденцию. Отказать нельзя: это закон морской вежливости.

На палубу плюхается брезентовый мешок. И сразу же угловатый силуэт отстает и пропадает во мгле.

Ну, сами понимаете, во время рейса команда бочком обходит мешок, словно бы тот набит раскаленными угольями из самой преисподней. Но там письма, только письма.

По прибытии в порт их вытаскивают из мешка, сортируют и, желая поскорее сбыть с рук, рассылают в разные города. Адреса, заметьте, написаны по старой орфографии, чернила выцвели!

Письма приходят с большим опозданием и не находят адресатов. Жены, невесты и матери моряков, обреченных за грехи своего сварливого упрямца-капитана скитаться по свету, давным-давно умерли, и даже след их могил потеряны.

Но письма приходят и приходят...

Частенько прикидываю я, друзья, что бы сделал, если бы знал магическое слово. Есть, видите ли, одно магическое слово, которое может преодолеть силу заклятья. Я слышал это от шкипера-финна. Ему можно верить, потому что с давних времен финны понимают толк в морском волшебстве.

Однако слова он тоже не знал.

А жаль! Сказал бы мне это слово, разве бы я продолжал служить лоцманом? Нет! Вышел бы в отставку, продал дом в Киркенесе — потому что я вдовец и бездетный — и купил бы или зафрахтовал, смотря по деньгам, небольшую парусно-моторную яхту. Груз на ней был бы легкий, но самый ценный, дороже золота или пряностей, — одно-единственное

магическое слово!

С этим словом я исходил бы моря и океаны, поджидал бы на морских перекрестках, заглядывал во все протоки и заливы. На это потратил бы остаток жизни, пока не встретился бы, наконец, с Летучим Голландцем.

Иногда, друзья, я воображаю эту встречу.

Где произойдет она: под тропиками или за Полярным кругом, в тесноте ли шхер или у какого-нибудь атолла на Тихом океане? Неважно. Но я произнесу магическое слово!

Оно заглушит визг и вой шторма, если будет бушевать шторм. Оно прозвучит и в безмолвии штиля, когда паруса беспомощно обвисают, а в верхушках мачт чуть слышно посвистывает ветер, идущий поверху.

В шторм либо в штиль голос мой гулко раздастся над морем!

И тогда сила волшебного слова, согласно предсказанию, раздвинет изнутри корабль Летучего Голландца! Бимсы, стрингера, шпангоуты полетят к чертям! Мачты с лохмотьями парусов плашмя упадут на воду!

Да, да! Темно-синяя бездна с клокотанием разверзнется, и корабль мертвых, как оборвавшийся якорь, стремглав уйдет под воду.

Из потревоженных недр донесется протяжный вздох или стон облегчения, а потом волнение сразу утихнет, будто за борт вылили десяток бочек с маслом.

Вот что сделал бы я, если бы знал магическое слово, о котором говорил финн!..

Но ни я, ни вы, ни кто другой на свете не знаем пока слова, которое могло бы разрушить старое заклятье.

Некоторые даже считают все это враньем, как я уже говорил вам. Другие, однако, готовы прозакладывать месячное жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды...

Отойдя от окна, Грибов увидел, что курсант опустил листки и блестящими глазами смотрит на него.

— Прочли? Я вижу, что прочли.

— Все совпадает! — с воодушевлением сказал курсант. — Даже в мелочах! И самое главное: мертвые, корабль мертвых!

— А! Вы заметили это? Я так и думал, что заметите. Мне бросилось в глаза сразу, как только вы начали рассказывать о Цвишене. Он удивительно повторил биографию своего легендарного тезки и предшественника.

Звонок у двери.

Профессор взглянул на часы:

— Донченко. Точен, как всегда.

### 3. «Списан за гибелью в Варангер-фьорде...»

Капитан первого ранга Донченко был громадный, самоуверенный, шумный. Он сразу как бы заполнил собой весь грибовский кабинет.

Ластикову, впрочем, понравилось, что подводник, хоть и был в одном звании с Грибовым, явился к нему не с орденской колодкой на кителе, а, в знак уважения, при всех своих орденах. На военной службе чувствительны к таким знакам внимания.

Вероятно, Донченко немного удивило присутствие курсанта в кабинете. Впрочем, Грибов любил окружать себя молодежью.

Знаменитый подводник снисходительно подал курсанту руку и тотчас перешел к теме, которая, видимо, интересовала его больше всего, — к самому себе.

— А я думал, вы знаете, Николай Дмитриевич, как я потопил этого своего Цвишена, — сказал он, усаживаясь в кресло. — Как же, шумели обо мне газеты! И очерк в «Красном флоте» был, называется «Поединок».

— Вырезка у меня есть, — неопределенно ответил Грибов.

Он положил на стол пачку газет, рядом свои неизменные зажигалку, перочинный нож, записную книжку.

— Будто экзаменовать собрались! Как в доброе старое время. — Донченко усмехнулся далекому воспоминанию.

Грибов промолчал.

— С чего же начать? С вражеской базы в Бос-фьорде?

— Превосходно. Начинайте с вражеской базы.

— Я не для хвастовства, Николай Дмитриевич, а чтобы пояснить, почему у меня осталась лишь одна торпеда. Другие ушли по назначению. В общем, наделал на базе дребезгу. Как слон в посудной лавке!

Он радостно улыбнулся. Видно, и сейчас было очень приятно вспомнить об этом.

— А уж назад, конечно, возвращался ползком. Выбрался из Бос-фьорда в Варангер-фьорд. Полежал минут двадцать на грунте, отдышался. Потом подвсплыл, тихонько поднял перископ. Справа норвежский берег, где и положено ему быть. Погода, между прочим, мерзейшая, на мой вкус: солнце во все небо, широкая зыбь и хоть бы один бурунчик — перископ спрятать некуда.

«Слышу винты подводной лодки», — докладывает акустик.

Он у меня был хорошо тренирован — по шуму винтов определял тип

корабля.

Я осмотрелся в перископ. Слева сорок пять — рубка всплывающей подводной лодки! А мне перед выходом дали оповещение: наших лодок в этом районе нет. Стало быть, фашист! Разворачиваюсь и ложусь на курс сближения.

— С одной торпедой?

— С одной, Николай Дмитриевич! Еще не остыл после боя в Босфорде, азарт во мне так и кипит!

Опять поднял перископ. Море — хоть шаром покати! Погрузился мой фашист. И я вниз — следом за ним!

«Ну, теперь навостри уши, Маньков!» — говорю акустику.

И информирую по переговорной трубе команду, что так, мол, и так, завязали схватку с немецкой подводной лодкой! — Донченко повернулся к курсанту: — А в нашем деле такой бой, один на один и вдобавок вслепую, — редчайшая вещь! Верно, Николай Дмитриевич?

Грибов кивнул.

— Ну вот, опять докладывает Маньков: «Исчез шум винтов!» Это значит: фашист прослушивает меня, пробует найти по звуку.

«Стоп моторы!»

Тихо стало у нас. Матросы даже сапоги сняли, чтобы не греметь подковками. Ходим на цыпочках, говорим вполголоса. Каждый понимает: неподалеку фашистский акустик слушает, не дышит, не только ушами, каждым нервом своим к наушникам прики!

Многие думают: бой — это обязательно выстрелы, грохот, гром. Нет, самый трудный бой, я считаю, такой вот, в потемках, в тишине! Ходят на глубоком месте две невидимки, охаживают друг друга по-кошачьему, на мягких лапках-подушечках...

— Невидимка против невидимки — это точно.

— Да. Принимаю решение: маневрировать, пока не возникнет подходящая комбинация. Торпеда у меня одна! Надо бить наверняка.

А маневрировать, заметьте, стараюсь в остовых<sup>[2]</sup> четвертях. Вражеский-то берег неподалеку. Не набежали бы, думаю, «морские охотники»!

Маньков непрерывно докладывает: слышу шум винтов, дистанция такая-то, пеленг такой-то.

Стараюсь не стать бортом к фашисту, а сам увожу его подальше от берега, от опасного соседства, — еще засекут береговые посты!

Вот кружим и кружим, меняем глубины под водой — для маневрирования в Варангер-фьорде места хватает. Фашист остановится, я

остановлюсь. Он пойдет, и я пойду. В кошки-мышки играем. А у кошки что главное? Не чутье — слух!

Донченко склонил голову набок, зажмурившись, словно бы прислушиваясь.

— Маньков докладывает: фашист что-то продувает — получается пузырение, вроде выхода, будто торпеду выпустил. Но, конечно, нет того характерного свиста и торпеды, когда она разрезает воду. Один шумовой эффект! Это значит: фашист пугает, хочет меня с толку сбить.

К маю сорок второго года, надо вам доложить, я уже не с одним фашистом встречу имел. Не с подводником, конечно, это из ряда вон, но с летчиками, командирами катеров. У них, я заметил, наступает иногда такое расположение духа, когда кажется, будто все идет без сучка, без задоринки, согласно параграфам инструкции...

— Как у Толстого, — сказал Грибов. — «Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт...»

— Именно так! Очень опасное, знаете ли, состояние.

Думаю об этих «ди эрсте, ди цвайте» и мечтаю, как бы вытряхнуть моего фашиста из его параграфов.

Маньков услышал шипение воздуха — фашист продувает балласт. Значит, хочет всплывать. Либо, давая при маневрировании большие хода, разрядил свои батареи, либо выполняет следующий параграф инструкции: хочет вызывать катера на подмогу.

Ну нет! В нашем споре третий лишний!

Маньков доложил: пеленг резко меняется. Ага! Выдержка у фашиста послабее нашей. Уходит от боя!

Объявляю по «переговорке» торпедную атаку. Все подобрались вокруг, повеселели. Гора с плеч!

На курсовом двадцать, с правого борта, дистанция шесть кабельтовых<sup>[3]</sup>, подвернув на боевой курс, даю залп! И потом ка-ак тряханет! Взрыв!

— Как — взрыв? — Ластиков даже подскочил в кресле. — Был разве и взрыв?

Он умоляюще взглянул на Грибова. Тот встал из-за стола и подошел к карте. Почти у самого ее верхнего края, между Финмаркеном и полуостровом Рыбачий, голубел широкий ковш Варангер-фьорда.

— Маневрировали в остовых четвертях?

— Да.

— Значит, немецкая лодка находилась между вами и берегом. — Профессор многозначительно взглянул на курсанта.

— Берег-то и беспокоил, Николай Дмитриевич, — подхватил Донченко. — Понимаю: посты наблюдения засекали взрыв. Сейчас выбегут из Киркенеса «морские охотники» и дадут мне «сдачи». Я и получил ее потом — в крупных и мелких купюрах: до тридцати глубинных бомб. Но, как видите, сию перед вами: цел, ушел!

— Перископ уже не поднимали?

— Каюсь, Николай Дмитриевич, не утерпел, поднял. Сразу же подошел к месту потопления и осмотрелся в перископ. Даже в глазах зарыбило. Радужные пятна соляра на воде! Пустила моя подлодка сок! Мало того. Взрывом подняло на поверхность всякую требуху: клинья, пробки, обломки обшивки, аварийные брусья, крашенные суриком, в общем — полный комплект!

— Не слишком ли полный? — вскользь заметил Грибов и опять посмотрел на курсанта.

— Слишком? — Донченко откинулся назад, будто неожиданно наткнулся на невидимую преграду. Ордена и медали на его широкой груди обиженно звякнули. — Иначе говоря, не верите? Да что вы, Николай Дмитриевич! Это даже странно. Немцы сами признали факт потопления!

— И очень поспешно. Еще пятнадцатого мая. А ваш поединок состоялся девятого. Фашистское командование обычно не проявляло такой оперативности, извещая о своих неудачах.

Из пачки газет, лежавших перед ним, Грибов вытащил «Дейче Цайтунг» от 15 мая 1942 года.

— Здесь некролог. Сообщается, что в неравном — конечно, неравном! — бою с русскими и погиб кавалер рыцарского Железного креста Гергардт фон Цвишен, командир субмарины... Указан ее номер. Цитирую: «Величественной могилой отныне служит ей обширный и пустынный Варангер-фьорд. Над капитаном второго ранга фон Цвишеном и его доблестной командой склоняются в траурной скорби торжественные складки северного сияния...» Ну, и далее в том же роде.

— Вот видите! Даже некролог!

— И очень пышный некролог, учтите. За этими «складками северного сияния» я усматриваю кое-что. Чрезвычайно заботились о том, чтобы сообщить для всеобщего сведения адрес могилы: Варангер-фьорд. Почему? Опасались, что субмарину Цвишена спутают с какой-либо другой субмариной? А быть может, могила была пуста?.. Да, кстати, каким вы представляете себе этого Цвишена?

— Каким? То есть наружность?

— Да.

Сохраняя обиженный вид, Донченко выпятил нижнюю губу и в раздумье поднял глаза к потолку.

— Наружность, конечно, стандартная. — Он принялся загибать пальцы: — Оловянный взгляд — это наверняка. Поджатые тонкие губы. Расчесанные на пробор волосы. Убегающий назад подбородок. Что еще? В общем, стандартный, описанный уже много раз пруссак, я бы так сказал. Того и жди — раскроет свои бескровные губы и произнесет: «Ди эрсте колонне...» — Он захохотал, но как-то не очень уверенно.

— Вы прямо портретист, товарищ Донченко, — холодно сказал Грибов. — Вот, прошу взглянуть, снимок из той же немецкой газеты, но более ранней. Номер датирован вторым июля тысяча девятьсот сорокового года. — Грибов положил газету перед Донченко. — Похож?

Подводник долго рассматривал газету, пожалуй, слишком долго. Ластиков не выдержал и, привстав, с любопытством заглянул через его плечо.

На снимке Гитлер, осклабясь, вручал орден рыцарского креста коренастому подводнику в полной парадной форме. Подводник был совсем не похож на только что описанного «стандартного пруссака». Лицо его, казалось, состояло из одних углов. Высокий, с залысинами, лоб был скошен, остроконечные уши по-звериному прижаты к черепу. Один глаз был чуть выше другого, а быть может, из-за какого-то повреждения шеи подводник держал голову несколько набок. Вероятно, это и придавало лицу то выражение хитрости, жестокости и вероломства, которое являлось как бы его «особой приметой».

Скажет ли такой: «Ди эрсте колонне»?

Подводник молчал.

— Вот вам пример дезинформации на войне. — Грибов повернулся к курсанту: — Некролог появился, вероятно, сразу же после того, как Цвишен вернулся на базу.

— Вернулся? Невероятно! А пятна соляра на воде? А крашенные суриком брусья? — Донченко сидел, подавшись вперед, упершись кулаками в колени, взъерошенный, сердитый, красный.

— Установлено, — произнес Грибов профессорски бесстрастным тоном (и тотчас же Донченко по привычке выпрямился в кресле), — установлено, что немцы часто применяли средства тактической маскировки.

— Но я, Николай Дмитриевич...

— Иногда продували соляром гальюн<sup>[4]</sup>, — продолжал профессор, обращаясь к Ластикову. — Использовали также трубу, через которую



выстреливался имитационный патрон длиной до полуметра. Из него выходило газовое облако, и корабли противолодочной обороны, работавшие гидролокатором, отвлекались на это облако. В других случаях выбрасывали патрон, где находились предметы, которые создавали иллюзию потопления: пилотки, брусья, пустые консервные банки.

— Ну, Николай Дмитриевич! Знаю я о тактической маскировке! Честное слово, проходил. Но в данном случае...

— Кроме того, выпускались снаряды или резервуары, из которых выходил соляр.

— Пусть резервуары, согласен. А как же взрыв?

Ластиков с беспокойством посмотрел на Грибова. Да, а взрыв?

Грибов оставался спокоен. Он ответил вопросом на вопрос:

— Секундомер был исправен?

Пауза. Донченко смущенно кашлянул. Ластикову вспомнилась шутка гвардии капитан-лейтенанта. Если часы у офицера были неисправны, Шубин спрашивал вскользь: «А на скольких они камнях?» — «На пятнадцати». — «Маловато». — «Почему?» — «Надо бы еще два. На один положить, другим прихлопнуть!» Но оказалось, что Донченко вообще не пустил секундомер.

— Не успел, Николай Дмитриевич, — виновато сказал он. — Как-то в горячке боя, понимаете ли... И потом столько с этим Цвишеном возился, — руки даже дрожали, честное слово!

Грибов кивнул:

— Я так и думал. Ваша торпеда взорвалась на несколько секунд позже, чем было ей положено.

— О! Считаете, ударились в берег?

— Вы же сами сказали, что Цвишен находился между вами и берегом. Вот и взрыв! А затем Цвишен оторвался от вас. Ему очень хотелось оторваться от вас. Почему? Этого не знаю.

— Стало быть, прикинулся мертвым?

— По-видимому. Я думаю, ему это было не впервой.

Донченко расслабил тугий воротничок, потом, оттопырив губы, сделал огорченное «фук». Ластикову даже стало жаль его.

— Цвишен, конечно, не мог предвидеть, — продолжал Грибов, — что его оставят на положении мертвого. Но командование воспользовалось случаем и увело подводную лодку поглубже в тень. Погрузило на время в небытие. Именно тогда она, вероятно, и получила свое прозвище — «Летучий Голландец». Я думаю, впрочем, что это было не столько прозвище, сколько условное наименование. Ведь подводная лодка уже не

имела номера. Цвишен был, так сказать, «списан за гибелью в Варангер-фьорде». Между тем после встречи с вами начался наиболее бурный период его деятельности. На это имеются указания — не прямые, а косвенные — вот здесь! — Он провел ладонью по лежавшей перед ним кипе газет. — Но главное не в этом.

— В чем же? — буркнул Донченко. Зная своего профессора, он понимал, что тот готовит сюрприз, какой-то решающий убийственный аргумент. Это была слабость Грибова: поражать решающим аргументом под конец.

— Главное, видите ли, в том, — сказал Грибов с деликатной осторожностью, с какой врач сообщает больному неутешительный диагноз, — что, если бы вы потопили подводную лодку Цвишена в тысяча девятьсот сорок втором году, то в тысяча девятьсот сорок четвертом, то есть спустя два года, с нею не встретился бы присутствующий здесь курсант Ластиков.

Донченко ошеломленно молчал. Час от часу не легче! Теперь курсант этот появился!

— Он служил на катере Шубина, — пояснил Грибов. — Знали Шубина?

Донченко угнетенно кивнул. Кто же на флоте не знал Шубина!

— Затем Шубин, — продолжал Грибов, — после встречи в шхерах побывал на борту мнимо потопленной вами подводной лодки и беседовал с ее командиром, а также с офицерами.

Даже беседовал? Подводник вздохнул. Грибов был для него непререкаемым авторитетом. Да и с Шубиным постоянно случались такие необычайные приключения!

Расправив плечи, он сделал попытку небрежно усмехнуться. Полагалось сохранять хорошую мину при плохой игре. Этому учил сам Грибов.

— Ну что ж, — сказал подводник, — Шубину, как всегда, везло. Он побывал в гостях у мертвецов и, можно сказать, вернулся из самой преисподней.

Грибов и Ластиков переглянулись. Донченко даже не подозревал, до какой степени он прав...

## 4. Магический круг

Проводив гостей, профессор задернул шторы на окнах, выключил верхний свет и включил настольную лампу.

Он как бы очертил магический круг. Все, что вне его, отодвинулось в глубину комнаты, легло по углам слоями мрака. Внутри круга остались лишь профессор и его работа.

На столе лежала перед ним груда аккуратно нарезанных четвертушек картона, пока не заполненных. В работе он любил систему, поэтому начал анализ биографии новейшего Летучего Голландца с того, что завел на него картотеку.

Часа через полтора результаты сегодняшнего разговора с Донченко, а также заметки, сделанные со слов курсанта Ластикова, и выписки из газет бережно разнесены по отдельным карточкам. Почерк у Грибова мельчайший, бисерный, так называемый штурманский. На каждой карточке уместается уйма фактов, дат, фамилий.

Одна из карточек озаглавлена: «Поправка к лоции», другая — «Английский никель», третья — «Клеймо СКФ», и т.д.

Наконец, все, что известно пока о «Летучем Голландце», смиренхонько, в определенном порядке, улеглось на письменном столе.

Разрешив себе короткий отдых, профессор откинулся в кресле.

Темнота лежит в углах, как пыль, прибитая дождем. Стены пусты, Грибов знает это. Там только анероид и карта мира. Однако теперь, когда комната, за исключением стола, погружена во мрак, нетрудно вообразить, что на стенах по-прежнему любимая коллекция, раритеты, привезенные из кругосветного плавания.

Жена с особой заботливостью обметала их метелкой из мягких перьев. А дочери, когда та была еще маленькой, запрещалось переступить порог папиного кабинета, потому что однажды она потянулась к маленькому, приветливо улыбающемуся идолу и упала со стула. А ведь могла, упаси бог, уронить на себя и малайский крик!

Грибов с силой потер лоб. Опять воспоминания! Но он же очертил магический круг и замкнул себя внутри этого круга!

Некоторое время, стараясь сосредоточиться, он пристально смотрит на карточки. Новая мысль мелькнула. Профессор поменял карточки местами. Конечно, «Английскому никелю» полагается лежать рядом с «Клеймом СКФ». Это — правильное сочетание.

Длинные нервные пальцы снова и снова передвигают четвертушки картона на столе. Со стороны это, вероятно, напоминает пасьянс.

Но пока «пасьянс» не сходится. В нем зияют пустоты. Слишком мало еще карточек на столе у профессора. А главное — в общем, не ясна связь между ними.

Фрамуга окна опущена. Слышно, как торопливо стучат дождевые капли по карнизу, как шелестят шины на мокром асфальте и насморчно бормочут орудовские репродукторы.

Расплескивая воду вдоль рельсов, с дребезжанием и лязгом возвращаются в депо трамваи. Полосы света то и дело пробиваются сквозь неплотно сдвинутые шторы, быстро проползают по стене.

Так и картины прошлого набегают одна за другой, освещают на мгновение кабинет и пропадают в углах.

Профессор в полной неподвижности сидит за своим письменным столом. Задумался над словами Олафсона:

«Тот моряк уцелеет, кто разгадает характер старика».

Олафсону, к сожалению, не удалось «разгадать характер старика». И Шубин тоже не сумел этого сделать.

Теперь за разгадку взялся Грибов, хотя в этот тихий вечерний час перед ним находится не сам новейший Летучий Голландец, а лишь его фотоснимок в пожелтевшей старой газете.

Не поможет ли испытанный способ «подстановки икса», замена в «уравнении» неизвестного известным?

Бывало, знакомясь с человеком, Грибов неожиданно ощущал толчок внезапной симпатии или антипатии — с первого же взгляда. И ощущение это редко обманывало. Вначале оно казалось необъяснимым. Только спустя некоторое время Грибов обнаруживал внешнее сходство между новым своим знакомым и людьми, которых знал раньше. Внутреннее сходство, как правило, совпадало с внешним.

И Цвишен мучительно напоминал кого-то, с кем Грибов уже встречался. Когда? Двадцать лет назад? Десять лет назад? Вчера?

Одно несомненно: ассоциации были неприятные!

Мысленно Грибов пропустил мимо себя вереницу бывших своих однокашников по морскому корпусу. Там полно было остзейских барончиков, далеко не лучших представителей рода человеческого. С одним из них у Грибова чуть было не дошло до дуэли.

Нет! Общее между Цвишеном и тем остзейцем лишь то, что оба они

немцы.

Грибов продолжал неторопливо перебирать в памяти своих недругов.

Быть может, столкновение с предшественником Цвишена (если было столкновение) произошло в каком-то порту во время плавания «по дуге большого круга»?

Грибов заглянул в один порт, в другой, в третий.

И вдруг, как на картинах Рембрандта, из золотисто-коричневого сумрака начало проступать светлое пятно лица. Постепенно оно делалось выразительнее, отчетливее...

«Поглядите-ка! Ну и харя! — удивленно произнесли рядом. — Неужели вы купите его, Николай Дмитриевич?»

И вся картина возникла перед Грибовым в мельчайших деталях, освещенная нестерпимо ярким, слепящим солнцем.

...Базар в Сингапуре.

Несколько русских военно-морских офицеров столпились вокруг торговца деревянными идолами. Не вставая с корточек, он усиленно жестикулирует, расхваливая свой товар. Говорит на ломаном английском, и Грибов с трудом улавливает смысл.

Вот этот уродец, кажется, бог войны у малайцев или даяков. Лицо у него угловатое, вытесано кое-как и вместе с тем очень выразительно, обладает чудовищной силой первобытной экспрессии.

— Так сказать, местный Марс, — поясняет Грибов тем офицерам, которые не понимают по-английски.

— Да уж, хорош! Мороз по коже подирает!.

— Наш, европейский, однако, импозантней будет, — замечает кто-то.

— А вы уверены, Николай Дмитриевич, что этот господин заведует в Малайе именно войной? Я бы сказал, что скорее предательством и плутнями. Обратите внимание: улыбочка-то какова! А шею как скособочил!

В общем, «местный Марс» не понравился. Офицеры купили на память других, более благообразных божков. Грибову достался низенький, широко улыбающийся толстяк, — кажется, «по департаменту вин и увеселений».

Но еще долго маячило перед молодым офицером деревянное угловатое лицо, грубо раскрашенное, которое выражало злобную радость и неопределенную коварную угрозу...

Так вот кого напомнил ему Цвишен! Ничего не скажешь: встречались!

И, как обычно, одна черта внешнего сходства сразу же дала ключ к пониманию характера. Подобно богу войны, Цвишен сам не убивал. Он лишь сталкивал вооруженных людей и помогал им убивать друг друга. Он был бесстрастным катализатором убийств.

«Где всплывает „Летучий Голландец“, там война получает новый толчок». По-видимому, слова эти не были хвастовством.

Грибов подумал о том, что в природе существуют люди, подобные электрическому скату. Но, в отличие от ската, они убивают на расстоянии — не прикасаясь. Убивают потому, что существуют. Это их роковое предназначение — убивать...

Отодвинув в сторону картотеку, Грибов пристально, до боли в глазах, всматривается в злое и странное лицо, сложенное как бы из одних углов.

Если бы взгляд мог прожигать, номер «Дейче Цайтунг» с фотографией Цвишена давно уже затлелся бы, почернел и превратился в горку пепла на столе.

Да, счета у Грибова с Цвишеном давние!

Никогда и никому не рассказывал он об этом. Воспитан в старых правилах. О несчастьях полагалось умалчивать в его кругу. Просто не принято было перекладывать свое горе на других людей.

И о чем говорить, когда в данном случае все сводилось к одной фразе: «Пришел домой и не нашел дома...»

Осенью 1941 года Грибов отказался эвакуироваться с училищем.

— Ленинград — мой родной город, — хмуро сказал он. — Как мне бросить его в беде?

Конечно, ему могли приказать, и, как военнослужащий, он должен был бы подчиниться. Но флотом командовал в ту пору бывший его ученик, и он помог своему профессору. Грибова оставили в Ленинграде.

Он совершил роковую ошибку, не заставив эвакуироваться семью. «Ленинград — наш родной город», — повторяли его слова жена и дочь. Они стояли перед ним, обнявшись, очень похожие друг на друга, и покачивали головами, светло-русой и седой, лукаво-ласково улыбаясь ему. А ведь он никогда не мог противостоять их улыбке.

И потом они отлично держались, ни разу не пожалели о своем решении. Он мог гордиться ими.

Тот зимний день Грибов провел не в штабе морской обороны, а на фронте. От штаба до фронта было не более семи миль по прямой. Туда можно было бы добраться на трамвае, если бы зимой ходили трамваи.

На участке, куда он прибыл, положение было напряженным. Несколько раз приходилось нырять в щель, дважды подниматься с людьми в контратаку. На глазах у Грибова убили комиссара. К вечеру, однако, обстановка улучшилась.

Вернувшись в штаб, Грибов доложил о выполнении задания и получил разрешение побыть до утра дома.

Подскакивая на ухабах в грузовике, он нетерпеливо предвкушал заслуженный отдых в семейном кругу.

Вот он поднимется по лестнице, бесшумно откроет дверь своим ключом. «Папа пришел!» — раздастся голос дочери из глубины квартиры. Жена засуетится у чайника.

Какое счастье неторопливо, маленькими глотками пить обжигающий горячий кипяток из большой кружки, перекатывая ее в ладонях! Тепло проникает внутрь не только через горло, но и через ладони.

Да, сегодня он вдосталь попьет живительного блокадного чайку!

«А Ириша?» — спросит он у жены.

«Я уже пила чай, папа», — ответит дочь.

Она сидит на диване, как всегда по вечерам, откинув голову на спинку, закрыв глаза. Можно подумать, что дремлет, но пальцы едва заметно вздрагивают на коленях, прикрытых ватной курткой.

«Ты что, Ириша?»

«Играю в уме, папа».

Интересно, что она играет? Наверно, своего любимого Скрябина.

Бедные пальчики, исколотые иглой, отвердевшие от грубой работы в госпитале!

А ведь совсем недавно еще мать ни за что не позволяла ей помогать по хозяйству, стремглав кидалась делать все сама, сама.

«Ирочка должна беречь свои руки! — говорила она с гордостью знакомым. — Ирочка у нас пианистка!..»

Чувствуя блаженную истому, он будет смотреть на эти неслышно перебегающие по куртке пальцы. Когда дочь, вздохнув, возьмет последний «аккорд», Грибов, быть может, повеселит ее и расскажет анекдот, пользуясь в семье неизменным успехом.

Было время, много лет назад, когда Грибова встречал дома длинный-длинный возглас ужаса: «У-у-у!» — как гудение сирены. И вместе с тем в гудении слышалось что-то лукавое.

Топая тупыми ножонками, в переднюю выбегала трехлетняя Ириша:

«О! Я думала, это старик пришел, а это мой папа!»

Слово «старик» произносилось устрашающе протяжно, а слово «папа» — радостно-восторженно, даже с подвизгиванием.

Это она играла сама с собой в какую-то игру, пугала себя стариком и была счастлива, что все так хорошо кончилось. Она любила, чтобы все кончалось хорошо.

Мысленно улыбаясь этому воспоминанию, Грибов приказал остановить машину за два квартала от своего дома.

— Я сойду здесь, — сказал он шоферу. — Дальше не проедете. Много сугробов.

Он прошел эти два квартала, завернул за угол — и не увидел своего дома!

Наискосок от аптеки должен был стоять его дом. Но дома на месте не было.

Фугасный снаряд упал в самую его середину!

Изо всех жильцов этого старого ленинградского дома спаслась только семидесятилетняя старуха, и то потому лишь, что вместе с внучкой, пришедшей в гости, отправилась к проруби за водой.

Сейчас старуха, сгорбившись, сидела на саночках, где стояли два полных ведра, и безостановочно трясла головой.

Грибов растерялся. Он проявил слабость духа, недостойную мужчины и офицера. Бегал взад и вперед вокруг груды щебня, о чем-то расспрашивал, умоляюще хватал за руки озабоченных, угрюмых людей, занятых на тушении пожара.

Над щебнем курилась красноватая дымка. Пахло известкой, гарью, порохowymi газами, очень едкими. От этого зловония хотелось чихать и кашлять.

— Говорят же вам: прямое попадание! — убедительно объяснял кто-то, придерживая Грибова за локоть. — Вы же военный, офицер! Сами должны понять!

Но Грибов не понимал ничего.

Какая-то женщина, заглянув ему в лицо, отшатнулась, крикнула:

— Да что же вы смотрите, люди? Уведите старика!

У этой дымящейся кучи щебня Грибов сразу стал стариком...

Говорят, трус умирает тысячу раз. Но десятки, сотни тысяч раз люди повторяют в уме смерть своих близких.

Почти беспрестанно, и до ужаса реально, слышал Грибов лязг и вой этого немецкого снаряда и ощущал невыносимую боль, которая внезапно пронзила Иру и Тату...

Через несколько дней, совсем больного, его вывезли на самолете сначала в Москву, потом на юг, куда было эвакуировано училище.

Горе заставило Грибова внутренне сжаться. Однако внешне он держался по-прежнему прямо, подчеркнуто прямо. Это, кстати, ограждало



от соболезнований.

Но, будучи безусловно храбрым человеком, он не стыдился признаться себе, что боится вернуться в Ленинград.

Там на каждом шагу подстерегали воспоминания, крошечные, будничные, но еще более страшные от этого. Чуть внятные, печальные голоса их могли свести с ума.

Легче, кажется, было бы ворваться ему на горящем брандере в середину вражеской эскадры, чем снова пройти сквериком, где он гулял по воскресеньям с маленькой Иришей. А ведь подобные воспоминания, связанные с женой или дочерью, возникали в Ленинграде на каждом перекрестке, за каждым углом.

Но потом он подумал:

«Ленинград поможет мне в беде! Ленинград — город не только четких архитектурных линий, но и собранных мыслей, город большой душевной дисциплины».

И Ленинград не подвел. А вскоре подоспела и весть от Шубина — посмертная.

Шубин, можно сказать, усадил своего профессора за письменный стол, под магический конус света. Не ободрял, не утешал — заставлял работать. А это было главное.

Самолюбивый и настойчивый, он, как всегда, требовал к себе исключительного внимания!..

И две молчаливые скорбные тени бесшумно шагнули назад, за спинку кресла. Они не ушли совсем, нет, — только шагнули назад. Но и это был отдых для измученных нервов.

Миля за милей уводил Шубин своего профессора от мучительных воспоминаний: сначала в шхеры, потом внутрь немецкой подводной лодки, а вырвавшись из нее, быстро повел следом за собой к мысу Ристна и косе Фриш-Неррунг.

На этом узком пути — очень узком, особенно в шхерах, — он встретился с вероломной бестией Цвишеном и, конечно, сразу же ввязался в борьбу. Он никогда не мешкал на войне, в полной мере «повелевал счастьем», что, по Суворову, неизменно приносит победу.

Недаром же воинская удача Шубина стала почти нарицательной. На флоте так и говорили: «везет, как Шубину», «счастлив, как Шубин»...

**КНИГА ПЕРВАЯ**  
**ШУБИН**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1. Спор о счастье

Смолоду Шубин стремился попасть в истребительную авиацию, но комсомол послал его на флот. Здесь он выбрал торпедные катера, самое быстроходное из того, что есть на флоте, — лихую конницу моря.

— Люблю, когда быстро! — признавался он, показывая в улыбке крупные, очень белые зубы. — Пустишь во весь опор своих лошадей, а их у меня три тысячи<sup>[5]</sup>, целый табун с белыми развевающимися гривами, — хорошо! Жизнь чувствуется!

Он даже жмурился от удовольствия. Но тотчас же подвижное лицо его меняло выражение:

— Понятно, не прогулка с девушками в Петергоф! При трех баллах поливает тебя, как в шторм. Стоишь в комбинезоне, весь мокрый, от макушки до пят, один глаз прищуришь, ладонью заслонишься, так и командуешь. Ведь моя сила в чем? В четкости маневра, в чертовской скорости!.. Броня? А у меня нет брони. Мой катер пуля пробивает насквозь!

Он делал паузу, озорно подмигивал:

— Но попробуй-ка попади в меня!..

Как все моряки, Шубин привычно отождествлял себя со своим кораблем: «моя броня», «я занес корму», «я вышел на редан».

Он даже внешне был чем-то похож на торпедный катер — небольшой, верткий, стремительный.

Впрочем, привязанность его, быть может, объяснялась еще и тем, что командир торпедного катера сам стоит за штурвалом.

Лихие морские коньки с белыми развевающимися гривами и одновременно нечто среднее между кораблем и самолетом! Недаром и скорость у «Г—5»<sup>[6]</sup>, дай бог, свыше пятидесяти узлов! Впору хоть и настоящему самолету!

Когда такой забияка на полном ходу режет встречную волну, по его бортам встают две грозные белые стены — клокочущая пена и брызги!

Двигается он как бы гигантскими прыжками. Поэтому мотористы работают в шлемах с амортизаторами, подобно танкистам. А радист сидит в своем закутке, чуть пониже боевой рубки, скрючившись, весь обложенный мешками, надутыми воздухом, чтобы смягчать толчки. Ого! Еще как кидает, подбрасывает, трясет на водяных ухабах!

И уж наверняка настоящий табун в три тысячи голов, проносясь по степи, не оглушает так, как два мотора «Г—5». В моторном отсеке приходится объясняться больше мимикой и жестами. Нужна отвертка — вращают пальцами, нужен «горлохват» — гаечный ключ — показывают себе на горло. А наверху разговаривают самым зычным голосом, хотя командир, механик и боцман стоят рядом.

У катерников и слава громкая. Наиболее известен среди них Шубин.

Впервые заговорили о нем в 1941 году, когда он взял на абордаж небольшой немецкий танкер.

Шубин нагнал его и встал борт о борт. Пренебрегая вражеским огнем, на палубу танкера прыгнули матросы и забросали ее подрывными патронами. Сделав это, соскочили обратно в катер. Тот быстро отошел — и вовремя: за кормой захлопали взрывы, танкер мгновенно вспыхнул и превратился в костер, пылающий посреди моря.

Шубина спрашивали:

— Почему же на абордаж? Ты бы торпедой его!

— Вот еще! Водоизмещение всего двести пятьдесят — триста тонн.

— Значит, торпеду пожалел?

— Конечно.

После этого о Шубине стали говорить:

«В сорочке родился. Удачник! Везучий! С самой судьбой, можно сказать, на „ты“».

Он только загадочно щурился.

Лишь однажды, когда начали чересчур донимать разговорами о везении, он сказал с досадой:

— Везучий? Как бы не так! Везучий на бильярде с кикса в две лузы кладет, а я свое счастье горбом добываю!

На него накинулись:

— Что ты! Как можно отрицать счастье на войне? Наполеон так и сказал о Маке: «Вдобавок он несчастлив».

— Зато Суворов говорил: «Раз счастье, два счастье, помилуй бог, надобно и умение».

— Но тот же Суворов говорил: «Лови мгновение, управляй счастьем».

— Неверно! «Повелевай счастьем, ибо мгновение решает победу...»

— По-твоему, умение равно удаче?

— Умение плюс характер! Понимаете: настоящий военный характер!

— Из чего же складывается такой характер? Как ты считаешь?

— Я считаю... — Шубин энергично рубанул воздух ладонью. — Наступательный дух, упорство прежде всего! Так?.. Дерись! Во что бы то

ни стало добивайся победы!.. Второе... Привычка решать мгновенно. Мозг работает в такт с моторами. Жмешь на все свои две тысячи оборотов и соображай соответственно, не мямли!.. Помните, был у нас медлительный, списали его на тихоходные корабли?

— Как же! С топляками не поладил... (Медлительный офицер еще до войны «не поладил» с полузатонувшими бревнами, которых немало в Финском заливе. При встрече запаздывал с решением на какие-то доли секунды, не успевал быстро отвернуть и доползал до базы со сломанными винтами.)

— Военный моряк, — продолжал Шубин, — как известно, прежде всего — моряк! Иначе он плохой военный... На суше, конечно, проще. На суше как? Скомандовал своим артиллеристам: «За деревней на два пальца влево — цель! Бей!»

— Утрируешь, Боря!

— Пусть! Но мысль ясна? А на море успевай поворачиваться. Опасности со всех румбов прут. С воды на тебя лезут, из-под воды, с воздуха!

— Колебаться, прикидывать некогда?

— Ага! Тут-то и вступает интуиция. А она, я считаю, есть производное от знаний, опыта и отваги. Чтобы перекипело, сплавилось внутри — тогда интуиция!

— Ну, все! — Вокруг засмеялись. — Боря нам все расчертил. Формула военно-морского счастья совершенно ясна!

Кто-то спохватился:

— Это ты сейчас говоришь. А что раньше говорил? Я, мол, удачник! Я, мол, счастливчик!

— Да не я это говорил. Вы говорили!

— А ты кивал.

— И не кивал я.

— Ну, помалкивал. Вроде бы молчаливо соглашался. Стало быть, темнил, туману напускал?

Пауза.

— Не то чтобы туману... — уклончиво сказал Шубин. — Просто думал: верите, ну и верьте, черт с вами. То есть, конечно, если по правде...

— Да, да, по правде!

— Мне эти разговоры были кстати. Хорошо, когда о командире слава идет: удачник, счастливчик. Матросы за таким смелее в бой идут.

— А!..

— Ну да! Это очень важно. Чем больше матрос верит в победу, тем

победа ближе. А потом...

Снизу вверх он взглянул на своих товарищей и вдруг перестал сдерживаться, широко улыбнулся с подкупающим, одному ему свойственным выражением добродушного лукавства:

— Что, братцы, греха таить! Ежели все говорят: «удачник», «счастливчик», то и сам невольно... А когда веришь в себя, препятствия легче преодолеваешь. Будто на гребне высокой волны несет!..

Но стоило напомнить ему о шхерах, как он хмурился, умолкал или же, наоборот, принимался пространно осуждать свое непосредственное начальство.

Еще бы! Он хочет торпедировать вражеские корабли, преграждая им путь к Ленинграду, а его, как назло, чуть ли не каждую ночь суют в эти шхеры. Рвется на оперативный простор, в открытое море, а вместо этого должен кружить по извилистым, узким протокам, с тревогой озираясь по сторонам, на малых оборотах моторов, чтобы не засекали по буруну.

Он досадливо передергивал плечами:

«Люблю, понимаешь, размах, движение, а там повернуться негде. Вроде как в тесной комнате краковяк танцевать. Шагнул вправо — локтем в буфет угодил, налево — за гардероб зацепился...»

Сравнение было удачно. В шхерах очень тесно.

А во время войны стало еще более тесно — от мин. Балтийская вода в ту пору была круто замешана на минах.

Мины, мины! Куда ни шагни, всюду эти мины. Покачиваются на минрепах, как поганки на тонких ножках, лежат, притаясь среди донных водорослей и камней, или носятся по воле волн, избычась, грозя своими коротенькими рожками.

Мины в шхерах ставили русские, финны, немцы. Немалая толика осталась и после прежних войн: 1914—1918 и 1939—1940 годов.

Кстати сказать, война на море начинается обычно с минных постановок. В ночь на 22 июня 1941 года немецкие мины были сброшены с самолетов у Либавы, Таллина и в горле Финского залива.

Немцы хотели блокировать Краснознаменный Балтийский флот.

Это не удалось. Летом 1942 года советские подводные лодки прорвались в Среднюю Балтику и потопили много вражеских кораблей. Тогда немецкое командование перегородило Финский залив плотными минными заграждениями, а между Наргеном и Порккала-Удд поставило два ряда противолодочных сетей. Фашистские корабли начали

передвигаться тайными проходами, чаще всего вдоль северного берега, продольными шхерными фарватерами, прячась за многочисленными островками и перешейками.

Однако минная война продолжалась. Советские торпедные катера сумели донять врага и в этом укромном местечке. По ночам они пробирались в шхеры и ставили там мины на фарватерах.

Вообще-то для минных постановок есть специальные корабли. Но торпедные катера — верткие, коротенькие, с малой осадкой — пролезали там, где не удавалось кораблям покрупнее. А главное, благодаря большой скорости успевали с вечера сходить в шхеры и до рассвета вернуться на Лавенсари<sup>[7]</sup>, где размещалась летная маневренная база.

Сверху Лавенсари по своим очертаниям напоминает букву «н». Это как бы два вытянутых по меридиану островка, которые соединены перешейком и образуют глубокие, хорошо защищенные от ветра бухты.

Лавенсари расположен примерно в пятидесяти милях западнее Кронштадта.

В годы блокады это был форпост Краснознаменного Балтийского флота.

Больше того: самый крайний, наиболее выдвинутый на запад пункт всего огромного, вогнутого внутрь советско-немецкого фронта!

Впоследствии фронт продвинулся, но в 1944 году база торпедных катеров еще оставалась на Лавенсари. Отсюда они продолжали совершать свои набеги на шхерный район.

Особенно дались Шубину минные постановки прошлой осенью (шутливо называл их своей «осенней посевной кампанией»). За август и сентябрь 1943 года он побывал в шхерах тридцать шесть раз!

Иногда звено его катеров сопровождал самолет, назначение которого было скромное — тарыхтеть! Шум авиационного мотора, заглушая рокот катерных моторов, вводил в заблуждение противника. Настороженные «уши» шумопеленгаторов, похожие на гигантские граммофонные трубы, отворачивались от моря и обращались к небу. Зенитки поднимали суматошливую трескотню. А тем временем торпедные катера потихоньку проскальзывали в глубь шхер.

Мины полагалось ставить строго в указанном месте, обычно на узле фарватеров, то есть в точке их пересечения, где движение кораблей всего оживленнее. Дело, заметьте, происходило в темное время суток, вдобавок — без подробных карт!

Вот почему шубинские постановки уважительно называли в штабе «ювелирной работой».

Но Шубин не видел, как рвутся на его минах вражеские корабли. Ведь они ходили в шхерах днем, а он бывал там ночью. О том или ином потоплении узнавал уже спустя некоторое время — из штабных сводок.

От этого победы казались отвлеченными, неосязаемыми, в общем ненастоящими.

С чего же ему было любить шхеры?..

Команда шубинского катера разделяла неприязнь своего командира к шхерам.

Перед минными постановками радист Чачко принимался нервно зевать, моторист Степаков протяжно, со стоном вздыхал, а боцман Фаддеичев, пышноусый коротыш, еще молодой, лет двадцати пяти, но уже придиричиво строгий, начинал «непутем» придираться к матросам.

Но острее всех переживал юнга Шурка Ластиков.

Распустив в недовольной гримасе рот, он говорил смешным ломающимся голосом:

— Опять шхеры эти, шхеры! Нитку в иголку вдевать, да еще в темноте. Бр-р!

— Попугайничаешь? — Боцман предостерегающе поднимал палец. — Вот я т-тебя!

Но юнга не попугайничал. Он был влюблен в своего командира и невольно подражал ему во всем — в интонациях, в походке, в пренебрежительном отношении к шхерам. И очень любил цитировать его, впрочем не указывая автора.

С этим связана была особенность шубинского звена: на нем почти не ругались.

Когда-то Шубин считался виртуозом по части специальной военно-морской «колоратуры». Но однажды, проходя по пирсу, он услышал мальчишеский голос: «Торпедные катера по мне! Эх, и люблю же я скоростенку!» Затем — затейливое ругательство. И матросский хохот, подобный залпу.

Шубин миновал группу матросов, вскочивших при его приближении (среди них был и Шурка), рассеянно ответил на приветствие. Где мог он слышать знакомые выражения: «катера по мне», «люблю скоростенку»? Позвольте-ка! Он сам говорил так!

Вначале он почувствовал нечто вроде отцовской гордости. Будто кто-то с почтительной завистью сказал ему:

«А сынок-то как похож на вас!»



Но, поразмыслив, он смутился. Ведь мальчишка и «колоратуру» заимствовал у него! А уж это было ни к чему!

Так возник выбор: либо юнге продолжать ругаться, либо Шубину перестать. Пришлось перестать...

Шурка Ластиков считался воспитанником всего дивизиона торпедных катеров, но прижился у Шубина, — быть может, потому, что подобрали его именно шубинские матросы.

Да, его буквально подобрали — на улице, как больного, голодного кутенка. Была весна 1942 года, самая страшная из блокадных весен. Несколько матросов брели по заваленной сугробами улице Чернышевского. Вдруг в перебегающем свете прожекторов они увидели впереди фигурку, крест-накрест перевязанную женским шерстяным платком. Это был мальчик лет тринадцати. Он стоял посреди улицы совершенно неподвижно, растопырив руки. Его внезапно поразила куриная слепота.

Выяснилось, что несколько часов назад он схоронил мать. Отец погиб уже давно, под Нарвой.

— А дома-то есть кто?

— Нету.

Две могучие матросские руки подхватили с обеих сторон Шурку, и его понесло по улице, словно бы попутным ветром. И опомниться не успел, как очутился в казарме на канале Грибоедова. Там размещались команды торпедных катеров.

Впоследствии в дивизионе с гордостью говорили: «Наш юнга и дня сиротой не был!» И впрямь: после смерти матери прошло всего несколько часов, а он уже находился у моряков.

Он быстро отогрелся среди них, откормился, приободрился. Никто не приставал к нему с утешениями, не поминал мать или отца. Все моряки были его отцами, заботливыми и взыскательными.

Месяца не прошло после его «усыновления», как боцман уже громогласно отчитывал приемыша «с упором на биографию»:

— Ты зачем с юнгой из ОВРа<sup>[8]</sup> подрался? Я, что ли, приказывал тебе драться? Ты кто? Беспризорник? Нет. Пай-мальчик? Тоже нет. Ты есть воспитанник дивизиона торпедных катеров! Службы Краснознаменного Балтийского флота! Значит — из хорошей морской семьи.

Правда, на Шуркиных погончиках вместо двух букв «БФ» — Балтийский флот — светлела лишь одна буква «Ю» — юнга. Погончики были узенькие — под стать плечам. Матросы шутили, что из пары погонов старшего лейтенанта Шубина можно свободно выкроить погоны для десяти юнгов.

Чаще всего называли его помощником моториста, иногда сигнальщиком, хотя такой должности на катерах нет. Сам Шурка с достоинством говорил о себе: «Я при боцмане».

В сущности, и с юнгой из ОВРа он подрался из-за того, что тот смеялся над ним и сказал, будто он служит за компот. Ну уж нет! Все знали в дивизионе, почему и зачем он служит.

Конечно, присягу на флоте давали лишь достигшие восемнадцати лет. Шурке в 1942 году было всего тринадцать. Но в ту пору в Ленинграде мужали рано. И он, не ропща и не хвастаясь, наравне со взрослыми делал трудную мужскую, очень хлопотливую работу — воевал...

Что же касается куриной слепоты, то она прошла очень быстро — с улучшением питания. Более того! Шурка прославился своей «глазастостью» и даже заслужил шутливое, но все же лестное прозвище: «впередсмотрящий всея Балтики». И заслужил его именно в нелюбимых им шхерах.

Ставя мины в расположении противника, Шубин одновременно выполнял разведывательные задания.

Уже на отходе, освободившись от мин, он позволял себе немного «поозорничать».

Заметит на берегу вспышку: зажжется — потухнет, зажжется — потухнет. Это налаживают прожектор. Стало быть, там прожектор?.. Очень хорошо!

Шубин увеличивал обороты моторов. За кормой появлялся бурун — катер обнаруживал себя. Тотчас берег оживал. Метались длинные, простертые к Шубину руки прожекторов. Тукали пулеметы, ухали пушки.

Ого! Островок-то, оказывается, с огоньком!

Боцман тоже открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, стреляя по прожекторам. Надо еще сильнее «раздразнить» противника, чтобы обнаружить побольше огневых точек на берегу.

Выбравшись на плес, Шубин сбрасывал за борт дымовые шашки и проворно отскакивал на несколько десятков метров.

Пока береговые артиллеристы с тупым усердием молотили по дыму, расплывавшемуся над водой, он, стоя в стороне, наносил на карту расположение батарей, подсчитывал по вспышкам огневые точки, уточнял скорострельность и калибры орудий.

Шубин с пустыми руками на базу не возвращался никогда.

— Там мины выгружаем, — небрежно говорил он, еще круче сдвигая

набок фуражку. — Оттуда кой-какие пометочки доставляем. Порожняком чего же ходить? Расчеты нет. Как говорится, бензин себе дороже...

Но наиболее важную «пометочку» Шубин прихватил в начале навигации 1944 года, которая началась в середине мая.

Звено катеров, разгрузившись от мин, уже возвращалось домой, как вдруг Шурка-впередсмотрящий негромко сказал: «Свет!» Шубин тотчас застопорил ход.

Огонек над водой был вертикальный и узкий, как кошачий зрачок в ночи. Чуть поодаль возник второй, дальше третий, четвертый. Ого! Да тут целая вереница фонариков! Это фарватер, огражденный вешками с фонариками на них!

Такого моряки еще не видали никогда. Шубин прижался к берегу, продолжая наблюдать. Вдруг огоньки закачались, потревоженные волной, потом начали последовательно исчезать и снова появляться.

Длинная тень бесшумно скользила вдоль фонариков, заслоняя их. Еще мгновение — и снова темно, огоньки потухли.

Что это было? Баржа? Катер с низкой осадкой? Или подводная лодка?

Если подводная лодка, то, судя по тени, она двигалась, выставив над водой только часть своей рубки, подвсплыв наполовину. Зачем было принимать такие предосторожности в тылу своих гарнизонов, тем более ночью?..

ФВК? Да, это был ФВК, но не просто ФВК. На штабных картах остро отточенным карандашом нанесены ломаные линии. Против каждой из них стоит: ФВК № 1, ФВК № 2 — то есть фарватер военных кораблей. Ведь и среди собственных своих минных банок, сетей, бонов приходится двигаться с опаской, обходя их бочком. Это как бы ход конем, многократно повторенный. И для разведчика всегда соблазнительно разгадать этот ход, понять тайну зигзага — число и порядок поворотов.

Вновь обнаруженный ФВК был не только секретным: он был необычным. Для вящей безопасности его даже обвеховали плавучими огоньками!

Что же это за цаца такая передвигается по нему? Шубину, конечно, до смерти захотелось приспособить аллею фонариков для себя, для своих секретных прогулок по тылам врага. Лихая была бы штука, и как раз в его вкусе!

Но фонарики больше не зажигались. Светящаяся тропа в шхерах поманила и мгновенно исчезла, будто ее и не было никогда.

## 2. Особо ценный груз

Командир островной базы поднял сердитые глаза на Шубина:

— Не шхеры — ящик с сюрпризами! Того и жди, какая-нибудь новая пакость вдруг выскочит. — Он побарабанил пальцами по столу. — Придется в шхеры еще разок!

— Есть, хорошо! — с обычной четкостью «отрубил» Шубин, и даже туловище его, выражая стремительную готовность, подалось вперед. Но лицо, увы, не сработало в такт с туловищем.

— Без мин, без мин! — поспешно сказал командир. — Беспокоит эта светящаяся дорожка. Темно на карте у меня. Ведь это плохо, когда на карте адмирала темно?

Шубин повеселел, поняв, что речь идет не о минных постановках.

— Это я мигом, товарищ адмирал! Как говорится, одна нога здесь, другая — там. Подстерегу эту бэдэбешку<sup>[9]</sup> или подводную лодку — кто там ходит, — пристроюсь потихонечку в кильватер и...

— Нет, поделикатнее надо. — Командир базы встал, плотнее прикрыл дверь. — Высадишь мне разведчика в шхерах, понял?

— Обижаете, товарищ адмирал! Зачем посторонних людей впутывать? Мой юнга увидел светящуюся дорожку. Мы ее открыли, мы и закроем.

— Ох! Жадный ты, Шубин, спасу нет! Вся грудь в орденах, все мало тебе!

— Да разве я из-за орденов!..

Домой Шубин вернулся очень недовольный адмиралом.

— Не дает закруглить с этой светящейся дорожкой, — пожаловался он гвардии лейтенанту Князеву. — «Прикажу, говорит, разведчика потолковой подобрать, чтобы немецкий хорошо знал». — «Да я сам, докладываю, неплохо знаю. В училище при кафедре дополнительно занимался». Нет, уперся и уперся! Ты же знаешь его!..

Ночное небо было затянуто тучами, моросил дождь.

— Погодка как на заказ! — бодро сказал боцман, желая поднять настроение своего командира.

Тот, однако, промолчал.

В назначенный час Шубин на своем катере перешел к северному причалу.

Под дождем сутулился разведчик базы Селиванов.

Шубин спрыгнул на заскрипевшие доски настила, козырнул. Селиванов вяло усмехнулся:

— Ну и муть нынче! Только по швартовке узнаешь друзей!

Но Шубин не был расположен к шуткам.

— Тебя высаживать?

— Нет, девушку одну.

Шубин поморщился:

— То-то опаздывает. Девушки всегда опаздывают.

— Тебе просто не везло. Попадались неаккуратные.

Из темноты выдвинулось нечто конусообразное, с надвинутым на лоб капюшоном, в расходящейся колоколом плащ-накидке. Матово сверкнули два чемоданчика, скользких от дождя.

Товарищ Шубина прошлым летом высадил в тылу врага комсомолку-партизанку. «Головой отвечаешь! — сказали ему. — Катер утопи, сам погибни, но чтоб девушка была жива. Будет жива — большой урон нанесет врагу!» И точно! Вскоре узнали, что взорвано здание одного из немецких штабов, куда комсомолка устроилась уборщицей.

«Такая тоненькая, худенькая, девчушка совсем, — растроганно повествовал моряк. — А силища-то какова! Запросто фашистский штаб со всеми потрохами на воздух!»

Тогда еще у Шубина сформировалась шутка, одно из тех доходчивых острых словечек, которые так ободряли и воодушевляли его матросов. Случая только не было сказать. И вот — случай!

Косясь на застывшую в ожидании команду, Шубин громко и весело сказал:

— Внимание! Особо ценный груз везем! Не растрясти, беречь, не кантовать!

И, пропустив девушку с чемоданчиками, взял ее под локти, немного приподнял и снова с осторожностью поставил на трап.

Однако ситуация неожиданно обернулась не в его пользу.

Шубина толкнули в грудь, да так, что он пошатнулся. Стараясь удержаться на трапе, он неуклюже схватил девушку в объятия, попросту сказать, уцепился за нее, чтобы не упасть. Со стороны, наверно, выглядело дико, глупо!

За спиной Селиванов сказал, по обыкновению лениво растягивая слова:

— Забыл познакомиться. Метеоролог из Ленинграда, старший техник-лейтенант Мезенцева, а это...

Мезенцева, не пытаясь высвободиться, но откинувшись всем корпусом назад, пренебрежительно сказала:

— Что ж, и дальше будем так, в обнимку? Мы не на танцах, товарищ

старший лейтенант!

А глаза-то, глаза! Холодом обдало Шубина!

Потом стало вдруг очень жарко — будто из-под ледяного душа сразу прыгнул под горячий. Девушка ко всему оказалась еще офицером и в одном с ним звании. В жизни не был в таком дурацком положении! А он терпеть не мог быть в дурацком положении! Он отступил на шаг, хмуро огляделся. Матросы на палубе таращили на него глаза, но не смеялись. Еще бы! Только улыбнись, посмей!

По счастью, была возможность разрядки.

— По местам стоять! — сердито, с раскатом, скомандовал Шубин. — Со швартовых сниматься!

Все разбежались по своим местам. Смеяться-то стало уж и некогда!

— Заводи моторы!

Из выхлопов вырвалось пламя с дымом. Моторы яростно взревели.

Катер Князева, ожидавший в море, выдвинулся из темноты. Пирс с Селивановым скрылся за косыми струями дождя...

Катера шубинского звена шли строем уступа, почти рядом. Так веселее, бодрее в открытом море, да еще ночью.

Оглядываясь через плечо, Шубин видел свой второй катер. Вася Князев, добрый малый, исполнительный и храбрый, но на редкость смешливый! Это, однако, повезло, что он не присутствовал при инциденте.

«Мы не на танцах, товарищ старший лейтенант!» Ух! Будто наотмашь по лицу! Даже шутку не дала округлить, досказать насчет ценного груза.

До боли в пальцах Шубин сжал штурвал.

Случись это на эсминце или на «морском охотнике», он попросил бы девушку сойти с мостика, вежливо упрятал бы ее подальше в каюту. Но на торпедном катере кают нет. Обидчица оставалась тут же, за спиной.

Она молча сидела нахохлившись в своей плащ-накидке. Моряки проявили о ней заботу, устроили на коробках с пулеметными лентами. Командир, боцман и механик своими телами прикрывали пассажирку от встречного ветра и брызг.

«Дуется, — продолжал думать Шубин. — А чего дуться-то? Ну, может, неудачно пошутил, не удалась шутка. Бывает! Но ведь не зубоскалил, нет? Просто хотел подбодрить и ее и матросов, разрядить напряжение. Молода. Не понимает, как важна шутка на войне. А что за плечи взял, так по-хорошему же взял, по-дружески, не как-нибудь там...»

«В обнимку!» И в мыслях не было никаких «обнимок». А она безо

всякого ка-ак двинет локтем! Глупо!

Не хватало еще плюхнуться в воду вместе с нею — при матросах и Селиванове!

Наверно, Шубину стало бы легче, если бы он смог высказаться. Но обстановка не располагала к выяснению отношений. Катер подбрасывало, мотало. Того и гляди, прикусишь язык. И моторы ревели, как буря. Где уж тут отношения выяснять!..

Не был бы Шубин так занят и зол, наверно, залюбовался бы тем, как играет бурун за кормой. Клокочущая пена, вырываясь из-под винтов, сверкала, искрилась, будто подсвеченная изнутри. Это светились в воде микроорганизмы. Было похоже на рои светляков или мерцание смазанных фосфором часовых стрелок и циферблата.

Да, красиво, но опасно! В открытом море еще терпимо, а вот у вражеского берега, в непосредственной близости от наблюдателей, прильнувших к окулярам своих стереотруб, дальномеров, биноклей...

Шубин скомандовал:

— Малый ход!

— Есть малый ход! — ответил механик, который стоял на дросселях, управляя газом, то есть регулировал подачу топлива в моторы. Князев тоже сбавил ход. Торпедные катера приближались к шхерам. Теперь-то и начиналось самое трудное и опасное.

Шубин положил право руля:

— Еще убавь обороты!

И с горечью, погромче, чтобы и пассажирка слышала:

— Ну, теперь все! Как говорится: ямщик, не гони лошадей!..

Катера вплотную подошли к опушке шхер.

Моряки закончили на ходу последние приготовления. Ватными матрацами прикрыли моторы от осколков, брезентом затянули снаружи смотровое стекло рубки, чтобы не отсвечивало при вспышках. Шубин надел темные очки. Сверкнет луч прожектора и сразу ослепит!

С осторожностью втянулись в узкий пролив.

Грязно-белая пелена висела над головой. Разорванные клочья ее цеплялись за борт и плыли по воде.

Протискиваясь сквозь густой туман, крался Шубин лабиринтом шхер. Крался, как обычно, «на цыпочках», до предела уменьшив обороты моторов. И, можно сказать, почти зажмурившись, потому что много ли увидишь в таком тумане?

Он шел по счислению.

Юнге это объяснял так.

«Представь себе, — говорил Шубин, — едешь ты в трамвае. Зима. Окна залепило снегом. Но знаешь, что надо сходить на десятой остановке. Вот сидишь и считаешь: первая, вторая, третья... Или еще вариант. Едешь в дачном поезде. Ночь. Пейзажа за окном никакого. Темно и темно. Но известно, что поезд идет до твоей станции ровно час. Вот когда начнет этот час истекать, тебе пора уже волноваться, смотреть в окно, спрашивать других пассажиров...»

То и дело Шубин поглядывал на часы и проверял себя по табличке пройденных расстояний. Карта района покачивалась перед ним, слабо освещенная лампочкой под колпачком. Все расстояния, все зигзаги и повороты были известны, а также промежутки времени, за которые можно их пройти тем или иным ходом. Столько-то оборотов мотора — столько-то метров, это подсчитано еще весной на мерной миле.

Но часы не только вели. Они подгоняли.

Разведчицу надо было доставить в определенное место, высадить и обязательно уйти до рассвета. Ночи в мае коротки. А днем в шхерах как в муравейнике.

По временам туман рассеивался — обычно он идет волнами, — и тогда Шубин спешил проверить себя по ориентирам.

С напряженным вниманием вглядывался он в пятна, неясно вырисовывавшиеся в тумане: одинокие скалы, купы деревьев, близко подступившие к воде. Места опасные. Узкий пролив простреливается кинжальным огнем.

Неожиданно во тьме прорезался светлый четырехугольник. Еще один! Второй! Третий!

Четырехугольники беспорядочно вспыхивали и потухали. Тревога! Фашисты, выбегая наружу, открывают и закрывают двери блокгаузов.

Сейчас — пальба!

Шубин сердито взглянул на часы.

Три минуты еще идти по прямой, заданным курсом. Отвернуть нельзя. Отвернуть разрешается лишь через три минуты, не раньше и не позже. Это шхеры!

Над берегом взвились две красные ракеты. Вот как? Фашисты колеблются, затребовали опознавательные?

Но Шубин нашелся и в этом, казалось, безвыходном положении.

Это уже потом придумали насчет косынки. В бригаде со вкусом рассказывали о том, как Шубин вместо флага поднял на мачте пеструю



косынку пассажирки. Ведя катер в перекрестье лучей, фашисты тарасились на невиданный флаг. Селиванов утверждал даже, что они кинулись к сигнальной книге, пытаясь прочесть непонятный флажный сигнал. А хитрый Шубин тем временем вывел свои катера из опасного сектора обстрела.

Но, как выражался Князев, «это была версия».

И впрямь: дело-то происходило ночью, какие же флажные сигналы могут быть видны ночью?

Неверно и то, что боцман по приказанию Шубина дал в ответ две зеленые ракеты — просто так, наугад, — и это случайно оказались правильные опознавательные.

На самом деле Шубин поступил иначе.

— Пиши! — скомандовал он. — Мигай в ответ!

Боцман оторопел:

— Чего мигать-то?

— А чего на ум взбредет! Вздор! Абракадабру какую-нибудь... Да шевелись ты! Морзи, морзи!

Боцман торопливо защелкал задвижкой сигнального фонаря, бросая на берег отблеск за отблеском: короткий, длинный, короткий, длинный, то есть точки и тире. Он ничего не понимал. Морзит? Да. Но что именно морзит? Просто взял и высыпал во тьму целую пригоршню этих точек и тире. Могло, впрочем, сойти за код. А пока изумленные фашистские сигнальщики разгадывали боцманскую «абракадабру», катера прошли нужный отрезок пути, благополучно отвернули и растаяли в ночи.

— Удивил — победил, — сказал Шубин, как бы про себя, но достаточно внятно для того, чтобы услышала пассажирка.

Вероятно, фашисты ожидали прохода своих катеров и приняли за них шубинское звено.

Для высадки метеоролога командование облюбовало небольшой безымянный островок, очень лесистый. Что должна здесь делать Мезенцева, моряки не знали.

Остров, по данным авиаразведки, был безлюден. Оставалось только затаиться меж скал и корней деревьев, выставив наружу рожки стереотрубы наподобие робкой улитки. Моряки с лихорадочной поспешностью принялись оборудовать убежище. Была углублена щель между тремя привалившимися друг к другу глыбами, над ними натянута камуфлированная сеть, сверху навалены ветки. Дно щели заботливо

устлали хвоей и бросили на нее два или три одеяла.

Маскировка была хороша. Даже прут антенны, торчавший из щели, можно было принять издали за высохшую ветку.

— По росту ли? — спросил Шубин.

— А примерьтесь-ка, товарищ старший техник-лейтенант, — пригласил боцман.

Девушка спрыгнула в яму и, согнувшись, присела там. Шубин заглянул ей в лицо. Перехватив его взгляд, она выпрямилась.

— Укачало, — пробормотал боцман. — Еле стоит...

Будь это мужчина, Шубин знал бы, что сказать. С улыбкой вспомнил бы Нельсона, который, говорят, всю жизнь укачивался. На командирском мостике рядом с адмиралом неизменно ставили полотняное ведро. Ну и что из того? Командовал адмирал. И, надо отдать ему должное, вполне справлялся со своими обязанностями.

Пример с Нельсоном неизменно ободрял. Но девушке ведь не скажешь про это.

И вдруг Шубин осознал, что вот они уйдут отсюда, а она останется — одна во вражеских шхерах!

Он подал ей чемоданчики и наклонился над укрытием.

— С новосельем вас! — попробовал он пошутить. — Теперь сидите тихо, как мышка, наберитесь терпения...

— А у нас, метеорологов, вообще железное терпение.

Намек, по-видимому, на его счет. Но Шубин был отходчив. Да сейчас и обижаться было бы неуместно.

— Профессия у вас такая, — добродушно сказал он. — Как говорится, у моря ждать погоды.

Девушка отвернулась. Лицо ее по-прежнему было бледно, надменно.

— Вы правы, — сухо подтвердила она. — Такая у меня профессия: у моря — ждать — погоды...

### 3. Семьдесят три пробоины

Что-то все время саднило в душе Шубина, пока он вел звено на базу.

Доложив о выполнении задания, они пришли с Князевым в отведенный для офицеров рыбацкий домик, поспешно стащили с себя комбинезоны и, не обменявшись ни словом, повалились на койки.

И вдруг Шубин почувствовал, что не хочет спать.

Он удивился. Обычно засыпал сразу, едва коснувшись подушки. Но

сейчас мучило беспокойство, тревога, чуть ли не страх. Это было на редкость противное состояние и совершенно непривычное. Шубин подумал даже, не заболел ли он. В точности не мог этого сказать, так как смутно представлял себе ощущения больного, — отродясь в своей жизни не болел.

Совесть нечиста у него, что ли? Но при чем тут совесть? Приказали высадить девушку в шхерах, он и высадил. Что еще мог сделать? Доставил хорошо, в полной сохранности, и высадил по всем правилам, скрытно, секретно, а остальное уже не его, Шубина, дело.

Но не помогало. Он вообразил, как девушка, сторбившись, сидит в своем убежище, положив круглый подбородок на мокрые, скользкие камни, с напряжением вглядываясь в темноту.

Изредка хлещет по воде предостерегающий луч.

Он быстро катится к островку. Девушка невольно пригибает голову. Наклонный дымящийся столб пронесся над головой. Через мгновение он уже далеко, выхватывает из мглы клочки противоположного берега.

И после этого еще темнее. И воет ветер. И брызги со свистом перелетают через вздувающуюся камуфлированную сеть...

Шубин пожегся под одеялом. Неуютно в шхерах ночью! А утром будет еще неуютнее, когда станут шнырять «шюцкеры»<sup>[10]</sup>, полосатые, как гиены, и завертятся рожки любопытных стереотруб на берегу.

Нет, как-то ненормально получается. Воевать, ходить по морю, проникать во вражеские тылы — дело мужское. Девушкам, так он считал, положено тосковать на берегу, тревожиться за своих милых, а когда те вернутся, лепетать разный успокоительный и упоительный женский вздор.

Хотя, пожалуй, это не вышло бы у старшего техника-лейтенанта. Девушка не та. Какой был у нее холодный, удерживающий на расстоянии взгляд! А потом она гордо отвернулась, закуталась в свою плащ-накидку, будто королева в мантию, и слова не вымолвила до самых шхер.

«Да, такая у меня профессия, — сказала она, — у моря — ждать — погоды...» Что это могло означать? Зачем забросили метеоролога во вражеский тыл?

Шубин оделся — потихоньку, чтобы не разбудить Князева. За окном был уже день, правда пасмурный. Солнце только подразумевалось на небе, где-то в восточной части горизонта.

Пожалуй, стоит сходить на КП<sup>[11]</sup>, повидаться с Селивановым, — он, кстати, дежурит с утра.

Поглядывая на небо и прикидывая, не налетят ли вражеские бомбардировщики, Шубин миновал осинник, где темнели огромные

замшелые валуны. Ноги вязли в песке.

За поворотом, на мысу, он увидел множество чаек. Воздух рябил от снующих взад и вперед птиц. Их разноголосый немолчный крик наводил тоску. Шубин не любил чаек. Плаксы! Надоедливые и бесцеремонные попрошайки, вдобавок еще и воры — обворовывают рыбацьи сети!

Летом на поляне было много цветов, высоченных, по пояс человеку. Бог их знает, как они назывались, но были величественные, красивые. Соцветие напоминало длинную, до пят, пурпурную мантию, а верхушка была увенчана конусом наподобие остроконечной шапки или капюшона.

Вот такой букет поднести бы старшему технику-лейтенанту! Ей бы подошло. Но лета долго ждать...

Блиндаж КП базы располагался в глубине леса и был тщательно замаскирован. Перед входом торчали колья. На них натянута была камуфлированная сеть, а сверху набросаны еловые ветки и опавшие листья.

Пригибаясь, Шубин прошел под сетью, спустился по трапу.

Со свету показалось темновато. Лампочки горели вполнекала, зато неугасимо. На КП не было деления на утро, день, вечер, ночь — военные сутки шли сплошняком. Недаром же говорят не «пять часов вечера», а «семнадцать ноль-ноль», не «четверть двенадцатого ночи», а «двадцать три пятнадцать».

Селиванов заканчивал принимать дежурство. Его предшественник снимал с себя нарукавную повязку — атрибуты дежурного. На усталом лице его было написано: «Ох, и завалюсь же я, братцы, и задам же храпака!..» Он так вкусно зевал, так откровенно предвкушал отдых, что Шубину стало завидно. Вот ведь счастливый человек — заснет и думать не будет ни о каких девушках в шхерах!

— Ты? — удивился Селиванов. — Не спишь?

— Не спится.

— Нельзя не спать. А если ночью в шхеры?

— За Мезенцевой?

— Собственно, не положено об этом, — сказал Селиванов, по обыкновению, солидно и неторопливо, — но поскольку ты ее высаживал... И этот секретный фарватер твой юнга обнаружил...

Они прошли ряд маленьких комнат с очень низким потолком и стенами, обитыми фанерой. Адмирал отсутствовал. Посреди его кабинета стоял стол, прикрытый листом картона. Селиванов отодвинул картон. Под стеклом лежала карта. Сюда по мере изменения наносилась обстановка на море. Взад и вперед передвигались по столу фишки, игрушечные кораблики с мачтами-стерженьками.

Стоя над картой, Шубин сразу, одним взглядом, охватил все, словно бы забрался на высоченную вышку. А на самом краю стола, в бахrome шхер, нашел тот узор, внутри которого довелось побывать ночью. Там торчала булавка с красным флажком.

— Вот она где, подшефная твоя!

— А зачем ее сюда?

— Походная метеостанция.

— А! Готовим десант?

Селиванов заботливо закрыл стекло картоном.

— Большая возня вокруг этого флажка идет, — уклончиво сказал он. — Две шифровки было уже из штаба флота.

Но обязанности дежурного заставили его отойти от Шубина.

Тот присел на скамью. Десант — это хорошо! Торпедные катера будут, наверно, прикрывать высадку.

Перед десантом обычно создают группу гидрометеослуживания. Надо проверить подходы, опасности у берега, накат волны, ветер, видимость, температуру воды. А заодно обшарить биноклем весь участок предполагаемой высадки — много ли проволочных заграждений, есть ли доты и другие фортификационные сооружения?

Вот почему метеорологи идут впереди десанта. Перед шумной «оперой», так сказать, под сурдинку исполняют свою разведывательную «увертюру».

Шубин долго ждал — что-то около часа. Наконец ему удалось перехватить Селиванова, пробежавшего мимо озабоченной рысцой.

— Ну? Не договорил.

— О чем?

— Забыл! О десанте.

Селиванов нетерпеливо дернулся, но Шубин придержал его за рукав:

— Опасно, а?

— Что?

— Передавать о погоде из шхер?

— Из нашего тыла, понятно, безопаснее. — Селиванов с достоинством посмотрел на Шубина. — Сколько раз я объяснял тебе: данные о погоде зачастую оплачиваются кровью!

— Но почему девушку туда?

— Мезенцева хорошо знает шхеры, до войны служила на Ханко.

И с этим, по-прежнему взволнованный, неудовлетворенный, Шубин вернулся домой.

А там уж не продохнуть от табачного дыма. В тесную комнатенку

набилось человек пятнадцать, и все с папиросами или трубками в зубах. Офицеры дивизиона, идя завтракать, по обыкновению, зашли за Шубиним.

По дружному хохоту он предположил, что вышучивают метеорологов.

Так и есть! Среди катерников сидел гость — метеоролог. Азартно поблескивая глазами, Князев насакивал на него:

— Хиромант! Ты есть хиромант! Как дали вам, метеорологам, это прозвище, так и...

На флоте с легкой руки знаменитого ученого и очень остроумного человека, инженер-контр-адмирала Крылова, принято было иронически относиться к метеорологам. Сам Шубин не раз повторял хлесткую крыловскую фразу: «К точным наукам отношу математику, астрономию, к неточным же — астрологию, хиромантию и метеорологию».

Гость слабо отбивался.

— Нет, ты пойми, — говорил он, — ты вникни. Чтобы предсказать погоду для Ленинграда, нужно иметь метеоданные со всех концов Европы. Погода идет с запада, по направлению вращения Земли. А в Европе повсюду фашисты. Вот и приходится хитрить, применять обратную интерполяцию, метод аналогов...

Князев обернулся к Шубину:

— Доказывает, что у них свой фронт — погоды и воевать на нем потруднее, чем на остальных фронтах.

Все общество в веселом ожидании посмотрело на Шубина.

Но Шубин на этот раз не оправдал надежд.

— И правильно доказывает, — хмуро сказал он. — Молодой ты! Самое трудное на войне — ждать, понимаешь? У моря — ждать — погоды...

Вечером, будто гуляючи, Шубин прошелся мимо метеостанции, которая помещалась по соседству со стоянкой торпедных катеров.

Белыми пятнами выступали в тумане жалюзные будки, где находились приборы. Над ними высился столб с флюгером. Это было хитроумное сооружение для улавливания ветра — от легчайшего поэтического зефира до грозного десятибалльного шторма. На макушке столба покачивалось металлическое перо с набалдашником-противовесом. Тут же укреплена была доска, колебания которой — отклонения от вертикальной оси — определяли силу ветра.

Шубин представил себе, как девушка остороженько, за ручку, вводит в шхеры военных моряков. Умница! Милая!

Но как же ей трудно сейчас!

За расплывчатыми, неясными в тумане очертаниями метеостанции виделась Шубину другая — тайная — метеостанция. Что, кроме рации, могла привезти девушка в своих чемоданчиках? Легкий походный флюгерок, психрометр для определения влажности, анероид для определения давления воздуха, термометр, секундомер...

Наблюдения за погодой девушка производила с оглядкой, пряча переносной флюгерок за уступами скал или деревьями, ползком выбираясь из своей норы. Каждую минуту ее могли засечь, обстрелять.

Вот что означало выражение: «ждать у моря погоды».

А он-то как глупо сострил тогда!

Утром доска флюгера занимала наклонное положение. Сейчас она стояла ровнехонько, даже не шелохнулась. Ветер стих.

Прошел этот — очень длинный — день. Прошел и второй. С десантом, как видно, не ладилось.

На рассвете третьего дня стало известно о движении вражеского конвоя, пересекавшего залив. Шубин получил приказание нанести удар по конвою четырьмя торпедными катерами.

Когда он, затягивая на ходу «молнию» комбинезона, спешил к пирсу, его окликнули. Возле жалюзных будок стоял Селиванов.

— Шу-би-ин! — орал он, приложив ладони рупором ко рту. — Подшефная!

Шубин остановился как вкопанный. Но ветер относил слова. Удалось разобрать лишь: «Шубин», «подшефная», хотя Селиванов очень старался, даже приседал от усердия.

Впрочем, багровое от натуги лицо его улыбалось. Ну, гора с плеч! Улыбается — значит, в порядке! Мезенцеву вывезли из шхер!..

Еще на выходе все заметили, что Шубин в ударе. С особым блеском он отвалил от пирса, развернулся и стремительно понесся в открытое море.

— Командир умчался на лихом коне! — многозначительно бросил Князев своему механику. — Полный вперед!

Однако обстановка была неблагоприятна — над Финским заливом висел туман.

По утрам он выглядит очень странно — как низко стелющаяся поземка. Рваные хлопья плывут у самой воды, а небо над головой, в разрывах тумана, ясно. Коварная дымка особенно сгущается у болотистых берегов.

Туман — отличное прикрытие от вражеской авиации. Но он мешал и нашим самолетам. Обычно они сопровождали торпедные катера и наводили на цель. Сегодня их не было. Приходилось обходиться своими силами.

Время было около полудня, когда в редящем тумане появилось пятно, неоформленный контур. По мере приближения начали прорисовываться более четкие силуэты. По корабельным надстройкам можно было определить класс кораблей. В составе каравана шел транспорт. Его сопровождали три сторожевика и тральщик.

Торпедные катера, как брошенные меткой рукой ножи, с ходу прорезали полосу тумана и вырвались на освещенное солнцем пространство.

Их встретил плотный огонь. Снаряды ложились рядом, поднимали белые всплески, но катера прорывались мимо них, как сквозь сказочный, вырвавшийся на глазах лес. Визга пуль за ревом моторов слышно не было. — Шубин круто развернулся и вышел на редан — поднял свой катер на дыбы, словно боевого коня.

Вся суть и искусство торпедной атаки в том, чтобы зайти вражескому кораблю с борта и всадить в борт торпеду. Сделать это можно лишь при самом тесном боевом взаимодействии.

Несколько торпедных катеров насаждают на конвой, отвлекая его огонь на себя. Другие вцепляются мертвой хваткой в транспорт, главную приманку, атакуют одновременно с нескольких сторон.

И все это совершается с головокружительной скоростью, в считанные минуты.

Рассчитав угол упреждения, Шубин нацелился на транспорт. Залп!

Торпеда угодила куда-то в кормовые отсеки. Транспорт замедлил ход, но продолжал уходить.

За спиной уважительно поддакнул пулемет. Боцман прикрывал своего командира короткими пулеметными очередями.

Шубин описал циркуляцию. Вдруг осела корма, катер резко сбавил ход.

— Осмотреть отсеки!

Оказалось, что кормовой отсек быстро наполняется, вода продолжает прибывать через пулевые и осколочные пробоины в борту.

Шубин не раздумывал, не прикидывал — весь охвачен был вдохновением боя:

— Прорубить отверстие в транце!<sup>[12]</sup>

Шурка Ластиков в ужасе оглянулся. Пробивать отверстие? Топить



катер?

Боцман пробил топором транцевую доску. Вода, скоплавшаяся в кормовом отсеке, стала выходить по ходу движения, и катер сразу выровнялся и увеличил ход.

Да, сохранять скорость! Ни на секунду не допускать остановки!

На третьей минуте боя осколком был поврежден один из моторов. Пресная вода, охлаждавшая цилиндры, начала вытекать из пробитого мотора. И опять решение возникло мгновенно:

— Охлаждение производить забортной водой!

Никогда еще шубинский катер не получал столько повреждений. Он был весь изранен, изрешечен пулями и осколками снарядов. Не мешкая, надо было уходить на базу.

Но Шубин твердо помнил правила взаимодействия в бою. Вдруг все с изумлением увидели, что подбитый катер выходит в новую торпедную атаку. Он стремглав несся на врага, как разъяренный раненый кит.

Шубин ворвался в самую гущу боя.

Именно его вмешательство — в наиболее острый, напряженный момент — решило успех. Трех катеров было недостаточно для победы, но четвертый, пав на весы, перетянул их на нашу сторону.

При виде выходящего в атаку Шубина немецкий транспорт, уже подбитый, начал неуклюже поворачиваться к нему кормой, чтобы уменьшить вероятность попадания. И это удалось ему. Он уклонился от второй шубинской торпеды. Зато Князев, поддержанный товарищем, успел выбрать выгодную позицию и, атаковав транспорт с другой стороны, всадил в него свою торпеду.

Не глядя, как кренится окутанный дымом огромный корабль, как роем вьются вокруг него торпедные катера, Шубин развернулся. На той же предельной скорости, вздымая огромный бурун, он умчался на базу...

Во флотской газете появился очерк «Семьдесят три пробоины». Именно столько пробоин насчитали в шубинском катере по возвращении.

Эпиграфом к очерку было взято изречение Петра Первого: «Промедление времени смерти подобно».

Бой расписали самыми яркими красками. Не забыли упомянуть о том, что, когда завеса тумана раздернулась и моряки увидели конвой, как назло, отказали ларингофоны. Однако командиры других катеров поняли Шубина «с губ», как понимают друг друга глухонемые. Они увидели, что тот повернулся к механику и что-то сказал. Команда была короткой. Характер

Шубина был известен, в создавшемся положении Шубин мог приказать лишь: «Полный вперед!» И катера одновременно рванулись в бой!

Это дало повод корреспонденту порассуждать о едином боевом порыве советских моряков, а также о той удивительной военно-морской слаженности, слаженности, при которой мысли чуть ли не передаются на расстоянии.

Но, перечисляя слагаемые победы, он упустил одно из них... Корреспондент не знал, что Мезенцеву благополучно вывезли из шхер. Радость Шубина искала выхода, переплескивала через край. И вот — подвиг!..

Шубин получил флотскую газету вечером, стоя подле своего поднятого для ремонта катера. Свет сильных электрических ламп падал сверху. Механик и боцман лазали на четвереньках под килем, отдавая распоряжения матросам. Лица у всех были озабоченные, напряженные.

— Про нас пишут! — С деланной небрежностью Шубин протянул газету механику. — Поднапутали, как водится, но, в общем, я считаю, суть схвачена.

А пока моряки, сгрудившись, читали очерк, он отступил на шаг от катера и некоторое время молча смотрел на него.

Заплаты, которые накладывают на пробоины, разноцветные. На темном фоне они напоминают нашивки за ранение. Правда, следов прошлогодних пробоин уже не видно, потому что катера заново красят каждой весной.

Но и с закрытыми глазами, проведя рукой по шероховатой обшивке, Шубин мог рассказать, где и когда был «ранен» его катер.

Здесь, в походном эллинге, застал Шубина посыльный из штаба.

## 4. Берег Обманный

К ночи разъяснило. Багровая луна лениво выбиралась из-за сосен.

Луна — это нехорошо. В шхерах будет труднее. А вызов к адмиралу несомненно связан со шхерами.

Шубин засмотрелся на небо и споткнулся. Под ноги ему подкатилось что-то круглое, обиженно хрюкнуло, зашуршало в кустах. Еж! На Лавенсари уйма ежей.

Шубин привычно поднырнул под сеть, растянутую на кольях. С силой толкнул толстую дверь и, очутившись в блиндаже, увидел бывшую свою пассажирку.

Впервые по-настоящему он увидел ее — без плащ-накидки и надвинутого на лоб капюшона. Будто упал к ее ногам этот нелепый пятнистый, с плотными, затвердевшими складками балахон, и она предстала во весь рост перед изумленным Шубиным! Статная, высокая. С гордо поставленной головой. В щегольски пригнанной черной шинели, туго перетянутой ремнем. В чуть сдвинутом набок берете, из-под которого выбивались крутые завитки темных волос.

Вокруг нее теснились летчики. Она смеялась.

«Конечно, окружена, — подумал с неудовольствием Шубин. — Такая девушка всегда окружена».

Он козырнул и прошел к столу адъютанта.

— Зачем вызывали?

— Со шхерами что-то опять. Десант отменили, ты же знаешь.

Шубин не утерпел и оглянулся. Мезенцева задумчиво смотрела на него. В руке белел номер флотской газеты. Ага! Прочла, стало быть, о пробоинах.

Летчиков позвали к адмиралу. Шубин подошел к Мезенцевой.

— Здравия желаю, товарищ старший техник-лейтенант, — бодро сказал он. — Разрешите поздравить с благополучным возвращением.

— И вас разрешите — с потопленным транспортом!

— Это товарища моего надо поздравлять. Он потопил.

— Не скромничайте. Без вас бы не потопил. Вот — пишут в газете!

Они сели рядом.

— Поднапутали малость сгоряча, — сказал Шубин. — Смотрите-ка: «Струи воды хлестали из пробоин во все стороны, напоминая фонтаны статуи Самсона в Петергофе». Не струи. Одна струя. И не во все стороны, а вверх. И еще: «Чем стремительнее мчался героический катер, тем выше задирался его нос, в котором зияли отверстия от пуль, и тем меньше их заливало водой». Уловка моя была не в этом. И назад я шел не на редане.

— Ничего не поделаешь. Вокруг вас творится легенда.

— Ну что ж, — охотно согласился Шубин, — творится так творится!.. Но вы еще больше молодец. Я бы, знаете, не смог, как вы. В одиночку! Спешенным! Без торпед и пулемета!

— Надо было бы, смогли. Человек не подозревает и сотой доли заложенных в нем возможностей... Даже такой лихой моряк, как вы. — Мезенцева посмотрела на него искоса, с лукавым вызовом.

Совсем по-другому держалась сейчас: непринужденно и весело, охотно показывая в улыбке ровные, очень красивые зубы (рот был тоже красивый, твердых, четких очертаний).

Разговаривать, однако, приходилось с паузами, часто переспрашивая друг друга. В приемной было тесно, шумно. Мимо сновали офицеры, то и дело окликая и приветствуя Шубина или Мезенцеву.

— Нет, думаю, не смог бы, — возразил Шубин. — Я знаю себя. Вот вырвался вчера на оперативный простор, отвел душу. А то на шхерных фарватерах этих — как акробат на проволоке. Сами видели.

Она засмеялась.

Разговор вернулся к тем же семидесяти трем пробоинам.

— В рискованном положении, — сказал Шубин, — опаснее всего усомниться в своих силах. Ну, с чем бы это сравнить?.. Хотя бы с восхождением на крутую гору. Нельзя оглядываться, смотреть под ноги — надо только вверх и вверх!..

Он перевел дух — почему-то очень волновался.

— Есть военный термин, — продолжал он, — наращивать успех, приучать себя к мысли, что неудачи не будет, не может быть!

Мезенцева подсказала:

— Создавать инерцию удачи?

— Как вы понимаете все! — благодарно сказал он. — Это удивительно! С полуслова. Именно — инерцию!.. Я, например, стараюсь вспомнить перед боем о чем-то очень хорошем. Не только о боях, кончившихся хорошо, но и о самых разнообразных своих удачах. О тех личных удачах, которыми я больше всего дорожу. Такие воспоминания, как талисман... — Он вопросительно посмотрел на нее: — Может, смешно говорю?

— Нет, отчего же? Очень верно, по-моему. Успех рождает успех. Создается приподнятое настроение, в котором все легче удастся, чем обычно.

Не отрываясь Шубин смотрел на нее.

— Вы умная, — прошептал он. — Вы очень умная. Я даже не ожидал.

Мезенцева опять засмеялась, немного нервно. В разговоре об удаче все настойчивее пробивалась иная тема, какой-то новый, опасный подтекст.

— Нас позовут сейчас к адмиралу. — Она сделала движение, собираясь встать. Но Шубин удержал ее:

— Хотите, скажу, о чем, вернее, о ком я думал во вчерашнем бою?

Интонации его голоса заставили Мезенцеву внутренне подобраться, как для самозащиты.

— Хотите? — настойчиво повторил он, еще ближе придвигаясь к ней.

Мимо прошли два офицера. Один из них негромко сказал другому:

— Смотри-ка, Шубин атакует!

— Уж Боря-то не промахнется, будь здоров!

Они засмеялись.

Шубин не услышал этого, а если бы и услышал, наверно, не понял — так поглощен был тем, что звучало в нем. Но Мезенцева, к сожалению, услышала.

— Я думал о вас, — негромко продолжал он. — Нет, не отодвигайтесь. Я просто думал, какая вы. И еще о том, что мы встретимся. Мы не могли не встретиться, понимаете? Иначе, какой бы я был Везучий? Это прозвище мне дали — Везучий!..

Он улыбнулся своей открытой, мальчишеской, немного смущенной улыбкой. Но Мезенцева не смотрела на него и не увидела улыбки. Она чувствовала, что от этого объяснения в любви — и где? на КП! — у нее пылают щеки.

Красивой девушке, которая находится среди молодых, легко влюбляющихся мужчин, надо быть всегда настороже. В любой момент может потребоваться деликатный или даже неделикатный отпор. Но никто еще не ставил Мезенцеву в такое нелепое положение. Стало быть, все видят, что Шубин «атакует»? И как там дальше? «Боря не промахнется, будь здоров!..» Это прозвучало нестерпимо пошло.

Она встала.

— Я убедилась, товарищ старший лейтенант, — надменно сказала она. — У вас действительно военный характер. Вы нигде и никогда не теряете времени даром.

Двери кабинета распахнулись, и начальник штаба, стоя на пороге, назвал нескольких офицеров, в том числе Шубина и Мезенцеву. На минуту она задержалась. Женщины, даже самые лучшие из них, уколов, не преминут еще повернуть нож или булавку в ране. Сделала это и Мезенцева.

— В начале нашего с вами вынужденного знакомства, — сказала она, стоя вполборота, — я решила, что вы развязный Дон-Жуан, из тех, кто ни одной юбки не пропустит. Потом я переменяла это мнение. Но, видно, правду говорят, что первое впечатление — самое верное!

И, не оглянувшись, она проследовала в кабинет, а Шубин остался неподвижно сидеть на скамье.

— Шубин! — сердито позвал начальник штаба. — Не слышал, что ли? Тебя отдельно приглашать?

У стола адмирала сидели представитель штаба флота, командир бригады торпедных катеров, летчик и Мезенцева. Вслед за начальником

штаба вошел и Шубин.

— Прибыл по вашему приказанию, товарищ адмирал!

— Садись, садись!.. Итак, командующий флотом отменил десант. Потери были бы слишком велики, успех сомнителен. Мы должны предложить другой вариант. Прощу, товарищ Мезенцева.

Щеки девушки приобрели уже нормальную окраску. Держалась она чрезвычайно прямо, глуховатый голос был негромок и ровен, как всегда.

— Мое сообщение будет кратко, — сказала она, подходя к карте шхер. — Пролив в этом месте защищен от ветров. Накат невелик, хотя в двадцати метрах от воды намыт бар. Участок берега, где предполагалось высадить десант, оплетен тремя рядами проволочных заграждений. В сопках я насчитала две зенитные батареи, одну береговую, две прожекторные установки и семь дотов. Возможно, что дотов больше. Они хорошо замаскированы.

— Семь дотов, береговая и две зенитные! Ого! — Представитель штаба удивленно покачал головой. — И это в глубине шхер, на таком маленьком участке?

— Так точно. Насыщенность огнем, по моим наблюдениям, возрастает по мере приближения к эпицентру тайны.

Она так и сказала: эпицентр тайны! Шубин вскинул на нее глаза, но промолчал.

— Подтверждается, что там тайна? — Комбриг повернулся к адмиралу. — И тайна важная, если ее так берегут. Как же без десанта?

— Ну, ломиться в дверь за семью запорами!.. Была бы хоть маленькая щель.

Командир базы взглянул на Шубина. Тот встал.

— Разрешите? «Языка» бы нам, товарищ адмирал! Выманить фашистов из шхер, захватить «языка». А я бы задирой от нас пошел.

— Как это — задирой?

— Ну, ходили когда-то стенка на стенку, дрались для развлечения на льду. А мальчишки, которые побойчей, выскакивали наперед, чтобы раззадорить бойцов. Я потихоньку — в шхеры, обнаружил бы себя и с шумом назад! За мной вдогонку «шюцкоры», а тут вы со сторожевиками и «морскими охотниками». Поджидали бы в засаде у опушки шхер. И сразу — цоп его, фашиста!

Он быстро сомкнул ладони.

Адмирал засмеялся — Шубин был его любимцем.

— Фантазер ты!.. А что же про светящуюся дорожку не спросил? Мезенцева не видела ее. Зато кое-что поинтересней видела. Ну-ка,

Мезенцева!

И снова глуховатый голос:

— В первую ночь я увидела огонь на берегу. (Взмах карандашом.)

— По лоции там нет маяков, — сказал начальник штаба.

— Лоция довоенная. — Адмирал обернулся к летчику, который, сохраняя недовольный вид, еще не проронил ни слова: — Каково мнение уважаемой авиации?

Летчик встал и доложил, что целое утро кружил над указанным районом, но не заметил ничего даже отдаленно похожего на маяки, батареи и доты.

— Фотографировал, как я приказал?

— С трех заходов.

Веером он разложил на столе десятка полтора фотографий. Они складывались, как гармошка, потому что были наклеены на картон, а потом еще на марлю, которая скрепляла их на сгибах.

Минуту или две все рассматривали данные аэрофотосъемки.

— То-то и оно! — прокомментировал начальник штаба. — В таких спорах летчик — высший судья.

— Высший-то он высший, — сказал адмирал, — только судит поспешно иной раз. Бросит взгляд свысока, поверхностный взгляд. А Мезенцева была внизу, совсем рядом. Что же, привиделись ей доты эти, маяки? — Он вытащил из ящика лупу. — Загадочная картинка: где заяц? А он где-то у ног охотника. Ну-с! — Адмирал с неожиданно прорвавшимся раздражением отодвинул фотографии. — Каково мнение главного специалиста по шхерам?

Шубин даже не обиделся на слово «специалист» — так поглощен был изучением снимков. Стоял у стола, чуть сгорбившись, приподняв плечи, хищно сузив глаза. Он напоминал сейчас кобчика или сокола, который разглядел добычу внизу и готов камнем упасть на нее.

— «Фон дер Гольц», — процедил он сквозь зубы.

— О! Уверен?

— Не уверен, но предполагаю.

— Что ж, очень может быть! — Адмирал с оживлением обвел взглядом офицеров. Комбриг пожал плечами. — Нет, я бы не удивился. Все сходится. Даже фарватер оградили фонариками, а на берегу поставили маячок или манипуляторный знак военного времени. Иначе говоря, засекреченная гавань в шхерах. Там и прячут своего «генерала».

— Каждый день туда летаю, — обиженно сказал летчик и огляделся, ища поддержки. — Этакая громадина! Броненосец береговой обороны!

— Шхеры, брат, — сказал Шубин с сочувствием. А Мезенцева, нагнувшись над снимками, пробормотала:

— Берег Обманный.

— Как? Как? — Адмирал засмеялся. — Это очень точно. Именно — Обманный!

Шубин решительно одернул китель:

— Товарищ адмирал! Прошу разрешения в шхеры.

— Сам просишься?

— Интересно же, товарищ адмирал.

— А успеешь?

— Ну, товарищ адмирал! Имея свои пятьдесят узлов в кармане...

— Мне доложили: твой катер неисправен.

— К утру исправим.

— Ну, добро. Готовься в шхеры!

После совещания офицеры гурьбой вышли из блиндажа. Мезенцева сказала летчику, который поддержал ее под локоть, помогая подняться по ступеням:

— На месте адмирала я бы не пускала его в шхеры. Нельзя же иголкой в одно место по сто раз. Там сейчас бог знает что, десанта ждут. По-моему, молодечество. И к чему оно?

Пропуская вперед Мезенцеву, Шубин охотно пояснил:

— А я воспоминания к старости приберегаю, товарищ старший техник-лейтенант! Буду, как говорится, изюм из булки выковыривать. Не все же о своем вульгарном, пошлом и каком-то там еще донжуанстве вспоминать... Честь имею!

Он козырнул и повернул в другую сторону. Вот когда — с запозданием — снова обрел себя, стал прежним Шубиным, который при любых, самых трудных обстоятельствах умел сохранить самообладание и флотский шик!

## **5. Игра в пятнашки**

Шубин «споткнулся» в шхерах, немного не дойдя до острова, куда высаживал Мезенцеву. Да, предостерегала правильно.

Он быстро застопорил ход, бросил механику: «У фашистов уши торчком!» — и сразу же ударили зенитки.

Взад-вперед заметались лучи прожекторов, обмахивая с неба звездную



пыль. Ищут самолет? Подольше бы искали!

Вдруг будто светящийся шлагбаум перегородил путь.

Шубин мигнул три точки — «слово»<sup>[13]</sup> — следовавшему в кильватер Князеву. Тот тоже застопорил ход.

«Шлагбаум» качнулся, но не поднялся, а, дымясь, покатился по воде.

Заметят или не заметят?

Горизонтальный факел сверкнул на берегу, как грозный указующий перст. Заметили! Рядом лопнул разрыв. Катер сильно трянуло.

— Попадание в моторный отсек, — бесстрастно доложил механик.

Из своего закоулка высунулся радист:

— Попадание в рацию, аккумуляторы садятся!

Вслед за тем фашисты включили «верхний свет».

Над шхерами повисли ракеты, в просторечье называемые «люстрами». Они опускались, вначале медленно, потом быстрее и быстрее, искрами рассыпаясь у черной воды, как головешки на ветру. Неторопливо на смену им поднимались другие («люстры» ставятся в несколько ярусов, с тем расчетом, чтобы мишень все время была на светлом фоне).

Свет — очень резкий, слепящий, безрадостный. Как в операционной. Уложили, стало быть, на стол и собираются потрошить? Нет, дудки!

Две дымовые шашки полетели за корму. Старый, испытанный прием! Но Шубин не смог проворно, как раньше, «отскочить». Едва-едва «отполз» в сторонку.

Укрывшись в тени какого-то мыса, он смотрел, как палят с берега по медленно расползающимся черным хлопьям. Дурачье!

Приблизился Князев:

— Подать конец?

Пауза очень короткая. Думать побыстрее!

Без Князева не дохромать до опушки. Но, приняв буксир, он угробит и себя и товарища. Маневренность потеряна, скорости нет. На отходе догонит авиация и запросто расстреляет обоих.

Итак?.. Назад хода нет. Значит, прорываться дальше, укрываться в глубине шхер!

— Вася, уходи! Исправлю повреждения — завтра тоже уйду.

— Не оставлю вас!

— Приказываю как командир звена! Поможешь мне: отвлечешь огонь на себя.

Князев понял. Донеслось, слабая: «Есть, отвлеку!» И Шубин сорвал с головы шлем с уже бесполезными ларингами. Аккумуляторы окончательно сели. Он «оглох» и «онемел».

Отстреливаясь, катер Князева рванулся к выходу из шхер.

— Еще бы! — пробормотал Шубин с завистью. — Сохраняя свои пятьдесят узлов в кармане...

Собственные его «узелки», увы, кончились, развязались. Весь огонь фашисты перенесли на Князева. Бой удалялся.

Припав к биноклю, юнга провожал взглядом катер. Зигзагообразный путь его легко было проследить по всплескам от снарядов. Всплески, как белые призраки, вставали меж скал и деревьев. Вереница призраков гналась за дерзким пришельцем, тянулась за ним, наотмашь стегала пучками разноцветных прутьев. То были зелено-красно-фиолетовые струи трассирующих пуль.

— Не догнали!

Шурка Ластиков с торжеством обернулся к командиру, но тот не ответил. Изо всех сил старался удержать подбитый катер на плаву. С лихорадочной поспешностью, скользя и оступаясь, матросы затыкали отверстия от пуль и осколков снарядов. В дело пущено было все, что возможно: чопы, распорки, пакля, брезент. Но вода уже перехлестывала через палубу, угрожающе увеличился дифферент.

Оставалось последнее, самое крайнее средство:

— Запирающие закрыть!

Боцман умоляюще прижал к груди руки, в которых держал ключья пакли:

— Хоть одну-то оставьте!

— Обе — за борт!

Во вражеских шхерах сбрасывать торпеды? Лишать себя главного своего оружия?..

— То-овсь! Залп!

Резкий толчок. Торпеды камнем пошли на дно. Все! Только круги на воде. Юнга скрипнул зубами от злости. Выйди на плес пресловутый «Фон дер Гольц» со своей известной всему флоту «скворечней» на грот-мачте, к нему не с чем уже подступиться.

Зато катер облегчен! Как-никак две торпеды весили более трех тонн. Командир прав. Лучше остаться на плаву без торпед, чем утонуть вместе с торпедами...

Шубин озабоченно огляделся.

Неподалеку островок, на который высаживали Мезенцеву. Безымянный. Необитаемый. По крайней мере, был необитаемым.

Подбитый катер «проковылял» еще несколько десятков метров и приткнулся у крутого берега.

Мысленно Шубин попытался представить себе очертания острова на карте. Кажется, изогнут в виде полумесяца. От материка отделен нешироким проливом. Берега обрывисты — судя по глубинам.

Ну что ж! Рискнем!

— Боцман! Швартоваться!

Но, едва моряки ошвартовались у острова, как мимо очень быстро прошли три «шюцкора».

Пришлось поавралить, упираясь руками и спиной в скалу, придерживая катер. «Шюцкоры» развели сильную волну. На ней могло ударить о камни или оборвать швартовы.

Через две или три минуты «шюцкоры» вернулись. Они застопорили ход и почему-то долго стояли на месте.

Боцман пригнулся к пулемету. Шубин замер подле него, предостерегающе подняв руку. Два матроса, вычерпывавшие воду из моторного отсека, застыли, как статуи, с ведрами в руках.

Шурка зажмурился. Сейчас включат прожектор, ткнут лучом! Рядом зевнул радист Чачко.

До моряков донеслись удивленные, сердитые голоса. На «шюцкорах» недоумевали: куда девались эти русские?

Конечно, нелепо искать их в глубине шхерных лабиринтов. Подбитый катер, вероятно, все-таки сумел проскользнуть незамеченным к выходу из шхер.

Заревели моторы, и «шюцкоры» исчезли так же внезапно, как и появились.

Ф-фу! Пронесло!

— Живем, товарищ командир! — сказал боцман улыбаясь.

Но Шубину пока некогда было ликовать.

— На берег! — приказал он. — Траву, камыш волоки! Ветки руби, ломай! Да поаккуратней, без шума. И не курить мне! Слышишь, Фаддеичев?

— Маскироваться будем?

— Да. Замаскируем катер до утра, вот тогда и говори: живем, мол!

Он остановил пробежавшего мимо юнгу:

— А ты остров обследуй! Вдоль и поперек весь обшарь. Попластунски, понял? Проверь, нет ли кого. Вернись, доложи.

Он снял с себя ремень с пистолетом и собственноручно опоясал им юнгу.

Матросы быстро посадили его. Шурка пошарил в расщелине, уцепился за торчащий клочок травы, вскарабкался по отвесному берегу.

— Поосторожнее, эй! — негромко напутствовал боцман.  
— А вы не переживайте за меня, — ответил с берега задорный голос. — Я ведь маленький. В маленьких труднее попасть.  
— Вот бес, чертенок! — одобрительно сказали на катере.

Пистолет гвардии старшего лейтенанта ободряюще похлопывал по бедру.

Юнга очутился в лесу, слабо освещенном гаснущими «люстрами». Бесшумно пружинил мох. Вдали перекатывалось эхо от выстрелов. Ого! Гвардии лейтенанта Князева провожают до порога, со всеми почестями — с фейерверком и музыкой.

Гвардии старший лейтенант уйдет завтра не так — поскромнее. Шурка понял с полунамека. Важно отстояться у острова. Тщательно замаскироваться, притаиться. Втихомолку в течение дня исправить повреждения. И следующей ночью, закутавшись, как в плащ, во мглу и туман, выскользнуть из шхер.

Дерзкий замысел, но такие и удаются гвардии старшему лейтенанту.

Только бы не оказалось на острове фашистов!

Шурка постоял в нерешительности, держа одну ногу на весу.

Он очень боялся змей, гораздо больше, чем фашистов. Сейчас весна, змеи оживают после зимней спячки.

Он ясно представил себе, как опускает ногу на мох и вдруг под пяткой что-то начинает ворочаться. Круглое. Скользкое. Б-рр!

Потом ему вспомнилось, как командир объяснял про страх:

«Если боишься, иди не колеблясь навстречу опасности! Страх страшней всего. Это как с собакой: побежишь — разорвет!»

А Шурка спросил с удивлением:

«Вы-то откуда знаете про страх, товарищ гвардии старший лейтенант?»

«Знаю уж», — загадочно усмехнулся Шуркин командир.

Юнга сделал усилие над собой и нырнул в лес, как в холодную воду.

Что-то чернело между стволами в слабо освещенном пространстве. Громоздкое. Бесформенное.

Валун? Дот?

Шурка вытащил пистолет из кобуры. Ощущая тяжесть его рукоятки, как пожатие верного друга, он приблизился к черневшей глыбе. Нет, не дот и не валун. Сарай!

Осмелев, провел по стене рукой. Жалкий сараюшка, сколоченный из

фанеры!

Юнга подобрался к двери, прислушался. Внутри тихо. Он толкнул дверь и шагнул через порог.

В сарае пусто. У стен только лотки для сбора ягод — с выдвинутым захватом, вроде маленьких граблей. Летом в шхерах столько земляники, брусники, черники, клюквы, что глупо было бы собирать по яголке.

В углу стоят большие конусообразные корзины. В таких перевозят на лодке скошенную траву.

Ну, ясно: остров необитаем!

Выйдя из сарая, Шурка удивился. Почему стало темно?

А! Фашисты «вырубили» верхний свет. Это, конечно, хорошо. Но под «люстрами» было легче ориентироваться.

Вокруг, пожалуй, даже не темно, а серо. Деревья, кустарник, валуны смутно угадываются за колышущейся серой занавесью.

Только сейчас Шурка заметил, что идет дождь.

С разлапистых ветвей, под которыми приходилось пролезать, стекали за воротник холодные струйки. Конусообразные ели и нагромождения скал обступили юнгу. Протискиваясь между ними, он больно ушиб колено, зацепился за что-то штаниной, разорвал ее. Некстати подумалось: «Попадет мне от боцмана».

То был «еж», злая колючка из проволоки. Полным-полно в шхерах таких проволочных «ежей», куда больше, чем их живых собратьев.

Фашисты, боясь десанта, всюду разбрасывают «ежи» и протягивают между деревьями колючую проволоку.

Шурка остановился передохнуть.

Тихо. Рядом приплескивает море. С влажным шорохом падают на мох дождевые капли. Изредка какой-то особо старательный либо слишком нервный пулеметчик простукивает для перестраховки короткую очередь. Впрочем, делает это без увлечения и опять словно бы задремывает.

Вскоре юнга пересек остров в узкой его части. Людей нет. Ободренный, он двинулся — по-прежнему ползком — вдоль берега.

Вдруг испуганно отдернул руку! По-змеиному в сухой траве извивалась проволока. Не колючая проволока. Провод!

Этот участок берега минирован!

Юнга шарахнулся от провода. Гранитные плиты были гладкие, скользкие. Он оступился и бултыхнулся в воду!

Когда юнга вынырнул метрах в десяти — пятнадцати от берега, вода

была уже не темной, а оранжевой. Это осветилось небо над ней.

Беспокойный луч полоснул по острову, суетливо зашарил-зашнырял между деревьями. Потом медленно пополз к Шурке.

В уши набралась вода, и он не слышал, стучат ли пулеметы, видел лишь этот неотвратно приближающийся смертоносный луч.

Юнга сделал сильный гребок, наткнулся на какой-то шест, наклонно торчавший из воды. А! Вешка!

Держась за шест, он нырнул. Луч неторопливо прошел над ним, на мгновение осветил воду и расходящиеся круги. Это повторилось несколько раз.

Прячась за голиком<sup>[14]</sup>, юнга не отводил взгляда от луча. Едва луч приближался, как он поспешно нырял.

Два луча скрестились над головой: вот-вот упадут.

Но, покачавшись с минуту, убрались в сторонку.

В воде Шурка приободрился. Напоминало игру в пятнашки, а уж в пятнашки-то он в свое время играл лучше всех во дворе.

Вот луч, как подрубленное дерево, рухнул неподалеку на воду. Только плеска не слышно. Теперь скользит по взрытой волнами поверхности, подкрадываясь к Шурке. Сейчас «запятнает»! Внимание! Нырок!

Луч переместился дальше, к материковому берегу.

До мельчайших подробностей видны березки, прилепившиеся к глыбе гранита, их кривые, переплетенные корни, узорчатые листья папоротника у подножия. Луч старательно ощупывает, вылизывает каждый уступ, каждую ямку.

Тяжело дыша, то и дело оглядываясь, Шурка всполз по гранитным плитам на берег.

Некоторое время он неподвижно лежал в траве, раскинув руки и разглядывая исполосованное лучами враждебное небо. Только теперь ощутил озноб. Мокрый бушлат, фланелевка, брюки неприятно прилипали к телу.

Змеи! Он и думать забыл про змей! Не до них!

Небо над шхерами стало темнеть. Сначала упал один луч и не поднялся. За ним поник другой.

Юнга слушал, как перекликаются пулеметы. Застучал один, издали ответил ему второй, третий. Похоже, будто собаки лают в захолустье.

Паузы длиннее, лай ленивее. Наконец, снова стало тихо, темно...

Луны в небе нет. Нет и звезд. Дождь все моросит. Многозначительно перешептываются капли, раздвигая густую хвою.

Разведку можно считать законченной: людей на острове нет. Южный

берег минирован. По ту сторону восточной протоки расположены батареи и прожекторная установка.

Так юнга и доложил по возвращении.

— О, да ты мокрый! В воду упал?

— Почти обсох. Пока через лес полз.

Юнга очень удивился переменам, происшедшим в его отсутствие. Теперь катер был уже не катером, а чем-то вроде плавучей беседки.

— Здорово замаскировались!

— А без этого нельзя, — рассеянно сказал Шубин. — Мы же хитрим, нам жить хочется...

Аврал заканчивался. Из трюма извлечены брезент и мешковина. Ими задрапировали рубку. С берега приволокли валежник, нарубили веток, нарезали камыш и траву. Длинные пучки ее свешивались с наружного борта.

Боцману не приходилось подгонять матросов. Неотвратимо светлевшее небо подгоняло их.

До утра надо было раствориться в шхерах. Слушая доклад юнги, Шубин одобрительно кивал, но, видимо, продолжал думать о той же маскировке, потому что машинально поправил свисавшую с рубки ветку.

— Молодец! — сказал он. — Отдохни, обсушись, подзаправься. Обрати внимание. С вражеского берега глаз не спускать. Утром будет нам экзамен.

— Какой экзамен, товарищ гвардии старший лейтенант?

— А вот какой. Начнут сажать по нас из пушек и пулеметов — значит, срезались мы, маскировка ни к черту... — И он с беспокойством оглянулся на обрывистый гранитный берег, к которому приткнулся его катер.

Какого цвета здесь гранит? Серый — хорошо: брезент и мешковина подходят. Но, если красный, тогда плохо: на красном фоне будет выделяться серо-зеленое пятно — замаскированный катер.

И громогласная «оценка» экзаменаторов не заставит себя ждать.

## 6. На положении «ни гугу»

Отдохнув с часок, юнга вернулся на свой пост, чтобы не упустить из виду опасную восточную протоку.

Утро выдалось пасмурное. Над водой лежал туман.

Вокруг была такая тишина, что казалось, Шурка видит это во сне.

Он различил вешку, за которой прятался этой ночью. Шест торчал в

тумане наклонно, как одинокая стрела.

Через несколько минут юнга посмотрел в том же направлении. Видны стали уже две стрелы, вторая — отражение первой.

Потом прорезались камыши, и посреди протоки зачернел надводный камень.

Рядом что-то булькнуло. Что это? Весло? Рыба?

Пауза. Тихо по-прежнему.

Солнце появилось с запозданием. Было красное, как семафор, — тоже предупреждало об опасности!

Пейзаж как бы раздвигался. За медленно отваливающимися пепельно-серыми глыбами Шурка уже различал противоположный берег.

Покрывало тумана, а вместе с ним и тайны сползло с вражеских шхер. Позолотились верхушки сосен и елей на противоположном берегу.

В душном сумраке возникли поднятые к небу орудийные стволы.

Шурка торопливо завертел винтовую нарезку бинокля.

О! Не зенитки, а бревна, поставленные почти стоймя, фальшивая батарея для отвода глаз! Назначение — вводить в заблуждение советских летчиков, отвлекать внимание от настоящей батареи, которая находится поодаль.

Клочки пейзажа разрознены, как мозаика. Ночью прожектор вырывал их по отдельности из мрака. Днем они соединились в одну общую картину.

Одну ли? Юнга прищурился. Двоилось в глазах. Мысы, островки, перешейки, как в зеркале, отражались в протоках. Но зеркало было шероховатым. Рябь шла по воде. Дул утренний ветерок.

Юнга повел биноклем. Как бы раздвигал им ветки далеких деревьев, ворошил хвою, папоротник, кусты малины и шиповника, настойчиво проникал в глубь леса — по ту сторону протоки.

Вот валун. Замшелый. Серо-зеленый. Как будто бы ничем не отличается от других валунов. Но почему из него поднимается дым, струйка дыма? Не из-за него, именно из него!

Странный валун. Вдруг приоткрылась дверца. Из валуна, согнувшись, вышел солдат с котелком в руке. Ну, ясно! Это дот, замаскированный под валун!

Продолжаются колдовские превращения в шхерах.

Внезапно над обрывистым берегом, примерно в шести-семи кабельтовых, поднялись четыре рефлектора. Они оттягивались, как головы змей, и снова высывались из-за гребня.

Не сразу дошло до Шурки, что это прожекторная установка, которая так досаждала ему ночью. Сейчас ее проверяли. Рефлекторы, вероятно,



ходили по рельсам.

Вдруг раздалось знакомое хлопотливое тарахтенье. Над проснувшимися шхерами кружил самолет. Наш! Советский!

Мгновенно втянулись, спрятались головы рефлекторов. Дверца дота-валуна приоткрылась, из щели высунулся кулак, погрозил самолету. Дверца захлопнулась.

Несколько солдат, спускавшихся к воде с полотенцами через плечо, упали, как подкошенные, и лежали неподвижно. Все живое в шхерах оцепенело, замерло.

Словно бы остановилась движущаяся кинолента!

Очень хотелось подняться во весь рост, заорать, сорвать с головы бескозырку, начать ею семафорить. Эй, летчик, перегнись через борт, приглядиись! Внизу притворство, вранье! Зенитки не настоящие — фальшивые! Валун не валун, дот! Бомби же их, друг, коси из пулемета, коси!

Но вскакивать и махать бескозыркой нельзя. Полагается смирнехонько лежать в кустах, ничем не выдавая своего присутствия.

Покружив, самолет лег на обратный курс.

Искал ли он катер, не вернувшийся на базу? Совершал ли обычный разведывательный облет?

— Эх, дурень ты, дурень! — с досадой сказал Шурка. Гул затих, удаляясь. И лента опять завертелась, все вокруг пришло в движение. Размахивая полотенцами, солдаты побежали к воде. На пороге мнимого валуна уселся человек, принялся неторопливо раскуривать трубочку.

— С опаской, однако, живут, — с удовлетворением заключил юнга. — На положении «ни гугу»!..

Он вспомнил про города из фанеры, о которых рассказывал гвардии старший лейтенант. То были города-двойники. Их строили в некотором удалении от настоящих городов, даже устраивали пожары в них — тоже «понарошку», для отвода глаз.

Да, все было здесь не тем, чем казалось, чем хотело казаться. Все хитрило, притворялось.

Но ведь и советские моряки подпали под влияние шхерных чар и будто растворились в красно-серо-зеленой пестроте.

Тут только он вспомнил о предстоящем «экзамене». Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, но в шхерах было по-прежнему тихо. Не стреляют. Значит, «экзамен» сдан! Замаскированный катер не замечен. И Шурка засмеялся от удовольствия и гордости, впрочем, негромко, вполголоса. Ведь он тоже был на положении «ни гугу».

День в шхерах начался. Мимо юнги прошел буксир, таща за собой вереницу барж. На буксире — пулемет, солдаты ежатся от утренней прохлады.

Потом скользнули вдоль протоки две быстроходные десантные баржи — бэдэбешки, как называет их гвардии старший лейтенант.

Солнце переместилось на небе. Надо менять позицию. Ненароком солнечный луч отразится от стекол бинокля, и зайчик сверкнет в лесу. А ведь противоположный берег тоже глазастый!

С новой позиции вешка еще лучше видна. Ага! Воротник поднят, холодно ей. Значит, нордовая<sup>[15]</sup> она!

Долгими зимними вечерами гвардии старший лейтенант учил юнгу морской премудрости.

Он раскладывал на столе разноцветные картинки:

«Гляди, вешки! Нордовая — вот она! — красная, голик на ней в виде конуса, основанием вверх. Вроде бы воротник поднят и нос покраснел. Очень холодно — нордовая же! А вот зюйдовая: черная, конус основанием вниз. Жарко этой вешке, откинула воротник, загорела дочерна!»

Вестовую и остовую он учил различать по-другому:

«Голик вестовой — два конуса, соединенных вершинами. Раздели по вертикали пополам, правая часть покажется тебе буквой „В“. И это будет вест. А голик остовой — два конуса, соединенных основанием. Выглядят как ромб или буква „О“ — ост. Так, кстати, распознавай и месяц, старый он или молодой. Если рожки торчат направо, это похоже на букву „С“. Значит — старый. Если налево, то проведи линию по вертикали, получится у тебя „Р“ — ранний, молодой».

И входные огни запомнил Шурка по шубинским смешным присловьям. Три огня: зеленый, белый, зеленый — разрешают вход в гавань. Начальные буквы «збз», иначе, по Шубину: «Заходи, браток, заходи!» Огни красный, белый, красный — запретные. Начальные буквы составляют «кбк», то есть: «Катись, браток, катись!..»

О! Чего только не придумает гвардии старший лейтенант!..

Улыбаясь, юнга медленно поднимал бинокль к горизонту. Первое правило сигнальщика: просматривай путь корабля и его окружение обязательно от воды, от корабля. А сейчас для Шурки кораблем был этот доверенный его бдительности островок в шхерах.

Правее нордовой вешки серебрилась мелкая рябь. Под водой угадывались камни. Вешка предупреждала:

«Оставь меня к норду!» Так и огибают ее корабли.

Парусно-моторная шхуна прошла мимо Шурки.

Для памяти он отложил на земле четвертую ветку — по числу прошедших кораблей.

Картина была, в общем, мирная. Ветер утих. Протока стала зеркально гладкой, как деревенский пруд. Купа низких деревьев сгрудилась у самой воды, будто скот на водопое.

А над лесом висели сонные и очень толстые, словно бы подхваченные, облака.

Одно из них выглядело необычно. Было сиреневого цвета и висело очень низко. Присмотревшись, Шурка различил на нем деревья! Чуть поодаль виден кусок скалы, нависший над протокой. Это мыс, и на нем возвышается маяк.

Летающий остров с маяком! Юнга подумал, что грезит, и протер глаза.

А, рефракция! Это рефракция. И о ней говорил гвардии старший лейтенант. В воздухе, насыщенном водяными парами, изображение преломляется, как в линзах перископа. Сейчас благодаря рефракции юнга как бы заглядывал через горизонт. Вот он, секретный маяк военного времени, свет которого видела девушка-метеоролог!

Миражи, рябь, солнечные зайчики... Сонное оцепенение овладевало юнгой. Радужные круги, будто пятна мазута, медленно поплыли по воде.

«Клонит в сон, да?» — пробасил Шурка голосом гвардии старшего лейтенанта. «Камыши очень шуршат, товарищ гвардии старший лейтенант», — тоненько пожаловался он. «А ты вслушайся, о чем шуршат! Ну? Слушай! Слушай! Вот оно, брат, что! Не убаюкивают, а предостерегают тебя. Не спи, мол, Шурка, раскрой глаза и уши!»

Шурка встряхнулся, как собака, вылезаящая из воды.

Спустя некоторое время за спиной его раздался троекратный условный свист. Он радостно свистнул в ответ. К нему подползли гвардии старший лейтенант и радист Чачко.

— Ишь ты! — удивился Шубин, выслушав рапорт юнги. — Выходит, на бойком месте мы! А я и не знал!

Он жадно прильнул к биноклю.

Профессор Грибов учил Шубина не очень доверять вешкам, которые в любой момент может отдрейфовать или снести штормом. Главное — это створные знаки. Вешки только дополняют их. Но где же они, эти створные знаки?

В шхерах корабли ходят буквально с оглядкой, от одного берегового створа до другого.

Створными знаками могут быть белые щиты в виде трапеции или ромба, пятна, намалеванные белой краской на камнях, башни маяков, колокольни, высокие деревья или скалы причудливых очертаний.

По шхерным извилистым протокам корабли двигаются зигзагом, то и дело меняя направление, очень осторожно и постепенно разворачиваясь. В поле зрения рулевого должны сблизиться два створных знака, указанных в лоции для этого отрезка пути. Когда один створный знак закроет другой, рулевой будет знать, что поворот закончен. Теперь кораблю не угрожает опасность сесть на мель или выскочить на камни. При новом повороте пользуются второй парой створных знаков, и так далее.

Очередной буксир на глазах у Шубина обошел камни, огражденные вешкой. Возникло странное ощущение, будто он, Шубин, и есть один из створных знаков. Он оглянулся.

Оказалось, что моряки лежат у подножия высокого камня, который торчит в густых зарослях папоротника. На нем белеет пятно.

Из-за спешки или по соображениям скрытности здесь не поставили деревянный решетчатый щит — просто намалевали пятно на камне. Такие пятна называются «зайчиками», потому что они беленькие и прячутся в лесу. Подобный же упрощенный створный знак был виден пониже, у самого уреза воды.

Движение на шхерном «перекрестке» было оживленным. Тут пересекались два шхерных фарватера — продольный и поперечный. В лоции это называется узлом фарватеров. Недаром фашисты так оберегали его. Прошлой ночью вдоль и поперек исхлестали лучами, будто обмахивались крестным знаменем. От этого мелькания голова шла ходуном.

А где же таинственная светящаяся дорожка? По-видимому, севернее, вот за той лесистой грядой.

Шубин припоминал: вон там должен быть Рябиновый мыс, левее — остров Долгий Камень. Отсюда, из-под створного знака, шхеры как на ладони! Мезенцева сумела увидеть немало интересного, но он, Шубин, увидит еще больше. Увезет с собой не одну «пометочку» на карте.

Пометочку? Вроде бы маловато.

На войне люди отвыкают воспринимать пейзаж как таковой. Пейзаж приобретает сугубо служебный, военный характер. Холмы превращаются в высоты, скалы — в укрытия, луга — в посадочные площадки. А для моряка то, что он видит на суше, всего лишь ориентиры, по которым проверяется и

уточняется место корабля. («Зацепился за ту вон скалу, беру пеленг на эту колокольню!»)

И опять шубинский бинокль замер у вешки. Милиционеров на «перекрестке» нет. Светофоры-маяки работают только в темное время суток. Днем приходится полагаться на створы и вешки...

Да, это было бы занятно! Грибов назвал бы это «поправкой к лоции».

Но нет, не удастся! Солнце неусыпным стражем стоит над шхерами. Да и рискованно привлекать внимание к проливу, пока катер еще не на ходу.

Шурка с удивлением смотрел на своего командира. Тот что-то шептал про себя, щурился, хмурился. Ну, значит, придумывает новую каверзу!

Однако и до Шубина постепенно начало доходить, что шхеры красивы. Эти места он впервые видел днем, хотя и считался «специалистом по шхерам».

Вот оно что! Шхеры, оказывается, разноцветные! Гранит — красный или серый, но под серым проступают красные пятна. На плитах — сиреневый вереск, ярко-зеленый папоротник, темно-зеленые, издали почти синие ели, желтоватая прошлогодняя трава. Гранитное основание шхер выстлано мхом, бурым или зеленоватым. Резкий силуэт елей и сосен прочерчивается над кустами ежевики и малины и между листовыми деревьями: дубом, осинкой, кленом, березой. Некоторые деревья лежат вповалку, — вероятно, после бомбежки. А в зелень хвои вплетается нарядный красный узор можжевельника.

Главной деталью пейзажа была, однако, вода. Она подчеркивала удивительное разнообразие шхер. Обрамляла картину и одновременно как бы дробила ее.

Местами берег круто обрывался либо сбегал к воде большими каменными плитами, похожими на ступени.

Были здесь острова, заросшие лесом, конусообразные, как клумбы, в довершение сходства обложенные камешками по кругу. А были почти безлесые, на диво обточенные гигантскими катками — ледниками. Такие обкатанные скалы называют бараньими лбами.

Кое-где поднимались из трещин молодые березки, как тоненькие зеленые огоньки, — будто в недрах шхер бушевало пламя и упрямо пробивалось на поверхность.

Цепкость жизни поразительная! Шубин вспомнил сосну, которая осеняла его катер, укrywшийся в тени берега. Пласт земли, нанесенный на гранит, был очень тонкий, пальца в два. Корни раздвинулись и оплели скалу, будто щупальцами.

Так и он, Шубин, в судорожном усилии удержаться в шхерах плотно,

всем телом, приник к скале...

Он подавил вздох. Разве такая, с позволения сказать, позиция прилична военному моряку? Ему полагается стоять у штурвала, зная, что за спиной у него две надежные торпеды. Выскочить бы на предельной скорости из-за мыса, шарахнуть по этим баржам и буксирам! То-то шуму наделал бы! В такой теснотище! Ого! Но он без торпед. Он безоружен! И опять Шубин покосился на створный знак. Другой командир на его месте, возможно, вел бы себя иначе. Сидел бы и не рыпался, дожидаясь наступления ночи. Но Шубину не сиделось.

Он положил бинокль на траву, отполз к заднему створному знаку. Камень потрескался. Зигзаг трещин выглядел как непонятная надпись.

Шурка, приоткрыв рот, смотрел на гвардии старшего лейтенанта. Тот обогнул камень, налег на него плечом. Камень как будто подался, — вероятно, неглубоко сидел в земле. Гвардии старшему лейтенанту это почему-то понравилось. Он улыбнулся. Улыбка была шубинская, то есть по-мальчишески озорная и хитрая.

— Сдавай вахту, — приказал Шубин юнге. — Домой пошли! Вернее, поползли.

И тут юнга щегольнул шуткой — флотской, в духе своего командира.

— Вражеские шхеры с двумя створными знаками и одной вешкой сдал, — сказал он. А Чачко, усмехнувшись, ответил:

— Шхеры со створами и вешкой принял!

Шутить в минуты опасности и в трудном положении было традицией в гвардейском дивизионе торпедных катеров.

«Дома» все было благополучно. Катер слегка покачивался под балдахином из травы и ветвей. Ремонт его шел полным ходом, но боцман не был доволен. По обыкновению, он жучил флегматичного Степакова: «Не растешь, не поднимаешь квалификацию! Как говорится, семь лет на флоте, и все на кливершкоте». Степаков лишь обиженно шмыгал носом.

Впрочем, флотский распорядок соблюдался и во вражеских шхерах — ровно в двенадцать сели обедать сухарями и консервами.

Шурка Ластиков, чтя «адмиральский час», прикорнул на корме под ветками и мгновенно заснул, как это умеют делать только дети, набегавшиеся за день, и моряки после вахты. Шубин остановился подле юнги, взглядываясь в его лицо. Было оно худое, скуластое. Когда юнга открывал глаза, то казался старше своих лет. Но сейчас выглядел мелюзгой, посапывал совсем по-ребячьи и чему-то улыбался во сне.

Как же сложится твоя жизнь, сынок, лет этак через шесть-семь? Кем ты будешь? Где станешь служить? И вспомнишь ли о своем командире?..

Матросы негромко разговаривали на корме. (После обеда полагается отдыхать. Это и есть так называемый «адмиральский час».)

Разговор был самый мирный, словно бы катер стоял у пирса на Лавенсари.

Боцман обстоятельно доказывал, что девушке не полагается быть одного роста с мужчиной.

— Моя — невысоконькая, — говорил он, умиленно улыбаясь. — И туфельки носит, понимаете ли, тридцать третий номер. С ума сойти! Уж я-то знаю, до войны вместе ходили выбирать, мне аккурат по эту косточку. — И, разогнув огромную ладонь, он показал место на кисти руки.

— Какие там туфельки! — вздохнул моторист Дронин. — В сапогах небось она ходит. Нынче вся Россия в сапогах...

Один Степаков не принимал участия в разговоре. Он сидел, свесив ноги за борт, и неподвижно смотрел в воду, как загипнотизированный.

Почувствовав присутствие командира за спиной, моторист оглянулся.

— Щука, товарищ командир, — сказал он с жалобной улыбкой. — Уж очень нахальничает! Ходит и ходит перед глазами. Понимает, тварь, что ее не взять!..

Что-то посверкивало и булькало почти у самого борта. Рыбы здесь было пропасть. А Степаков — страстный рыболов. Но ловить рыбу нельзя. Опасно! Вражеские шхеры вокруг...

К вечеру моряки восстановили щиток управления и монтаж оборудования. Осталось лишь отремонтировать реверсивную муфту правого мотора.

Шубин беспрестанно поторапливал людей.

— И так спешим, товарищ гвардии старший лейтенант, — недовольно сказал Дронин. — В мыле все! Язык на плече!

— К ночи надо кончить! Ночью уйдем.

— Неужто сутки еще сидеть? — пробормотал весь мокрый от пота, будто искупавшийся, Степаков. — Да я лучше вплавь от этих щук уйду!

Солнце заходило удивительно медленно. Западная часть горизонта была исполосована тревожными косыми облаками багрового цвета, предвещавшими перемену погоды.

В довершение какой-то меланхолик на противоположном берегу взялся перед сном за губную гармонику. Ветер тянул с той стороны, и над тихой вечерней водой ползли обрывки тоскливой, тягучей мелодии. Знал ее музыкант нетвердо, то и дело обрывал, начинал сызнова. Так и топтался на

месте, с усердием повторяя начальные такты.

Вскоре он просто осточертел Шубину и его команде.

— И зубрит, и зубрит! — с ожесточением сказал Дронин, выпрямляясь. — Сто раз, верно, повторил, никак заучить не может!

До чего нечувствителен был к музыке боцман, но и тот не выдержал, проворчал:

— Шарахнуть бы по нему разок из пулемета! Э-эх!..

Наступило то короткое время суток, предшествующее сумеркам, когда солнца нет, но небо еще хранит его отблески. Тень от багрового облака упала на воду. Красноватый дрожащий свет наполнил шхеры. Все стало выглядеть как-то странно, тревожно.

Шубин вылез из таранного отсека, вытер руки паклей, бросил боцману:

— Заканчивайте без меня. Пойду с юнгой Чачко сменять.

Его непреодолимо тянуло к вешке и створным знакам. Забыть не мог о камне, который не слишком прочно держался в земле.

## 7. Поправка к лоции

Добравшись ползком до протоки, Шубин и Шурка удивились: вешки на месте не было.

— Срезало под корень, товарищ гвардии старший лейтенант, — доложил Чачко. — Тут шхуна проходила, стала поворот делать, а ветер дул ей в левую скулу. Капитан не учел ветерка и подбил вешку. Прямо под винты ее!

— Неаккуратный ты какой, — шутливо упрекнул Шурка. — Тебе шхеры с вешкой сдавали, а ты...

Но, взглянув на гвардии старшего лейтенанта, юнга осекся.

Шубин подобрался, как для прыжка. Глаза, и без того узкие, превратились в щелочки. Таким Шурка видел его во время торпедной атаки, когда, подавшись вперед, он бросал: «Залп!»

Исчезновение вешки было кстати. Оно упрощало дело. Конечно, исчезновение заметят или, быть может, уже заметили. Фашистские гидрографы поспешат установить другую вешку — по створным знакам. Но пока протока пуста и подводные камни не ограждены. Нечто разладилось в створном механизме.

Если вешки нет, рулевые сосредоточат свое внимание на створных знаках — на этих беленьких «зайчиках», которые выглядывают из кустов.



Шубин оглянулся. Что ж, поиграем с «зайчиком»! Заставим его отпрыгнуть подальше от воды. Но сделать это надо умненько, перед самым уходом из шхер.

Он нетерпеливо взглянул на часы, поднял глаза к верхушкам сосен. Начинают раскачиваться. Чуть-чуть. Ветер дует с веста. Это хорошо. Нанесет туман.

Как «специалист по шхерам», Шубин знал местные приметы. Перед штормом видимость улучшается. Сейчас, наоборот, очертания предметов становились неясными, расплывчатыми. Да, похоже — ложится туман.

Но прошло еще около часа, прежде чем по воде поползла белая пелена. Она делалась плотнее, заволакивала подножия скал и деревьев. Казалось, шхеры медленно оседают, опускаются на дно.

Самая подходящая ночь для осуществления задуманного!..

— Юнга! всю команду — ко мне! Боцману оставаться на катере, стать к пулемету, нести вахту!

— Есть!

Тьма и туман целиком заполнили лес. Спустя несколько минут слышались шорох, шелест, сопение. Строем «кильватера», один за другим, подползали к Шубину его матросы.

— Коротко: задача, — начал Шубин. — Торпед у нас нет. Из пулемета корабль не потопишь. А потопить надо. Но чем топить?

Молчание. Слышно лишь, как устраиваются в траве матросы, теснясь вокруг своего командира.

— Будем, стало быть, хитрить, — продолжал Шубин: — За спиной у меня — задний створный знак! — Он похлопал по камню. — Там, у воды, — передний. Пара «зайчиков» неразлучных... А мы возьмем да и разлучим их!

— Совсем уберем?

— Нет. Немного отодвинем друг от друга. Много нельзя, утром заметят. А посреди протоки — камешки!

— О! И вешек нет?

— Снесло вешку. Этой ночью мы командуем створом. Куда захотим, туда и поворотим.

— А поворотим — на камешки?

— Угадал!

Быстро, не дожидаясь команды, матросы вскочили на ноги. Будто не было бессонной ночи и мучительно долгого, утомительного дня.

Сперва попытались своротить камень с ходу — руками. Навалились, крякнули. Не вышло.

Тогда выломали толстые сучья и подвели их под камень.

Он качнулся, заколебался. Степаков поспешно подложил под сучья несколько небольших камней, чтобы приподнять рычаг.

Шубин нетерпеливо отодвинул Дронина и Фаддеичева, протиснулся между ними:

— А ну-ка, дай я!

С новой энергией матросы навалились на камень.

— Дронин, слева заходи! Наддай плечом!

Так повторялось несколько раз. Сучья ломались. Степаков подкладывал под них новые камни, постепенно поднимая опору.

По-бычьи склоненная шея Шубина побагровела, широко расставленные ноги дрожали от напряжения. Камень с белым пятном накренился все больше. И вот — медленно пополз с пригорка, ломая кусты ежевики и малины, оставляя борозду за собой!

Шубин сбежал вслед за ним. «Зайчик» по-прежнему на виду. Но линия, соединяющая передний и смещенный задний створные знаки, выводит уже не на чистую воду, а на грядку подводных камней, к дьяволу на рога!

Ну что ж! Так тому и быть! Через час или два катер уйдет, ночь в проливе пройдет спокойно, а утром «зайчики» сработают, как «адская машина», пущенная по часовому заводу.

Но получилось иначе.

Не заладилось с моторами. Шубин сидел на корточках возле люка, светя мотористам фонариком. Юнга старательно загораживал свет куском брезента. Хорошо еще, что туман лег плотнее.

Ночь была на исходе.

Шубин думал о разлаженном створе. Первая же баржа, которая пройдет утром мимо острова, выскочит на камни. Сюда спешно пожалуют господа гидрографы для исправления створных знаков, и шубинский катер, если не уйдет до утра, будет, конечно, обнаружен.

Впрочем, Шубин никогда не жалел о сделанном. Это было его жизненное правило.

Решил — как отрезал!

Да и что пользы жалеть? Механизм катастрофы пущен в ход. Его не остановишь, даже если бы и хотел. Кто-то протяжно зевнул за спиной.

— Что? — спросил Шубин, не оглядываясь. — Кислотность поднимается?

— Терпения нет, товарищ командир! — признался Чачко.

— Ну, терпение... Оно ведь наживное, терпение-то! Помнишь, как

маяк топили?

— Маяк? — удивился Шурка.

— Ну да. Ходили в дозоре. Ночь. Нервы, конечно, вибрируют.

— Необстрелянные были, — пояснил Чачко.

— Сорок первый год! Вдруг прямо по курсу — силуэт корабля! Я: «Аппараты — на товсь! Полный вперед!» И сразу же застопорил, потом дал задний ход. Буруны впереди!

— Камни?

— Они самые. Это я маяк атаковал.

Шурка засмеялся.

— Есть, видишь ли, такой маяк в Ирбенском проливе, называется «Колкасрагс». Площадка на низком островке, башня с фонарем, фонарь по военному времени погашен, а внизу каемка пены. Очень схоже с идущим на тебя кораблем. Давно это было. Тогда, правда, были мы с тобой, Чачко, нетерпеливые!

Даже сердитый боцман соизволил усмехнуться.

И вдруг смех оборвался. По катеру пронеслось: «Тсс!» Все замерли, прислушиваясь.

Неподалеку клокотала вода. Потом раздалось протяжное фыркание, будто огромное животное шумно вздыхало, всплывая на поверхность.

Подводная лодка! И где-то очень близко. В тумане трудно ориентироваться. Но, вероятно, рядом, за мыском.

Шубин — вполголоса:

— Боцман, к пулемету! Команде гранаты, автоматы разобрать!

Он вскарабкался на берег, пробежал, прячась за деревьями. Юнга неотступно следовал за ним.

Да, подводная лодка! В туманной мгле видно постепенно увеличивающееся, как бы расплзающееся, темное пятно. Балластные системы продуты воздухом. Над водой вспух горб — боевая рубка, затем поднялась узкая спина — корпус.

Лязгнули челюсти. Это открылся люк.

С воды пахнуло промозглой сыростью, будто из погреба или из раскрытой могилы.

В тумане вспыхнули два огонька. На мостике закурили.

Шубин услышал несколько слов, сказанных по-немецки. Голос был тонкий, брюзгливо-недовольный:

— Ему полагалось бы уже быть здесь.

Второй голос — с почтительными интонациями:

— Прикажете огни?

— Нет. Не доверяю этим финнам.

— Но я думал, в такой туман...

Молчание.

На воде слышно очень хорошо. Слова катятся по водной поверхности, как мячи по асфальту.

— Финны мне всегда казались ненадежными, — продолжал тот же брюзгливо-недовольный голос. — Даже в тридцать девятом, когда Европа так рассчитывала на них.

Подводная лодка покачивалась примерно в тридцати метрах от Шубина. Ее искусно, под электромоторами, удерживали на месте ходами, не приближаясь к берегу, чтобы не повредить гребные винты.

Юнга пробормотал вздрагивающим голосом:

— Товарищ командир, прикажите! Гранатами забросаем ее!

Шубин промолчал. Гранатами подлодку не потопить. Шуму только наделаешь, себя обнаружишь.

Из тумана донеслось:

— Не могу рисковать... Мой «Летучий Голландец» стоит трех танковых армий...

— О да! Где появляется Гергардт фон Цвишен, там война получает новый толчок...

— Тише!

До Шубина, напрягавшего слух, донеслось лишь одно слово: «Вува». Затем в слоистом тумане, булькающем, струящемся, невнятно бормочущем, запрыгали, как пузырьки, странные звуки: не то кашель, не то смех.

Сзади кто-то легонько тронул Шубина за плечо.

— Чачко докладывает, — прошептали над ухом. — Моторы на товсь!

— Светает, — донеслось из тумана.

Второй голос сказал что-то о глубинах.

— Конечно. Не могу идти в надводном положении на глазах у всех шхерных ротозеев.

Туман стал совсем пепельным и быстро разваливался на куски. В серой массе его зачернели промоины.

Будто материализуясь, уплотняясь на глазах, все четче вырисовывалась подводная лодка, которую почему-то назвали «Летучим Голландцем». Она была словно соткана из тумана. Космы водорослей свисали с ее крутого борта.

Чачко удивленно пошевелился. Шубин пригнул его ниже к земле. Но

он и сам не ожидал, что подводная лодка так велика.

— Наконец-то! — сказали на «Летучем Голландце». — Вот и господин советник!

Стуча движком, между берегом и подводной лодкой прошла моторка. У борта ее стоял человек в штатском.

Он торопливо прыгнул на палубу лодки.

Неразборчивые оправдания.

Ворчливый тонкий голос:

— Прошу в люк! Вас ждут внизу!

Медленно раздвигая туман, который, свиваясь кольцами, стлался по воде, подводная лодка отошла от острова.

Шубин в волнении приподнялся. Куда она повернет: направо или налево?

Ведь створные знаки раздвинуты. Ловушка поджидает добычу!

Если подводная лодка повернет налево, чтобы лечь на створ...

Она повернула налево.

Низко пригибаясь к земле, Шубин и Шурка перебежали полянку, кубарем скатились на палубу катера.

— Заводи моторы!

Катер отскочил от берега, развернулся.

Некоторое время он шел малым ходом, соблюдая скрытность, потом, зайдя за мыс, дал полный ход.

Только бы моторы не подвели! Выносите из беды, лошадки мои милые, э-эх, залетные!

Шурка выглянул из моторного отсека. Все мелькало, несло в пенном вихре. Ветки дерева хлестнули по рубке.

И вдруг сразу стало очень светло и далеко видно вокруг.

Лучи прожекторов шагали над шхерами. Они приблизились к протоке и скрестились над подводной лодкой, которая билась в каменном капкане.

Шубин оглянулся только на мгновение.

Наши бы самолеты сюда! Но он не мог вызвать самолеты — рация не работала.

И надо было спешить, спешить! Пяткам уже горячо в шхерах.

Он правильно рассчитал — под шумок легче уйти. В смятении и неразберихе береговая оборона этого участка так и не поняла, кто пронесся мимо. Трудно было вообще понять, что это такое: с развевающимися длинными полосами брезента, с сосновыми ветками, торчащими из люков,

с охапкой валежника, прикрывающей турель пулемета!

Да и внимание привлечено к тому, что творится на середине протоки — у подводной каменной гряды. На помощь к лодке уже спешат буксиры, которые оказались поблизости. Надрывно воют сирены.

Шубин вильнул в сторону, промчался по лесистому коридору, еще раз повернул.

С берега дали неуверенную очередь. Боцман не ответил. Строго-настрого приказано не отвечать!

И это было умно. Это тоже сбивало с толку.

Несуразный катер, чуть не до киля закутанный в брезент, похожий на серо-зеленое облако, благополучно проскочил почти до опушки шхер.

Но здесь, уже на выходе, огненная завеса опустилась перед ним.

Фашистские артиллеристы стряхнули с себя наконец предутренний сладкий сон. По всем постам трезвонили телефоны. Наблюдатели как бы передавали «из рук в руки» этот сумасшедший, идущий на предельной скорости торпедный катер.

Гул моторов приближается. Внимание! Вот он — бурун! Залп! Залп!

Катер мчался, не убавляя хода, не отвечая на выстрелы.

Голова трещала, разламывалась на куски от лопающихся разрывов. Снаряд! Лавина воды обрушилась на палубу. Всплеск опадает за кормой.

Внезапно катер сбавил ход.

Механик доложил Шубину, что осколок снаряда попал в моторный отсек. В труднодоступном месте пробит трубопровод. Обороты двигателя снижены.

Авария! И как раз тогда, когда фашистские артиллеристы начали пристреливаться!

Но Шубин не успел приказать ничего. Все сделалось само собой, без приказанья. Мгновение — и катер опять набрал ход!

— Мотористы ликвидируют аварию своими средствами! — доложил механик.

Шубин кивнул, не спуская глаз с расширяющегося просвета впереди, между лесистыми берегами.

«Своими средствами...» Вот как это выглядело.

Скрежеща зубами от боли, Степаков по-медвежьи, грудью, навалился на отверстие, откуда только что хлестала горячая вода.

— Резину!

Юнга поспешно наложил на пробойну резиновый пласт, крепко прижал его. И лишь тогда Степаков со стоном отвалился от трубопровода.

— Не бросай!

Но Шурка и сам понимал, что нельзя бросать. Скорость! Нельзя сбавлять скорость!

Обеими руками он с силой прижимал резину к трубопроводу; фонтанчики, шипя, выбивались между пальцами. Боль пронизывала тело до самого сердца. Это была пытка, пытка! Но он терпел, не выпуская горячего резинового пласта, пока Дронин торопливо закреплял его. Сначала надо было протянуть проволоку вдоль трубопровода, потом старательно и аккуратно обмотать ее спиралью. На это требовалось время, как ни торопился Дронин.

Но вот наконец трубопровод забинтован.

— Все, Шурка, все!

Юнга выпустил резину из обожженных рук и упал ничком у мотора, потеряв сознание от боли.

Зато шхеры были уже за кормой. Катер быстро бежал на юг по утренней глади моря.

Юнга ничего не знал об этом. Он не очнулся, когда боцман смазывал и бинтовал его ожоги. Продолжал оставаться в беспмятстве и в то время, когда его вытаскивали из люка и осторожно укладывали на корму, в желоб для торпед.

— На сквознячке отойдет! — сказал Дронин. И в самом деле, обдаваемый холодными брызгами, юнга пришел в себя. Рядом натужно стонал Степаков.

Шурка приподнялся на локте и с тревогой оглянулся.

— Не клюнул бы нас жареный петух в темечко, — слабым голосом сказал он.

Это было выражение гвардии старшего лейтенанта. Понимать его следовало так: не бросили бы вдогонку авиацию!

Но уже приветливо распаивалась впереди бухта, где стояли наши катера...

Выслушав доклад Шубина, командир островной базы немедленно вызвал звено бомбардировщиков и послал их добить подводную лодку, севшую на камни.

Однако летчиков встретил в шхерах заградительный огонь такой плотности, что пришлось вернуться.

Через некоторое время попытку повторили. Одному из самолетов удалось прорваться к протоке. Она была пуста. Подводную лодку успели стащить с камней.

Команда шубинского катера очень горевала по этому поводу.

— Надо бы нам «зайчика» подальше отпихнуть! Хоть бы на полметра. Чтобы лодка плотней на камни села.

— Недоглядели ночью-то!

— Да, маху дали. Жаль!

А к вечеру прилетел из Кронштадта Рышков, заместитель начальника разведотдела флота. Он был порывистый, настырный и прямо-таки умаял Шубина расспросами. Весь разговор на палубе подводной лодки разведчик заставил восстановить по памяти — слово за словом. Шубин кряхтел, хмурился. Ведь разговор был почти бессвязный, состоял из каких-то обрывков.

— Да ты хорошо ли знаешь немецкий? — усомнился Рышков.

— Помилуйте, товарищ капитан второго ранга! В училище на кафедре иностранных языков дополнительно занимался.

— Ну, ну! Продолжай!

К удивлению Шубина, больше всего заинтересовало разведчика брошенное вскользь слово «Вува».

— Вува! Неужели? — процедил Рышков сквозь зубы, и лицо его стало еще более озабоченным.

— И я удивился, товарищ капитан второго ранга. Женское имя ни с того ни с сего приплели!

— Женское? Это ты с какой-нибудь Вавой спутал. Вува — новое секретное оружие, понял?

— Как?!

— Да, оружие. В геббельсовской печати его называют еще «клад Нибелунгов» или «заколдованный меч Зигфрида». А в обиходе запросто: «Вува», ласкательно-уменьшительное от «ди Вундерваффе».

— То есть чудесное, волшебное оружие?

— Вот именно. Сокращенно: Вува!

Что ж, вполне вероятно!

Фашисты могли снабдить подводную лодку доселе неизвестным секретным оружием и направить под Ленинград. Недаром командир ее заявил, что там, где появляется его «Летучий Голландец», война получает новый толчок.

Ленинград выстоял блокаду. Ни бомбы, ни снаряды, ни холод, ни голод не взяли его. Теперь немецко-фашистское командование для поднятия своего военного престижа готовилось к реваншу. Наносить удар удобнее всего было из района Выборгских шхер.

Впрочем, это было, конечно, предположением, и довольно шатким.



— «Летучий Голландец», «Летучий Голландец», — задумчиво бормотал Рышков, постукивая себя карандашом по зубам. — Что это за «Летучий Голландец»?

Он задал Шубину еще множество вопросов, которые, по мнению моряка, никак не шли к делу. Потом заставил написать подробный рапорт и улетел с ним. А Шубин, проводив начальство, побрел домой.

По дороге он мысленно сочинял письмо Грибову в эвакуацию, хотя знал, что никогда не напишет и не отправит этого письма. Время-то военное! Много про «Вуву» не напишешь!

Конечно, про «Летучего Голландца» еще можно бы написать, но шутливо, обиняками:

«Так, мол, и так, дорогой Николай Дмитриевич! Попал я недавно в легенду. Но, кажется, не в очень хорошую. Навязался на мою голову какой-то, шут его знает, „Летучий Голландец“, и теперь хочешь не хочешь, а хлопот с ним не оберешься!..»

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1. Побывка в Ленинграде

Ну кто бы подумал, что и недели не пройдет после возвращения из шхер, как Шубин проникнет внутрь загадочной подводной лодки! В одном белье, босого проволокут его по узкой зыбкой палубе, потом бережно, на руках, спустят в тот самый люк, откуда в шхерах «пахнуло, словно из погреба или раскрытой могилы».

А снизу, запрокинув бескровные лица, будут смотреть на него мертвецы...

Ничего этого не ожидал и не мог ожидать Шубин, когда его вызвали к командиру островной базы.

— Катер на ходу?

— В ремонте, товарищ адмирал.

— С оказией пойдешь. С посыльным судном.

— Куда?

— В Кронштадт.

— В разведотдел флота? — Голос Шубина стал жалобным.

— А что я могу? Вызывают! Расскажешь там, как и что.

— Ну что я расскажу? Докладывал уже заместителю начальника разведотдела, когда он прилетал. И рапорт, как приказали, написал. Пять страниц, шутка ли! Черновики сколько перемарал! А теперь опять писать? Писатель я им, что ли? Целую канцелярию вокруг этого «Голландца» развели! Да мне, товарищ адмирал, лучше двадцать раз в шхеры сходить!..

— Зачем ты меня уговариваешь? Надо!.. Кстати, и моториста с юнгой прихвати! Доктор напишет в госпиталь.

Очень недовольный, бурча себе под нос, Шубин пошел на пирс, а за юнгой послал Чачко.

Шурка Ластиков не принимал участия в ремонте, только присутствовал при нем — руки еще были забинтованы. Но язык его, ко всеобщему удовольствию, не был забинтован.

Юнга был бодр и весел, как воробей. Усевшись верхом на торпеду, он — в который уже раз — потешал друзей рассказом о том, как ловко прятался за вешкой от прожектора.

Чачко остановился подле юнги и состроил печальное лицо.

Шурка удивленно замолчал.

— Укладывайся, брат! — Радист тяжело вздохнул. — С оказией в Кронштадт идешь.

— В Кронштадт? Почему?

Чачко незаметно для Шурки подмигнул матросам.

— Списывают, — пояснил он и вздохнул еще раз. — Списывают тебя по малолетству с катеров...

Шурка стоял перед Чачко, огорченно хлопая длинными ресницами. Списывают! Так-таки и не дали довоевать. Сами-то небось довоюют, а он...

Не сказав ни слова, юнга круто повернулся и зашагал к жилым домам.

— Рассерчал, — пробормотал Дронин.

Кто-то засмеялся, а Чачко крикнул вдогонку:

— Командир ждет на пирсе!..

Застегнутый на все пуговицы, с брезентовым чемоданчиком в руке, Шурка разыскал командира.

— Ты что? — рассеянно спросил тот, следя за тем, как Степакова вносят на носилках по трапу посыльного судна.

— Попрощаться, — тихо сказал юнга. — Списан по вашему приказанию, убываю в тыл.

Шубин обернулся:

— Фу ты, надулся как!.. Это тебя разыграли, брат. Не в тыл, а в госпиталь! Полечат геройские ожоги твои. Чего же дуться-то? Эх ты... штурманенок! — и ласково провел рукой по его худенькому лицу.

Матросы, стоявшие вокруг, заулыбались. Вот и повысили юнгу в звании! Из «впередсмотрящего всея Балтики» в «штурманенка» переименован. Тоже подходяще!

Шубин добавил, будто вскользь:

— К медали Ушакова представил тебя. Может, медальку там получишь заодно...

И всегда-то он, хитрый человек, умел зайти с какой-то неожиданной стороны, невзначай поднять настроение, так что уж и сердиться на него вроде было ни к чему!..

Всю дорогу до Кронштадта Шурка трещал без умолку, не давая командиру скучать.

Медаль Ушакова — это хорошо! Он предпочитал ее любой другой медали. Даже, если хотите, ценил больше, чем орден Красной Звезды. Ведь этот орден дают и гражданским, верно? А медаль Ушакова — с якорьком и на якорной цепи! Всякому ясно: владелец ее — человек флотский!

Шубин в знак согласия кивал головой. Но мысли его были далеко.

В Кронштадте он полдня провел у разведчиков. Был уже вечер, когда, помахивая онемевшей, испачканной чернилами рукой, Шубин вышел из здания штаба. Посмотрел в блокнот.

Адрес Виктории Павловны Мезенцевой узнал от Селиванова еще на Лавенсари. Она жила в Ленинграде. Что ж, махнем в Ленинград!.. Виктория Павловна сама открыла дверь.

— О!

Взгляд ее был удивленным, неприветливым. Но Шубин не смутился. Первая фраза была уже заготовлена. Он зубрил ее, мусолил все время, пока добирался до Ленинграда.

— А я привет передать! — бодро начал он. — Из шхер. Из наших с вами шхер.

— Ну что ж! Входите!

Комната была маленькая, чуть побольше оранжевого абажура, который висел над круглым столом. Свитки синих синоптических карт лежали повсюду на столе, на стульях, на диване.

Хозяйка переложила карты с дивана на стол, села и аккуратно подобрала платье. Это можно было понять как приглашение сесть рядом. Платье было домашнее, кажется серо-стального цвета, и очень шло к ее строгим глазам.

Впрочем, Шубин почти не рассмотрел ни комнаты, ни платья. Как вошел, так и не отрывал взгляда от ее лица. Он знал, что это не принято, неприлично, и все же смотрел не отрываясь — не мог насмотреться!

— Хотите чаю? — сухо осведомилась она.

Он не хотел чаю, но церемония чаепития давала возможность посидеть в гостях подольше.

Вначале он предполагал лишь повидать ее, перекинуться несколькими словами о шхерах — и уйти. Но внезапно его охватило теплом, как иногда охватывает с мороза.

В этой комнате было так тепло и по-женски уютно! А за войну он совсем отвык от уюта.

Сейчас Шубин наслаждался очаровательной интимностью обстановки, чуть слышным запахом духов, звуками женского голоса, пусть даже недовольного: «Вам покрепче или послабее?» Он словно бы опьянел от этого некрепкого чая, заваренного ее руками.

На секунду ему представилось, что они муж и жена и она сердится на него за то, что он поздно вернулся домой. От этой мысли пронизала сладкая дрожь.

И вдруг он заговорил о том, о чем ему не следовало говорить. Он понял это сразу: взгляд Виктории Павловны стал еще более отчужденным, отстраняющим.

Но Шубин продолжал говорить, потому что ни при каких обстоятельствах не привык отступать перед опасностью!

Он замолчал внезапно, будто споткнулся, — Виктория Павловна медленно усмехалась уголком рта.

Пауза.

— Благодарю вас за оказанную честь! — Она говорила, с осторожностью подбирая слова. — Конечно, я ценю, и польщена, и так далее. Но ведь мы абсолютно разные с вами! Вы не находите?.. Думаете, какая я? — Взгляд Шубина сказал, что он думает. Она чуточку покраснела: — Нет, я очень прозаическая, поверьте! Все мы в какой-то степени лишь кажемся друг другу... — Она запнулась. — Может, я непонятно говорю?

— Нет, все понимаю.

— Вероятно, я несколько старомодна. Что делать! Таковы мы, коренные ленинградки! Во всяком случае, вы... ну, как бы это помягче выразиться... вы не совсем в моем стиле. Слишком шумный, скоропалительный. От ваших темпов просто разбалливается голова. Видите меня лишь второй раз и...

— Третий... — тихо поправил он.

— Ну, третий. И делаете формальное предложение! Я знаю, о чем вы станете говорить. Готовы ждать хоть сто лет, будете тихий, благоразумный, терпеливый!.. Но у меня, видите ли, есть печальный опыт. Мне раз десять уже объяснялись в любви.

Она сказала это без всякого жеманства, а Шубин мысленно пошутил над собой: «Одиннадцатый отвергнутый!»

— Я вот что предлагаю, — сказала она. — Только круто, по-военному: взять и забыть! Как будто бы и не было ничего! Давайте-ка забудем, а? — Она прямо посмотрела ему в глаза. Даже не предложила традиционной приторной конфетки «дружба», которой обычно стараются подсластить горечь отказа.

Шубин встал.

— Нет, — сказал он с достоинством и выпрямился, как по команде «смирно». — Забыть?.. Нет! Что касается меня, то я всегда... всю жизнь...

Он хотел сказать, что всегда, всю жизнь будет помнить и любить ее и гордиться этой любовью, но ему перехватило горло.

Он поклонился и вышел.

А Виктория Павловна удивленно смотрела ему вслед.

Слова, как это часто бывает, не сказали ей ничего. Сказала — пауза! У него неожиданно не хватило слов, у такого разбитного, такого самоуверенного!

И что за наказание! Битых полчаса она втолковывала ему, что он не нравится ей и никогда не сможет понравиться! Разъясняла спокойно, ясно, логично! И вот — результат!

Уж если вообразить мужчину, который мог бы ей понравиться, то, вероятно, он был бы стройным, с одухотворенным лицом и негромким голосом.

Таким был ее отец, концертмейстер Филармонии. Такими были и друзья отца: скрипачи, певцы, пианисты.

Они часто музицировали в доме Мезенцевых. Детство Виктории было как бы осенено русским романсом. Свернувшись калачиком на постели в одной из отдаленных комнат, она засыпала под «Свадьбу» Даргомыжского или чудесное трио «Ночевала тучка золотая». До сих пор трогательно ласковая «Колыбельная» Чайковского вызывает ком в горле — так живо вспоминается отец.

Странная? Может быть. Отраженное в искусстве сильнее действовало на нее, чем реальная жизнь. Читая роман, могла влюбиться в его героя и ходить неделю, как в чаду. Но пылкие поклонники только сердили и раздражали ее.

«Виктошка! Попомни наше слово: ты останешься старой девой!» — трагически предостерегали ее подруги.

Она пожимала плечами с тем небрежно-самоуверенным видом, какой в подобных случаях могут позволить себе только очень красивые девушки.

Ее называли Царевной Лебедью, Спящей Красавицей, просто ледышкой. Она снисходительно улыбалась — уголком рта. Ей и впрямь было все равно: не ломалась и не кокетничала.

И вдруг в ее жизнь — на головокружительной скорости — ворвался этот моряк, совершенно чуждый ей человек, громогласный, прямолинейный, напористый!

Ему отказали. Он не унимался. Был готов на все: заставлял жалеть себя или возмущаться собой, только бы не забывали о нем!

Мезенцева была так зла на Шубина, что плохо спала эту ночь...

Он тоже плохо спал ночь.

Но утром настроение его изменилось. Он принадлежал к числу тех людей с очень уравновешенной психикой, которые по утрам неизменно

чувствуют бодрость и прилив сил.

Город с вечера окунули в туман, но сейчас остались только подрагивающие блески брызг на телефонных проводах.

Яркий солнечный свет и прохладный ветер с моря как бы смыли с души копоть обиды и сомнений.

Конечно, Виктория полюбит его, Шубина! Она не может не полюбить, если он так любит ее!

Своеобразная логика влюбленного!

Поверхностный наблюдатель назвал бы это самонадеянностью. И — ошибся бы. Шубин был оптимистом по складу своей натуры. Был слишком здоров физически и душевно, чтобы долго унывать.

На аэродроме ему повезло, как всегда. Подвернулась «оказия».

На Лавенсари собрался лететь «Ла-5».

— И не опомнишься, как домчит, — сказал дежурный по аэродрому. — Лету всего каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут.

Втискиваясь в самолет позади летчика, Шубин взглянул на часы. Восемь сорок пять! Прилетит на Лавенсари что-нибудь в районе девяти. Очень хорошо!

Он поежился от холодного ветра, хлынувшего из-под пропеллера, поднял воротник реглана.

Но какие странные глаза были у нее при прощании!..

При следующей встрече он непременно спросит об этом. «Почему у вас сделались такие глаза?» — спросит он. «Какие такие?» — скажет она и вздернет свой подбородок, как оскорбленная королева. «Ну, не такие, понятно, как сейчас, а очень удивленные и милые, с таким, знаете, лучистым блеском...» И он подробно, со вкусом примется описывать Виктории ее глаза.

Но сколько ждать этой новой встречи? Когда и где произойдет она?

Шубин с осторожностью переменял положение. В «Ла-5» приходится сидеть в самой жалкой позе, скорчившись, робко поджав ноги, опасаясь задеть за вторую пару педалей, которые покачиваются вниз.

Если поднять от них глаза, то виден краешек облачного неба. Фуражку Шубину нахлобучили на самые уши, сверху прихлопнули плексигласовым щитком. Сиди и не рыпайся! Печальная фигура — пассажир!

А что делать пассажиру, если бой?

Одна из педалей резко подскочила, другая опустилась. Справа стоямя встала синяя ребристая стена — море. Глубокий вираж! Зачем?

Летчик оглянулся. Он был без очков. Мальчишески конопатое лицо его улыбалось. Ободряет? Значит, бой! Но с кем?

Море и небо заметались вокруг. Шубин перестал различать, где облака, а где гребни волн. Очутился как бы в центре вращающейся Вселенной.

Омерзительно ощущать себя пассажиром в бою!

Руки тянутся к штурвалу, к ручкам машинного телеграфа, к кнопке стреляющего приспособления, но перед глазами прыгает лишь вторая бесполезная пара педалей. Летчик делает горку, срывается в штопор, переворачивается через крыло — в каскаде фигур высшего пилотажа пытается уйти от врага. А бесполезный дурень-пассажир только мотается из стороны в сторону и судорожно хватается за борт, преодолевая унижительную, подкатывающую к сердцу тошноту.

Но скоро это кончилось. На выходе из очередной мертвой петли, когда море было далеко внизу, что-то мелькнуло рядом, чей-то хищный силуэт.

На мгновение Шубин потерял сознание и очнулся уже в воде.

Волна накрыла его с головой. Он вынырнул, огляделся. Сзади, вздуваясь и опадая, волочилось по воде облако парашюта...

Посты СНИС на Сескаре<sup>[16]</sup> засекли быстротечный воздушный бой.

Летчик радировал: «Атакован! Прошу помощи!» С аэродрома на Сескаре тотчас поднялись истребители, но дело было в секундах — не подоспели к бою! Когда они прилетели, небо было уже пусто.

Посты СНИС, однако, наблюдали бой до конца.

«Ла-5» пытался уйти, пользуясь своей скоростью. Потом самолеты как бы сцепились в воздухе и серым клубком свалились в воду. Видимо, на одном из виражей ударились плоскостями.

Истребители сделали несколько кругов над морем, высматривая внизу людей.

Одному из летчиков показалось, что он разглядел след от перископа подводной лодки. Когда он снизился, перископ исчез. Возможно, это был просто бурун — ветер развел волну. Но летчик счел нужным упомянуть об этом в донесении.

В район боя высланы были «морские охотники». Совместные поиски с авиацией продолжались около часу. Их пришлось прервать, потому что волнение на море усилилось.

Даже если кто-нибудь и уцелел после падения в воду, у него не могло быть никаких шансов на спасение.

О гибели Шубина юнга узнал к концу того же дня. Степакова уложили в один из ленинградских госпиталей. Шурке приказали приходить по утрам



на перевязку. Жить он должен был во флотском экипаже.

На пути туда повстречался ему штабной писарь, когда-то служивший в бригаде торпедных катеров.

— Слышал про командира своего? — негромко спросил он, хмурясь.

— А что? На Лавенсари улетел.

— То-то и есть, что не долетел!

И писарь рассказал, что знал.

— И заметь, — закончил он, желая обязательно вывести мораль, — не просто погиб, как все погибают, но и врага с собой на дно...

— Шубин же! — с достоинством сказал Шурка, привычно гордясь своим командиром, как-то сразу еще не поняв, не осознав до конца, что речь идет о его смерти.

Сильный психический удар, в отличие от физического, иногда ощущается не сразу. Есть в человеческой душе запас упругости, душа пытается сопротивляться, не хочет впускать внутрь то страшное, чудовищно несообразное, от чего ей придется содрогаться и мучительно корчиться.

Так было и с Шуркой. Он попрощался с писарем и вначале, по инерции, думал о другом, постороннем. Подивился великолепию Дворцовой площади, которое не могли испортить даже заколоченные досками окна Эрмитажа. Потом заинтересовался поведением шедшей впереди женщины с двумя кошелками. Вдруг она изогнулась и пошла очень странно, боком, высоко поднимая ноги, как ходят испуганные лошади.

Проследив направление ее взгляда, Шурка увидел крысу. Не торопясь, с полным презрением к прохожим она пересекала площадь — от Главного штаба к Адмиралтейству. Голый розовый хвост, извиваясь, тащился за нею.

Крыс Шурка не любил — их множество водилось на Лавенсари. А эта вдобавок была самодовольная, вызывающе самодовольная. Все-таки был не 1942, а 1944 год! Блокада кончилась, фашистов попятити от Ленинграда! Слишком распоясалась она, эта крыса, нахально позволяя себе разгуливать среди бела дня по Ленинграду.

Шурка терпеть не мог беспорядка. Крысе с позорной поспешностью пришлось ретироваться в ближайшую отдушину.

Вслед за тем юнга с удивлением обнаружил, что в этом мероприятии ему азартно помогала какая-то тщедушная, неизвестно откуда взявшаяся девчонка.

— Ненавижу крыс! — пояснила она, отбрасывая со лба прядь прямых, очень светлых волос.

Шурка, однако, не снизошел до разговора с нею и в безмолвии

продолжал свой путь.

На Дворцовом мосту он остановился, чтобы полюбоваться на громадную, медленно текущую Неву. И тут, когда он стоял у перил и глядел на воду, внезапно дошло до него сознание непоправимой утраты. Гвардии старшего лейтенанта нет больше!

В такой же массивной, тяжелой, враждебной воде исчез Шуркин командир, и всего несколько часов назад! Вместе с самолетом, с обломками самолета, камнем пошел ко дну. Умер! Бесстрашный, стремительный, такой веселый выдумщик, прозванный на Балтике Везучим...

Ни с того ни с сего Шурку повело вбок, потом назад. Он удивился, но тотчас же забыл об этом. Он видел перед собой Шубина, державшего в руках полбуханки хлеба, к которой была привязана бечевка. Стоявшие вокруг моряки улыбались, а Шубин говорил Шурке:

«Учись, юнга! Заставим крыс в футбол играть».

На Лавенсари не стало житья от крыс. Днем они позволяли себе целыми процессиями прогуливаться по острову, ночами не давали спать — бегали взапуски взад и вперед, стучали неубранной посудой на столе, даже бойко скакали по кроватям.

Однажды Шубин проснулся от ощущения опасности. Открыв глаза, он увидел, что здоровенная крысища сидит у него на груди и плотоядно поводит усами. Он цыкнул на нее, она убежала.

Тогда Шубин пораскинул умом. Он придумал создать «группу отвлечения и прикрытия». С вечера на длинной бечеве подвешивал в коридоре полбуханки (хоть и жаль было хлеба). Крысы принимались гонять по полу этот хлеб, вертелись вокруг него клубком, дрались, визжали, а Шубин и Князев безмятежно спали за стеной.

«Учись, юнга, — повторял Шубин. — В любом положении моряк найдется!» И как беззаботно, как весело смеялся он при этом!..

Шурке, наверно, стало бы легче, если бы он заплакал. Но он не мог — не умел. Только мучительно давился, перегнувшись через перила, словно бы пытался что-то проглотить, и кашлял, кашлял, кашлял...

Через минуту или две, когда пароксизм горя прошел, Шурка услышал над ухом взволнованный тонкий голос. Кто-то суетился возле него, пытаясь заглянуть в лицо.

— Раненый, раненый! — донеслось издалека. — Обопритесь на меня, раненый!

Это была давешняя девчонка, вместе с ним гонявшая крысу. А кто же был раненый? О, это он сам. Ведь руки-то у него забинтованы.

Мельком взглянув на девочку, Шурка понял, что блокаду она провела в

Ленинграде. Уж очень была тщедушная. И лицо было худое, не по годам серьезное. Цвет лица белый, мучнистый, под глазами две резкие горизонтальные морщинки. Ошибиться невозможно.

Хлопотливая утешительница уверенным движением закинула Шуркину руку себе на плечо и попыталась тащить куда-то. Обращаться с ранеными ей было, видно, не в диковинку. А тоненький голос немолчно звенел:

— Вы сильнее налегайте, сильнее! В нашей сандружине я...

Шурка дал отвести себя от перил и усадить на какое-то крыльцо. Но от подсчитыванья пульса с негодованием отказался.

— Чего еще! — пробурчал он и сердито вырвал руку.

— Вы — раненый! — сказала девочка наставительно.

— Заладила: раненый, раненый! — передразнил он. Помолчал, негромко добавил:

— Просто переживаю я...

Он запнулся. Теперь, вероятно, надо встать, поблагодарить и уйти. Но куда он пойдет? В госпиталь к Степакову не пустят. Боцман и Чачко — на Лавенсари. А остаться с глазу на глаз со своим горем — об этом даже страшно было подумать!

Человеку иногда всего дороже слушатель, а еще лучше — слушательница. Шурка был в таком положении.

— Переживаю за своего командира, — пояснил он и шумно вздохнул, как вздыхают дети, успокаиваясь после рыданий. — Был, знаешь ли, у меня командир...

И Шурка рассказал своей утешительнице про Шубина.

«Наверно, очень стыдно, что я рассказываю ей, — думал он. — Но она же видела, как я переживал. И она ленинградка, провела в Ленинграде блокаду. Она-то поймет. А потом я встану и уйду, и мне уже не будет стыдно, потому что мы никогда не увидимся с нею. Ленинград большой...»

Понурился, он сидел на ступеньках грязного крыльца, заставленного ящиками с песком. Рядом слышалось прерывистое взволнованное дыхание.

«Слабый пол», — подумал Шурка. Девочка по-бабьи подперла щеку рукой, и очень добрые синие — кажется, даже ярко-синие — глаза ее наполнились слезами.

И Шурке, как ни странно, стало легче от этого...

## 2. Холод Балтики

А с Шубиным произошло вот что.

Очутившись в воде, он прежде всего освободился от парашюта.

По счастью, в кармане был перочинный нож. Он вытащил его. Движения были автоматические, почти бессознательные, как у сомнамбулы. Все было подчинено умному инстинкту самосохранения.

Долой лямки парашюта! Долой тяжелый, тянущий ко дну пистолет!

От этой обузы он избавился легко. Но с одеждой и обувью пришлось повозиться. Никак не расстегивались проклятые крючки на кителе, потом, как назло, запуталась нога в штанине. Наконец Шубин остался в одном белье. Оно было трофейное, шелковое, — шелк не стесняет движений.

Он лег на спину, чтобы отдышаться. Море раскачивалось под ним, как качели.

Плыть не имело смысла. Он не знал, куда плыть. Ориентироваться по солнцу нельзя, небо затянуто облаками. Встать бы, чтобы осмотреться, так ноги коротковаты, надо бы подлиннее. До дна верных полсотни метров.

Но пустота не пугала. Шубин был отличным пловцом. Сначала он даже не почувствовал холода.

— Места людные, — бормотал он, успокаивая себя. — Подберут. Не могут не подобрать. Надо только ждать и дождаться.

Это было самое разумное в его положении. Сохранять самообладание, не тратить зря сил.

— Сескар почти рядом, — продолжал он прикидывать, раскачиваясь на пологой волне. — Посты СНИС, конечно, засекали воздушный бой. На поиски уже спешат катера, вылетела авиация...

(Он не знал, не мог знать — и это было счастьем для него, — что «Ла-5» и вражеский самолет, кувыркаясь в воздухе, ушли далеко с курса и Шубина ищут совсем в другом месте.)

Вдруг что-то легонько толкнуло в плечо. Он быстро перевернулся на живот. Волна качнула, подняла его, и он увидел человека в ярко-красном полосатом жилете. Человек плавал стоймя, подняв плечи и запрокинув голову. Шлема на нем не было. Виден был только стриженный крутой затылок.

Шубин сделал несколько порывистых взмахов, чтобы зайти с другой стороны. Он ожидал увидеть юношу, который, обернувшись, ободряюще улыбнулся ему несколько минут назад. Нет! Рядом покачивался мертвый вражеский летчик. У него было простое лицо, светлобровое, очень скуластое. Лоб наискосок пересекала рана. Выражение лица было удивленное и болезненно-жалкое, как почти у всех умерших.

На воде мертвеца держал резиновый надувной жилет с продольными

камерами.

Если пуля пробьет одну из таких камер, остальные будут продолжать выполнять свое назначение. Жабо-пелеринка подпирает подбородок, держит его высоко над водой, чтобы раненый или потерявший сознание не захлебнулся. Но этому летчику жабо было уже ни к чему.

Шубин отплыл от него и «лег в дрейф». Пошире раскинув руки, стал глядеть на небо. Небо, небо! Слишком много неба. Еще больше, пожалуй, чем моря...

Он заставил себя думать о хорошем, о Виктории. Осенью, когда кончится навигация, они пойдут гулять по Ленинграду. Как это произойдет? Вот он, испросив разрешения, бережно берет ее под руку, и они идут. Куда? «Давайте к Неве!» — предложит она. «Ну нет, — скажет он. — Слишком много воды. Сегодня что-то не хочется смотреть на воду!..»

Фу, какой вздор лезет в голову! Это, верно, оттого, что она очень болит, прямо раскалывается на куски!

Кто-то, будто играя, шаловливо подтолкнул его плечом. А! Опять этот в красном жилете! И чего ему надо? Море просторное, места хватает.

Вражеский летчик держался преувеличенно прямо, даже мертвый плавал навтыжку. Выражение его лица изменилось. Угроза? Нет, улыбка. Мускулы на лице расслабились, рот ощерился. Из него выпирали два клычка, более длинных, чем другие зубы. Grimаса была злорадной. Она словно бы говорила: «Ага!» Шубин не желал раздумывать над тем, что означает это «ага».

Он отплыл от мертвеца, лег на спину.

Но через несколько минут тот опять очутился рядом с ним. Наваждение какое-то! Водоверть здесь, что ли, круговое течение?..

И хоть бы не было этого жабо! Слишком задирает подбородок мертвецу. Тот словно бы хохочет, просто закатывается, откидываясь на волне в приступе беззвучного смеха.

Шубин зажмурился, по-детски надеясь, что мертвец исчезнет. Но нет! Открыв глаза, увидел, что тот покачивается неподалеку, и кивает ему, и подмигивает, и зовет куда-то. Куда?..

Им двоим тесно на море. Мертвец должен посторониться!

Шубин попытался стащить с него жилет. Но летчик выскользнул из рук или делал вид, что хочет отплыть. Волнение усилилось. Волны то опускали, то поднимали обоих пловцов — мертвого и живого. Со стороны могло показаться, что двое загулявших матросов, обнявшись, упали за борт и в воде доплясывают джигу.

В последний момент Шубин вспомнил о документах. Совсем из

головы вон! Еще немного и отправил бы летчика со всеми его документами к морскому царю. А это нельзя! Морскому царю нет дела до фашистских документов, зато они, наверно, заинтересуют разведотдел флота. А поскольку Шубин должен явиться в разведотдел флота...

Что-то перепуталось в его мозгу. Но, вспомнив о документах, он уже не забывал о них.

Видимо, сказался четко отработанный военный рефлекс. Даже в этом необычном и трудном положении, измученный, продрогший, с помраченным сознанием, Шубин поступал так, как всегда учили его поступать.

Непослушными окоченевшими пальцами он вытащил воинское удостоверение летчика и переложил в кармашек жилета. Потом принялся расстегивать пуговицы на жилете, чтобы вытряхнуть из него мертвеца. Особенно долго не удавалось расстегнуть последнюю пуговицу. Наконец он совладал с нею.

Когда труп камнем пошел ко дну, Шубин облегченно вздохнул.

Прошло еще несколько минут, прежде чем он вспомнил о плававшем рядом жилете. Что ж, раковина вскрыта. Створки ее пусты. Он подплыл к жилету и напялил его на себя. Все-таки лишний шанс!

Сейчас, во всяком случае, можно не бояться судорог. Раньше он запрещал себе думать о них.

Плохо только, что трофейный жилет не греет. А холод уже начал пробираться до костей.

Было бы теплее, если бы жилет был капковый. Желтая комковатая капка похожа на вату и греет, как вата. Правда, через два или три часа она намокает, тяжелеет и тянет на дно. Но Шубин не собирался болтаться в воде два или три часа. Об этом не могло быть и речи. Его должны найти и подобрать с минуты на минуту. Красное пятно жилета видно издали.

Чтобы отвлечься, он стал думать о дальних тропических странах, где растет капка. Это ведь такая трава?

А быть может, кустарник? То-то, наверно, тепло в тех местах!..

От мыслей о теплых странах сделалось еще холоднее.

Холод отовсюду шел к Шубину, со всех концов Балтики, от всей выстуженной за зиму водной громады моря. Он обхватывал, сжимал, стискивал.

Желая согреться, Шубин поплыл саженками. Но странно: чем усиленнее двигался, тем холоднее становилось. Он проделал опыт: скрестил руки на груди, подобрал колени к подбородку. Как будто стало теплее. Не нагревается ли окружающий слой воды от тепла его тела? Не

надо подгрести к себе новые холодные пласты.

«Катера подойдут! Катера скоро подойдут!» — повторял он про себя, будто зубрил урок.

Ни на секунду не допускал мысли о том, что его не подберут. Понимал: самое страшное — это испугаться, поддаться страху. Кто потерял самообладание, тот все потерял!

Как-то странно, толчками, болела голова. Временами сознание на короткий срок выключалось. Тогда Шубину виделись цветы. Конусообразные пурпурные мантии раскачивались на пологих волнах. Он старался дотянуться до них и от этого движения приходил в себя. А иногда представлялось, что он висит среди звезд в пустоте космического пространства.

Холод, холод! Лютый холод!..

Осмотревшись, Шубин удивился внезапной перемене. По морю бежали барашки, торопливые вестники шторма.

Только что волны были пологими. Сейчас на них появились белые гребешки. Беляки гуляли по морю.

— Волнение — три балла, — определил он вслух. — Море дымится!

Вскоре верхушки волн начали загибаться и срывать брызгами. По шкале Бофорта это означало, что волнение доходит уже до четырех баллов.

Волна накрыла Шубина с головой. Он вынырнул, ожесточенно отплевываясь. Дышать становилось труднее. Надвигался шторм.

«Эге! — подумал Шубин. — Шторма мне не вытянуть...» И тотчас же: «Но шторма не будет!»

Мысленно он как бы прикрикнул на себя.

Море между тем делалось все более грозным, волны чаще накрывали Шубина с головой. Три балла, четыре балла! Он хотел забыть о делениях этой проклятой шкалы.

Его стало тошнить. Укачало наконец! Никогда не верил в то, что пловцов укачивает в море, и вот...

Шубин задыхался, отплевывался, пытался приноровиться к участвующимся размахам моря.

Что-то пролетело над ним. Самолет? Пикирует самолет? Он инстинктивно втянул голову в плечи, но в этот момент был на гребне волны и резиновый жилет помешал ему нырнуть.

Не самолет! Всего лишь чайка! Полгоризонта закрыли ее изогнутые, как сабли, крылья, нежно-розовые, но с черными концами, словно бы их обмакнули в грязь. Она взвилась и стремительно опустилась, будто хотела сесть Шубину на макушку.

О! Да тут их много, этих чаек!

Они вились над Шубиным, задевая его крыльями, с размаху падали к самой воде, взмывали в воздух. Сквозь свист ветра он различал их скрипучие голоса. Птицы азартно перебранивались, будто делили его между собой.

Делили? Моряки с Ладоги рассказали Шубину о том, что произошло с одним нашим летчиком, которого сбили в бою над озером. Капковый жилет не дал ему утонуть, и через два-три часа его подобрали. Он был жив, но слеп. Чайки выклевали ему глаза!

Шубин высунулся до пояса из воды и заорал что было сил. Он мог только орать, руки окоченели до того, что почти не двигались.

Вдруг что-то огромное, в белых дугах пены, надвинулось на него, какая-то гора. Линкор или плавучий кран — так показалось ему...

Он закашлялся и очнулся. Обжигающая жидкость лилась в рот. Сводчатый потолок был над ним.

Шубин полулежал на полу. Кто-то придерживал его за плечи.

Подняв глаза на стоявших вокруг людей, он удивился их виду. У многих из них были бороды, а лица отливали неестественной, почти мертвенной белизной. Люди как-то странно смотрели на него, и он откинулся на спину.

Тотчас это движение было прокомментировано.

— Укачался, ничего не понимает, — сказал кто-то по-немецки. — Дай ему еще глоток!

Немцы? Стало быть, он в плену?

Но — не спешить! Оглядеться, выждать, понять!

Шубин закрыл глаза, чтобы протянуть время.

— Ослабел после морских купаний, — произнес тот же голос с уверенными, отчетливыми интонациями. — Не заметили бы в перископ чаек над ним...

Перископ? Он на подводной лодке?

И вдруг Шубин услышал непонятное.

— Но это же не русский! Это финн!

— Не может быть!

— Вот его воинское удостоверение!

— Какая неудача! На черта нам финн?

— Он очнулся, господин капитан-лейтенант, — сказал кто-то над ухом Шубина, по-видимому немец, поддерживавший его под мышки.



Шубин открыл глаза.

Над ним, широко расставив ноги, стоял человек в пилотке и пристально смотрел на него. Он держал что-то в руке.

Шубин скорее угадал, чем увидел: размокшее воинское удостоверение летчика, которое было спрятано в кармашке жилета!

— Ваша фамилия Пирволяйнен? — неожиданно спросил немец.

Пауза. Шубин собирается с мыслями.

— Пирволяйнен Аксель? — Немец заглянул в удостоверение и нетерпеливо пригнулся, уперев руки в колени. — Ну, отвечайте же наконец! — поторопил он. — Вы лейтенант Аксель Пирволяйнен?

Пирволяйнен? Мертвый летчик был финном? Шубин перевел дух, словно перед прыжком в воду. Потом, решившись, тихо сказал:

— Да. Я Пирволяйнен...

— Очень жаль, — сердито пробормотал человек в пилотке.

Шубина подняли, усадили на табуретку. Рядом очутился пучеглазый человек, который отрекомендовался врачом. Шубин пожаловался на головную боль и тошноту.

— В порядке вещей. — Врач значительно закивал. — Не удивлюсь, если у вас легкое сотрясение мозга.

Мнимому Пирволяйнену дали переодеться. Комбинезон затрещал по всем швам на его плечах и груди. Пирволяйнен! Финн! Очень хорошо. Этим можно объяснить погрешности в немецком произношении. Лишь бы только не нашлось никого, кто знает финский язык!

Ну, а лицо? Офицер в пилотке держал удостоверение перед самым своим носом и все же спросил: «Вы Пирволяйнен?» Ослеп, что ли? Есть же фотография в воинском удостоверении! А сходства между летчиком и Шубиным никакого. Уж он-то на всю жизнь запомнил это мертвое лицо, скалившее зубы над пышным гофрированным воротником!

— Который час? — спросил он.

Кто-то услужливо ответил.

Шубин попытался сделать подсчет. Получалось, что он провел в воде немногим более двух часов.

Не может быть! Боролся с мертвецом, волнами, потом с чайками! На это наверняка ушло не менее суток! Впрочем...

— Командир просит к себе, — сказал врач и пропустил Шубина вперед.

Палуба мерно подрагивала под ногами. Значит, лодка была на ходу.

Из-за двери раздалось короткое:

— Да!

Врач остался за дверью, а Шубин, собрав все свое мужество, шагнул через порог.

Каюта была очень маленькая, как все помещения на подводной лодке, где дорог каждый метр пространства. На стенке каюты висели мерно тикавшие часы, портрет Гитлера, еще что-то — Шубин не успел разглядеть.

— Лейтенант Пирволяйнен?

Спину Шубина обдало холодом. Где-то он уже слышал этот голос: неприятно тонкий и брюзгливо-медлительный.

На вращающемся кресле повернулся коренастый, почти квадратный человек.

Темно-красные волосы его составляли резкий контраст с лицом, белым как бумага. Рыжие не часто бывают бледными. Этот был бледным.

Борода короткая, редкая. Усов нет. Очень узкие губы, щель вместо рта. Но нижняя часть лица, полускрытая бородой, была тяжелая, чувственная.

Возраст? Лет пятьдесят, вероятно. Пятьдесят — и всего лишь командир подводной лодки? Это необычно. Полагалось уже быть адмиралом.

Шубин спохватился и выпрямился. Но не смог заставить себя щелкнуть каблуками перед фашистом. Это было свыше его сил.

Командир подводной лодки молчал, не отрывая от Шубина взгляда.

Станный это был взгляд — изучающий, взвешивающий и в то же время рассеянный. Глаза были очень близко посажены к переносице. Казалось, вдобавок, что один располагается несколько выше другого. Это происходило, вероятно, оттого, что вследствие увечья или привычки командир держал голову набок — с какой-то недоверчивой, лукавой ужимкой.

Проверяя себя, он заглянул в удостоверение, лежавшее на столе:

— Правильно — Пирволяйнен!.. Вы говорите по-немецки?

Сомнений нет. Голос тот же самый — «шхерный»! Значит, он, Шубин, на борту «Летучего Голландца»?!

С трудом Шубин выдал из себя:

— Да, господин командир.

Смысл последующих слов был непонятен.

— Ну что ж! — сказал подводник. — Я надеялся, что вы русский. Если бы я знал, что вы всего только финн... Но не выбрасывать же снова за борт... Я высажу вас в двух милях от Хамины. Ваше командование извещено по радио. Вас будут ожидать на берегу.

Но внимание Шубина было сосредоточено на полуразмокшем воинском удостоверении. Подводник рассеянно вертел его короткими пальцами, потом поставил ребром на стол.

— В район Хамины придем через шесть часов. Этим я вынужден ограничить свою помощь...

Шубин пробормотал, что ему неловко затруднять господина командира подводной лодки. Конечно, у того есть свои собственные задачи, которые...

Немец предостерегающе поднял руку.

— Не ломайте над моими задачами голову! Рискуете сломать ее! — Он улыбнулся Шубину, вернее, сделал вид, что улыбнулся. Просто показал десны и тотчас же спрятал их, не считая нужным слишком притворяться. — По возвращении в часть, — резко сказал он, — ваш долг забыть обо всем, что вы видели здесь! Забыть даже, что были на борту моей субмарины!

Он встал из-за стола.

Только теперь Шубин по-настоящему рассмотрел его глаза. Они были очень светлые, почти белые, с маленькими зрачками, что придавало им выражение постоянной, с трудом сдерживаемой ярости.

— Забыть, забыть! — с нажимом повторил немец. — И вы забудете, едва лишь покинете нас. Забудете все, словно бы ничего и не было никогда!

Шубин молчал. Подводник опять со странной ужимкой склонил голову набок, будто присматриваясь к своему собеседнику. Вспышка непонятого гнева прошла так же внезапно, как и возникла.

После паузы он сказал спокойно:

— Доложите своему командиру, что были подобраны немецким тральщиком.

Подводник небрежно переброешил Шубину раскрытое воинское удостоверение финского летчика.

Шубин стиснул зубы, чтобы не крикнуть.

Фамилия, имя и звание были вписаны в удостоверение очень прочной тушью. Они уцелели. Но на месте фотографии осталось серое пятно. Удостоверение слишком долго пробыло в соленой морской воде, которая размывала, разъела фотоснимок. Виден был только контур головы и плеча. Высокий голос произнес:

— Впрочем, документ получите позже. Вахтенный командир внесет его в журнал. Все! Доктор вас проводит.

Шубин выпрямился. Ощущение было такое, будто волна накрыла его с головой, проволокла по дну и неожиданно опять выбросила на поверхность.

Но он позволил себе перевести дух лишь за порогом командирской каюты.

Его поджидал пучеглазый врач.

— Ну, как самочувствие? — Он пытливо заглянул Шубину в лицо. — Белы как мел. Так! Одышка. Пульс? О да! Частит! Надо подкрепиться, затем лечь спать. До высадки на берег еще много времени!..

Они прошли по отсекам, сопровождаемые угрюмыми взглядами матросов. Какая, однако, сумрачная, словно бы чем-то угнетенная команда на этой подводной лодке!..

Пока Шубин, обжигаясь, пил горячий кофе в кают-компании, доктор сидел рядом и развлекал его разговором о возможностях заболеть плевритом или пневмонией. Не исключено, впрочем, что тем и другим вместе.

Доктор был совершенно лыс, хотя сравнительно молод. На полном, гладко выбритом лице лихорадочно поблескивали темные выпуклые глаза.

Кают-компания была очень тесной. Закрепленная за магистрали, проходящие вдоль борта, висела небольшая картина, изображавшая корабль в море. Время от времени Шубин недоверчиво вскидывал на нее глаза. Она была странная, как все на этой подводной лодке.

Корабль с парусами, полными ветром, наискось надвигался на Шубина — из левого угла картины в правый. В кильватер ему, примерно на расстоянии шести-семи кабельтовых, шел второй корабль. Он шел, сильно кренясь, задевая за воду ноками рей. Солнце заходило на заднем плане. Лучи его, как длинные пальцы, высывались из-за туч и беспокойно шарили по морю, оставляя на волнах багровые следы.

Конечно, Шубин не считал себя знатоком в живописи. И все же было ясно, что художник в чем-то напутал.

Он хотел спросить об этом доктора, но раздумал. Слишком болела голова, чтобы толковать о картинах.

— Где бы мне положить вас? — в раздумье сказал врач. Он остановил проходившего через кают-компанию молодого человека: — Где нам положить пассажира? В кормовой каюте?

— Да ты в уме, Гейнц? Уложи лейтенанта на койке Курта. Сейчас его вахта.

— Да, правильно. Я забыл.

Только вытянувшись во весь рост на верхней койке, Шубин почувствовал, как он устал.

Через шесть часов мнимого Пирволяйнена встретят на берегу, обман будет раскрыт. Ну и пусть! Расстреляют ли сразу, начнут ли гноить в застенке для военнопленных — Шубин сейчас не хочет думать об этом. Выяснится еще бог знает когда — через шесть часов! А пока спать, спать!

— Завидую вам, — сказал доктор, стоя в дверях. — Третий год сплю только со снотворными...

Завидует? Знал бы он, кому завидует...

Уже погружаясь в сон, Шубин неожиданно дернулся, будто от толчка. Не разговаривает ли он во сне? Стоит ему пробормотать несколько слов по-русски...

Нет, кажется, он только храпит. А храп — это не страшно. Храп вне национальной принадлежности!

Койка чуть подрагивала от работы моторов. Вероятно, подлодка двигалась уменьшенными ходами. Это убаюкивало.

Почему-то вспомнилось, как он, еще в училище, начал изучать немецкий язык.

В Испании вспыхнула гражданская война. Шубин, учившийся тогда на третьем курсе, загорелся ехать добровольцем.

Было известно, что на стороне Франко воюют гитлеровские военные моряки. Стало быть, знание немецкого языка пригодилось бы, могло, во всяком случае, иметь значение при отборе кандидатов.

Со свойственной ему решительностью Шубин принял свои меры. Он стал дополнительно заниматься немецким на кафедре иностранных языков.

По счастью, у него оказались природные способности к языкам. Память была ясная, цепкая. А главное, конкретная цель была впереди. Он нажал на изучение языка, чтобы впоследствии лучше воевать.

Понятно, пришлось подчиниться строжайшему, подлинно спартанскому режиму. Увольнение «на берег» Шубин начисто отменил для себя. Отказался даже от такого любимого своего развлечения, как игра в шахматы. Все свободное время он тратил лишь на изучение языка.

Даже сны видел теперь «из немецкого». Длинные фразы маршировали на училищном плацу, вздваивали ряды, делали по команде перестроение. Но глагол, подобно барабанщику, неизменно оставался на левом фланге.

Товарищи диву давались, как Борис не свалится при такой нагрузке. Он только улыбался. Он был спортсменом. Отлично тренированный организм его выдерживал напряжение, которое давно свалило бы с ног обыкновенного человека.

А по воскресеньям он становился на лыжи и уходил в Александровский парк. Пробежавшись по морозцу километров двадцать,

хорошенько провентилировав мозги, опять торопливо раскрывал учебник, бормоча свои «датиф, аккузатиф».

В Испанию Шубина все-таки не послали, к его величайшему негодованию. Однако немецким он овладел.

«Думать по-ихнему только не научился, — шутил он. — Немецкие фразы длинные, а я думаю быстро...»

Шубин так и заснул, улыбаясь этому бесконечно далекому, уютному воспоминанию.

Через полчаса доктор зашел проведать пациента и, стоя у койки, подивился крепости его нервов. Каков, однако, этот Пирволяйнен! Сбит в бою, тонул, чудом спасся и вот лежит, закинув за голову мускулистые руки, ровно дышит да еще и улыбается во сне...

### 3. На борту «Летучего Голландца»

Шубин улыбался во сне.

Он спал так безмятежно, будто находился не среди врагов, не на немецкой подводной лодке, а в своем общежитии на Лавенсари. Словно бы вернулся из очередной вылазки в шхеры, перебросился с Князевым парой слов, зевнул и... Такой богатырский сон сковал его, что он и не слышит, как бегают, суеются, стучат когтями крысы за стеной.

Не спи, проснись, гвардии старший лейтенант! Тварь опаснее крысы возится сейчас подле твоей койки!..

Что-то все же бодрствовало в нем, как бы стояло на страже. Он вскинулся от ощущения опасности — привычка военного человека.

Нет, крысы на груди не было. И он проснулся не дома, а в чужом помещении. Враг был рядом. Снизу доносились его прерывистое — со свистом — дыхание, озабоченная воркотня, шорох бумаги.

Шубин сразу овладел собой. У таких людей не бывает вяло-дремотного перехода от сна к бодрствованию. Сознание с места берет предельную скорость.

Минуту или две он лежал с закрытыми глазами, не шевелясь, припоминая. «Я финн, летчик. Сбит в воздушном бою, — мысленно повторял он, как урок. — Подобран немецкой подводной лодкой. Я лейтенант. Меня зовут... Но как же меня зовут?..»

Ему стало жарко, словно бы лежал в бане на верхнем полке. Он забыл свою новую, финскую фамилию!

Имя его, кажется, Аксель. Да, Аксель. А фамилия? Ринен?..

Мякинен?..

Нет, незачем напрягать память. Будь что будет! Надо, как всегда, идти навстречу опасности, не позволяя себе поддаваться панике.

Занавеска, заменявшая дверь в каюте-выгородке, колебалась. Значит, подводная лодка двигалась, хоть и не очень быстро.

Шубин свесил голову с верхней койки. Он увидел спину и затылок человека, который сидел на корточках у раскрытого парусинового чемодана и копался в нем.

— Все в конце концов потонут, все, — явственно произнес человек (он разговаривал сам с собой). — И командир потонет, и Руди, и Гейнц. А я нет!.. — Он негромко хихикнул, вытащил из-под белья пачку каких-то разноцветных бумажек и, шелестя ими, принялся перелистывать. — Но где же мой Пиллау? — сердито спросил он.

Шубин кашлянул, чтобы обратить на себя его внимание.

Человек поднял голову. У него было одутловатое, невыразительное, словно бы сонное лицо. Под глазами висели мешки, щеки тряслись, как студень. Шею обматывал пестрый шарф.

— Вы, наверно, штурман? — спросил Шубин. — Извините, я занял вашу койку.

Человек в пестром шарфе, не вставая с корточек, продолжал разглядывать Шубина.

— Нет, я не штурман, — сказал он наконец. — Я механик.

— А сколько времени сейчас, не можете сказать?

— Могу. Семнадцать сорок пять. Вы проспали почти восемь часов.

Восемь? Но ведь подводная лодка через шесть часов должна была подойти к берегу! Шубин соскочил с койки.

— Вижу, вам не терпится обняться с друзьями, — так же вяло заметил механик. — Не торопитесь. Еще есть время. Даже не подошли к опушке шхер.

Стараясь не выдать своего волнения, Шубин отвернулся к маленькому зеркалу, вделанному в переборку каюты. Он снял с полочки гребешок и начал неторопливо причесываться. При этом даже пытался насвистывать. Почему-то на память пришел тот однообразный мотив, который исполнял на губной гармошке меланхолик в шхерах.

Механик оживился.

— О! «Ауфвидерзеен»! Песенка гамбургских моряков! Вы бывали в Гамбурге?

— Только один раз, — осторожно сказал Шубин.

— «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен»<sup>[17]</sup>, — покачивая

головой, негромко пропел механик. Потом добавил: — Хороший город Гамбург! Давно вы были там?

— До войны.

— Мой родной город. Я жил недалеко от Аймсбюттеля.

Шубин поежился. Он никогда не бывал в Гамбурге.

Механик неожиданно подмигнул:

— Натерпелись страху в море? Я так и думал. Вам бы не выдержать шторма. Если бы не мы...

Шубин с опаской присел на нижнюю койку. Только бы немец не стал расспрашивать его о Гамбурге, о котором он имел самое общее представление. Но механик отвернулся и опять принялся рыться в чемодане, бормоча себе под нос: «Пиллау, Пиллау, где же этот Пиллау?» Но вот «Пиллау» нашелся. Механик разогнул спину. Нелепая гримаса поползла по одутловатому бледному лицу, безобразно искажая его. Это была улыбка!

— Случись со мной такое, как с вами, — объявил он, — я бы нипочем не боялся!

— Да что вы!

— Конечно! Что мне волны, шторм! Чувствовал бы себя, как дома в ванне.

— Но почему?

Собеседник Шубина ответил не сразу. Он смотрел на него прищурясь, полуоткрыв рот, будто прикидывал, стоит ли продолжать. Потом пробормотал задумчиво:

— Так вы бывали в Гамбурге? Да, хороший город, на редкость хороший...

Очевидно, то пустячное обстоятельство, что финский летчик бывал, по его словам, в Гамбурге и даже помнил песенку гамбургских моряков «Ауфвидерзеен», неожиданно расположило к нему механика.

Он сел на койку рядом с Шубиным.

— Видите ли, в этом, собственно, нет секрета, — начал он нерешительно. — И это касается только меня, одного меня. А история поучительная, может вам пригодиться...

Шубин молчал.

Опасность прищорила его ум, обострила пронизательность. Внезапно он понял, в чем дело! Механик томится по слушателю!

И это было естественно. Мирок подводной лодки тесен. Механик, вероятно, давно уже успел надоесть всем своей «поучительной» историей. Но она не давала ему покоя. Она распирала его! И вот появился новый внимательный слушатель!



— Ну, так и быть, расскажу! Вы спросили меня, почему не боюсь утонуть? А вот почему! — Он помахал пачкой разноцветных бумажек, которые извлек из своего чемодана. — С этим не могу утонуть, даже если бы хотел. Держит на поверхности лучше, чем резиновый или капковый жилет!.. Вы удивлены? Многие моряки, конечно, умирают на море. Это в порядке вещей. Я тоже моряк. Но я умру не на море, а на земле. Это так же верно, как то, что вас сегодня выловили из моря!

— Умрете на земле? Нагадали вам так?

— Никто не гадал. Я сам устроил себе это. Недаром говорится в пословице: каждый сам кузнец своего счастья. — Он глубокомысленно поднял указательный палец. — Да, счастья! Много лет подряд терпеливо и методично, как умеем только мы, немцы, собирал я эти квитанции.

— Зачем?

— Но это же кладбищенские квитанции! И все, учтите, на мое имя!

Лицо Шубина, вероятно, выразило удивление, потому что механик снисходительно похлопал его по плечу:

— Сейчас поймете! Вы неплохой малый, хотя как будто недалекий, извините меня. Впрочем, не всякий додумался бы до этого, — продолжал он с самодовольным смешком, — но я додумался!

Он, по его словам, плавал после первой мировой войны на торговых кораблях. («Пришлось, понимаете ли, унизиться. Военный моряк — и какие-то торгаши!»)

Ему довелось побывать во многих портовых городах Европы, Америки, Африки. И всюду — в Ливерпуле, в Генуе, в Буэнос-Айресе, в Кейптауне — механик, сойдя с корабля, отправлялся прогуляться на местное кладбище. Это был его излюбленный отдых. («Сначала, конечно, выпивка и девушки, потом — кладбище. Так сказать, полный кругооборот. Вся человеческая жизнь вкратце за несколько часов пребывания на берегу!»)

В большинстве портовых городов кладбища очень красивы.

Неторопливо прохаживался механик, сытый, умиротворенный, чуть навеселе, по тихим тенистым аллеям — нумерованным улицам и кварталам города мертвых. Засунув руки в карманы и попыхивая трубочкой, он останавливался у памятников, изучал надписи на них, а некоторые, особенно чувствительные, списывал, чтобы перечитать на досуге, отстояв вахту.

Все радовало здесь его сентиментальную душу: планировка,

эпитафии, тишина. Даже птицы в ветвях, казалось ему, сдерживают свои голоса, щебечут приглушенно-почтительно, чтобы не потревожить безмолвных обитателей могил.

Он принимался — просто так, от нечего делать — как бы «примеривать» на себя то или другое пышное надгробие. Подойдет ему или не подойдет?

Вначале это выглядело как игра, одинокие забавы. Но и тогда уже копошились внутри какие-то утилитарные расчеты, пока не оформившиеся еще, не совсем ясные ему самому.

Механика озарило осенью 1929 года на кладбище в Пиллау. Да, именно в Пиллау! Он стоял перед величественным памятником из черного мрамора и вчитывался в полустершуюся надпись. На постаменте был выбит золотой якорь в знак того, что здесь похоронен моряк. Надпись под якорем извещала о звании и фамилии умершего. То был вице-адмирал в отставке, один из восточно-пруссских помещиков. Родился в 1815 году, скончался в 1902-м.

Механику понравилось это. Восемьдесят семь лет! Неплохой возраст!

И памятник был под стать своему владельцу: респектабельный и очень прочный. Он высился над зарослями папоротника, как утес среди волн, непоколебимый, бесстрастный, готовый противостоять любому яростному шторму.

Штормы! Штормы! Долго в раздумье стоял механик у могилы восьмидесятисемилетнего адмирала, потом хлопнул себя по лбу, круто повернулся и поспешил в контору. Он едва сдерживался, чтобы не перейти с шага на нетерпеливый, неприличный его званию бег.

Именно там, в Пиллау, пятнадцать лет назад, он приобрел свой первый кладбищенский участок!..

Механик полез, сопя, опять в чемодан и вытащил оттуда несколько фотографий.

— Вот! — сказал он, бросая на колени Шубину одну из фотографий. — Я купил сразу, не торгуясь. Взял то, что было под рукой. Вечером мы уходили в дальний рейс. Вдобавок дело было в сентябре, а с равноденственными штормами, сами знаете, ухо надо держать востро. Приходилось спешить. Но потом я стал разборчивее. — Он показал другую фотографию. — Каковы кипарисы, а? Генуя, приятель, Генуя! Уютное местечко. Правда, далековато от центра. Я имею в виду центр кладбища. Но, если разобраться, оно и лучше. Больше деревьев и тише. Вроде Деббельна, района вилл в Вене. И не так тесно. Тут вы не найдете этих новомодных двухэтажных могил. Не выношу двухэтажных могил.

— Еще бы, — сказал Шубин, лишь бы что-нибудь сказать.

— Да. Я знаю, что это за удовольствие — двухэтажная могила. Всю жизнь ючусь в таких вот каютках, валяюсь на койках в два этажа. Поднял руку — подволок! Опустил — сосед! Надоело. Хочется чувствовать себя просторно хотя бы после смерти. Вы согласны со мной?

Шубин машинально кивнул.

— Вот видите! Уже начинаете понимать.

Но Шубин по-прежнему ничего не понимал. Он слышал непрерывный шорох забортной воды. Значит, подводная лодка продолжает двигаться. Драгоценное время уходит. А он так и не узнал ничего, что могло бы пригодиться. Этот коллекционер кладбищенских участков не дает задать себе ни одного вопроса, словно бы подрядился отвлекать и задерживать.

После первой своей покупки механик, по его словам, посещал кладбища уже не как праздный гуляка. Приходил, торопливо шагая и хмурясь, как будущий наниматель, квартиросъемщик. Озабоченно сверялся с планом. Придирчиво изучал пейзаж. Подолгу и со вкусом обсуждал детали своего предстоящего захоронения, всячески придираясь к представителям кладбищенской администрации.

Это место, видите ли, не устраивало его потому, что почва была глинистая. («Красиво, однако, буду выглядеть осенью, в сезон дождей», — брюзжал он, тыча тростью в землю.) В другом месте сомнительным представлялось соседство. («Прошу заметить, я офицер флота в отставке, а у вас тут какие-то лавочники, чуть ли не выкресты».)

«Да, да, да! — кричал он кладбищенским деятелям, замученным его придираками. — Желаю предусмотреть все! Это не квартира, не так ли? Ты нанимаешь на год, на два, в лучшем случае на несколько лет, а здесь как-никак речь идет о вечности».

Но он хитрил. Ему не было никакого дела до вечности. Он лишь демонстрировал свою придирчивость и обстоятельность, как бы выставлял их напоказ перед кем-то, вернее, чем-то, что стояло в тени деревьев, среди могил, и пристально наблюдало за ним.

Шубин с силой потер себе лоб. Что это должно означать? Ему показалось, что его снова укачивает на пологих серых волнах. Но он сделал усилие и справился с собой.

— Извините, я прерву вас, — сказал он. — К чему все-таки столько квитанций? У вас их десять... двенадцать... да, четырнадцать. Четырнадцать могил! Человеку достаточно одной могилы.

— Мертвому! — снисходительно поправил механик. — Живому, тем

более моряку, как я, нужно несколько. Чем больше, тем лучше. В этом гарантия. Тогда моряк крепче держится на земле. Он умрет на земле, а не на море. Ну сами посудите, как я могу утонуть, если закрепил за собой места на четырнадцати кладбищах мира?

Шубину показалось, что размах пологих волн уменьшается.

— А! Я как будто понял! Квитанция — вроде якоря? Вы стали, так сказать, на четырнадцать якорей?

— Таков в общих чертах мой план, — скромно согласился человек в пестром шарфе.

Чтобы не видеть его мутных, странно настороженных глаз и трясущихся щек, Шубин склонился над снимками.

Все они имели одну особенность. На заднем плане между кустами и деревьями обязательно просвечивала полоска водной глади. Участки были с видом на море! В этом, вероятно, заключался особый загробный «комфорт», как его понимал механик. Устроившись наконец в одной из могил, он мог иногда позволить себе развлечение — высовывался бы из-под плиты и показывал морю язык: «Ну что? Перехитрил? Ушел от тебя?»

Сумасшествие, мания? Суеверие, перешедшее в манию? Тонкий коммерческий расчет — даже в сношениях с потусторонним миром?

— Теперь мне ясно, — сказал Шубин. — Вы хотите обмануть судьбу.

— Но мы все хотим обмануть ее, — рассудительно ответил механик. — А вы разве нет?

Он оглянулся. На пороге стоял бородатый матрос. — Командир просит господина финского летчика в центральный пост, — доложил матрос, исподлобья глядя на Шубина.

Сопровождаемый безмолвным и мрачным матросом, Шубин миновал несколько отсеков.

В узких, плохо проветриваемых помещениях было душно, влажно. Пахло машинным маслом и сырой одеждой. Вдоль прохода тянулись каюты-выгородки.

Внешне сохраняя спокойствие, Шубин волновался все сильнее.

«Подходим к шхерам, — думал он. — Сейчас меня будут сдавать с рук на руки...»

И все же он продолжал с профессиональным интересом приглядываться к окружающему. На подводной лодке был впервые — раньше как-то не довелось.

— Не ударьтесь головой! — предупредил матрос.

Пригнувшись, Шубин шагнул в круглое отверстие и очутился в центральном посту.

После бредового бормотания о могилах и квитанциях приятно было очутиться в привычной трезвой обстановке, среди спокойных и рассудительных механизмов.

Конечно, управление здесь было в десятки раз более сложным, чем на торпедном катере, но моряку положено быстро ориентироваться на любом корабле.

Вот гироскоп, отличной конструкции! Вот кнопки стреляющего приспособления. А это, наверно, прибор для измерения дифферента.<sup>[18]</sup> В стеклянной трубочке видна чуть покачивающаяся тень, силуэт подводной лодки. («У нас, кажется, этого еще нет. Штука занятная! Жаль, не успею рассмотреть подробнее».)

Вертикальная труба перископа поднималась на несколько секунд, опускалась, через некоторое время опять поднималась.

Шубин лихорадочно вспоминал: «Перископная глубина — восемь метров... Да, как будто восемь метров. Стало быть, подводная лодка крадется на перископной глубине».

Только окинув приборы пытливым взглядом, он обратил внимание на людей, находившихся в отсеке. Их было много, и каждый был поглощен своим делом.

Командир сидел на маленьком табурете, похожем на велосипедное седло, и, согнувшись, смотрел в окуляры перископа.

Справа от него стояли двое рулевых: один управлял вертикальным рулем, второй — горизонтальными. Поодаль располагались еще матросы.

Рядом с командиром стояли два офицера, один из которых торопливо записывал что-то в вахтенный журнал, держа его на весу.

Вдруг картина мгновенно изменилась.

В тесном помещении прозвучало и будто эхом отдалось от металла короткое:

— Боевая тревога!

Командир бросил эту команду, не отрываясь от перископа.

Один из офицеров шагнул ко второму перископу. В центральном посту очутился механик. На ходу разматывая пестрый шарф, он поспешно занял свое место у переговорных труб.

Резкий лязг. Переборки задраены!

Командир повернулся на своем вращающемся сиденье.

— А, наш гость, наш верный союзник! — сказал он с преувеличенной любезностью, которая показалась Шубину иронической. — Я пригласил

вас в качестве консультанта. Летали над этим районом?

— Конечно, господин командир.

— Прошу взглянуть в перископ! — Он встал, уступая Шубину место. — Рудольф, помогите нашему гостю сесть. Курсом вест следует русский конвой... Нет, чуть отвернуть от себя!

— Вижу конвой.

— Транспорт, примерно в четыре-пять тысяч тонн, тральщик и два сторожевых катера. Идут противолодочным зигзагом. Так?

Шубин молчал. Медленно вращая верньер, он не выпускал советские корабли из поля зрения. Что отвечать? Точнее, чего не надо отвечать, чтобы не повредить своим?

Подводник сказал за его спиной:

— Понимаю вас. Еще не видели кораблей в таком ракурсе. Привыкли видеть их не снизу, из воды, а сверху, с воздуха. Часто ли попадались вам русские в этом районе?

— Нечасто, — сказал Шубин наугад.

— Благодарю вас. Это-то я и хотел знать!

— Третий конвой за вахту, — вставил офицер, державший в руках журнал.

— Русские готовятся к наступлению, — подтвердил второй офицер.

— Как всегда, повторяетесь, Франц, — резко сказал командир и, отстранив Шубина, сам сел у перископа.

Короткие сильные пальцы его завертели верньер. Голова совсем ушла в плечи, спина сгорбилась, словно бы он изготовился к прыжку.

В центральном посту стало тихо. Слышно было лишь дыхание людей да успокоительно-мерное тиканье приборов. Шубин стиснул кулаки в карманах комбинезона.

Сейчас командир будет ложиться на боевой курс. Торпедисты, конечно, уже стоят наготове у своих аппаратов. Мановение руки, отчетливая команда: «Товсь!», потом: «Залп!» — и торпеда, сверля воду, помчится наперехват советскому конвою.

Шубин с ненавистью, почти не скрываясь, взглянул на немецких офицеров.

Его поразило выражение их лиц: напряженное, мучительно-голодное. Скулы были обтянуты, шеи вытянуты. Даже в глазах, показалось Шубину, загорелись красные волчьи огоньки.

Что делать? Не может же он стоять за спиной фашиста и спокойно наблюдать, как тот будет топить наши корабли? Он, Шубин, останется в стороне во время боя?

Он украдкой огляделся.

Нет! Вмешается в этот бой и отведет удар на себя!

В комплекте аварийных инструментов — большой гаечный ключ. Сгодится! Шубин найдет ему новое, неожиданное применение.

Сдернет с подставки, и командира лодки — по затылку! Так начать. Дальше видно будет.

Главное — внезапность нападения! В отсеке тесно, все стоят впритык, на боевых постах. Ценой своей жизни Шубин сорвет атаку.

Он понял это сразу, едва лишь командир оттолкнул его от перископа. А для Шубина понять означало решить! Он никогда не колебался в своих решениях.

Потихоньку разминая пальцы опущенных рук, он отступил на шаг от командира подводной лодки. «Надо размахнуться, — прикидывал он. — Удар будет сильнее!»

Не видел уже ни людей, ни приборов. Ничего не видел вокруг, кроме этого неподвижного, заросшего рыжими волосами затылка. Крахмальный воротничок подчеркивал его багровый цвет, резкие морщины пересекали во всех направлениях.

Шубин будто оглох. Ничего не слышал — ни приглушенных голосов, ни тиканья приборов. Слух был настроен на одно слово: «Товсь!» Следующей команды: «Залп!» — подводник не успел бы произнести.

Но подводник не сказал: «Товсь!»

Минуты мучительно тянулись. Подводная лодка продолжала свое движение.

Командир то и дело поднимал на короткий срок перископ, потом опускал его. Наконец небрежно махнул рукой:

— Отбой боевой тревоги! — и стремительно поднялся. — Рудольф, координаты встречи в журнал! Франц, продолжать наблюдение! — Дергая головой, он выскочил из отсека.

Офицеры понимающе переглянулись.

— Третий год не может привыкнуть! — сочувственно сказал Рудольф.

— Я тоже не могу. Такой куш! Только поманил, раздражил и...

Франц сел к перископу, поерзал, устраиваясь поудобнее, бросил через плечо:

— Бергер! Проводите нашего пассажира в кают-компанию!

— Через двадцать минут будет ужин, — учтиво пояснил Рудольф.

Он с удивлением смотрел на Шубина.

— Но что с вами? Вам плохо? Бергер, поддержи его под руку!

— Не надо.

— Как хотите. Ужин несомненно пойдет вам на пользу.

Шубин не был уверен в этом.

Ноги не шли. Наступила реакция после нервного подъема.

Не таким, стало быть, будет его последний бой! Не в тесноте вражеской подводной лодки! Не в дикой свалке на железном полу!

С помощью матроса он с трудом сделал несколько шагов. Комбинезон противно прилипал к спине, мокрой от пота.

Согнувшись, Шубин выбрался из круглого лаза в переборке. Он постоял некоторое время, глубоко дыша, стараясь, как говорится, привести себя в управляемое состояние.

— Устал, — сказал он сопровождавшему его матросу. — Сейчас отдышусь.

Матрос молчал, глядя на него исподлобья.

Вдруг резкий, разрывающий голову грохот!

Палуба отсека перекосилась, поползла в сторону, снова выровнялась.

Второй удар! Третий! Шубин невольно пригнулся. Казалось, снаружи в несколько кувалд молотят по металлическому корпусу. Каждый удар отдавался во всем теле, пронизывая болью от макушки до пят.

Глубинные бомбы!

Мимо Шубина пробежал командир подводной лодки. Он юркнул в лаз. Матрос быстро последовал за ним и задраил люк со стороны центрального поста.

Подводная лодка двигалась рывками, меняя глубины, делая крутые повороты, чтобы уйти от бомб.

Гидравлический удар ощущается еще тяжелее, чем воздушная взрывная волна. Он идет со всех сторон, от всей окружающей массы растревоженной, взбаламученной воды. Он потрясает всю нервную систему человека. Это пытка грохотом и беспрестанной вибрацией.

«Конвой обнаружил перископ, — подумал Шубин. — Сторожевики глушат нас глубинками».

Но он ошибся. Советский конвой, сойдясь с подводной лодкой на встречных курсах, давно разминулся с нею и был уже на подходах к Лавенсари.

Моряк не знал, что весь сыр-бор загорелся из-за него. Командование флотом приказало во что бы то ни стало найти Шубина. Его продолжали настойчиво искать. «Морские охотники», как ястребы, кружили наверху.

Начавшийся шторм заставил катера вернуться. Через два часа они



возобновили попытку, однако волнение было еще сильным. В третий раз, уже к вечеру, они дошли почти до опушки шхер.

Положение было предельно ясным, надежд никаких. Но моряки не могли прекратить поиски. Ведь это был их Шубин, Везучий Шубин, любимец всего Краснознаменного Балтийского флота!

Неожиданно в волнах был замечен перископ.

Согласно оповещению штаба, наших подводных лодок в этом районе нет. Стало быть, враг?

За борт полетели глубинные бомбы. Всех охватил азарт погони.

Никому и в голову не пришло, что Шубин может находиться в этой немецкой подводной лодке.

И он не знал о «морских охотниках». Впрочем, ничего бы не изменилось, если бы и знал. От товарищей его отделяла тридцатиметровая толща воды. Он был замурован в немецкой подводной лодке, как в свинцовом гробу.

#### **4. Ужин с оборотнями**

Вдаль уходила перспектива слабо освещенного узкого и длинного прохода между каютами-выгородками.

Новый ошеломляющий удар, подобный удару огромной кувалды! Мигнув в последний раз, плафоны погасли.

Шубин стоял в крошечной тьме, придерживаясь, как слепой, за стену. Она была влажной. Потом из-под пальцев холодными струйками потекла вода. Это означало, что бомбы рвутся очень близко. При гидравлическом ударе ослабевают сальники забортных отверстий, и вода проникает внутрь лодки.

Потом в темноте засветились огни переносных фонариков. Это матросы осматривали свой отсек.

Тошнота подкатила к горлу. Палуба уходила из-под ног. Подводная лодка стремительно теряла глубину.

И в этот момент свет снова замерцал в плафонах, медленно разгораясь.

За спиной сказали:

— По-моему, вам лучше присесть.

Это был доктор.

По боевому расписанию медпункт на военных кораблях развертывается в кают-компаниях. На столе были разложены хирургические инструменты, белели бинты, вата.

Шубин присел на диван. Голова гудела, как барабан. И даже выругаться по-русски — отвести душу — было нельзя.

— Конечно, такие бомбежки вам непривычны, — сказал доктор. — Вы обычно парите, а не ползаете по дну. Но не волнуйтесь. Наш командир уйдет из любой передраги. Это хитрейший из подводных асов, настоящий Рейнеке-лис! Вильнет хвостом — и нет его!

Удары кувалды становились глуше, слабее.

Спустя некоторое время взрывы прекратились. Но «хитрейший из подводных асов» продолжал двигаться.

Наконец зашуршал морской гравий. Подводная лодка выключила электромоторы, проползла на киле несколько метров и легла.

— Притворился мертвым, — пробормотал доктор. — Теперь наберитесь терпения. Будем отлеживаться на грунте...

Доктор продолжал что-то говорить. Даже, кажется, смеялся своим словам. Шубин слушал вполуха.

Им овладела ужасающая усталость. Захотелось вытянуть ноги, расслабить мускулы, закрыть глаза.

Этого нельзя было делать! Враг находился рядом, вероломный, опасный. Надо было рассчитывать каждое свое слово, каждый жест.

Потом раздалась команда по отсекам:

— Отбой боевой тревоги!

И через некоторое время в кают-компанию один за другим начали входить офицеры.

Первым к столу явился коллекционер кладбищенских квитанций. Он подмигнул Шубину и принялся разматывать свой пестрый шарф. Подбородок у него оказался тройной, отвисающий. Создавалось впечатление, что лицо оттягивается этим подбородком книзу, оплывает, как догорающая свеча.

За механиком прибрел, волоча ноги, очень высокий, худой человек. У него был торчащий кадык и трагические черные брови.

— Наш штурман! — шепнул доктор на ухо Шубину.

У стола, с которого были убраны медикаменты, суетился вестовой, расставляя тарелки.

Командира не было. Вероятно, он находился в центральном посту.

Последним пришел немолодой офицер. Шубин уже видел его. Он взялся за спинку стула, нагнул голову, что повторили остальные, минуту стоял в молчании. Вероятно, это была молитва.

Потом пробормотал: «Прошу к столу», и все стали рассаживаться.

По этим признакам нетрудно было догадаться, что немолодой офицер

— хозяин кают-компании, старший помощник командира.

Он небрежно указал подбородком на Шубина:

— Наш новый пассажир, лейтенант Пирволяйнен!

Шубин чуть было не выронил тарелку, которую передал ему вестовой.

Значит, фамилия его — Пирволяйнен! Конечно же, Пирволяйнен! Теперь-то он не забудет: Пирволяйнен, Пирволяйнен!..

— Впрочем, — продолжал старший помощник, — из какого вы города?

— Котка, — наудачу сказал Шубин.

— В вахтенном журнале будете записаны без упоминания фамилии, как «пассажир из Котки». Не так ли, Курт?

Сосед Шубина справа кивнул.

Шубин удивился. Курт! Подобное панибратство не принято на флоте.

Угадав его мысль, доктор, сидевший слева от Шубина, повернулся к гостю.

— У нас очень замкнутый мирок, — любезно пояснил он, — поэтому мы называем друг друга по именам. Да и не все ли вам равно? Пусть останемся в вашей памяти лишь под своими скромными именами.

Шубин пробормотал, что ему этого вполне достаточно. При всех условиях он сохранит живейшую благодарность к подводникам — ведь они вытащили его из воды.

— Правильнее сказать: выловили, — сказал старший помощник, разливая суп по тарелкам.

— Вас подцепили отпорным крюком за рубашку, — пояснил Шубину Курт. — А потом накинули петлю под мышки. Однажды в Атлантике мы вытаскивали так акулу.

— Да, вы забавно выглядели на крюке. — Доктор скорчил гримасу. — Прибыли к нам, можно сказать, запросто, не так, как другие, без всякой помпы.

Старший помощник постучал разливательной ложкой по суповой миске. Это можно было понять как предостережение доктору, но также и как приглашение к еде. В течение нескольких минут все за столом занимались только едой.

Потом разговор возобновился. Офицеры подводной лодки называли друг друга только по именам: «Курт», «Франц», «Готлиб», «Венцель», «Гейнц». Может быть, в этом была конспирация?

Склонившись над тарелкой, Шубин приглядывался к своим

сотрапезникам.

Что-то неприятное, рыбе было в их наружности. Остекленевшие ли глаза с пустыми зрачками, болезненно ли белый цвет кожи — вероятно, сказывалось длительное пребывание под водой.

Шубин покосился на руки подводников. Не хватало, чтобы из рукавов высовывались чешуйчатые плавники или ласты.

«Люди-рыбы, — с отвращением подумал он. — Обратни проклятые!..»

Франц, старший помощник, несомненно, сродни щукам. Впечатление такое, что во рту у него слишком много зубов. Глаза злые, неподвижные.

Сидящий рядом с ним механик, вялый Готлиб, со своими отвислыми щеками, чуть ли не лежавшими на плечах, напоминает сома.

А пучеглазый, непоседливый, быстрый в движениях доктор, которого все запросто называют Гейнц, смахивает на суетливого маленького рачка. Шубин помотал головой, прогоняя наваждение. Рыбы хари исчезли, но лица у подводников по-прежнему были асимметричные, словно бы отраженные в кривом зеркале. С этим, видно, ничего уже нельзя поделать. Шубин вздохнул.

Вздох был понят неправильно.

— Да, ваше возвращение затягивается, — сказал доктор. — Понятно, вы рветесь поскорей на берег, к своим...

Знал бы он, как Шубин «рвется» на вражеский берег, к этим представителям авиационной части, которые разоблачат его с первого же взгляда!

— В перископ я видел ваш воздушный бой, — обратился Курт к Шубину. — Но мы не смогли подойти ближе. Налетела русская авиация.

— О! — подхватил доктор. — Кто бы мог думать, что вы еще живы!.. И вдруг, когда мы возвращались, Венцель, наш штурман, увидел в том же квадрате стаю чаек. Они дрались над чем-то...

— Красное пятно на воде, — кратко пояснил Венцель.

— Недаром эти надувные жилеты красного цвета. Скорее бросаются в глаза!

— Но мы надеялись, что вы русский, — сказал Курт, наливая себе еще супу.

Шубин низко наклонился над тарелкой, боясь чем-нибудь выдать свое волнение. Вот уж третий раз он слышит об этом!

— Вас потому и вытащили, что приняли за русского. Мы бы порасспросили его кое о чем. А по миновании надобности... — Курт сделал движение кистью руки, словно бы отмахиваясь.

— Да, русский недолго бы задержался у нас, — благодушно подтвердил толстый Готлиб.

— Вам вдвойне повезло, Пирволяйнен! — Франц выставил наружу свои щучьи зубы. — Не явись мы на помощь, вы попали бы в плен к русским.

— Уже во второй раз они приходят в этот квадрат. Ищут своего летчика.

— Который сбит не кем иным, как вами, Пирволяйнен! — многозначительно добавил доктор. — Вам не поздоровилось бы там, наверху.

Все засмеялись, но как-то невесело.

Они вообще были невеселые, видимо, очень издерганные и озлобленные, и оттого, конечно, особенно опасные.

— Я думал, это тот самый конвой, — осторожно сказал Шубин.

— Нет, конвою дали уйти. Это «морские охотники».

«Морские охотники»? Вот как!

На мгновение Шубин представил себе своих товарищей — там, наверху.

Нервы акустиков, прикинувших к приборам, напряжены до предела. Это очень трудно — ждать вот так: как кошка, которая подстерегает мышь, вся обратившись в слух, подобравшись, изготовившись для прыжка.

Но ни одного подозрительного звука не доносится со дна.

Недра моря полны разнообразных отчетливых или невнятных шумов. Вот быстрое жужжание, подобное тому, какое издает майский жук, — это винты соседнего катера. Вот резкое потрескивание — это эмиссия, не в порядке усилители акустического прибора, надо менять одну из ламп.

Звуки, привычные для слуха акустика, то пропадают, то выделяются на постоянном фоне, однообразном, похожем на гудение большой тропической раковины. Но не слышать ни приглушенной речи, ни осторожных шагов, ни долгожданного характерного звука, напоминающего змеиный свист, который сопровождает подводную лодку, когда она скользит под водой.

«Только бы нам уцепиться за звук!» — говорит капитан-лейтенант Ремез. Отрядом катеров, наверно, командует Левка Ремез. Такой толстый, краснощекий, озабоченный! Они дружки-приятели с Шубиным. Он-то, наверно, и не уведит катера на базу, несмотря на безнадежность поисков.

Не отрывая бинокля от глаз, Ремез всматривается в даль. За спиной его негромко переговариваются сигнальщики. А в небе во все лопатки светит солнце. И по морю взад-вперед гуляет синеглазая красавица волна.

Хорошо!..

Шубин снова вздохнул.

— Командир обязательно доставит вас к месту назначения, — успокоительно сказал доктор. — Он лучший подводник Германии.

— О да! — поддержал Курт. — Умеет появляться и исчезать, как призрак!

За столом оживились. Все принялись наперебой расхваливать своего командира.

Готлиб уставился на Шубина тяжелым, мутным взглядом:

— По желанию, может обернуться надводным кораблем. Скажем, транспортом. Но, конечно, затонувшим, — поспешно добавил он.

Франц сердито постучал ножом по блюду, на котором лежала отварная рыба. К нему со всех сторон протянулись руки с тарелками.

Доктор полил свою рыбу соусом и торжественно оглядел присутствующих.

— В средние века, — сказал он, — никто не усомнился бы в том, что наш командир заговорен или продал душу черту.

— Я и сейчас думаю это, — пробормотал Курт, но так тихо, что услышал только Шубин.

Нервы его были напряжены, зрение, слух обострены, как никогда. Только виски по временам стискивало клещами. Одна мысль давно мучила, искушала.

Шубина подмывало — шумнуть!

Опасность, как грозовая туча, нависла над подводной лодкой.

Здесь разговаривали вполголоса, то и дело поглядывали на подволок, вестовой ходил вокруг стола чуть ли не на цыпочках, балансируя тарелками, как канатоходец в цирке.

Шубин ощупал гаечный ключ, который сунул на всякий случай за пазуху комбинезона, под пояс.

Это полезный предмет в его положении. Им можно не только убить. Им можно оповестить о себе!

Но для этого надо остаться в отсеке одному. Потом бесшумно вскочить и задраить переборки.

И тогда исполнить свой последний, сольный номер!

Надо колотить и колотить ключом по корпусу, оповещая Левку Ремеза о том, что внизу, на грунте, подводная лодка!

Глубины в заливе небольшие. Отчетливый металлический гул пойдет волной к гидроакустикам, которые напряженно прослушивают море. И тотчас же в ответ посыплются сверху бомбы, глубинные бомбы, одна серия

бомб за другой!

Шубин вызовет огонь на себя!..

Но он сразу опомнился. «Летучий Голландец» погибнет, и он с ним, пусть так! Но ведь с подводной лодкой погибнет и ее тайна. А тайна, быть может, важнее самой подводной лодки...

Чем внимательнее прислушивался он к разговору в кают-компании, тем больше убеждался в том, что так и есть: тайна важнее подводной лодки!

То был очень странный, скользкий разговор. Нечто необъяснимо опасное таилось в начатых и незаконченных фразах, даже в паузах.

Недомолвки, намеки перепархивали над столом от одного человека к другому, как зловещие черные бабочки. И Шубин безуспешно пытался на лету поймать хоть одну из них.

От невероятного напряжения все сильнее разбалчивалась голова.

Но распускаться было нельзя. Полагалось глядеть и оба, примечать, запоминать. Стыдно было бы вернуться к своим с пустыми руками!

«А я обязательно вернусь к своим! — со злостью, с яростью повторял Шубин про себя. — Выживу! Выстою! Выберусь наверх!»

Но для этого надо быть начеку, следить за тем, чтобы настоящие мысли и чувства не прорвались наружу!

Он также очень боялся допустить промах в какой-нибудь обиходной мелочи.

Знакомый разведчик рассказывал ему, что у немцев иначе, чем у нас, ведется отсчет на пальцах. Немцы не загибают их, а, наоборот, отгибают и начинают не с мизинца, а с большого пальца. И грозят не так, как мы, — покачивают пальцем не от себя, а перед собой.

Пустяк? Конечно. Но на таком пустяке как раз легко сорваться.

Потом он вспомнил, что выдает себя не за немца, а за финна. Это, конечно, облегчало его положение.

Как выяснилось, никто из подводников не знал по-фински.

— Еще ни разу не был в Финляндии. Я имею в виду: внутри Финляндии, — сказал Курт, обернувшись к Шубину. — Говорят, ваши девушки красивы. Длинноногие, белокурые?

— Напоминают норвежек, — заметил Готлиб.

— Но их ты тоже не видел, хотя бывал в Норвегии, — с каким-то злорадством вставил доктор.

— Вы счастливец, Пирволяйнен! — продолжал Курт, не обращая

внимания на доктора. — Теперь вам предоставят отпуск. Если вы захотите, то сможете съездить в Германию. Вы бывали в Германии?

— Он бывал у нас в Гамбурге, — объявил Готлиб. — Он знает песенку гамбургских моряков «Ауфвидерзеен».

Шубин поежился. Разговор приобрел опасный крен. Рыбьи хари выжидательно повернулись к нему. Курт поощрительно улыбался. Губы у него были очень красные, словно вымазанные кровью.

— Это красивая песенка, — подтвердил доктор. — Ее поет Марлен Дитрих. Вам нравится Марлен Дитрих?

Шубин не успел ответить. Его засыпали вопросами.

Какие новинки видел он в гамбургских кино? Что носят женщины в этом году: короткое или длинное? Говорят, в моде снова черные ажурные чулки? В какой гостинице он останавливался и пил ли пиво в бирхалле?

Даже неразговорчивый Венцель спросил, не бывал ли он в Кенигсберге.

Шубин хотел было дерзко ответить: «Еще не бывал. В конце войны надеюсь побывать», но Франц сказал:

— Не надоедайте нашему гостю! Он может подумать, что вы целую вечность не бывали в Германии.

— О, Пирволяйнен! — Курт капризно оттопырил красные губы. — Мы надеялись, что вы поделитесь с нами новостями. Но вы какой-то малоразговорчивый, апатичный.

— Все финны стали апатичными, — изрек Готлиб. — Их надо бы растормошить! Не возражаете?

Он ободряюще подмигнул и захохотал, отчего щеки его отвратительно затряслись.

Курт торопливо допил кофе и встал:

— Прошу разрешения выйти из-за стола! Командир приказал сменить Рудольфа.

Франц молча кивнул.

Убедившись, что из гостя не выжать больше ничего, его перестали втягивать в разговор.

Шубин вяло прихлебывал свой кофе. Что-то неладное творилось с головой. Временами голоса немцев доносились как будто из другой комнаты. Он не понимал, о чем они говорят. Потом сознание снова прояснялось. Мысль работала четко, только в висках оглушительно барабанил пульс.

Он отметил, что справа от него очутился новый сотрапезник. Это, вероятно, был Рудольф, сменившийся с вахты.



Новый провал в сознании. Вдруг до Шубина дошло, что за столом ссорятся. Виновником ссоры был доктор. И Шубин не удивился этому.

Настроение в кают-компании беспрестанно, скачками, менялось. Смех чередовался с возгласами раздражения, странная взвинченность — с сонливостью. Иногда тот или иной сотрапезник вдруг умолкал и погружался в свои мысли.

Неизменно оживленным был только доктор. Но это было неприятное оживление. Доктор разговаривал с каким-то «подковыром». Главной мишенью для насмешек он почему-то избрал молчаливого Венцеля.

— Я запрещаю тебе называть ее Лоттхен! — неожиданно крикнул Венцель.

— Но ведь я сказал: фрау Лотте! И потом, я не сказал ничего обидного. Наоборот. Признал, что Лоттхен... фрау Лотте, извини... очень красива, а дом на Линденаллее чудесен. Я сужу по фотографии, которая висит над твоей койкой.

— Дети, не ссорьтесь! — благодушно сказал Готлиб.

— Я просто выразил сочувствие Венцелю. Я рад, что у меня нет красивой вдовы, то бишь жены, еще раз прошу извинить. Дом с садом, заметьте, отличное приданое! Мне вдруг представилось, как после победы Венцель возвращается к себе на Линденаллее и видит там какого-нибудь ленивца, всю войну гревшего себе зад в тылу. И этот ленивец, вообразите себе...

— Замолчи! — Венцель со стуком отодвинул от себя тарелку.

— Ну, ну! — предостерегающе сказал Франц. — Можете ссориться, господа, если это помогает вашему пищеварению, но ссорьтесь тихо. Русские над нами.

Гейнц замолчал, не переставая криво улыбаться.

— Таков наш Гейнц, — пояснил Шубину Готлиб. — Если он не будет иронизировать за столом, желудок его перестанет выделять сок.

Чтобы не видеть перекошенных лиц своих сотрапезников, Шубин поднял взгляд на картину, которая так удивила его вначале.

Было в ней что-то фальшивое, неправдоподобное, что резало глаз моряка.

Один корабль убегал от другого, двигаясь по диагонали из левого верхнего угла картины в ее правый нижний угол. На море бушевал шторм. Тучи низко висели над горизонтом. Написано толково, спору нет, в особенности хороши эти лиловые тучи, которые хвостами касаются гребней волн.

Что же нехорошо в картине? Пологие, грозно перекатывающиеся

валы? Шубин недавно качался на таких валах, чудом избежал гибели.

Нет, дело в другом.

Камни! За пределами картины, ниже правого ее угла, торчат камни. Шубин угадал их по пенистым завихрениям и тому особому, зеленоватому цвету воды, какой бывает у берега.

Несомненно, чуть правее и ниже рамы — камни!

— Пирволяйнен!

Он огляделся. За столом молчали и смотрели на него.

Полундра! Опасность!

— Нравится картина? — Франц показал свои щучьи зубы.

— В общем, как будто на месте все, — подумав, сказал Шубин. — Но есть недоработки.

— Какие?

— Корабли я бы убрал.

— Почему?

— Ну как же! С полными парусами — прямехонько на камни! Паруса скорее долой, класть право руля!

— Где же видите камни?

Шубин привстал и ткнул пальцем в переборку, чуть пониже рамы. Потом немногословно объяснил насчет цвета воды и пенных завихрений.

— Не имеет значения, — успокоительно сказал Гейнц. — Первый корабль — призрак. Камни не страшны ему.

— Значит, второму отворачивать. Или второй корабль тоже призрак?

— Нет. Просто скован таинственной силой, не может сойти с губельного фарватера.

Шубин недоверчиво пожал плечами.

— Для летчика вы неплохо разбираетесь в бурунах, — сказал Франц, прищурившись.

Опять: полундра!

Шубин стиснул кулаки под столом. И к чему он брякнул об этих камнях?

Ну-ка, ответ! И побыстрее!

Он нашелся.

— До войны я плавал на торговых кораблях, — пояснил он, стараясь говорить возможно более спокойно и медленно. — Ведь у нас, в Финляндии, каждый третий или четвертый — моряк.

Ложечки снова мирно зазвенели в стаканах. Разговор за столом возобновился.

Как будто бы вывернулся, сошло!

Но он не мог дольше оставаться в кают-компании. Не в силах был притворяться, с любезной улыбкой передавать этим оборотням галеты и сахар, улавливать тайный смысл в намеках, улыбках, паузах, постоянно быть настороже.

У него есть выход, и он воспользуется им!

Шубин обернулся к Гейнцу:

— Очень болит голова! Просто разламывается на куски.

Гейнц глубокомысленно кивнул:

— Правильно. Она и должна у вас болеть... Рудольф, будь добр, проводи лейтенанта в каюту. Вам сейчас лучше лечь, Пирволяйнен!

— Да, с вашего разрешения я хотел бы лечь.

Где-то он слышал такое выражение: уйти в болезнь. Кажется, это относилось к мнительным людям? Но сейчас он торопился уйти в болезнь, спасая себя, спасая рассудок. Забивался в болезнь, как измученный погоней раненый зверь, уползающий в свою берлогу.

## 5. Особые приметы

С чувством невыразимого облегчения он покинул кают-компанию.

Сопровождаемый длинным Рудольфом, Шубин неуклюже выбрался из-за стола и, переступая комингс, споткнулся.

Однако сделал внутреннее усилие и заставил себя не обернуться. Он старался держаться возможно более прямо, хотя как бы уносил на своей спине пригибавший к земле груз взглядов.

Эти взгляды чудились ему повсюду.

Минуя отсеки, где находились матросы «Летучего Голландца», Шубин словно бы проходил сквозь строй взглядов: подозрительных, мрачных, враждебных. И, как это ни странно, — боязливых!

Боязливых? Почему?

В одном из отсеков с нижней койки поднялся угрюмый бородач и что-то сказал Рудольфу. Тот остановился. Шубин продолжал медленно идти. Он не вслушивался в голоса за спиной: взволнованный — матроса и успокоительный — Рудольфа. Не до них было.

Мучительно тесно! Низкие своды давят, угнетают. Душа задыхается в этом стиснутом с боков, сверху и снизу пространстве.

Шубина охватила острая тоска по Виктории.

Среди этих безмолвных, холодно поблескивавших механизмов, в этом скопище чужих и опасных людей вдруг так ясно представилась она, в

сером домашнем платъице, сидящая на диване и смотрящая на него снизу вверх — вопросительно и сердито.

В сыром воздухе sklepa слабо повеяло ее духами.

Шубин, не глядя, нашарил ручку двери, нажал на нее, толкнул от себя. Дверь не открывалась.

Откуда-то сбоку выдвинулся матрос с автоматом в руках.

— Ферботен!<sup>[19]</sup> — буркнул он.

— Не туда, Пирволяйнен! — с беспокойством сказал Венцель, нагоняя Шубина, и придержал его за локоть. — Там кормовая каюта!

«Кормовая, кормовая! — машинально повторял про себя Шубин. — Но ведь в кормовом отсеке нет кают. Там лишь торпеды! И почему часовой?»

Он сделал еще два шага, куда-то в сторону, и, очутившись в каюте-выгородке, ничком повалился на койку. Как он устал! Поскорей бы остаться одному, не слышать этих назойливо стучащих немецких голосов. Но долговязый Рудольф не уходил.

— К сожалению, наш командир не присутствовал за ужином в кают-компании, — сказал он.

Шубин пробормотал что-то насчет субординации. На корабле командир обычно сохраняет известную дистанцию между собой и своими офицерами.

— Нет. Дело не только в этом. Мы называем командира Подводным Мольтке. Он молчалив подобно Мольтке. А как понравились вам офицеры? — спросил Рудольф без всякого перехода. — Готлиб, например? Он показывал свои квитанции? О да! — Рудольф повертел пальцем у лба. — Он со странностями у нас. И не он один. Здесь, как говорится, все немного того... Кроме меня, само собой! Представляете, каково нормальному человеку среди них? Знаете, о ком только что говорил мой унтер-офицер? О вас.

— Неужели?

— Да. Сегодня пятница. Вас выловили в пятницу.

— Субботы я не дождался бы, — вяло пошутил Шубин.

— А Вернер просыпал за ужином соль. Сочетание двух таких примет... Команда считает: вы принесете нам несчастье. — Он как-то неуверенно засмеялся. — Вам, как финну, полагается разбираться в приметах. Говорят, в средние века ваши старухи умели приманивать ветер, завязывая и развязывая узелки.

Шубин перевернулся на спину и подоткнул одеяло. Рудольф не уходил. Потирая подбородок, он в нерешительности топтался у порога.

— Католик ли вы? — неожиданно спросил он.

— Католик? Нет.

— Конечно, финны — лютеране. И тем не менее... — Он решился наконец: — Вы производите впечатление уравновешенного и здравомыслящего человека. Я хотел бы посоветоваться с вами. Слушайте: как по-вашему, грешно ли служить заупокойную мессу по живому?

Шубин недоумевающе посмотрел на него.

— Говорите о себе?

— Допустим.

— Ну, — сказал Шубин, думая, что над ним подшучивают, — по моему, вы недостаточно мертвы для того, чтобы вас отпевать.

Но собеседник его не улыбнулся.

— Если, конечно, вас считают погибшим, — неуверенно предположил Шубин, — или пропавшим без вести...

— Пусть так.

— На вас, мне кажется, вины нет.

— А на моих близких? Мать очень религиозна, я ее единственный сын. Я уверен, она заказывает мессы каждое воскресенье, не говоря уж о годовщине.

— Годовщине чего?

— Моей смерти. Понимаете ли, мучает то, что мать совершает грех из-за меня. Но и мне неприятно. Было бы вам приятно, если бы вас отпевали в церкви, как мертвого?

— Право, я затрудняюсь ответить, — проямлил Шубин.

— Да, да, — рассеянно сказал Рудольф. — Конечно, вы затрудняетесь ответить...

Долгая пауза, Рудольф нагнулся к уху Шубина:

— Иногда даже слышу колокольный звон. Очень громкий! Колокола раскачиваются над самой моей головой, отзванивая память обо мне. У нас очень высокая колокольня, а церковь стоит над самым Дунаем... Мне представляется мой город и мать в черном, которая выходит из церкви. Она прячет скомканный платок в ридикюль и идет по улицам, а знакомые почтительно снимают перед нею шляпы. Вот фрау такая-то, мать павшего героя, нашего земляка!

Он засмеялся сквозь зубы.

Шубин смотрел на него, не зная, что сказать.

Вдруг Рудольф стал делаться все длиннее и длиннее. Он закачался у притолоки, как синеватая морская водоросль.

До Шубина донеслось:

— Но вы совсем спите. Я заговорил вас. И ведь вы не католик. Ничем

не можете мне помочь...

Шубин остался один.

Он забыл о гаечном ключе, о том, что надо «шумнуть», чтобы вызвать огонь на себя. Слишком устал, невообразимо устал.

Лежа на спине, он смотрел на подволок.

Нет, бесполезно пытаться разгадать логику этих людей!

В бою, желая понять тактику противника, он мысленно ставил себя на его место. Это был совет профессора Грибова, и, надо отдать ему должное, превосходный совет.

Как-то, еще в начале войны, случилось Шубину отбиться от «Мессершмитта».

Тот неожиданно вывалился из облаков и шел круто вниз, прямо на торпедный катер. Шубин не спускал с самолета глаз, держа руки на штурвале.

«Мессершмитт» словно бы замер на мгновение. Шубин понял: летчик поймал катер в перекрестье прицела. Сейчас шарахнет из пулемета!

С присущей ему быстротой реакции Шубин отвернул вправо. Почему вправо? В этом и был расчет. Летчик вынужден будет уходить за катером влево, а это гораздо труднее, чем вправо, если летчик не левша, что редко бывает.

«Мессершмитт» промахнулся и с ревом пролетел в нескольких десятках метров от катера. Разгадав маневр летчика, Шубин благополучно ушел от него.

Сейчас, однако, складывается по-другому. И Готлиб, и Рудольф, и Гейнц поступают, можно сказать, «наоборот» — как в случае с самолетом поступил бы левша.

В этом их преимущество перед Шубиным.

Впрочем, будь это не разговор, не игра недомолвками, а открытый бой, он бы, пожалуй, еще потягался с ними!

Шубин начал вспоминать о недавних своих боях. Представил себе, как стремглав мчится по морю, и косо падает и поднимается горизонт впереди, и упругий ветер бьет в лицо, а белый бурун с клочкотанием встает за кормой.

Через несколько минут стало легче дышать. Даже голова как будто прошла.

Некоторое время он не думал ни о чем, просто отдыхал от этого предательского зигзагообразного разговора.

Потом что-то изменилось вокруг.

Ага! Подводная лодка пошла — с чрезвычайной осторожностью! На короткое время немцы включили моторы, потом стопорили их и прислушивались. Все было тихо. Движение, по-прежнему осторожное, возобновлялось.

Шубин подумал, что так уходит от преследователей зверь — крадучись, короткими бросками, прикикая после каждого броска к земле.

Скорей бы развязка, хоть какой-нибудь берег, даже вражеский!

На все готов, лишь бы кончилась эта пытка в плавучем склепе, набитом мертвецами!

Будь что будет! Он не может находиться здесь! Тайная война не по нем, нет! День еще выдержал кое-как, больше бы не смог.

Он подивился выдержке наших разведчиков, которые, выполняя секретные задания, долгие месяцы, даже годы находятся среди врагов.

Им овладела непреоборимая усталость. И, перестав сопротивляться, он погрузился в сон, как камень на дно...

Сквозь толщу сна начал доходить голос, настойчиво повторявший:

— Пирволяйнен! Пирволяйнен!

Он с трудом открыл глаза. Кто это — Пирволяйнен? А! Это он — Пирволяйнен!

Подле койки стоял Гейнц:

— Лодка всплыла! Вставайте!

Обуваясь, Шубин почувствовал, что снаружи, через открытый люк, поступает свежий воздух.

Он прошел центральный пост и поднялся в боевую рубку. Выждал, пока каблуки шедшего впереди Гейнца отдалятся от него, потом, схватившись за ступеньки вертикального трапа, одним махом поднял свое стосковавшееся по движению тело на мостик. Недавней апатии как не бывало. Он дышал и не мог надыхаться. Воздух! Простор! Соленый морской ветер!

Небо было блекло-серым.

Самое начало рассвета! До восхода солнца еще далеко.

Подводная лодка, удерживаясь на месте ходами, покачивалась на неторопливых пологих волнах.

Шубин с удивлением огляделся.

Он ожидал увидеть несколько островков и гряду оголяющихся камней, которые, согласно лоции, прикрывают подходы к Хамине. Ведь командир

говорил вчера, что доставит его в шхеры, в район Хамины.

Но это не были шхеры!

Как ни напрягал Шубин зрение, как ни всматривался в горизонт, не мог различить ничего похожего на полосу берега.

Море. Только море, куда ни глянь. Пустынное. Спокойное. В предутренней жемчужно-серой дымке...

Значит, подводная лодка не приблизилась к опушке шхер?

В ограждении боевой рубки, кроме Шубина и Гейнца, находились еще четыре матроса и сам командир. Но не заметно никаких приготовлений к спуску шлюпки на воду.

Три матроса, сидя на корточках, с жадностью курят. Четвертый матрос в круговую осматривает небо в визир. Так же время от времени смотрит в бинокль и командир, проявляющий признаки беспокойства.

— Ничего не понимаю! Где шхеры? — Шубин наклонился к Гейнцу.

— О! Шхер вам еще долго ждать!

Доктор пояснил, что это всплытие вынужденное. Пролилась кислота из аккумуляторных батарей, — вероятно, при уходе на глубину при бомбометании. Начал выделяться водород. Концентрация его в воздухе стала опасной, и командир принял решение всплыть, чтобы провентилировать отсеки.

Преследователей он как будто «стряхнул с хвоста». Однако начинало светать. Это было опасно. И все же он рискнул.

Закончив перекур, матросы быстро юркнули в люк. На смену им вылезли другие.

— Да, опасная концентрация, — продолжал доктор, прикуривая от окурка новую папиросу. — И тогда я вспомнил о своем пациенте. Вы стонали во сне. Пришлось доложить об этом командиру, чтобы он разрешил вам прогулку. У меня, видите ли, есть профессиональное самолюбие. Я хочу доставить вас на берег живым.

Шубин рассеянно поблагодарил и отвернулся. Он старался украдкой осмотреть подводную лодку, чтобы на всякий случай запомнить ее внешний вид, ее особые приметы.

Сверху она казалась особенно узкой — как лезвие кинжала, которым вспарывают море. Это был, несомненно, рейдер, лодка, предназначенная для океанского плавания, водоизмещением не менее двух тысяч тонн. Носовая часть была резко сужена по сравнению с остальной частью корпуса, что, надо думать, улучшало управляемость в подводном положении. Впереди торчали пилы для разрезания противолодочных сетей. Настил был деревянный, возможно, в расчете на пребывание в тропических



широтах.

Но наиболее важными были три приметы.

Во-первых, отсутствовало артиллерийское вооружение — торчали только два спаренных крупнокалиберных пулемета. Во-вторых, необычно высокой была заваливающаяся штыревая антенна. А самым удивительным на палубе «Летучего Голландца» показалась Шубину боевая рубка. Она совершенно вертикально возвышалась над палубой, как прямая труба или, лучше сказать, башня, на глаз достигая пяти или шести метров.

Все это Шубин охватил мгновенно — цепким взглядом моряка.

— Еще пять минут, больше не могу, — ни к кому не обращаясь, сказал командир. — Русские имеют привычку совершать разведывательные полеты по утрам.

Сказал — и будто накликал!

Не ушами — всем восторженному сердцем своим услышал Шубин ровный рокот, струившийся сверху. Над морем показался самолет.

Он развернулся, двинулся прямо на подводную лодку.

Заметил! Атакует!

Командир, пряча хронометр в карман кожаных брюк, шагнул к люку:

— Срочное погружение! Все вниз!

Матросы гурьбой кинулись за ним. На срочное погружение полагается сорок секунд!

«Вот оно, мое спасение!» — подумал Шубин.

Он сделал вид, что замешкался. Кто-то с силой оттолкнул его. Кто-то наступил ему на ногу. У люка образовалась давка. Люди беспорядочно сваливались вниз, камнем падали в спасительные недра лодки, съезжали по трапу на плечах друг друга.

— Вниз! Вниз! — крикнули над ухом, как глухому.

Шубин оттолкнул доктора.

Уже сползая в люк, тот ухватил мнимого Пирволяйнена за штанину и потащил за собой. Но, падая навзничь, Шубин успел ударить его ногой по руке.

— Пирволяйнен!!

В отверстие мелькнуло искаженное гримасой рыжебородое лицо. Командир обеими руками вцепился в маховик кремальеры.

И это было последнее, что видел Шубин на борту «Летучего Голландца».

Тяжелый люк с лязгом захлопнулся. Повернулся маховик, намертво задраивая его изнутри. Все!

Шубин почувствовал, как настил уходит из-под ног. Маленькие волны

пробежали по палубе, вода прикрыла ее. Она стремительно приближалась. Башня боевой рубки проваливалась вниз, вниз и...

Шубин с силой оттолкнулся ногами и выгроб. Он был уже в воде. Длинная тень опускалась под ним все ниже. Он еще раз судорожно ударил ногами. Им овладел страх, что его затянет вглубь.

Силуэт очень медленно растаял внизу.

И вот Шубин снова один — словно и не был никогда на борту «Летучего Голландца»...

## 6. Золотой вихрь

Небо на горизонте медленно светлело. Стало быть, восток там!

Соответственно — север в той стороне, юг — в этой! Инстинкт самосохранения толкал Шубина на юг, подальше от вражеских шхер.

Только бы не всплыла подводная лодка!

Он торопливо стащил с себя обувь и комбинезон. Потом, почувствовав свободу движений, сделал несколько быстрых взмахов и перевернулся на спину.

Над ним кружил самолет. Он то спускался к самой воде, то стремглав взмывал.

Когда крылья на крутом вираже всей плоскостью поворачивались к свету, на них видны были красные звезды.

Описав несколько кругов, самолет исчез, но вскоре вернулся. Рокот теперь усилился и как бы раздвоился.

Шубин искал второй самолет. Нет, шум моторов несея с моря. Ему представилось даже, что он узнает этот шум. Неужели «морские охотники»? Но этого не могло быть. Это было бы слишком хорошо!

Кажется, он плакал, когда товарищи бережно поднимали его на борт и Левка Ремез трясущимися руками подносил ко рту его фляжку.

Все объяснилось очень просто.

Летчик разведывательного самолета, спугнув подводную лодку, заметил человека, плававшего в воде. Естественно было предположить, что этот человек — с только что погрузившейся лодки. Летчик поспешил навести на него «морских охотников» Ремеза, который находился поблизости.

Так был спасен Шубин.

В Ленинград его доставили в тяжелом состоянии. Думали даже — не довезут. В пути стало его тошнить, лихорадить. Потом начался бред.

Ремез, с тревогой оглядываясь на друга, гнал во всю мочь.

Он сделал все, что было в его силах, даже больше того — «поборолся с невозможным»: упросил командира базы послать его в третий, последний, раз на поиски, уже вместе с разведывательным самолетом. И вот — нашел друга, спас! Неужели не довезет?

Но он довез. Теперь дело за медициной!

В госпитале, однако, с сомнением покачивали головами. Налицо воспаление легких и, вероятно, сотрясение мозга. Во всяком случае, нервы Шубина испытали непомерную нагрузку.

О пребывании на борту подводной лодки узнали от него в самых общих чертах. Диву давались, как мог он выдержать и не выдал себя ни словом, ни жестом, хотя был уже болен.

Сейчас наступила реакция.

Фантастические образы вереницей проплывали в мозгу. Они неслись стремительно, как облака над вспененным морем. «Ветер восемь баллов, а то и десять», — озабоченно прикидывал Шубин. Облака были зловещего цвета, багрово-коричневые или фиолетовые, и лучи солнца падали из них, как пучок стрел.

На море происходили странные вещи. Чайки перебранивались высокими голосами, гоня футбольный мяч по волнам. Да нет, какой же это мяч! Это — голова Пирволяйнена с мелкими оскаленными клычками! Она превращалась в одутловатое лицо Гейнца. И вот уже Шубин сидит за столом в кают-компании и рыбы хари пялятся на него со всех сторон.

«Для летчика вы неплохо разбираетесь в бурунах», — многозначительно улыбаясь, говорил Франц, и сидящие за столом поднимали над головами стаканы — то ли чтобы чокнуться с Шубиным, то ли чтобы ударить его.

Неслышно проходила мимо Виктория, и все исчезало. Оставалось лишь слабое дуновение ее духов.

Шубин забывался. Всегда появление стройной женской фигуры знаменовало в его кошмарах наступление короткого отдыха.

Однако Виктория проходила, не глядя на него. Он видел ее только в профиль. Милые пушистые брови были нахмурены, а палец она держала у губ, словно бы хотела предупредить, предостеречь.

Иначе, впрочем, и не могло быть. Они находились среди врагов и не должны были подавать виду, что знают друг друга.

А по временам сквозь немолчный гул разговора в кают-компании пробивался ее взволнованный голос. Он был очень тихим, этот голос, доносился словно бы через густой туман или плотную воду... Но вот как-то

круглых немигающих глаз поблизости не было. Виктория задержалась подле Шубина. Лицо у нее было такое встревоженное и ласковое, что все в душе Шубина встрепенулось. И вдруг он заметил, что она плачет.

— Почему вы плачете? — спросил он. — Все будет хорошо. Разве вы не знаете, что меня прозвали Везучим, то есть Счастливым?

Он хотел успокоить ее и протянул руку, чтобы погладить по щеке, и от этого движения проснулся. Но лицо Виктории по-прежнему было перед ним. Слезы так и искрились на ее длинных ресницах.

— Почему вы плачете? — повторил он.

— Потому что я рада, — ответила она не очень логично.

Но он понял.

— Я был болен и поправляюсь?

— Вы были очень больны. А теперь вам надо молчать и набираться сил.

— Но почему вы здесь?

— Мне разрешили вас навещать. Вы в госпитале, в Ленинграде. Все, молчи!

Она закрыла пальцем его рот. Конечно, ради этого стоило помолчать. Шубин счастливо вздохнул. Впрочем, вздох можно было принять за поцелуй, легчайший, нежнейший на свете...

— Мне нужно немедленно поговорить с капитаном второго ранга Рышковым, — сказал Шубин в тот же вечер.

Оказалось, что Рышкова в Ленинграде нет, получил повышение, уехал на ТОФ [\[20\]](#).

— Тогда кого-нибудь из разведывательного отдела флота. Мое сообщение сугубо важно и секретно...

Главный врач сказал, что не позволит больному рисковать своим рассудком, и повернулся к Шубину спиной. Шубин настаивал. Главный врач прикрикнул на него.

— Даже ценой рассудка, товарищ генерал медицинской службы! — слабо, но твердо сказал Шубин.

Пришлось уступить.

Разведчик явился. Шубин попросил его сесть рядом с койкой и нагнуться пониже, чтобы не слышно было соседям по палате.

Многое он уже забыл, но главное из разговора в кают-компании помнил, будто это гвоздями вколотили в его мозг.

Разведчик едва успевал записывать.

Сообщение о «Летучем Голландце» заняло около получаса. Под конец Шубин стал делать паузы, шепот его становился напряженным, и к койке с озабоченным лицом приблизилась медсестра, держа наготове шприц иглой вверх.

Наконец, пробормотав: «У меня все!» — больной устало закрыл глаза. Разведчика проводили в кабинет к главному врачу.

— Ого! — сказал главный врач, увидев блокнот. — Весь исписали?

— Почти весь.

Главный врач пожал плечами.

— А что, товарищ генерал, — осторожно спросил разведчик, — есть сомнения?

— Видите ли... — начал главный врач. — Но прошу присесть...

Подолгу находясь у койки больного и прислушиваясь к его невнятному бормотанию, главный врач составил о событиях свое мнение.

По его словам, Шубин галлюцинировал в море. Он грезил наяву. И это было, в конце концов, закономерно. Он испытал сильнейшее нервное потрясение, в течение долгих часов боролся со смертью. Ему виделись лица подводников, слышались их скрипучие, как у чаек, голоса. А сам он — без сознания — раскачивался на волнах в своем трофейном резиновом жилете.

— Жилета на нем не было, когда подошли «морские охотники».

— Я допускаю, что он сбросил жилет под конец. Ведь он был почти в невменяемом состоянии. Говорят, даже плакал, когда его поднимали на борт.

Разведчик отметил это в своем блокноте.

— Не забывайте, — продолжал главный врач, — что мой пациент чуть ли не накануне встретил в шхерах загадочную подводную лодку. В бреду он упоминал об этом. Встреча, несомненно, произвела на него сильнейшее впечатление. Затем он был сбит на самолете и боролся за жизнь в бушующих волнах. Оба события как-то сгруппировались вместе, причудливо переплелись во взбудораженном мозгу и...

— Полагаете, продолжает бредить?

— Не совсем так. Принимает свой давешний бред за действительность. Он уверен: на самом деле случилось то, что лишь пригрезилось ему. Медицине известны аналогичные случаи.

Разведчик встал:

— Есть, товарищ генерал! Я доложу начальнику о вашей точке зрения...

Шубин, однако, не узнал об этом разговоре. Он был в тяжелом

забыть. Встреча с разведчиком не прошла для него даром.

Снова обступили койку перекошенные рыбы хари. Готлиб подмигивал из-за кофейника. Франц скалил свои щучьи зубы. А у притолоки раскачивался непомерно длинный, унылый Рудольф, которого отпевали как мертвого в каком-то городке на Дунае.

И все время слышалась Шубину монотонная, неотвязно-тягучая мелодия на губной гармонике: «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен...»

Иногда мелодию настойчиво перебивали голоса чаек. Похоже было на скрип двери. Шубин жалобно просил:

— Закройте дверь! Да закройте же дверь!

Его не могли понять. Двери были закрыты.

Он устало откидывался на подушки. Почему не смажут петли на этих проклятых скрипучих дверях?..

К ночи состояние его ухудшилось. Два санитары с трудом удерживали больного на койке. Он метался, выкрикивал командные слова. И в бреду мчался, мчался куда-то...

Под утро он затих, только тяжело, прерывисто дышал. Главный врач, просидевший ночь у его койки, сердито хмурился. Необходимые меры приняты. Остается ждать перелома в ходе болезни или...

Викторию не пустили к Шубину. Она ходила взад и вперед по вестибюлю, стараясь не стучать каблуками, прислушиваясь к тягостной тишине за дверьми.

Там Шубин молча боролся за жизнь и рассудок.

Вокруг него плавали немигающие круглые глаза, а над головой струилась зеленая зыбь. Станный мир водорослей, рыб и медуз, изгибаясь, перебирая своими стеблями, щупальцами, плавниками, властно тащил его к себе, на дно. Увлекал ниже и ниже...

Но не удержал, не смог удержать!

Подсознательно Шубин, наверно, ощущал, что еще не все сделано им, не выполнен до конца его воинский долг. Усилием воли он вырвался из скользких щупалец бреда и всплыл на поверхность...

Генерал медицинской службы удовлетворенно улыбался и принимал дань восхищения и удивления от своих сотрудников.

Да, положение было исключительно тяжелым, но медицине, как видите, удалось совладать с болезнью!

Шубин выздоравливал. Он забавно выглядел в новом для него качестве

— больного. Оказалось, что этот лихой моряк, храбрец и забияка, панически боится врачей. Особенно боялся он главного врача, от которого зависело выписать больных из госпиталя или задержать на длительный срок.

Робко, снизу вверх, смотрел на него Шубин, когда тот в сопровождении почтительной свиты в белых халатах, хмурясь и сановито отдуваясь, совершал ежедневный обход.

Подле шубинской койки серое от усталости лицо главного врача прояснялось. Шубин — его любимец. И не за подвиги на море, а за свое поведение в госпитале.

Он образцово-показательный больной. Нет никого, кто так исправно мерил бы температуру, так безропотно ел угнетающе жидкую манную кашу. Говорят, однажды Шубин чуть не заплакал, как маленький, из-за того, что в положенный час ему забыли дать лекарство.

Виктория понимала, что в этом также проявляется удивительная шубинская собранность. Одна цель перед ним: поскорей выздороветь!

«Не прозевать бы наступление! — с беспокойством говорил он Виктории. И после паузы: — Ведь „Летучий Голландец“ цел еще!»

Вначале от него скрывали, что войска Ленинградского фронта при поддержке кораблей и частей Краснознаменного Балтийского флота уже перешли в победоносное наступление.

Но, конечно, долго скрывать это было нельзя.

Узнав о наступлении, Шубин промолчал, но стал выполнять медицинские предписания с еще большим рвением. Готов был бы мерить температуру не два раза, а даже пять-шесть раз в день, лишь бы умиловить главного врача!

Однако самостоятельную прогулку ему разрешили не скоро, только в начале сентября.

К этой прогулке он готовился, как к аудиенции у командующего флотом. Около часа, вероятно, чистил через дощечку пуговицы на парадной тужурке, потом, озабоченно высунув кончик языка, с осторожностью утюжил брюки. Побрившись, долго опрыскивался одеколоном.

Сосед-артиллерист, следя за этими приготовлениями, с завистью спросил:

— Предвидится бой на ближней дистанции, а, старлейт?<sup>[21]</sup>

На других койках сочувственно засмеялись. Под «боем на ближней дистанции» подразумевалось свидание с девушкой и, возможно, поцелуи, при которых щетина на щеках не поощряется. Шутка принадлежала самому Шубину. Но неожиданно он рассердился. Собственная шутка,

переадресованная Виктории, показалась чуть ли не святотатством. Раненые, прикинув к окнам, с удовольствием наблюдали его торжественный выход.

— Сгорел наш старлейт! — объявил артиллерист, соскакивая с подоконника. — Уж если из-за нее такой принципиальный, шуток не принимает, значит, все, горит в огне!..

Горит, горит...

Когда Шубин и Виктория углубились в парк на Кировских островах, тихое пламя осени обступило их. Все было желто и красно вокруг. Листья шуршали под ногами, медленно падали с деревьев, кружась, плыли по воде под круто изгибающимися мостиками.

— Вот и осень! — вздохнул Шубин. — И фашисты сматывают удочки в Финском заливе. А я до сих пор на бережку...

Без его участия осуществлены дерзкие десанты в шхерах. Лихо взят остров Тютерс. Освобожден Выборг. Целое лето прошло, и какое лето!

— Может, посидим, отдохнем? — предложила Виктория. — Главврач сказал, чтобы вы не утомлялись. Наверно, отвыкли ходить?

Вот как оно обернулось для Шубина! Ты — о войне, о десантах, а тебе: «Не отвыкли ходить?»

Только сейчас, ведя Викторию под руку, он обнаружил, что она немного выше его ростом. Обычно Шубин избегал ухаживать за девушками, которые были выше его ростом. Это как-то роняло его мужское достоинство. Но сейчас ему было все равно.

Впрочем, в присутствии Виктории безусловно исключалась возможность какой-либо неловкости, глупой шутки, бестактности. Покоряюще спокойная, уверенная была у нее манера держаться. Мужчина ощущает прилив гордости, пропуская впереди себя такую женщину в зал театра, ловя боковым зрением почтительные, восхищенные, завистливые взгляды.

Однако Виктория — Шубин знал это — может с чувством собственного достоинства пройти впереди мужчины не только в театр, но и во вражеские, злые шхеры. А кроме того, умеет терпеливо, по целым часам, сидеть у койки больного, не спуская с него участливых, тревожных глаз.

— Не устали? — заботливо спросила Виктория. — Это первый ваш выход. Главврач говорит...

— Устал? С вами? Что вы! Я ощущаю при вас такой прилив сил! — И, усмехнувшись, добавил: — Грудная клетка вдвое больше забирает кислорода.

Шурша листвой, они неторопливо прошли мимо зенитной батареи,



установленной между деревьями парка. Там толпились молоденькие зенитчицы в коротких юбках, из-под которых видны были стройные ноги в сапожках и туго натянутых чулках. Девушки с явным сочувствием смотрели на романтическую пару. Несомненно, пара была романтическая.

Но Шубин не ощутил ответной симпатии к зенитчицам. Драили бы лучше свои орудия, чем торчать тут и глазеть во все свои глупые гляделки!

В тот тихий солнечный день Кировские острова выглядели еще более нарядными, чем обычно. Особенно яркими были листья рябины, алые, пурпурные, багряные, четко выделявшиеся на желтом фоне.

— Смотрите-ка, — шепнула Виктория, — даже паутинка золотая...

Она была совсем не похожа на ту надменную недотрогу, которую видел когда-то Шубин. Говорила какие-то милые женские глупости, иногда переспрашивала или неожиданно запинаясь посреди фразы.

— Кировские острова, — негромко сказал Шубин. — А вам не кажется, что это необитаемые острова? И только мы вдвоем здесь...

— Не считая почти всей зенитной артиллерии Ленинграда. — Она улыбнулась — на этот раз не уголком рта.

Но потом они забрели в такую глушь, где не было ни зенитчиц, ни прохожих. Деревья и кусты вплотную подступили к дорожке — недвижная громада багряно-желтой листвы, тихий пожар осени.

Виктория и Шубин стояли на горбатом мостике, опершись о перила и следя за разноцветными листьями, неторопливо проплывавшими вниз. И вдруг одновременно подняли глаза и посмотрели друг на друга.

— Главврач... — начала было она. Но вне госпиталя, на вольном воздухе, Шубин не боялся врачей. Длинная пауза.

— ...не разрешил вам целоваться, — машинально закончила она. С трудом перевела дыхание, не поднимая отяжелевших век. Ей пришлось уцепиться за обшлага его тужурки, чтобы не упасть.

Шубин устоял.

— Домой пора. Сыро, — невнятно пробормотала она.

— Нет, еще немного! Пожалуйста. Ну, минуточку! — Он упрашивал, как мальчик, которого отсылают спать.

— Хорошо. Минуточку.

И снова они кружат по своим «необитаемым» Кировским островам, шуршат листьями, ненадолго присаживаются на скамейке, встают, идут, словно бы что-то подгоняет их...

Под конец Шубин и Виктория чуть было не заблудились в парке. Шубин не мог вспомнить, на каком повороте они свернули с центральной аллеи.

— Потерял свое место, — шепнула Виктория. — Ая-яй! Прославленный мореход! — И, беря под руку, очень нежно: — Это золотой вихрь закружил нас. Так бы и нес, нес... Всю жизнь...

В госпиталь Шубин вернулся, когда его соседи уже спали. Только артиллерист, лежавший рядом, не спал, но притворялся, что спит. Краем глаза следя за раздевавшимся Шубиным, он придирчиво отмечал его угловатые, неверные движения. Шубин наткнулся на тумбочку, опрокинул стул, сам себе сказал: «Тс-с!», но, присев на койку, тотчас же уронил ботинок и тихо засмеялся. Все симптомы были налицо.

Сосед не выдержал и высунул голову из-под одеяла.

— А ну, дыхни! — потребовал он. — Эх, ты! А ведь генерал медицинской службы не разрешил тебе пить.

Шубин смущенно оглянулся.

— У тебя мысли идут противолодочным зигзагом, — пробормотал он и поскорей накрылся с головой.

Ни с кем, даже с лучшим другом, не смог бы говорить о том, что произошло. Это было только его, принадлежало только ему. И ей, конечно. Им двоим.

Они поженились, как только Шубина выписали из госпиталя. Утром его выписали, а днем они поженились.

Свадьба была самая скромная. На торжестве присутствовали только Ремез, Вася Князев, Селиванов, две подружки Виктории и, конечно, Шурка Ластиков.

— По-настоящему справим после победы над Германией! — пообещал Шубин.

На поправку ему дали две недели. Молодожены провели это время в комнатке Виктории Павловны.

Золотой вихрь продолжал кружить их. В каком-то полузабытьи бродили они по осеннему, тихому, багряно-золотому Ленинграду.

Он вставал из развалин, стряхивая с себя пыль и пепел. Еще шевелились, подергиваясь складками на ветру, фанерные стены, прикрывавшие пустыри, еще зеленела картофельная ботва в центре города, но война уже далеко отодвинулась от его застав. И краски неповторимого ленинградского заката стали, казалось, еще чище на промытом грозвыми дождями небе.

А по вечерам Виктория и Шубин любили сидеть у окна, выходившего на Марсово поле. Теперь здесь были огороды, но над грядами высились

стволы зенитных орудий — характерный городской пейзаж того времени.

Молчание прерывалось вопросом:

— Помнишь?..

— А ты помнишь?..

Они переживали обычную для влюбленных пору воспоминаний, интересных только им двоим.

— Помнишь, как ты обнял меня, а потом чуть не свалился в воду? — спрашивала Виктория.

— В воду? — переспрашивал он. — Нет, не припомню. — И улыбался. — Начисто память отшибло!

Впоследствии Виктория поняла, что Шубин почти не шутит, когда говорит: «память отшибло». Он удивительно умел забывать плохое, что мешало ему жить, идти вперед.

— Я — как мой катер, — объяснял он. — На полном ходу проскакиваю над неудачами, будто над минами. И — жив! А есть люди — как тихоходные баржи с низкой осадкой. Чуть накренились, чиркнули килем дно, и все пропало. Сидят на мели!

Он даже не поинтересовался, почему так круто изменилось ее отношение к нему.

Но Виктория сама не смогла бы объяснить, почему Шубин заставил ее полюбить себя. Он именно заставил!

— Со мной и надо было так, — призналась она. — Я была странная. Девчонки дразнили меня Спящей Красавицей. А мне просто нелегко пришлось в детстве из-за папы.

Он был очень красив, по ее словам, и пользовался успехом у женщин. Виктории сравнялось четырнадцать, когда отец ушел от ее матери и завел новую семью. Но он был добрый и бесхарактерный и как-то не сумел до конца порвать со своей первой семьей. Странно, что симпатии дочери были на его стороне.

Жены, интригуя и скандаля, попеременно уводили его к себе. Так он и раскачивался между ними, как маятник, пока не умер.

С ним случился приступ на улице, неподалеку от квартиры первой жены. Его принесли домой, вызвали «скорую помощь».

Очнувшись, он поискал глазами дочь. Она смачивала горчичник, чтобы положить ему на сердце.

Отец виновато улыбнулся ей, потом увидел обеих своих жен. Испуганные, заплаканные, они сидели на диванчике, держась за руки.

«О! — тихо сказал он. — Вы вместе и не ссоритесь?.. Значит, все кончено, я умираю».

И это были его последние слова...

Шубину очень живо представилась испуганная длинноногая девочка у постели умирающего отца. Он порывисто прижал Викторию к себе.

— Ты ведь не такой, нет? — Она нежно провела кончиками пальцев по резким вертикальным складкам у его рта. — О! Ты из однолюбков, я знаю! Тебе не нужна никакая другая женщина, кроме меня. — И мгновенный, чисто женский переход! Изогнувшись и лукаво заглядывая снизу в лицо: — Но море все-таки любишь больше меня? Море на первом месте?.. Ну-ну, не хмурься, я шучу...

Конечно, она шутила.

Стоило ей закрыть глаза, и осенние листья снова летели и летели, а из их золотого облака надвигалась на нее, медленно приближаясь, прямая, угловатая, в синем, фигура...

Но счастье Виктории было неполным. Оно было непрочным. Будто медлительно и неотвратно поднималась сзади туча, темная, грозная, отбрасывая тень далеко впереди себя. Еще сияло солнце на небе, но уже потянуло холодком, тревожно зашумела листва, завертелись маленькие смерчи пыли на мостовой...

Два вихря с ожесточением боролись: один золотой, другой темно-синий, зловещий — не вихрь, опасная водоверть.

Мучительная рассеянность все чаще овладевала Шубиным. Он отвечал невпопад, неожиданно обрывал нить разговора, встряхивал головой: «Ах да! Прости, задумался о другом».

По ночам Виктория просыпалась и, опираясь на локоть, всматривалась в его лицо. Он спал беспокойно. Что ему снилось?

Иногда бормотал что-то сквозь стиснутые зубы — с интонацией гнева и угрозы!

Жены моряков всю жизнь обречены тревожиться за своих мужей. Но Виктории казалось, что Шубина поджидает в море «Летучий Голландец».

Под ее взглядом он вскинулся, открыл глаза:

— Что ты?

— Ничего... — Она неожиданно всхлипнула. — Увидела твои глаза, и царапнуло по сердцу...

Есть люди с тайным горем, спрятанным на дне души. Даже в минуты веселья внезапно проходит тень по лицу, словно облако над водной гладью. Так было и с Шубиным. По временам, заглушая смех и веселые голоса друзей, начинал звучать в ушах лейтмотив «Летучего Голландца»:

«Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен...»

Виктория уже знала, когда «Ауфвидерзеен» начинает звучать особенно громко, Шубин делался тогда шумным, говорливым, требовал гитару, пускался в пляс — ни за что не хотел поддаваться этому «Ауфвидерзеену»...

И вот последний вечер дома, перед возвращением на флот.

Виктория и Шубин сидят у раскрытого окна. Не пошли ни в кино, ни в гости. Последние часы хочется побыть без посторонних.

Вдруг Шубин сказал:

— Знаешь, думаю иногда: они все сумасшедшие там!

Кто «они» и где «там», не надо пояснять.

— Да?

— И тем опаснее оставлять их на свободе.

Сумерки медленно затопляют комнату, переливаясь через подоконник...

— Это очень мучит меня. По-моему, я не выполнил свой долг.

— Ты, как всегда, слишком требователен к себе.

— Слишком? Нет, просто требователен. Я, наверно, должен был вызвать огонь на себя. Но замешкался, упустил момент.

— Ты был уже болен.

— Возможно...

Пауза. Почти шепотом:

— И потом я очень хотел к тебе, наверх...

Снова долгое молчание.

— Но ты понял, для чего этот «Летучий Голландец»?

— Нет. Пробыл там слишком мало. Надо бы дольше.

— Тебя все равно ссадили бы на берег.

— Хотя нет, я не выдержал бы дольше. Задыхался. Чувствовал: сам схожу с ума.

— Не говори так, не надо!

Звук поцелуя.

— Вначале Рышков подсказал мне: Вува, ди Вундерваффе. Я подумал: да, Вува! Но лето уже прошло — и ничего! Секретное оружие не применили против Ленинграда... Это, конечно, очень хорошо. И я рад. Но ведь «Летучий Голландец» по-прежнему цел, и он не разгадан!

— Секретное оружие, «Фау», применили против Англии. В июне. То есть вскоре после твоей встречи с «Летучим Голландцем». Возможно, что именно это оружие собирались испытать под Ленинградом.

— Но я же не видел никаких приспособлений на палубе. Видел только

антенну, два спаренных пулемета, больше ничего! И торпед, я уверен, на «Летучем» меньше, чем положено на обычной подводной лодке. В кормовом отсеке не торпедные аппараты! Что это за каюта в кормовом отсеке? Почему у двери стоял матрос с автоматом? Не там ли эта Вува?

— Не волнуйся так! Тебе нельзя волноваться!

— Ну что ты, ей-богу: я же завтра буду в море. И не волноваться, по-моему, значит вообще не жить!.. Я не могу понять «Летучего Голландца». И это меня мучит, бесит! Даже самого простого не могу понять! Почему прозвище такое: «Летучий Голландец»?

— Ты рассказывал об этом Рудольфе, мнимом мертвеце. На легендарном корабле, по-моему, тоже были мертвецы. Вся команда состояла из мертвецов. Но я слушала оперу Вагнера очень давно, в детстве.

— Да, я тоже помню что-то о мертвецах. Корабль-призрак, корабль мертвых...

Сумерки до потолка заполнили комнату. Шубин встал и шагнул к выключателю.

— Встретиться бы еще разок с этим «Летучим Голландцем»! Догнать его! Атаковать!..

И, скрипнув зубами, он с такой яростью стиснул кулак, словно бы уже добрался до нутра этой непонятной подводной лодки и выпотрошил ее, как рыбу, вывернул всю наизнанку!

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1. Шубин атакует

Он жадно, всей грудью, вдохнул воздух. О! Первоклассный! Упругий, чуть солоноватый и прохладный, каким ему и положено быть!

Ветер, поднявшийся от движения катера, легонько упирается в лоб, будто поддразнивая, приглашая поиграть с собой. Палуба под ногами вибрирует, взлетает и падает, когда катер ударяется о волну.

А волнишка-то здесь покруче, чем в тесноте шхер! Еще бы! За Таллином открываются ворота в Среднюю Балтику, выход из залива в море. Открытое море!

Ого! «И попируем на просторе!..»

Мысленно Шубин видит весь военно-морской театр. Примолкшая Финляндия тихо проплывает по правому борту. Она перестала быть враждебной, вышла из войны. Слева протянулось лесистое эстонское побережье. Там еще постреливают фашисты.

А юго-западнее Таллина материковый берег отклоняется под прямым углом к югу. Дальше лежит Моонзундский архипелаг — острова Хиума, Саарема, Муху, запирающие вход в Рижский залив. Еще дальше, за Вентспилсом и Клайпедой, отгороженная от моря косой Фриш-Неррунг, высится крепость Пиллау, аванпорт Кенигсберга.

Одна банка, Аполлон, — на норде, вторая — на зюйде. Посредине — банка Подлая у мыса Ристна.

Где-то в этом районе — не в шхерах, а на просторах Средней или Южной Балтики — Шубин сквитается с «Летучим Голландцем»!

Сейчас он командовал уже не звеном, а отрядом. На старый катер его был назначен командиром молодой, только что закончивший училище лейтенант Павлов. И Шубин на походах обучал его управлению катером.

Павлов с любопытством поглядывает на гвардии капитан-лейтенанта (осенью Шубину присвоено это звание), стараясь по выражению лица угадать, о чем тот думает.

Нахмурился? Стиснул зубы? Ну, значит, вспомнил о своем «Летучем Голландце»!

Пылкому воображению Шубина рисовалось, как ночью, почти вплотную, он подходит к «Летучему Голландцу». Тот всплыл для зарядки аккумуляторов. Тут-то и надо его подловить! За шумом своих дизелей

немцы не услышат моторов шубинских катеров. И тогда Шубин скажет наконец свое веское слово: «Залп!» Всадит торпеду в борт немецкой подводной лодки! И так это, знаешь, по-русски всадит, от всей души, чтобы на веки вечные пригвоздить страшилище к морскому дну!

Но встреча («неизбежная встреча», как упрямо повторял Шубин) могла произойти и днем. На этот случай припасены глубинные бомбы. Теперь на катера берут бомбы, с полдюжины небольших черных бочоночков, аккуратно размещая их в стеллажах за рубкой.

Не торпедой, так бомбой! Надо же чем-то донять этих несговорчивых «покойников»!

Но пока не встречается Шубину «Летучий Голландец»...

Глубинные бомбы, неожиданно для всех, были использованы самым удивительным и необычным образом — против надводного корабля!

Отряд находился в дневном поиске, сопровождаемый самолетами прикрытия и наведения на цель.

Рев шубинских моторов как бы вторил падающему с неба рокоту. Нервы вибрировали в лад с этим двойным перекатом, грозной увертюрой боя.

Впереди пусто. Грязно-серое полотнище облаков свисает до самой воды.

Но вот сверху окликнули Шубина. В наушниках раздался взволнованный голос летчика: «Транспорт, Боря! Транспорт! Слева, курсовой сорок! Здоровущий транспортюга!» Один из самолетов вернулся, сделал круг над отрядом торпедных катеров, помахал крыльями и опять улетел вперед.

Катера последовали за ним.

Через несколько минут на горизонте возникли силуэты кораблей. Как мыши, выползали они из-под тяжелых складок облака, ниспадающих до самой воды.

Верно: транспорт! И конвой, очень сильный. Раз, два... Четыре сторожевика и тральщик!

Но известно, что победа не определяется арифметическим соотношением сил. Есть еще и высокая алгебра боя!

На немецких кораблях заметили торпедные катера и стали менять походный ордер<sup>[22]</sup>. Одновременно заблистали факелы выстрелов. Вода вокруг катеров словно бы закипела.

Шубин в этот момент сам стал за штурвал, показывая молодому командиру, как выходить в атаку.

Но он продолжал одновременно управлять боем. По его приказанию



самолеты атаковали корабли охранения, чтобы заставить их расступиться и открыть катерам дорогу к транспорту.

Внезапно из-за туч вывалились немецкие самолеты. Конвой тоже имел «шапку», то есть воздушное прикрытие. Над головами моряков завязалась ожесточенная схватка.

— Фомину поставить дымовую завесу! — скомандовал Шубин в ларингофон.

Один из катеров бойко выскочил вперед, волоча за собой дым по волнам. Мгновение — и атакующие торпедные катера оделись грозovým облаком!

Сверкая молниями, облако это несло по воде.

А сверху моряков подбадривали летчики. В наушниках звучали их возбужденные голоса:

— Левей бери! Жми, Боря, жми!.. Боря, Боря, Боря!..

Улучив момент, когда транспорт повернулся к нему бортом, Шубин прицелился. Самое главное — прицелиться! Торпеда, умница, доделает остальное сама.

— Залп!

Соскользнув с желоба, торпеда нырнула в воду за кормой. Шубин круто отвернул, а торпеда, оставляя за собой пенный след, понеслась к транспорту на заданной глубине.

Взрыв! Угодила в носовые отсеки! Нос транспорта резко осел в воду.

Но это не конец. Такую громадину одной торпедой не взять. Транспорт еще хорошо держится на воде. Корабли охранения сомкнулись вокруг него и усилили заградительный огонь.

— Фомин горит, товарищ гвардии капитан-лейтенант! — крикнул Павлов.

Катер Фомина беспомощно покачивался на волнах. Он горел! Немцы сосредоточили по нему почти весь огонь, спеша добить.

Князев, выполняя приказание Шубина, полным ходом мчался на выручку товарища, но был еще далеко от него.

Тогда Шубин застопорил ход.

Павлов с ужасом посмотрел на него. Как! Забраться чуть ли не в середину вражеского конвоя — и вдруг стопорить ход! Зачем?

А Шубин спокойно облокотился на штурвал, потом с подчеркнутым хладнокровием пощелкал ногтем по коробке с папиросами и не спеша закурил.

Это было почти так же удивительно, как прекращение движения в бою.

Торпедные катера ходят на легко воспламеняющемся авиационном бензине. Поэтому на них строжайше запрещено курить. А гвардии капитан-лейтенант закурил! Сам гвардии капитан-лейтенант закурил! Ну, значит, вынужден был закурить!

И стоило лишь осмотреться по сторонам, чтобы понять: так оно и есть! Катер в разгар боя превратился в неподвижную мишень!

Из люка выглянули изумленные Дронин и Степаков. Боцман с глубокомысленным видом поправил свой пышный ус.

Один Шурка не испытывал страха. Рядом со своим командиром никогда, ни при каких обстоятельствах не испытывал страха. Застопорили ход? Ну и что из того? Стало быть, командир опять хитрит.

Вокруг вздымались всплески, все больше всплесков. Решив, что катер Павлова тоже подбит, фашисты перенесли часть огня на новую мишень.

Павлов пробормотал:

— Рисково играете, товарищ командир!

Голос его пресекся.

— А кто не рискует — не выигрывает! Приходится, брат, рискованно играть... — Не оборачиваясь, Шубин протянул Павлову папирсы: — Закури, помогает!

Расстояние между неподвижным катером Фомина и катером Князева уменьшалось. Шубин не отрывал от них взгляда.

Да, он рисковал! Но не собирался рисковать ни одной лишней секунды. Жизнь ему надоела, что ли?

Вот Князев подошел к горящему катеру. Матросы теснятся на борту с отпорными крюками. Кого-то перетаскивают на руках. Значит, у Фомина есть раненые.

Давай, друг Князев, не мешкай, давай! Уже припекает вокруг, немецкие снаряды ложатся ближе и ближе.

Гибнущий катер Фомина окутался дымом. Князев поспешно отскочил.

И тотчас же Шубин дал полный вперед!

Катер стремглав выскочил из-под обстрела и описал широкую циркуляцию. Немцы так, наверно, и не поняли ничего.

За те минуты, что Шубин, спасая товарища, отвлекал огонь на себя, транспорт успел развернуться. Теперь, сильно дымя и зарываясь носом в воду, — «свиньей», как говорят моряки, — он уходил к берегу, под защиту своих батарей. Охранение его отстало, увлекшись обстрелом горящего и мнимо подбитого торпедных катеров.

Катер Павлова ринулся в образовавшийся просвет.

— Залп!

Транспорт неуклюже занес корму. Вторая торпеда скользнула вдоль ее борта.

Уходит! Уйдет!

Шубин оглянулся на пустые желоба. Торпед нет! В стеллажах только глубинные бомбы. Нечем добивать транспорт, нечем!

Он перехватил взгляд юнга. Подавшись вперед, подняв лицо, юнга самозабвенно смотрел на своего командира. «Ну же, ну! — казалось, молил этот взгляд. — Придумай что-нибудь! Ты же можешь придумать! Ты все можешь!»

И этот взгляд, обожающий и нетерпеливый, подстегнул Шубина. Он выжал до отказа ручки машинного телеграфа.

Катер рванулся к транспорту.

Как! Без торпед?

Немцы, толпясь на корме, наверно, рты разинули от изумления.

Русский хочет таранить их — такой коротышка такую громадину? Блефует? Берет на испуг?

Но Шубин не брал на испуг.

Это была та же «рисковая» игра. Немцы в смятении терялись в догадках: какие «kozyри» приберег он, чтобы сбросить в последний момент?

Шубин нагнал транспорт и, пользуясь огромным преимуществом в скорости, начал легко обходить его.

За катером Павлова послушно двинулись другие катера, повторяя маневр командира отряда. Однако Шубин приказал им оставаться на расстоянии.

Стоило одной зажигательной пуле угодить в бензобак, чтобы торпедный катер вспыхнул, как факел. Но Шубин не думал об этом. Видел перед собой лишь стремительно проносящийся высокий, с грязными подтеками борт, а на нем круглые удивленные глаза иллюминаторов. По палубе метались люди. Низко пригибаясь, они перебежали вдоль борта.

Фаддеичев сгонял их с палубы, яростно поливая из пулемета, как из шланга.

Катер обогнал транспорт, пересек его путь и проскочил по носу на расстоянии каких-нибудь двадцати — двадцати пяти метров от форштевня. Теперь пора!

— Бомбы за борт!

Боцман и юнга кинулись к бомбам. Черные бочоночки один за другим полетели в бурлящую воду. Их сбрасывали в спешке, как попало, иногда сталкивали ногами.

Где уж на таком близком расстоянии разворачиваться транспорту, тем более подбитому! Он продолжал двигаться по инерции, медленно наползая на сброшенные бомбы. Те стали рваться в воде под его килем.

Юнга засмеялся от удовольствия.

Так вот какие «kozyри» неожиданно сбросил его командир!

Однако повреждения, нанесенные бомбами транспорту, не могли быть смертельными, — Шубин знал это. Сейчас в трюме заделывают разошедшиеся швы, торопливо заливают их цементом. Корабль удержится на плаву.

Но Шубин и не рассчитывал потопить транспорт своими малыми глубинными бомбами. Он хотел лишь помешать ему уйти под защиту береговых батарей, должен был во что бы то ни стало задержать его — и добился этого!

Заминка для подбитого транспорта оказалась роковой.

— Горбачи<sup>[23]</sup>, добивайте! — сказал Шубин в ларингофон.

И самолеты пали сверху на корабль.

Немецкие матросы по-лягушачьи запрыгали за борт. Потом транспорт стал неторопливо крениться и лег набок, показав свою подводную часть, похожую на вздутое брюхо глушеной рыбы...

Именно тогда на лице Павлова появилось то выражение, которое потом, по свидетельству товарищей, почти не сходило с него. словно бы молодой лейтенант чрезвычайно удивился Шубину и так уже и не мог окончательно прийти в себя от удивления.

Но Шубин сердито отмахивался от похвал и поздравлений. Не то! Все это не то!

Он ферзя хочет сшибить с доски, а ему подсовывают пешку за пешкой. Ищет встречи с нАбольшим, с «Летучим Голландцем», а из-за горизонта то и дело вывертываются разные «шнявы», заурядные сторожевики, тральщики, транспортшики.

Угловатая тень подводной лодки проплывала по серому полотнищу неба. Тральщик, или сторожевик, или транспорт тонул, тень тотчас же исчезала. Тень была неуловима.

Товарищи приставали к Шубину с упреками и утешениями:

— Дался тебе этот «Летучий»! Ну что ты так переживаешь? Забудь о нем! Воюй!

Шубин пожимал плечами.

«Эх, молодежь наивная!» — думал он снисходительно, хотя многие

товарищи по бригаде были его ровесниками. Порой он казался себе таким старым! Недаром же побывал на корабле мертвых!

А с молодых, ну что с них взять? Конечно, они были хорошими советскими патриотами и воевали хорошо: почти каждый день видели врага в лицо. Беда в том, что видели его на расстоянии не ближе кабельтова, да и то во время торпедной атаки, то есть мельком. А он, Шубин, понасмотрелся вблизи на этих оборотней и понаслушался от них всего. День, проведенный на борту «Летучего Голландца», надо было засчитать чуть ли не за год.

Мог ли он забыть об этом? Впрочем, и не хотел, не имел права забыть!

Ведь он был единственным моряком на Балтике, который побывал на борту «Летучего Голландца»!

Но в этом Шубин ошибался. Единственный советский моряк? Да, верно. Но отнюдь не единственный моряк на Балтике!

Он не знал, не мог знать, что по ту сторону фронта, неподалеку от Таллина, находятся еще два моряка — норвежец и англичанин, — которые, подобно ему, видели «Летучего Голландца».

За тройным рядом колючей проволоки, среди серых невысоких барачков, они как бы охаживают друг друга. С недоверчивостью заговаривают. Пугливо обрывают разговор. Снова, после мучительных, долгих колебаний возобновляют очень осторожные, нащупывающие расспросы.

Похоже на встречу во тьме. Кто встретился — друг или враг? Если враг «Летучего Голландца» — значит, друг!

## **2. «Нельзя, не хочу, не скажу!»**

...Место было удивительно плоским. Или оно лишь казалось таким? Были ведь и дюны, слепяще белые под солнцем. Но сосны на них росли вразнотык, невысокие, обдерганные ветром. Дальше было болото, дымящееся туманом, мох и кустарник, коричневые заросли на много миль.

А между морем и зарослями раскинулся лагерь для военнопленных. Серые бараки прикинули к земле, обнесенные тронным рядом колючей проволоки. Именно они, надо думать, определяли характер пейзажа. Горе, тоска, страх легли на мох и заросли, как ложится серая придорожная пыль.

Так, по крайней мере, представилось Нэйлу, когда его привезли сюда. Он осмотрелся исподлобья и опустил голову. Больше не хотелось смотреть...

В блоке ему указали пустую койку. Он сел на нее, продолжая думать о своем.

Прошло с полчаса, за спиной раздались негромкие голоса, вялое шарканье и стук деревянных подошв. Заключенные вернулись с работы.

Очень худые и бледные, двигаясь почти бесшумно, они обступили новичка:

— Ты кто, камерад?

— Англичанин.

— У тебя здесь найдутся земляки. Танкист? Летчик?

— Моряк.

— Есть и моряки. Олафсон, эй! Новый тоже моряк!

Сидевший на соседней койке старик, костлявый и согбенный, посмотрел на Нэйла. Всячие усы его раздвинулись — он улыбнулся. Однако не промолвил ни слова. Наверно, очень устал, потому что сидел согнувшись, опершись на койку обеими руками и тяжело, со свистом дыша. Было ему на вид лет семьдесят, не меньше.

Новым своим товарищам Нэйл отвечал коротко, неохотно. Да, моряк. Судовой механик. Сейчас привезен из Финляндии. (По слухам, она выходит из войны.) Попал в плен на Баренцевом. Но довелось побывать и на других морях. Поносило, в общем, по свету.

Он замолчал.

— Эге! — сказал кто-то. — Не очень-то разговорчив!

— Англичанин! — пояснил другой. — Все англичане молчуны.

— Но ведь он еще и моряк! Я думал, каждый моряк любит порассказать о себе. Судил по нашему Олафсону.

Старик на соседней койке опять улыбнулся Нэйлу.

До войны в любом норвежском, шведском и финском порту знали Оле Олафсона. Он был прославленным лоцманом. По записям в своей книжке мог без запинки провести корабль вдоль побережья Скандинавии — шхерами и фиордами. А в концентрационном лагере Олафсон стал знаменит как рассказчик. Без преувеличения можно сказать о нем, что он спас рассудок многих людей. Недаром один из военнопленных, бывший историк литературы, дал ему прозвище: лагерная Шахерезада.

Когда Олафсон начинал рассказывать, люди забывали о том, что они в неволе, что сегодня похлебка из свеклы жиже, чем вчера, а Гуго, надсмотрщик, по-прежнему стреляет без промаха. На короткий срок они забывали обо всем.

Был час на исходе длинного, безжалостно регламентированного дня, когда узники получали наконец передышку — возможность располагать

если не собой, то хотя бы своими незанумерованными мыслями.

И чем тягостнее, чем безумнее был прожитый день, тем чаще вспоминали Олафсона. Из разных углов барака начинали раздаваться голоса, тихие или громкие, просительные или требовательные:

— Ну-ка, Оле!.. Историю, Оле!.. Расскажи одну из своих историй, Оле! Запоздавшие поспешно укладывались. Гомон стихал.

То был час Олафсона.

Он рассказывал неторопливо, делая частые паузы, чтобы прокашляться или перевести дух. Тихо было в бараке, как в церкви. Лишь за стеной взлаивали собаки да хрипло перекликались часовые, сидевшие у пулеметов на сторожевых вышках.

Наверняка кто-нибудь из блокового начальства, скорчившись, зябнул под дверью. И зря! Морские истории Олафсона были о таких давних-давних временах! Дымы еще не пятнали тогда небо над горизонтом...

Повествование Олафсон вел неизменно от первого лица.

Выглядело это так, словно он был участником описываемых событий, в крайнем случае их очевидцем. Хронологией старый моряк величественно пренебрегал.

Один дотошный слушатель, из тех, кто и на солнце выискивает пятна, усомнился в его личном знакомстве с пиратом де Сото.

— Не сходится, никак не сходится, Оле, извини! Ты не молод, конечно, но де Сото, я читал, повесили еще в первой половине XIX века.

— Я свел знакомство с ним у подножия его виселицы, — невозмутимо ответил Олафсон.

Но тут обитатели барака дружно накинулись на придиру и заставили его замолчать.

По обстоятельствам своей жизни Нэйл был недоверчив. Кроме того, он был начитан. Он знал, например, что знаменитые гонки чайных клиперов происходили в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого столетия, то есть лет за двадцать до рождения Олафсона.

Но, слушая его, Нэйл забывал о датах. Обстоятельное повествование неторопливо текло, каждая деталь играла, искрилась, будто морская рябь на солнце. И даже смерть в рассказах Олафсона была не страшная и быстрая — как порыв налетевшего ветра!

Какой контраст с тем тоскливо-серым, пропахшим дымом, что ждало здесь, в концлагере! Недаром надсмотрщики повторяли заключенным: «Отсюда единственный выход — через трубу дымохода!»

Первая морская история, которую Нэйл услышал от Олафсона, была о чайных клиперах.

— Вы скажете, что мне не повезло в тот рейс, — так начал Олафсон. — Меня взяли не на «Ариэль», а на «Фермопилы». Юнгой, юнгой, — быстро добавил он, косясь на койку, где безмолвствовал придира. — А первым прибыл «Ариэль». От Вампоа мы шли почти вровень с ним. Ну и натерли же мозоли, управляясь с парусами! Но за мысом Доброй Надежды он взял круче к ветру и вырвался вперед...

То было время, когда Англия ввозила в Китай опиум, а из Китая вывозила чай.

Чаеторговцы были заинтересованы в скоростной доставке первоклассного китайского чая. Для этого строились специальные, легкие, на диво быстрые корабли. Корпус их был едва заметен под многоярусным парусным вооружением. Это и были так называемые чайные клипера.

Обгоняя друг друга, они пронеслись от Вампоа на юге Китая до причалов Восточного Лондона.

Чаеторговцы расчетливо подогревали азарт гонок. Командам сулили большие премии. По пути следования безостановочно работал телеграф. Заключались пари.

Люди дрожащими руками развертывали утренние газеты. Кто впереди из фаворитов? «Тайпинг»? «Фермопилы»? «Ариэль»? «Огненный крест»? «Летящее острие»?

Гонки чайных клиперов были как бы апофеозом парусного флота...

— И все-таки самыми быстроходными были «Фермопилы», — сказал Олафсон после паузы. — Почему же тогда «Ариэль» обставил нас? Я отвечу. Да потому лишь, что капитан был умница, знал всякие хитрые мореходные уловки. Попался бы нам такой капитан! Ого!.. Знайте, — с воодушевлением продолжал моряк, — что при самом слабом ветерке, когда можно пройти вдоль палубы с зажженной свечой, «Фермопилы» шли семь узлов! Да, друзья, семь узлов! А в ровный бакштаг, под всеми парусами, клипер делал без труда тринадцать узлов, руль прямо, и мальчик мог стоять на штурвале!

Голос Олафсона прерывался от волнения.

Но потом рассказчик начинал беспрестанно прокашливаться и сморкаться, потому что доходил до описания гибели «Фермопил».

Знаменитому клиперу исполнилось сорок лет. Ремонт его требовал слишком больших затрат, судовладельцы не пошли на это.

В солнечный безветренный день на берегу Атлантического океана собралось множество простого люда: матросы, лоцманы, рыбаки, грузчики.



Олафсон был среди них. Он, по его словам, приехал с другого конца Европы, как только узнал о предстоящей расправе с «Фермопилами».

Но, против ожидания, церемониал был соблюден, этого нельзя отрицать. Буксиры вывели из гавани корабль, расцвеченный по реям флагами и с парусами, взятыми на гитовы.

Его провожали в молчании. Потом оркестр на набережной заиграл траурный марш Шопена. Под звуки этого марша «Фермопилы» были потоплены на внешнем рейде.

Когда гул взрыва докатился до набережной и прославленный клипер начал медленно крениться, все сняли фуражки и шляпы. Многие моряки плакали, не стыдясь своих слез...

С удивлением Нэйл отметил, что вот уж полчаса — пока длился рассказ — он не думал о себе и своих страданиях.

В этом и заключалось целебное действие историй Олафсона! Слушатели его, измученные усталостью, страхом и голодом, забывали о себе на короткий срок — о, к сожалению, лишь на самый короткий!

Натянув на голову одеяло, Нэйл постарался вообразить гонки чайных клиперов.

Корабли понеслись мимо один за другим — подобно веренице облаков, низко летящих над горизонтом. От быстрого мелькания парусов поверх слепящей морской глади глаза стали слипаться...

Но Олафсон рассказывал не только о морских работягах. По его словам, кроме «добрых кораблей», были также и «злые». К числу их относились невольничьи и пиратские корабли.

Бывший лоцман знал всю подноготную Кида, Моргана, де Сото.

Последний считался шутником среди пиратов. Недаром его проворная бригантина носила название «Black Joke», то есть «Черная шутка».

Юмор де Сото был особого рода. Команды купеческих кораблей корчились от страха, завидев на горизонте мачты с характерным наклоном, затем узкий черный корпус и, наконец, оскалившийся в дьявольской ухмылке череп над двумя скрещенными костями — пиратский черный флаг «Веселый Роджер».

Уйти от де Сото не удавалось никому. Слишком велико было его преимущество в ходе.

Замысловато «шутил» де Сото с пассажирами и матросами захваченного им корабля, — даже неприятно вспоминать об этом. Потом бедняг загоняли в трюм, забивали гвоздями люковые крышки и быстро

проделывали отверстия в борту. Мгновенье — и все было кончено! Лишь пенистые волны перекатывались там, где только что был корабль.

«Мертвые не болтают!» — наставительно повторял де Сото.

Не болтают, это так; зато иногда оставляют после себя опасную писанину. Дневники и письма, например.

А де Сото любил побаловать себя чтением — между делом, в свободное от работы время. Читательский вкус его был прихотлив. Всем книгам на свете почему-то предпочитал он дневники и письма своих жертв.

Один из таких дневников де Сото даже захватил с собой, когда «Черная шутка» в сильнейший шторм разбилась на скалах у Кадикса и команде пришлось высадиться на берег.

Решено было разойтись в разные стороны, чтобы не вызвать подозрений, а через месяц собраться в Гибралтаре — для захвата какого-нибудь нового судна.

Де Сото прибыл в Гибралтар раньше остальных пиратов и поселился в гостинице. Его принимали за богатого туриста. Между тем, прогуливаясь в порту, он присматривался к стоявшим там кораблям, придирчиво оценивая их мореходные качества. Новая «Черная шутка» не должна была ни в чем уступать старой.

Однажды в отсутствие постояльца пришли убрать его номер. Из-под подушки вывалилась клеенчатая тетрадь. Постоялец, по обыкновению, читал перед сном. А что он читал?

Горничная была не только любопытна, но и грамотна. С первых же строк ей стало ясно, что записи в тетради вел капитан такой-то, недавнее исчезновение которого взволновало его друзей и вызвало много толков. Предполагали, что судно его потопил неуловимый безжалостный де Сото.

Любитель дневников был схвачен. Вскоре его судили, а затем вздернули на виселицу на глазах у всего Гибралтара.

— После казни только и разговору было, что об этом дневнике, — заключил Олафсон. — Говорили, что де Сото носил свою смерть всегда при себе, а на ночь вдобавок еще и прятал под подушку... Так-то, друзья! Если заведется опасная тайна у кого-либо из вас, берегайте ее только в памяти, да и то затолкайте в какой ни на есть дальний и темный угол!..

Выслушав эту историю, Нэйл задумался — не о де Сото, а об Олафсоне. Была ли у рассказчика тайна, которую надо затолкать в какой ни на есть дальний и темный угол памяти?

Как будто да! И, по-видимому, это была именно та самая тайна,

которая вот уже два года мертвым грузом висит на душе у Нэйла!

Ни разу, даже вскользь, не упомянул Олафсон Летучего Голландца. Почему?

Старый лоцман обходил эту легенду, как обходят опасную мель или оголяющиеся подводные камни.

Нэйл расспросил старожилов блока, давних слушателей Олафсона.

Да, тот рассказывал о чайных клиперах, кладах, морских змеях, пиратах, но о Летучем Голландце он не рассказывал никогда.

Удивительно, не так ли? Ведь это одна из наиболее распространенных морских историй!

С чрезвычайной осторожностью Нэйл подступил с расспросами к Олафсону.

— Летучий Голландец? — Старик метнул острый взгляд из-под нависших бровей. — Да, есть и такая история. Когда-то я знал ее. Очень давно. Теперь забыл.

Можно ли было поверить в столь наивную ложь?

Несколько раз Нэйл возобновлял свои попытки. Олафсон отделялся пустыми отговорками, деланно зевал или поворачивался спиной.

Но это еще больше разжигало Нэйла.

Лоцман боится рассказывать старую морскую историю, чтобы не проговориться?

За спиной легендарного Летучего Голландца видит того, другого?

Как-то вечером Нэйл и Олафсон раньше остальных вернулись в барак.

Нэйл улегся на своей койке, Олафсон принялся кряхтя снимать башмаки.

Самое время для откровенного разговора!

— Думаешь ли ты, — медленно спросил Нэйл, — что в мире призраков могут блуждать также подводные лодки?

Длинная пауза. Олафсон по-прежнему сидит вполоборота к Нэйлу, держа башмаки на весу.

— Мне рассказали кое-что об этом в Бразилии два года назад, — продолжал Нэйл, смотря на дверь. — Тот человек божился, что видел лодку-привидение на расстоянии полукабельтова. Она выходила из прибрежных зарослей. Но вот что странно: на ней говорили по-немецки!

Тяжелый башмак со стуком упал на пол.

Ага!

Олафсон нагнулся над своим башмаком. Что-то он слишком долго возится с ним, старательно задвигая под койку, — видно, хочет протянуть время.

И это ему удалось. Захлопали двери, зашаркали-застучали подошвы, в барак ввалились другие заключенные.

Нет! Больше нельзя ждать! Нэйлом руководит не праздное любопытство. Он ищет единомышленника, товарища в борьбе.

Что ж! Поведем разговор иначе — поверх голов других обитателей барака!

Когда в блоке улеглись, Нэйл решительно повернулся к своему соседу:

— А теперь историю, Оле! Самую страшную из твоих историй! Я заказываю о Летучем Голландце! Мне говорили, что ты до сих пор еще не рассказывал о нем.

Койка сердито заскрипела и задвигалась под старым лоцманом.

— Сам и расскажи, — проворчал он. — Ты моложе. Память у тебя лучше.

Нэйл помедлил.

— Я бы, пожалуй, рассказал, — с расстановкой ответил он, — да боюсь, история Летучего Голландца будет выглядеть в моей передаче слишком современной.

Яснее выразиться нельзя! Олафсон, казалось, заколебался. Но недоверие все-таки перевесило.

Он начал рассказывать не о Летучем Голландце, совсем о другом — о тех английских и французских пиратах, которым в воздаяние их заслуг дали адмиральское звание, а также титулы баронета или маркиза. Это было интересно. Блок, по обыкновению, притих.

Нэйл мысленно выругался. Лоцман, простодушный хитрец, сумел положить разговор круто на другой галс...

Сигнал отбоя! Барак погрузился в сон.

Спящие походят на покойников, лежащих вповалку. Рты разинуты, глазные впадины кажутся такими же черными, как рты. Лампочка под потолком горит вполнакала.

Заснул и Олафсон.

Один Нэйл не спит. Закинув за голову руки, глядит в низкий фанерный потолок — и не видит его.

Что дало сегодняшнее испытание? Олафсон не сказал ничего и в то же время сказал очень много. Это упорное нежелание касаться опасной темы, эти неуклюжие увертки, — ведь, по сути, они равносильны признанию!

И все-таки Олафсон должен сам сказать: «Да, камерад! Я видел „Летучего Голландца“!» А быть может, сначала Нэйлу сказать об этом?

Нэйл зажмурил глаза. И тотчас сверкнул вдали плес Аракары. Под звездами он отсвечивал, как мокрый асфальт. Снова Нэйл увидел черную стену леса и услышал ритмичные непонятные звуки, — был ли то индейский барабан, топот ли множества пляшущих ног?

Под этот приглушенный мерный гул Нэйл стал засыпать. И вдруг рядом внятно сказали:

— Флаинг Дачмен!<sup>[24]</sup>

Потом забормотали:

— Нельзя, не хочу, не скажу!

Минута или две тишины. Что-то неразборчивое, вроде:

— Никель... Клеймо... Никель...

И опять:

— Нет! Не хочу! Не могу!

Это бормотал во сне Олафсон.

Нэйл поспешно растолкал его. Уже начали подниматься неподалеку взлохмаченные головы. Нельзя привлекать внимание блока к тому, что знали только Нэйл и Олафсон.

Старый лоцман приподнялся на локте:

— Я что-нибудь говорил, Джек?

— Нет, — сказал Нэйл, помедлив. — Ты только сильно стонал и скрежетал зубами во сне.

Олафсон недоверчиво проворчал что-то и, укладываясь, натянул одеяло на голову...

### 3. Английский никель

На следующий день Олафсон заболел.

Утром заключенных вывели на строительство укреплений — стало известно о приближении Советской Армии.

Нэйл, стоя над вырытым окопом, обернулся и рядом с собой увидел Олафсона.

Тот скрючился у своей тачки, а лицо было у него испуганное, совсем белое.

— Заслони меня от Гуго! — пробормотал он.

Надсмотрщик, Кривой Гуго, тоже имел свою дневную норму. Черная повязка закрывала его левый, выбитый, глаз. Но правым он видел очень хорошо. Целый день, стоя вполоборота, следил за узниками этим своим круглым, сорочьим глазом. И, если кто-нибудь проявлял признаки слабости

или начинающейся болезни, немедленно раздавалась короткая ругань, а вслед за ней очередь из автомата...

Нэйл загораживал собой Олафсона до тех пор, пока тот не собрался с силами.

Когда тачки покатались по дощатому настилу, Олафсон успел негромко сказать:

— Спасибо! Я должен во что бы то ни стало продержаться до прихода русских!

Однако вечером в блоке его начал бить озноб. Он уткнулся лицом в подушку, стараясь не стонать. Несколько раз Нэйл подавал ему пить.

— Ты хороший малый, Джек! — прошептал он. И — почти беззвучно: — Я бы рассказал, если бы мог. Честное слово, я бы тебе рассказал...

После полуночи он совсем расхворался. В бараке уже спали. Старый лоцман сдерживал стоны, чтобы не разбудить товарищей. Дыхание его было тяжелым, прерывистым.

Нэйл перегнулся к Олафсону через узкий просвет, разделявший их койки.

— Я вызову врача, — сказал он не очень уверенно.

— Нет! Прошу тебя, не надо! Меня сразу же уволочут из блока, чтобы делать надо мной опыты. Нас разлучат с тобой. А это нельзя. Быть может, я все-таки решусь... Да, быть может... Дай мне воды!

Зубы его дробно застучали о кружку.

— Сохнет во рту, трудно говорить. Придвинься ближе! Еще ближе!.. Джек, мне не дожидаться русских.

— Ну что ты! Не так ты еще плох, старина!

— Нет, я знаю. Завтра Гуго меня прикончит. А русские могут не прийти завтра. О, если бы они пришли завтра!

Он судорожно сжал руку Нэйла своей горячей потной рукой.

Нэйл забормотал какие-то утешения, но старый лоцман прервал его:

— Не теряй времени! Я должен успеть рассказать. Да, Джек, я решился!

Он порывисто притянул Нэйла за шею к себе.

— Ты веришь в бога, Джек?

— Нет.

— А в судьбу?

— Верю иногда.

— И у тебя есть дети?

— Двое.

— Так вот! Жизнью своих детей, Джек, поклянись: то, что расскажу,

передашь только русским!

— Хорошо.

— Ты понял? Русским, когда они придут! Кому-нибудь из их офицеров. Лучше, понятно, моряку. Скорей поймет.

Нэйл повторил клятву. Потом приблизил ухо почти вплотную ко рту Олафсона, так тихо тот говорил.

— Слушай! Ты был прав. Я видел «Летучего Голландца»...

Нэйл ожидал этого признания и все же вздрогнул и оглянулся. В блоке было по-прежнему тихо, полутемно.

— Ты знаешь, о ком я говорю, — шептал Олафсон. — Ты сам видел его. Нет ни парусов, ни мачт. Это подводная лодка, и на ее борту говорят по-немецки!.. Но я по порядку, с самого начала...

Олафсона, по его словам, поддели на старый ржавый крючок — на лесть. К стыду своему, он всегда был падок на лесть.

Однако вначале он считал, что никель — норвежский, а не английский! В какой-то мере это оправдывало его.

То был 1939 год, декабрь. В Европе шла так называемая странная война. Кое-кто с усмешкой называл ее также сидячей. Не блицкриг, а зицкриг! Противники лишь переглядывались, сидя в окопах друг против друга. Но Германия втайне готовила свое летнее наступление.

И Олафсон помог успеху этого наступления! Но, конечно, невольно и вдобавок в очень малой степени.

Старый лоцман жил в то время на покое, в своем тихом Киркенесе. Мог ли он думать, что Мальстрем войны уже грозно клокочет и пенится у порога его дома?

Но так оно и было. Вертящаяся водяная воронка внезапно хлестнула о берег волной, и та уволокла за собой Олафсона в пучину...

Как-то вечером заявился к нему один моряк.

В Киркенесе его прозвали «Однорейсовый моряк», потому что он редко удерживался на корабле дольше одного рейса.

Вздорный был человек, скандальный! Пить даже по-настоящему не умел. Раскисал после второго или третьего стакана. А пьяница не может быть хорошим моряком.

Оказалось, что сейчас он при деле, взят вторым помощником на... (он назвал судно), а к Олафсону явился с поручением. Владельцы груза убедительно просят херре Олафсона провести корабль шхерами до Ставангера.

— Я в отставке, — хмуро сказал Олафсон.

— О! Это-то и хорошо! — подхватил Однорейсовый моряк. — Хозяева по ряду причин не хотят обращаться в союз лоцманов. Насчет груза не тревожьтесь! Никель! Никелевая руда! И порт назначения — Копенгаген. Что же касается вознаграждения...

Оно было так велико, что Олафсон удивился.

И все же он, вероятно, отказался бы. Не нравился ему почему-то этот рейс, никак не нравился!

Но тут непрощеный гость пустился на лесть. Он даже назвал старика «королем всех норвежских лоцманов»!

И тот не устоял.

А может, просто захотелось еще разок пройти милыми сердцу норвежскими фиордами и шхерами, постоять, как раньше, на капитанском мостике у штурвала? Старые люди — те же дети...

С непроницаемо строгим лицом, попыхивая короткой трубочкой, всматривался Олафсон в знакомые очертания скал, медленно наплывавшие из тумана.

Приказания его выполнялись четко, без малейшего промедления. Лоцман, особенно в шхерах, — большая персона на корабле!

И тем не менее от Олафсона что-то скрывали. Неблагополучно было с грузом, как он догадывался.

Старый лоцман был суеверен. Еще в порту он принял меры предосторожности. Начал с того, что потребовал назначить выход не на понедельник и не на пятницу (несчастливые дни!). Потом лично проследил за тем, чтобы в каютах и кубриках не было кошек. К судовому щенку, любимцу команды, он отнесся снисходительно — собаки на море не приносят вреда.

Олафсона в его длительном «инспекторском обходе» неотлучно сопровождал матрос. Наконец тому надоело ходить следом за придиричивым стариком, и он задержался на полубаке, покурить с товарищами. Тем временем Олафсон, заботясь о благополучии рейса, заглянул в трюм — бывает, что кошек прячут также в трюм.

И что же он увидел там?

Ничего!

Так-таки совсем ничего? Да. Трюм был пуст!

Не веря глазам, Олафсон присветил себе фонариком. Никелевой руды в трюме не было.

Ну, да бог с ней, с этой рудой! Правду сказать, он ожидал увидеть все, что угодно, только не руду, — любой контрабандный товар, вплоть до



оружия. Но внизу, под раскачивающимся фонарем, был лишь балласт, большие камни, уложенные в ряд для придания судну остойчивости.

Олафсон отпрянул от черной щели люка, как от края пропасти.

Пустой трюм! Странно, невероятно, необъяснимо!

Быть может, судно хотят загрузить по пути в Копенгаген? Но чем? И для чего это вранье о никеле?

Пожалуй, Олафсон отказался бы от участия в рейсе. Но корабль уже стоял на внешнем рейде и готовился сниматься с якоря.

Лоцман, понятно, промолчал о своем открытии. Но теперь внимание его как бы раздвоилось: он примечал не только ориентиры на берегу, по которым надо ложиться на створ.

Непонятное творилось на судне. Люди ходили хмурые, молчаливые, то и дело бросая тревожные взгляды по сторонам. Можно подумать, что судно, кроме балласта, загружено еще и страхом, целыми тоннами страха...

Но наиболее удивительно было то, что ни капитана, ни команду не пугала неизвестная подводная лодка, которая как бы эскортировала их судно.

Она еще ни разу не всплыла на поверхность, хотя иногда перископ ее подолгу виднелся вдали. Потом он исчезал, чтобы появиться снова через несколько часов.

Олафсон заметил его впервые вскоре после Нордкапа.

Случилось это утром. Туман почти разошелся. Выглянуло солнце. Воздух был стеклянный, полупрозрачный.

Олафсон то и дело подносил бинокль к глазам.

Такая погода — сущее наказание для лоцмана. Из-за проклятой рефракции, того и гляди, ошибешься, прикидывая на глаз расстояние. Трапеции и ромбы на подставках, камни с намалеванными на них белыми пятнами, одинокие деревья и другие ориентиры парят в дрожащем светлом воздухе. Их как бы приподнимает и держит над водой невидимая рука.

Фу ты! Провались оно пропадом, это опасное шхерное волшебство!

Олафсон с осторожностью вел судно широким извилистым коридором. Вдруг прямо по курсу сверкнул бурун!

В таких случаях говорят: «Перед глазами пронеслась вся его жизнь». Перед глазами Олафсона пронеслась карта этого района.

Неужели из-за рефракции он ошибся, свернул не в ту протоку?

Нет, бурун двигается. Значит, не камень!

Был на памяти лоцмана случай, когда точно так же увидел он всплеск

впереди, а чуть подальше другой. Перископы? Нет. На мгновение вынырнули и опять исчезли две матово-черные спинки.

«Касатки, — с облегчением сказал он побледневшему рулевому. — Забрели, бродяги, в шхеры и резвятся тут...»

Но теперь все выглядело по-другому.

— Перископ! — сказал Олафсон без колебаний и укоризненно посмотрел на ротозея-сигнальщика.

Краем глаза он заметил при этом, что на лице стоявшего рядом капитана — досада, смущение, но никак не страх.

Может быть, норвежская лодка? Но ей-то зачем идти под перископом — в своих территориальных водах?

Разбойничье нападение немецкой подводной лодки на «Атению», с чего и началась вторая мировая война на море, произошло сравнительно недавно. С нейтралами (Норвегия была нейтральна) немцы не считались. Но зачем топить судно с пустым трюмом? Они, правда, могли не знать, что трюм пуст.

— Немцы! — предостерегающе сказал Олафсон.

Однако лишь спустя минуту или две капитан довольно неискусно изобразил на лице изумление и ужас.

Впрочем, никаких мер принято не было. Вскоре бурун исчез.

Он опять появился в полдень, потом появлялся еще несколько раз на протяжении пути. По-прежнему на мостике никто не замечал его, кроме Олафсона.

Конечно, зрение у лоцманов острее, чем у других моряков. Вдобавок лоцманы приучаются одновременно видеть много предметов, охватывают взглядом сразу большое навигационное поле.

Что ж! Олафсону оставалось про себя радоваться остроте своего зрения. О перископе он помалкивал, лишь досадливо морщился, завидев бурун вдали.

Подводная лодка неизвестной национальности, вернее всего немецкой, словно невидимка, сопровождала их судно — вместе с кувыркающимися дельфинами, этими «котятками моря». Но вряд ли была так же безобидна, как они...

К ночи неподалеку от Рервика навалило сильный туман.

Посоветовавшись с Олафсоном, капитан приказал стать на якорь под прикрытием одного из островков, чтобы невзначай не увидели с моря.

— Хоть и туман, а предосторожности не лишни, — пояснил он, отводя

от лоцмана взгляд. — Радист перехватил тревожное сообщение. Эти немецкие лодки целой стайей рыщут неподалеку.

Олафсон сочувственно вздохнул.

Огни на верхней палубе были погашены, иллюминаторы плотно задраены. Люди ходили чуть ли не на цыпочках, говорили вполголоса.

Ведь лодка или лодки, всплыв для зарядки аккумуляторов, могли неожиданно очутиться совсем близко. А на воде слышно очень хорошо.

Сурово поступлено было с судовым щенком. Невзирая на его громкие протесты, беднягу препроводили внутрь корабля, в самый отдаленный кубрик. Кроме того, к нему был приставлен матрос: следить, чтобы не выбежал наверх!

Щенок был глуп и добросовестен: лаял на встречные корабли, на чаек, даже на пенистые волны. Учув в тумане подводную лодку, конечно, не преминул бы облаять и ее.

Олафсон постоял немного у фальшборта, вглядываясь в туман, обступивший судно.

— Шли бы отдохнуть, херре Олафсон, — заботливо сказал капитан. — Приглашу на мостик, когда разойдется туман. Но вы сами видите: простоим наверняка всю ночь!

Вытянувшись на своей койке, старый лоцман представил себе, как в отдаленном кубрике злятся друг на друга щенок и приставленный к нему матрос. Ну и служба! Щенка сторожить!

Олафсон усмехнулся.

Поскрипывала якорная цепь. С тихим плеском обегала судно волна.

Так прошло около часу. Лоцман не спал.

Вдруг он услышал крадущиеся шаги. Кто-то остановился у его двери. Постоял минуту или две, сдерживая дыхание. Потом — очень медленно — повернул ключ в замке. Олафсон был заперт!

Вот, стало быть, как обстояли дела! На корабле было два пленника: щенок и лоцман!

Гнев овладел Олафсоном. Будучи чувствителен к лести, он тем острее воспринимал обиды. Каково? Его, прославленного лоцмана, «короля всех норвежских лоцманов», приравняли к глупому щенку-пустобреху!

Он хотел было запустить в дверь тяжелыми резиновыми сапогами, но одумался. Что пользы буяннить? Двери заперты, надо выйти через окно, только и всего. Но уж теперь обязательно выйти!

(Ко всему прочему Олафсон был еще и любопытен.)

Каюта его, по счастью, помещалась в надпалубной надстройке. Он выждал, пока воровские шаги удалятся. Потушил свет. Со всеми

предосторожностями, стараясь не шуметь, отдраил иллюминатор. Тот был достаточно широк, и Олафсон, сопя и кряхтя, пролез через него.

Не очень-то солидно для «короля лоцманов»! Но что поделаешь? Другого выхода нет.

Корабль — на якоре. Вокруг — как в погребу: промозгло, холодно, нечем дышать.

Олафсон стоял неподвижно, раскинув руки, прижавшись спиной к надстройке на спардеке.

Он допустил ошибку. Нужно было немного выждать, не сразу выходить со света.

Сейчас, стоя в кромешной тьме, он воспринимал окружающее лишь на слух.

Нечто тревожное происходило на корабле, какая-то суетливая нервная возня. То там, то здесь топали матросские сапоги. По палубе, мимо Олафсона, проволочки что-то тяжелое. Кто-то вполголоса выругался.

Голос капитана — с мостика:

— Заперли лоцмана?

Голос Однорейсового моряка — с полубака:

— Заперт, как ваши сбережения в банке!

Смех. Олафсон сжал кулаки.

Его глаза постепенно привыкали к белесой мгле. Он уже различал проносящиеся мимо тени. То были силуэты пробежавших по палубе матросов. Потом — почти на ощупь — он поднялся на несколько ступенек по трапу, чтобы увеличить поле обзора.

— Ага! Вот он! — крикнули рядом.

Олафсон съежился.

Но это относилось не к нему.

На расстоянии полукабельтова внезапно, как вспышка беззвучного выстрела, появилось пятно.

В центре этого светлого пятна покачивалась подводная лодка. Туман обступил ее со всех сторон. Она была как бы внутри грота, своды которого низко нависали над нею, почти касаясь верхушки антенны.

— Кранцы — за борт! — Голос капитана.

Но подводная лодка приблизилась лишь на расстояние десяти — пятнадцати метров и остановилась, удерживаясь на месте ходами.

Олафсон увидел, что матросы теснятся у противоположного борта. Значит, кранцы вывешивают не для подводной лодки. Для кого же?

Подводники, стоявшие в ограждении боевой рубки, окликнули капитана. Тот ответил. Разговаривали по-немецки. Олафсон понял, что

ожидается приход еще одного корабля. Встреча с ним почему-то не состоялась в прошлую ночь.

— Англичанину полагается быть более пунктуальным, — сказал капитан.

— Его могли задержать английские военные корабли, — ответили с лодки.

Англичанина — английские военные корабли? Непонятно!

Вдруг в море сверкнул свет. Потух. Опять сверкнул. Морзит!

— Ну, наконец-то! — сказал с облегчением капитан.

Над головой хлопнули жалюзи прожектора. Он прорубил в тумане узкий коридор, и на дальнем конце его Олафсон увидел медленно приближавшееся судно.

Приблизившись, второй английский корабль стал борт о борт с норвежским транспортом. Завели швартовые концы. Ночью! В тумане! Маневр, что и говорить, нелегкий, но выполнен он был хорошо. Правда, в шхерах, особенно под прикрытием острова, волны почти не было.

Перегрузка — с английского транспорта на норвежский — совершалась при свете ламп, установленных в трюмах под колпаками, чтобы их не было видно сверху и со стороны моря.

Ковши проносились над головами подобно огромным зловецим птицам. В воздухе искрились мириады взвешенных водяных капель.

Люди двигались в этой светящейся мгле, как бесплотные тени, как души утопленников.

Олафсону захотелось осенить себя крестным знаменем. Не чудится ли ему это?

Матросы обоих транспортов работали в молчании. Лишь изредка раздавались подстегивающие возгласы боцманов.

Олафсон огляделся. Подводная лодка переменяла позицию, покачивалась уже с внешней стороны шхер. Понятно! Прикрывает погрузку от возможного нападения с моря. Высокий материковый берег, по-видимому, не считался опасным. Олафсон припомнил, что поблизости нет населенных пунктов.

Но происходящее необъяснимо! Ведь Англия и Германия находятся в состоянии войны. И вот в одном из закоулков шхер сошлись английский транспорт и немецкая подводная лодка! Их разделяет только норвежское судно, — Норвегия нейтральна.

В разрывах тумана над головой чернело небо, как проталины в снегу. Вскоре небо начнет бледнеть.

Подстегивающие возгласы сделались резче, темп погрузки усилился.

Пар валил от торопливо сновавших взад и вперед матросов.

Зато Олафсон продрог, весь одеревенел, сидя на своем насесте и боясь пошевелинуться.

Не дожидаясь конца погрузки, он с теми же предосторожностями вернулся через иллюминатор в свою каюту.

Утром его разбудил Однорейсовый моряк.

— Капитан приглашает на мостик. Снимаемся с якоря, херре Олафсон, — подобострастно доложил он. — А как вам спалось этой ночью?

Олафсон покосился на его плутовато-придурковатую физиономию.

«Мне, знаешь ли, снился странный сон», — хотел было сказать он. Но вовремя удержался, промолчал.

У Ставангера судно вышло из шхер, и обязанности Олафсона кончились.

Однако, уходя с мостика, он успел обратить внимание на то, что курс изменен — стрелка компаса указывает на юг, а не на юго-восток.

— Пришла радиограмма от грузовладельцев, — вскользь сказал старший помощник, стоявший на вахте. — Груз переадресован из Копенгагена в Гамбург.

Гамбург? Этого следовало ожидать. Гамбург или Бремен! Не зря же околачивалась возле судна немецкая подводная лодка!

На мостик лоцман больше не поднимался — тем более что Северное море пересекли почти в сплошном тумане, идя по счислению, то и дело давая гудки, чтобы не столкнуться с каким-нибудь встречным кораблем.

В Гамбурге лоцман съехал на берег и расположился в гостинице — так опротивело ему на транспорте. Стоянка не должна была затянуться, к рождеству хотели быть дома.

По своему обыкновению, Олафсон коротал время в ресторанчике при гостинице. Там, на второй или третий вечер, его разыскал Однорейсовый моряк.

Ногой он придвинул стул и, не спрашивая разрешения, подсел к столу. Лицо его было воспалено, остекленевшие глаза неподвижны.

— Наш капитан, — объявил он, — сделал величайшую глупость в своей жизни!

— Не понимаю.

— Уволил меня! Только что я немного повздорил с ним, и — бац! — он тут же выгнал меня, чуть не взашей! Красиво, а?

Старый лоцман отхлебнул пива и глубокомысленно обсосал свои длинные висячие усы. Просился на язык вопрос: почему Однорейсовый моряк считает это глупостью, да еще величайшей?

Но тот нуждался в слушателе, а не в собеседнике.

— Что вы пьете? Пиво? А почему не ром? «Другие готовы прозакладывать жалованье и душу в придачу, что в ром не подмешано и капли воды!» Или как там у вас? Вы отлично рассказывали в Киркенесе эту старую легенду. Кельнер! Рому!.. Да, так вот! Дурень капитан на коленях будет умолять меня остаться на корабле!

— Умолять? — недоверчиво переспросил Олафсон.

— Именно умолять! Иначе я, вернувшись домой, выложу все, что знаю о нем и об этом «Летучем Голландце»!

От изумления Олафсон расплескал пиво, которое подносил ко рту.

— Тс-с! Тихо! — предостерег Однорейсовый моряк. — Вы, стало быть, не узнали «Летучего Голландца»? А ведь сами рассказывали о нем, и с такими подробностями!

Он откинулся на спинку стула и захохотал. С соседних столиков на него начали оглядываться.

Однорейсовый моряк перешел на шепот:

— Но вы же не могли ждать, что «Летучий» явится вам во всем своем старомодном убранстве! Со рваными парусами и скелетами на реях? Времена переменялись, херре Олафсон! И вашему «Летучему Голландцу» тоже пришлось изменить обличье. — Он кивнул несколько раз. — Да-да! Та самая подводная лодка, которая сопровождала нас в шхерах!

Некоторое время он смаковал свой ром.

— Что же вы не пьете, старина?

Но у старого лоцмана отпала охота пить. То, что услышал от Однорейсового моряка, было чудовищно, подло, и он, Олафсон, участвовал в этой подлости!

Дело в том, что на складах в Англии по каким-то причинам залежался никель, по-видимому канадский. Запасы его некуда было девать, владельцы, по словам Однорейсового моряка, терпели огромные убытки. Между тем фашистская Германия остро нуждалась в никеле.

Посредниками в тайной сделке выступили норвежские судовладельцы. Так было зафрахтовано в Киркенесе судно с пустым трюмом.

В укромном месте, в шхерах, никель был перегружен из трюма английского транспорта в трюм норвежского — товар, так сказать, передан из-под полы.

Немецкой подводной лодке, прозванной «Летучим Голландцем»,

полагалось в случае появления английских военных кораблей отвлечь их на себя и даже, если понадобится, вступить с ними в бой. Однако все сошло благополучно.

— Что-то я не могу понять, — беспомощно сказал Олафсон. — Как же это? Английский никель — немцам! Ведь Англия воюет с Германией...

— Солдаты воюют, херре Олафсон, а торговцы торгуют. Запомните: бизнес не имеет границ!

Однорейсовый моряк привстал, заглянул Олафсону в лицо:

— Эге-ге! Да вы совсем размокли, старина! — И он снисходительно похлопал его по плечу, на что никогда не осмелился бы раньше. Но ведь теперь они были в одной воровской компании! — Вот что! — сказал он, швыряя на стол деньги. — Дождитесь меня! Я скоро вернусь. Только заберу свои пожитки на корабле и, может, выругаю еще разок этого дурня капитана, если попадется по дороге. А потом будем веселиться и пить до утра! За ром платит «Летучий Голландец», правильно ли я говорю?

И он ушел, смеясь, натываясь на столики и с преувеличенной вежливостью бормоча извинения.

Но Олафсон не дождался Однорейсового моряка.

Наутро он прочел в газете о том, что, возвращаясь на корабль, бедняга спьяну забрел на деревянную пристань, свалился в воду и утонул.

Но какой моряк, даже пьяный и даже ночью, не найдет дороги к своему кораблю?

Однако Олафсон недолго гадал об этом. В тот же день он был арестован и без объяснения причин заключен в концлагерь.

Быть может, за Однорейсовым моряком следили и разговор его с Олафсоном был подслушан?..

— Да, думаю, так оно и было, Джек, — говорил старый лоцман, обдавая Нэйла прерывистым, нестерпимо жарким дыханием. — В концлагере я узнал, что вскоре после нашего рейса наци оккупировали Норвегию. Потом они заграбастали Францию вместе с Голландией и Бельгией. Английский никель пригодился! Конечно, в общей массе его было не так уж много, и все же... Ты знаешь: из никеля делают наконечники для пуль! Да, летом тысяча девятьсот сорокового года сотни, тысячи английских и французских солдат полегли от английского никеля. В этом, Джек, и моя вина, доля вины!..

По временам Олафсона начинало трясти, и он умолкал. Но едва его отпускало, как он опять притягивал Нэйла к себе:

— Люди должны были бы узнать о контрабандном никеле! Правильно? Все люди, весь мир! Но что я мог один? Пусть даже передал



бы весть на волю. Кто бы мне поверил? Трудно ли этим английским торгашам отпереться от любого обвинения, имея в кармане власть и деньги, суд, полицию, продажные газеты, наемных болтунов в парламенте? А я один против них и вдобавок заперт в концлагере! И тогда я подумал о русских. Я знаю русских! Еще до первой войны я водил шхерами их посыльное военное судно. Был, помню, на нем молодой штурман, славный малый и очень толковый. Часами был готов слушать меня. Особенно нравилась ему история «Летучего Голландца». Я хотел бы рассказать продолжение истории этому штурману...

Олафсон попытался вспомнить его фамилию, но не смог — у русских слишком трудные фамилии. Он торопливо зашептал:

— Джек, русские прогнали своих капиталистов. В их стране не найдется никого, кто пожелал бы замять это подлое дело о никеле. Поэтому о нем надо рассказать русским, только русским!

— Ты сам им расскажешь, дружище! — Нэйл укрыл Олафсона одеялом. — А теперь отдохни! Откровенность за откровенность! Я расскажу о своей встрече с этим «Летучим Голландцем». Дело было в Бразилии, на одном из притоков Амазонки... Только уговор: не перебивать! Лежи спокойно, набирайся сил. Главное для тебя — дожидаться прихода русских!..

#### 4. Смерть перед рассветом

Шубин высадил десант в Ригулди на рассвете.

Берег был плохо виден. Потом он осветился вспышками выстрелов, и торпедные катера смогли подойти к причалам.

Морская пехота хлынула на них, переплеснув через борт.

Шубин приказал не выключать моторы. За их ревом не слышно было, как загрохотал дощатый настил под ударами множества ног, как, обгоняя друг друга, зашпешили пулеметы и перекатами пошло по берегу устрашающе грозное русское: «Ура-а!»

Но Шубин не вслушивался в то, что происходило на берегу. Едва последний пехотинец очутился на причале, как торпедные катера, развернувшись, быстро отскочили от берега.

Таково одно из правил морского десанта. Высадил — отскочил! Выполнив задачу, корабли должны немедленно же отходить, иначе их в клочья разнесет артиллерия противника.

— Пусть теперь пехота воюет, — говорил Шубин, стремглав уходя от

причалов в море. — А у меня пауза! Я свои тридцать два такта не играю.

Шутливое выражение это, как и многие другие шубинские выражения, часто с улыбкой повторяли на флоте. Известно, что связано оно с теми давними временами, когда Шубин-курсант участвовал в училищном оркестре. Он играл на контрабасе, впрочем, больше помалкивал, чем играл, вступая, по его словам, только в самые ответственные моменты!

Однако был случай — в начале войны, когда Шубину пришлось сыграть «свои тридцать два такта».

Он высаживал разведчиков в районе Нарвы. Было это поздней осенью, свирепый накат не позволял подойти вплотную к берегу.

Что делать? Разведчикам предстояло пройти много километров по болотам во вражеском тылу. Сушиться, понятно, негде. А обогреться — так разве что огнем противника!

«Порох держать сухим!» Кромвель, что ли, сказал это своим солдатам, которые собирались форсировать реку?

Подумаешь: река! Заставить бы этого Кромвеля высаживать десант на взморье в сильный накат!

Порох порохом, но нельзя же забывать про обувь и одежду. Их тоже надо сохранить сухими!

Пришлось дополнить Кромвеля, Шубин не стал произносить афоризмы с оглядкой на историков. Он просто отдал команду, и все! Приказал своим матросам прыгнуть за борт и взять разведчиков «на закорки».

По счастью, фашисты понадеялись на штормовое море и свирепый накат, — в общем, прохлопали наш десант, — и вереница «грузчиков», шагая по пояс в воде, потянулась к темному берегу...

В Ригулди не понадобились столь решительные действия.

Через некоторое время Шубин вернулся к причалам, чтобы эвакуировать раненых. К полудню сопротивление фашистов на берегу было окончательно сломлено. Берег стал нашим.

С несколькими матросами Шубин пошел взглянуть на концлагерь, находившийся поблизости от Ригулди. О нем слышал давно, еще на Лавенсари.

Ветер к утру переменился и дул с берега. Откуда-то из коричневых зарослей наносило желтый удушливый дым. Завихряясь вокруг прибрежных сосен, он медленно сползал к белой кайме прибоя.

Моряки, по щиколотку в дыму, прошли лесок и, выйдя на опушку, увидели лагерь для военнопленных.

Три ряда колючей проволоки были порваны, скручены в клубки. На

стенах невысоких бараков белели каллиграфически исполненные надписи, а под ними валялись груды черной одежды — трупы выглядят всегда, как груды одежды. Рядом с эсэсовцами, оскалив пасти, лежали мертвые овчарки.

Странно, что в центре лагеря, между бараками, высились штабеля, как на дровяном складе.

Присмотревшись, Шубин понял, что это не дрова, а мертвые люди, приготовленные к сожжению!

Трупы лежали не вповалку, но аккуратными рядами: дрова, поперек дров трупы, снова дрова, и так несколько слоев.

Из-под поленьев торчали бескровные руки со скрюченными пальцами и ноги, прямые, как жерди, в спадающих носках.

С наветренной стороны трупы обгорели. На краю площадки штабелей уже не было. Вместо них темнели кучи пепла, над которыми вились огоньки.

Так вот откуда этот тошнотворно-удушливый запах!

Шубин мельком взглянул на сопровождавших его матросов. У Дронина дрожала челюсть. Степаков грозно поигрывал желваками, а Шурка, вытянув худую шею, удивленно таращил глаза.

— Отвернись, сынок! — сказал Шубин, ласково беря его за плечи. — Нехорошо тебе на это смотреть!

За спиной послышалась дробь чечетки.

Что это? Какой безумец отплясывает чечетку на пожарище, среди мертвых?

А! Это уцелевшие узники концлагеря!.. Проходя мимо, они стучат деревянными подошвами своих башмаков. Да! Похоже на чечетку, только замедленную, монотонную.

Люди никак не могут освоиться с сознанием того, что они избегли казни и свободны. Неумело, нерешительно улыбаются, подходят к русским солдатам, обнимают, пытаются как-то выразить свою благодарность. Высокие, взволнованные голоса их как щебет птиц, выпущенных на волю...

И вдруг в непонятном многоязычном щебете раздалось знакомое слово «сэйлор»<sup>[25]</sup>.

Расталкивая толпу, к морякам пробился какой-то человек. У него было серое, будто запыленное лицо, пепельно-серая стриженная голова и сросшиеся на переносице черные брови.

— Ай эм морьяк! — выкрикнул он, путая английские и русские слова. — Ю энд ай ар сэйлорз, кэмрад, тоувариш!<sup>[26]</sup>

Он торопливо распахнул, вернее, разодрал на груди куртку. Под ней мелькнуло что-то полосатое. А, лохмотья тельняшки!

— Ю энд ай, — пробормотал он и, поникнув, обхватил Дронина и Степакова за плечи. Из горла его вырвалось рыдание.

— Ну, ну, папаша! — успокоительно сказал Степаков, придерживая старика за костлявую спину. Дронин обернулся к Шубину.

— Душу свою перед нами открыл, товарищ гвардии капитан-лейтенант! — растроганно пояснил он. — Высказывает: свой, мол, я, тоже флотский!

Старик заговорил. Он очень хотел, чтобы его поняли, делал много жестов, как глухонемой. Моряки поощрительно кивали, Дронин даже шевелил губами, словно бы вторя ему. Но дальше этого не пошло.

— Частит потому что! — Огорченно замигав, Дронин отступил на шаг. Но одно слово удалось понять. Это была фамилия. Где-то Шубин уже слышал ее. Олафсон, Олафсон...

— Это вы — Олафсон?

— Ноу, ноу! — Старик отрицательно замотал головой. Он показал на желтый дым, который, сбиваясь в кольца, стлался над землей, и повторил: «Олафсон». Что это должно значить?

Дронин опять засуетился, но Шубин отстранил его:

— Стоп! Не вышло у тебя на пальцах. Школу глухонемых открыл! Попробуем с другого конца. Шпрехен зи дойч, камерад, геноссе?

— О, иес! Ия! Натюрлих!

Он быстро заговорил по-немецки, иногда сбиваясь опять на английский, второпях вставляя еще какие-то слова, не то испанские, не то португальские. Но Шубин, в общем, «приладился», постепенно стал схватывать суть.

Старика звали Нэйл, Джек Нэйл. Он был англичанин, судовой механик.

— Говорит: массовые расстрелы начались вчера вечером, — сказал Шубин. — Гитлеровцы не успели или не захотели эвакуировать лагерь. Людей выстроили в очередь. У каждого было под мышкой два полена. Их аккуратно укладывали поперек трупов. Потом укладчики сами ложились ничком на принесенные с собой дрова и ждали пули в затылок. Так вырастали эти штабеля! Бр-р! Даже слушать жутко. — Шубин перевел дыхание. — Он вот еще чего говорит: раненые стонали, корчились на поленьях, а факельщики уже принимались обливать их бензином, чтобы

лучше горели! До Нэйла очередь не дошла. Выручил наш десант. Но Олафсона, говорит он, убили еще раньше, на земляных работах. Это был лоцман, его друг. Вернее, друг всего лагеря...

Нэйл остановился у одного из барачков.

Несколько бывших военнопленных разбирали стену, уже занявшуюся огнем. Движения их были вялы, замедленны, как в тягостном сне.

— Олафсон жил в этом бараке, — сказал Нэйл. — Его и моя койки стояли рядом. В позапрошлую ночь, уже больной, зная, что ему не миновать расправы, он рассказал мне о «Летучем Голландце»...

Шубин вздрогнул. Как! Не ослышался ли он? Да, конечно, ослышался. Думает постоянно о своем «Летучем», вот тот и чудится ему везде.

— «Голландец»? — осторожно переспросил Шубин. — Вы, кажется, сказали... «Летучий Голландец»?

— Йа! «Дер флигенде Холлендер»! — Для верности Нэйл повторил по-английски: — «Флаинг Дачмен»!

Но Шубин не верил, боялся верить. Он со злостью одернул себя. Не бывает, не может быть подобных совпадений! Речь, конечно, идет о легендарном капитане, о том упрянце, который разругался со стихиями у мыса Горн.

— Такая особая немецкая подводная лодка-рейдер, — продолжал Нэйл, сосредоточенно глядя на перебегающие по стене быстрые огоньки. — Ее прозвище — «Летучий Голландец». Она делает очень нехорошие дела. Разжигает войну! Вдобавок совершает это втайне, за спиной воюющих стран...

Тут Шубин впервые в жизни почувствовал, что ноги не держат его.

— Давайте сядем, а? — попросил он. — Скажите еще раз, но помедленнее! Немецкий рейдер разжигает войну и в наши дни, так ли я понял?

Нэйл кивнул.

Они сели неподалеку от барака, с наветренной стороны площадки, чтобы не наносило удушливый дым.

Степаков вытащил подаренный в 1942 году кисет с надписью: «Совершив геройский подвиг, сядь, товарищ, закури!» Дронин принялся торопливо скручивать толстенную «козью ножку» для Нэйла.

— И мне сверни! — попросил Шубин. Он не хотел, чтобы матросы видели, как дрожат руки их командира.

Наконец сделаны первые затяжки. Нэйл блаженно вздохнул.

— Курить хорошо! Я давно не курил... Итак: немецкая подводная лодка-рейдер...

Он рассказывал, не глядя по сторонам, держа свою «козью ножку» неумело, обеими руками, боясь просыпать табак. Желтый дым продолжал медленно стекать от барачков к морю. Стена напротив рухнула, и внутри стали видны койки, на которых валялась скомканная серая рухлядь...

С напряженным вниманием моряки слушали о доставке английского никеля в Гамбург.

— О! — продолжал Нэйл. — Если бы вы знали, как хотел Олафсон сам рассказать вам это! Он ждал вас, как умирающий ночью ждет наступления рассвета. А ночь тянулась и тянулась... Наши соседи спали беспокойно, стонали, ворочались. Сонный храп их раскачивал барак, как мертвая зыбь корабль. Олафсон замолчал. Тогда начал рассказывать я. У меня тоже было о чем рассказать. О звездной ночи под тропиками, о рокоте индейских барабанов. И о светящейся дорожке на реке.

Видите ли, то, что случилось у берегов Норвегии в тысяча девятьсот сороковом году, имело свое продолжение в тысяча девятьсот сорок втором на реке Аракаре. Это один из многочисленных притоков Амазонки в среднем ее течении.

Как ни верти, обе наши истории вплотную сходились краями! Или иначе сказать: были в точности пригнаны друг к другу, как гайка к болту.

Мы проговорили с Олафсоном часов до трех.

«А теперь спи! — сказал я. — Завтра у тебя очень трудный день. Ты во что бы то ни стало должен обмануть Кривого Гуго!..»

Но он не обманул его.

Пока колонна брела к месту работы, мы взяли Олафсона в середину и поддерживали под локти, почти волокли за собой.

Ветер донес до нас раскат грома. Ветер дул с востока. Грома в сентябре не бывает. Это пушки русских, святая канонада!

Олафсон слушал ее, стоя у своей тачки, с лицом, обращенным к востоку, будто молился. А может, на самом деле молился?

Засвистели свистки, разгоняя нас по местам.

Гром немного подбодрил Олафсона. Он держался час или полтора. И я все время старался быть рядом. Ведь мы были связаны общей тайной, как каторжники одной цепью!

Увы! Олафсона хватило ненадолго.

Я разгружал тачку у окопа, когда за спиной раздалась ругань. Гуго был мастер ругаться. Я с ужасом оглянулся. Да, Олафсон! Он лежал у своей тачки метрах в десяти от меня.

«Нога подвернулась, обершарфюрер», — пробормотал он и попытался встать.

Но при этом смотрел не на Гуго, а на меня. Он смотрел, широко раскрыв глаза. Взгляд был длинный, приказывающий. И я понял этот взгляд:

«Не подходи! Живи! Дождись! Ты обещал!»

Меня опередили. Кто-то подбежал к Олафсону, стал его поднимать.

«Отойди!» — сказал Кривой Гуго.

Человек выпрямился. Я едва узнал его, так искажено было лицо. То был один из наших соседей по блоку. Мы звали его придирой. Он вечно ссорился со всеми, а особенно придирался к Олафсону — выискивал всякие несообразности в его историях.

Сейчас от злобы придиру трясло, как на сквозном ветру.

Держа Олафсона под мышки, он обернулся к Гуго:

«Ты, проклятый циклоп, ты...»

Очередь из автомата! Он повалился на Олафсона.

Так они и легли рядом, обнявшись, будто никогда не ссорились при жизни...

Долгое молчание. Нэйл неотрывно смотрел на море. Оно было притихшее, серое, штилевое. Над водой, медленно оседая, расстилался дым.

Шубин понял, какая могила была у старого лоцмана. Да, она просторна, эта могила! «И ветры, дующие ото всех румбов, развеяли его прах над морем...»

К концу Нэйл, видимо, очень устал. Он все чаще запинался, делал передышки. Речь его становилась бессвязной.

— Он не договорил про светящуюся дорожку, — напомнил Шурка, нетерпеливо переводя взгляд с Нэйла на своего командира.

— Да, да! — спохватился Шубин. — Самое главное! Ведь он тоже видел эту светящуюся дорожку!

Он повернулся к Нэйлу. Но тот с извиняющейся улыбкой покачал головой. Нет, больше не мог. Выдохся! Он никогда столько не рассказывал. И потом, день был очень трудный. Люди устают не только от горя, но и от радости. Может быть, вечером, после того как немного отдохнет... Ему нужно отдохнуть. Русские моряки найдут его в одном из уцелевших барачков.

— Ну, что вы! — сказал Шубин, вспомнив о флотском гостеприимстве. — Вечером милости просим на катера! Угостим вас ужином. Тогда и доскажете о «Летучем Голландце». Наша стоянка вон там,

у причалов! Спросите Шубина. Это я.

Дронин и Степаков принялись совать табак в карманы полосатой куртки.

— Так не подведете? — спросил Шубин. — Смотрите же! Мы будем вас ждать. У нас найдется что рассказать друг другу, — многозначительно добавил он.

## 5. Камни Ристна

Однако морякам не пришлось блеснуть прославленным флотским гостеприимством. Ужин не состоялся.

Под вечер Шубин был вызван к начальству, которое перебазировалось в Ригулди вслед за катерами.

— Придется поработать этой ночью, — сказал контр-адмирал, подводя Шубина к карте и косясь на его непривычно хмурое лицо. — Хотел было дать твоим людям передохнуть, но не выйдет. Куй железо, пока горячо! Правильно?

— Правильно, — рассеянно согласился Шубин, наклонясь над картой; мыслями он был еще в сонном бараке, где Олафсон под храп товарищей рассказывал Нэйлу о «Летучем Голландце». — А чего ковать-то? Железо где?

— Вот оно! Далековато, правда.

В районе Вентспилса, чуть отступая от курляндского берега, Шубин увидел иероглиф, которым обозначают на картах притопленный корабль.

— Учти: притопленный, а не потопленный! Для нас это важно.

— А что за корабль?

— Немецкий транспорт. Шел на Саарема или на Хиума. Был перехвачен нашими бомбардировщиками. Там мелководье, он и сел на грунт. Сегодня летчик летал, проверял. Людей как будто нет.

— Долго не продержится. У курляндского берега сильный накат.

— А долго и не надо. Два-три дня пробудут разведчики, и хватит с нас.

— Разведчики?

— Ну, корректировщики. Назови как хочешь.

Шубин с внезапно обострившимся интересом всмотрелся в карту.

Между Ригулди и районом Вентспилса — Моонзундский архипелаг, острова Хиума, Муху, Саарема, которые запирают вход в Рижский залив. Фашистское командование продолжало подбрасывать сюда боезапас и подкрепления — морем, вдоль берега.



Живому воображению Шубина представилась очень длинная мускулистая рука, протянувшаяся от Кенигсберга. Ударить по ней несколько раз — сразу бы ослабла ее мертвая, вернее, предсмертная хватка, разжались бы пальцы, заочневшие на архипелаге!

Да, притопленный корабль очень кстати.

Сбоку от ярких штабных ламп падает на карту круг света. Шубин видит лишь то, что в этом круге: белое пятно мелководья севернее Вентспилса и условный значок, который похож на схематический рисунок тонущего корабля. Все остальное в тени.

Туда, в тень, отодвинулись и мысли об Олафсоне. Шубин был дисциплинирован, умел целиком переключаться на решение новой важной задачи, временно отстраняя то, что не шло к делу.

Испросив разрешения, он задумчиво пошагал циркулем по карте.

— Расстояние смущает? — спросил адмирал.

— Да нет, ничто меня не смущает.

Впрочем, на правах любимца флота Шубин не преминул немного пококетничать, пожаловаться на трудности своей военно-морской профессии.

— У авиации, понятно, сказочная жизнь, — пробормотал он. — Один подскок — и там! Напрямик, через Рижский залив! А мне топать в обход, во-он какого кругаля давать!

Адмирал, знавший причуды Шубина, усмехнулся:

— Значит, авиацию советуешь?

— Ну что вы, товарищ адмирал! Летчики напортят. Они же у вас к удобствам привыкли. Им громадную акваторию подавай! Будут подгрести к транспорту, еще свою гидру разобьют. А я бортик к бортику, без порчи государственного имущества! Сравнили: катер или гидросамолет!

— Ты побольше горючего захвати. Мешки Бутакова есть у тебя?

— Как не быть!

— Двумя катерами пойдешь?

— Да уж, разрешите только двумя. Шуму меньше.

Прощаясь, адмирал задержал в своей руке руку Шубина:

— Вот ты и повеселел! А то вроде хмурый был, когда пришел. Или мне показалось?

Шубин торжественно продекламировал:

Но лишь божественный глагол  
До слуха чуткого коснется,  
Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел.

— Это чей же глагол — божественный? Мой, что ли?

— Так точно, ваш, товарищ адмирал!

— Ну, иди уж... вострепенувшийся!

Шубин еще раз мельком взглянул на карту. Пучок света падал на нее, будто лучи луны, выглянувшей из-за туч.

И на небе положено быть луне в эту ночь. Только Шубину идти в операцию, как луна тут как тут!

Сказано же: спутник Земли! Так нет, надо еще к военным морякам в спутницы набиваться!..

Но, выйдя из штаба, Шубин с облегчением перевел дух.

Тучи! Во все небо! Это, однако, повезло.

Во время поспешных сборов Шубин вспомнил о Нэйле и послал предупредить его о том, что ужин переносится на завтра.

Завтра! Успеют ли обернуться к завтраму катера? Впервые Шубин уходил так далеко от базы. А если шторм прихватит в пути? Куда деваться, где отстаиваться?

Но пока некогда об этом! Прихватит — тогда и раскинем мозгами!

Шубин взял с собой запас горючего в нескольких резиновых мешках. Шел, как всегда, на старом своем катере, которым командовал Павлов. Разведчиков было двое. Их — и рацию — устроили между желобами для торпед. Для глубинных бомб места не хватило. Но Князев, неизменно сопутствовавший командиру отряда, имел у себя на борту и горючее и бомбы.

Выйдя в море, Шубин «воспринимал» его вначале ногами — как пешеход тропу во мраке.

Ага! Выбрались наконец из залива! Волна стала длиннее, размахи ее резче.

Когда глаза освоились с темнотой, моряки увидели, что ночное море светлее неба. И граница между ними различалась впереди, хотя не очень четко. Двигаясь к юго-западной части горизонта, торпедные катера будто проваливались в огромную щель или углублялись в пещеру.

Но страха Шубин не ощущал. Он был неразрывно связан с наступающей громадой флота, с его сторожевыми кораблями, эсминцами, крейсерами, линкорами, с его стремительной морской авиацией и

беззаветно храброй морской пехотой. Балтика за спиной Шубина грозно поднималась, готовая к броску.

А впереди флота, как всегда, двигались два маленьких, затерянных в ночи шубинских катера!

Он не услышал выстрелов за оглушающим ревом своих моторов. Только увидел разноцветную, очень красивую струю, которая дугообразно падала с неба. Похоже, боженька сдуру начал поливать море из лейки! Но то был не боженька, а вражеский самолет! Ночью пена светится. А катер яростно пенит воду на ходу. Светится бурун за кормой. Светятся «усы», которые тянутся за форштевнем. Говорят, сверху это выглядит так, будто по морю летит маленькое светящееся копьё.

Шубин приказал Павлову застопорить ход. То же сделал и Князев. Светящийся след на воде пропал.

В наступившей тишине стало явственно слышно жужжание гигантского бурава. С каждым витком он ближе и ближе ввинчивался во тьму.

Катера дали ход, немного проскочили вперед, остановились.

Самолет по-прежнему кружил где-то очень близко.

— Сбей-ка гада у меня с хвоста! — приказал Шубин Князеву. — Шумни, осветись — и уведи за собой! Встретимся в двадцати милях к весту от Ристна.

Князев сказал: «Есть!» — расторопно включил свет в рубке и выключил глушители. Потом на полной скорости, весь в пенном ореоле, описал циркуляцию и понесся в открытое море. Дуга трассирующих пуль стала быстро перемещаться за ним.

Опасная игра, но иначе нельзя! На катере Павлова — разведчики, их надо сберечь любой ценой, доставить в целости и сохранности на притоленный транспорт!

Тревогу о Князеве, которого пришлось поставить под удар, Шубин отодвинул куда-то в самый дальний уголок души. И без того хлопот полон рот!

Павлов доложил, что поврежден гирокомпас. Лопнула трубка вакуума, — вероятно, при резком сбрасывании хода. Теперь катер шел на одном магнитном компасе.

Затем в игру — на стороне противника — включилась луна. Раздвинув тяжелые занавеси туч, она просунула между ними свое круглое улыбающееся лицо.

— Заждались вас! — сердито пробормотал Шубин. — Скучать было стали! — И бросил Павлову: — Сильно вправо не бери!

Сейчас было безопаснее идти под берегом, прячась в его тени.

Слева Шубин угадывал пологие дюны, вразброс натыканные сосны. При лунном свете — не пейзаж, схема пейзажа, как на детских неумелых рисунках. И все только в карандаше: черным по белому. А штрихи прямые, угловатые, очень резкие.

Не хотел бы он очутиться на этом колючем, вражеском берегу!

Потом слева по борту опять засияла водная пелена.

Ирбенский пролив!

Миновав его, Шубин нетерпеливо приник к биноклю.

Спустя положенное время прорезались впереди мачты, а за ними и весь силуэт притопленного корабля — в необычном ракурсе, будто усеченный.

Подойдя ближе, моряки увидели, что корабль дал сильный крен. Над водой наклонно торчали мачты, нос и надпалубные надстройки. Все остальное ушло под воду. Волны с шипением перекатывались через корму.

— Концы и кранцы — на левый борт!

Шубин подал команду вполголоса. Нервы были натянуты до предела. Ждал: сейчас по ним ударит выстрел или просто оклик.

Но черная глыба, нависшая над катером, осталась безмолвной.

Первыми на транспорт взобрались разведчики, за ними — Шубин, Шурка и Фаддеичев, держа автоматы наготове.

Крен корабля был градусов двадцать пять. По палубе двигались с осторожностью, как по косогору, то и дело хватаясь за леера.

Пройдя несколько шагов, один из разведчиков поднял руку. Все остановились, пригнувшись.

— Донка работает, нет?

Шубин прислушался:

— Днище о камни бьет!

Да, сомнений нет! Корабль брошен людьми. Второй разведчик оглянулся на вяло повисшее полотнище флага, перечеркнутое свастикой.

— Убрать бы эти лохмушки, а?

— Э, нет! — отозвался Шубин. — Тут ничего нельзя менять. Транспорт просматривается с берега. И корабли ходят мимо. Чем тебе флаг помешал? Фашисты сами на себе поставили крест.

Шубин посоветовал разведчикам обосноваться в трюме, в той его части, которая не была затоплена.

— Надежнее всего! Днем будете наблюдать в иллюминатор, ночью

прогуливаться по палубе. Сыровато, конечно! Так не к теще же на блины приехали.

Разведчики с помощью Шурки принялись тянуть на палубу антенну. А боцман занялся осмотром трюма. Как старый фронтовик, он обладал особым нюхом на съестное.

Через несколько минут он с торжеством принес и поставил перед Шубиным вскрытый ящик с консервами:

— Компот, товарищ гвардии капитан-лейтенант!

— Ишь ты! — Шубин присветил фонариком. — А ведь тут их полно, ящичков этих. Товарищи разведчики! Блинов у вас, правда, не будет, зато компотом обеспечены, сидите в трюме хоть до конца войны!

— Может, и другие консервы есть? — предположил боцман.

— Тебе полное меню подай. Как в ресторане. Эй, побыстреей прошу, товарищи новоселы! Счетчик-то тикает на такси. Мне до света надо мимо островов проскочить. Иначе будет нам всем компот!

И вдруг с палубы раздался протяжный крик.

Самолет?

Шубин в два прыжка очутился наверху. Но опасность появилась не с воздуха. Павлов показывал в сторону моря.

Вдали Шубин увидел что-то темное, очень длинное.

Подводная лодка?

Наяву повторялся его кошмар! С томительной последовательностью поднималась из воды боевая рубка, потом всплыл узкий утюгообразный корпус. Вода расступилась без пены, без всплесков.

Ветер стих. Вокруг штилевое море. На светлой полосе лежала подводная лодка, очень одинокая.

Есть ли на ее палубе орудие? Нет! Только спаренные пулеметы, два коротких ствола, поднятых под углом! Сейчас, когда подводная лодка немного развернулась, это очень ясно видно.

И боевая рубка необычайно высока! Длинная прямая тень от нее падает на воду. На одной-единственной подводной лодке видел Шубин подобную рубку.

Все приметы налицо!

Будто материализуясь на глазах, уплотняя взвешенную в воздухе влагу и зыбкий лунный свет, возник перед Шубиным «Летучий Голландец» — весь из бликов и теней!..

Мгновенный военный рефлекс — атаковать! Кинуться на врага и забросать глубинными бомбами!

— Заводи моторы!

Шубин кубарем скатился на палубу катера. За ним, грохоча автоматами, Фаддеичев и Шурка. Палуба затряслась под ногами. Павлов был наготове, мотористы быстро запустили один из моторов. Второй завелся на ходу.

Транспорт словно бы прыгнул назад, к берегу. Секунду видны были фигурки разведчиков у мачты. Потом на крутом развороте притопленный корабль закрыло буруном, поднявшимся за кормой.

Но пока катер стоял, приткнувшись к борту транспорта, то сливался с ним. Едва лишь отскочил, как сразу перестал быть невидимкой.

На подводной лодке заметили атакующий торпедный катер. Рубка начала уменьшаться. По обыкновению, не принимая боя, «Летучий Голландец» шел на погружение.

Глубинками бы его! Но глубинных бомб нет. Они у Князева. А Князев далеко, — если уцелел!

— Товсь! Залп!

Шубин выпустил торпеду в погружившуюся подводную лодку.

Море продолжало наплывать с норда сплошной слитной массой, равнодушно отсвечивая при луне. Оно даже не поморщилось...

Тут только вспомнил Шубин, что торпеды были «изготовлены на крупного зверя», то есть на транспорт, — поставлены на глубину хода три метра.

Эх! Поспешил! Надо было увеличить глубину не меньше чем на шесть метров. Ведь окаянная подводная лодка уже скрылась под водой.

Катер лег на курс к базе.

Павлов смотрел только вперед, часто сверяясь с компасом.

Шубин передал командование катером Павлову и молча стоял рядом, подняв воротник.

Помнится, Готлиб, а может, Рудольф, заявил в кают-компани, что «Летучий» умеет по желанию превращаться в транспорт. «Но, понятно, затонувший», — было оговорено.

Как это понимать?

В данном случае скорее уж транспорт превратился в подводную лодку.

Но к чему ей шнырять вокруг транспорта? Охраняла консервы с компотом? Вряд ли. Были у нее поручения поважнее, судя по рассказу Нэйла.

Луна неслась вдогонку за катером, прорываясь сквозь тучи. Темнело, светлело, опять темнело. Так поезд, приближаясь к Севастополю, быстро

проскакивает один туннель за другим...

Вдруг — резкий толчок! Ткнулись в гору?

Павлов не успел взять на себя ручки машинного телеграфа. Раздался омерзительный скрежет — днище катера ползло по камню!

Потом скрежет перешел в вой и свист — злорадно подсакивающие звуки «Ауфвидерзеена». Подлый мотив! Догнал-таки наконец!

Шубин машинально провел рукой по лбу. Ладонь стала мокрой, липкой. Расшиб лоб о щиток!

Рядом стонал Павлов. Наверно, ударился грудью в штурвал. Шубин помог ему встать. Потом заглянул в люк:

— Живы?

— Расшиблись малость! А что это было?

— Сидим на камнях!

— Клинья, чопы, паклю, товарищ командир?

— Действуй!

Но пробоин было слишком много. Вода заливала таранный и моторный отсеки.

Почему же катер еще держится?

Оказалось, что он держится не на воде, а на камнях.

Шубин перегнулся через борт. Фонтанчики пены били в лицо. Все же удалось разглядеть, что катер как бы провис между двумя камнями, сильно при этом накренысь.

И опять мотив «Ауфвидерзеен» надоедливо застучал в мозгу. Шубин увидел косо висящую картину в кают-компании «Летучего Голландца». Словно бы по волшебству перенесся внутрь рамки. «Летучий Голландец» поманил за собой, завертел-закружил и вывел... Но куда же он вывел? На картине камней нет. Видна лишь зеленая вода и завихрения пены. Камни — вне рамки, ниже правого ее угла...

— Пластырь заводить? — вздрагивающий голос Дронина.

Интонация тревоги в голосе моториста встряхнула и отрезвила Шубина. Он преодолел минутную слабость. От него ждут решения! Судьба катера и команды зависит от его решения! И он снова ощутил себя рассудительным, собранным, хладнокровным, как и положено командиру перед лицом опасности.

— Все лишнее — за борт!

Катер надо облегчить, чтобы легче было снимать с камней.

В воду тяжело плюхнулась торпеда. Туда же отправился пулемет, сорванный с турели.

Боцман только кряхтел и охал, расставаясь с катерным добром.

— Ящички-то хоть оставьте, товарищ командир!

— Какие ящички?

— Да парочку с транспорта прихватил. Компот.

— За борт!

Павлов с трудом перевел дыхание, откашлялся.

— Но где наше место? — растерянно пробормотал он. — Ведь я шел по компасу. Берег должен быть в пяти милях.

— Вот это совершенно правильный твой вопрос, — сказал Шубин подчеркнуто спокойно, даже с отяжечкой. — Давай-ка, друг, искать наше место!

Он включил лампочку под козырьком рубки и осветил карту.

Но в карте не было нужды. Моряк умеет мыслить картографически, подобно математику, который с легкостью ворочает в уме глыбы многозначных чисел. Мысленно Шубин промчался вдаль Моонзундского архипелага, проверяя по пути все опасности: банки, мели, оголяющиеся камни.

Моторы были заглушены. В наступившей тишине ухо стало различать плеск воды. Он выделялся на каком-то мерном рокочущем гуле. Прибой? Похоже, но не прибой.

Восточную часть неба, по-видимому не очень далеко, прочертило несколько ракет. Наметанный глаз Шубина успел разглядеть справа две башни, на небольшом расстоянии друг от друга. Маяки! Фонари на них, понятно, погашены. В военное время маяки работают только по указанию.

Шубин узнал их и присвистнул. Лишь в одном месте на побережье маяки отстоят так близко друг от друга.

— Вот оно, твое место! — Он сердито ткнул пальцем в карту. — Смотри, куда привез!

— Ристна?! — Павлов лихорадочно зашуршал картой. — Не может быть! Ведь это расхождение с курсом на двадцать три градуса!

Шубин промолчал. Он напряженно вглядывался в темный, безмолвный берег.

Может, не может... Однако это был факт. Торпедный катер по непонятным причинам отклонился от правильного курса и ткнулся с разгона в прибрежные камни мыса Ристна, крайней западной оконечности острова Хиума.

На Хиума — сильный немецкий гарнизон. Это еще больше осложняло положение.



Рация, по счастью, была не повреждена. Чачко отстучал на базу о случившемся. Затем сравнительно быстро удалось разыскать в эфире князевского радиста.

Князев, «поводив» за собой вражеский самолет, «сбросил наконец гада с хвоста» и теперь ожидал в двадцати милях от Ристна в указанной точке randevу.

Шубин приказал ему немедленно идти к Ристна.

— Поторопиться не мешает, — проворчал Дронин. — Грубо говоря, тоном, товарищ командир.

— А ты грубо не говори! Знаешь ведь: не люблю грубости!

Кто-то нервно засмеялся.

Матросы непрерывно вычерпывали воду. В днище и в бортах было несколько пробоин. Да, пластырь поможет, как мертвому припарки! Таранный и моторный отсеки наполняются водой. Скоро она начнет переплескивать через борт.

Нечто сходное произошло этой весной в шхерах. Однако там сразу же подвернулся безлюдный лесистый островок. А здесь под боком — Хиума, где немцев полным-полно.

С берега, однако, не стреляли. Шубин не понимал этого. Наблюдательные посты не могли не засесть катер. По всем правилам, на него должен был сразу же обрушиться шквал артиллерийского и пулеметного огня.

Но, конечно, в данном случае не Шубину было учить фашистов правилам.

Вся надежда на Князева. Но ему до Ристна «топать» не менее получаса. Дронин прав. Запросто можно потонуть, не дождавшись помощи.

Шубин нетерпеливо огляделся.

Опасность всегда делала его энергичнее, инициативнее, собраннее, главное — собраннее! По-прежнему стучал в мозг надоедливый мотив, но Шубин не обращал на него внимания. Весь сосредоточился на решении задачи: как в этих необычайно трудных условиях спасти катер и команду?

«Летучий» тоже сидел на камнях — в шхерах. И посадил его туда не кто иной, как он, Шубин. Но тогда буксиры были рядом. Они тотчас же сволокли «Летучего» с камней.

Да, пожалуй, он отквитался за шубинскую хитрую каверзу. Уплатил свой долг полностью и почти той же монетой.

Теперь-то ему хорошо! Гуляет себе по морю взад и вперед. Набрал воды в балластные систерны — нырнул! Продул сжатым воздухом — вынырнул!

Шубину бы так! Но нет у него, к сожалению, систерн.

Хотя...

Почему бы не приделать к катеру систерны? Шубин засмеялся. Павлов и Фаддеичев с удивлением смотрели на него.

— Есть мысль! Катер в подводную лодку превратим!

Матросы в ужасе переглянулись. В уме ли их командир? Не помешался ли от переживаний? Катер — в подводную лодку?!

— Временно, товарищи, временно! — успокоительно сказал Шубин. — Чтобы остаться на плаву, дожждаться Князева. Боцман! Мешки Бутакова сюда! Баллон со сжатым воздухом цел? Да поворачивайся ты! Тонем же!

Два резиновых мешка были уже пусты. Запасное горючее из третьего вылили (все равно ползти на буксире).

Один мешок с поспешностью затолкали в таранный отсек, присоединили к нему шланг от баллона со сжатым воздухом, открыли вентиль.

Воздух, наполняя мешок, стал раздувать его, а тот, в свою очередь, постепенно вытеснял воду из отсека. Да, систерна! Нечто вроде кустарной, самодельной систерны!

Когда первый мешок раздулся до отказа, два других пустых мешка закрепили по обоим бортам ниже ватерлинии и тоже наполнили воздухом из баллона.

И произошло чудо!

— Ура, — шепотом сказали рядом с Шубиным. Это был юнга. Опустив бесполезный черпак, он заворожено следил за тем, как выравнивается катер, медленно-медленно поднимаясь над водой.

Вот каков он, удивительный Шуркин командир! Словно бы вцепился могучей рукой в свой тонущий катер и наперекор стихиям удержал на плаву!..

Впрочем, это было неточно: на плаву. Катер по-прежнему сидел в ловушке, между двух камней, но, выровняв его, Шубин предотвратил дальнейшее разрушение. Сейчас расторопный боцман мог завести под днище брезентовую заплату — пластырь и заделать пробоины, то есть сделать то, что делают в подобных аварийных случаях.

Шубин выпрямился. Он с удивлением отметил, что «Ауфвидерзеен» исчез. Победа вытеснила навязчивые мысли из мозга, как сжатый воздух воду из отсеков!

А через несколько минут со стороны моря «подгрёб» Князев. Он приблизился и подал буксирный конец.

Когда катер удалось стащить с камней и взять на буксир, оказалось, что валы погнуты, винты поломаны, кронштейны отлетели.

Шубин приказал команде перейти на катер Князева. На поврежденном катере остались только трое: он сам, Павлов и боцман.

Хорошо еще, что волна была небольшая.

Катер, низко сидящий, лишенный хода, мотало из стороны в сторону. Шубин стоял у штурвала. Плечи ныли, с такой силой он сжимал штурвал. Старый катер, на котором воевал с начала войны, сделался как бы продолжением его тела. Он мучительно ощущал каждый толчок на волне.

Шансов довести катер до базы было мало, Шубин понимал это. Но упрямая вера в счастье, инстинкт победы вели и поддерживали его.

Катер прыгал на волнах. Небо было полосатым от туч. Казалось, оно вздувается и опадает, как тент над головой.

Потом тент стал постепенно белеть. Ночь кончилась.

Утром моряки увидели наш самолет, летевший навстречу. На бреющем он пронесся над катерами, ободряюще качнул крыльями, улетел, вернулся.

Князев и Шубин плыли следом, будто привязанные к нему серебряной волшебной нитью.

Так обычно авиация наводит катера на цель. Сейчас летчик показывал, что нужно держаться ближе к берегу. Правильно! Там меньше качает. Но берег-то ведь вражеский!

Ничего не понимая, Князев и Шубин плыли мимо Хиума, дивясь тому, что их не обстреливают. Заколдованы они, что ли?

Только дома моряки узнали, что ночью на Хиума был высажен десант. Бои шли на восточном берегу. Катер Павлова потерпел аварию на западном. («Шеи немцев были повернуты в другую сторону», — так прокомментировал Шубин это обстоятельство.)

После полуночи немцы стремительно покатались на юг, спеша переправиться с Хиума на Саарема. К утру на острове не осталось ни одной рыбацкой лодки.

До Шубина ли было немцам?

— И еще споришь: не везет! — говорили Шубину товарищи. — В кои веки кораблекрушение потерпел, и то повезло: аккурат к наступательной операции подгадал!

— А это уж нам всем повезло, — с достоинством отвечал Шубин. — Осенью тысяча девятьсот сорок четвертого года наступательная операция на Балтике не случай, а закономерное явление! При чем же тут ваше «везет — не везет»?..

## 6. Клеймо «СКФ»

Первые несколько часов после возвращения шубинцы ходили в героях.

Шурка, по обыкновению, разглагольствовал среди своих взрослых «корешей», матросов с других катеров:

— Потом стало на волнишке бить, потряхивать. Думаем: как бы не пропал наш командир! Гвардии старший лейтенант Князев говорит: «Я подойду к вам, товарищ командир! Надо вас снимать!» — «Подожди! — отвечает гвардии капитан-лейтенант. — Нельзя свой катер бросать в воде! Справимся! Выгребем!» И выгреб! Шубин же!

А боцман горевал о трофейных консервах, которые пришлось выбросить за борт:

— Вскрыть даже ящики не успел. Так и не знаю, что это за консервы. А пригодились бы! Иностранного моряка будем ужином угощать.

Но к вечеру в дивизионе стало известно, что адмирал сурово разговаривал с Шубиным.

Начальство рассудило правильно: «Кому много дано, с того много и спросится». Шубину было много дано — от таланта до орденов. И спрошено было поэтому полной мерой!

«За спасение людей и катера — спасибо! — будто бы сказал адмирал. — Но аварию тебе, Шубин, простить нельзя! Завтра в десять представишь объяснение причин аварии. Не сумеешь объяснить, отрешу тебя и Павлова от должности и отдам под суд военного трибунала!»

Запасшись папиросами, Шубин и Павлов заперлись в комнате. Дом, куда их поставили на квартиру, находился на окраине рыбацкого поселка, недалеко от гавани.

Через час или полтора в комнате было уже полутемно от табачного дыма. Как сквозь дымовую завесу, прорывались моряки к цели — к разгадке аварии у западного берега Хиума.

Конечно, не так трудно было промямлить какую-нибудь общепринятую формулу покаяния. Начальники, вообще говоря, жалостливы к кающимся.

Но Шубину это как раз было трудно. По-честному, он не мог бы так.

Слишком сильна была его вера в себя, чтобы поступиться ею без борьбы. И эту веру он, как правило, переносил на своих подчиненных. Павлов был надежен, так считал Шубин.

Это не значит, однако, что Шубин не был требователен по службе. Наоборот! Но требовательность и недоверчивость — вещи разные.

Шубин не уставал повторять своим офицерам, что на войне — да и вообще в жизни — очень важна инерция удачи, иначе говоря, неустанно вырабатываемая привычка к счастью. Нельзя допускать необоснованных сомнений в себе, колебаний, самокопаний.

Горький сказал: «Талант — это вера в себя, в свои силы!» Но почему горьковские слова применимы лишь к писателям, а не ко всем людям, к представителям различных профессий, в том числе и военно-морской?

Лет шесть или семь назад учебный корабль, на котором проходили практику курсанты третьего курса, втягивался в устье Северной Двины. Шубин выполнял обязанности вахтенного командира. Рядом, на мостике, стоял профессор Грибов, который был начальником практики.

В данном случае, вероятно, уместно было бы вызвать с берега лоцмана. Но Грибов не сделал этого.

Он приказал передать семафором: «Прошу разрешения лоцмана не брать. На мостике — практикант. Не хочу портить характер будущего офицера!»

И Шубин навсегда запомнил это...

Он отмахнул рукой плававшие над столом клубы дыма, заглянул в лицо Павлову:

— Ну-ну! Не будем падать духом. Будем трезво рассуждать. Если не мы с тобой виноваты, то кто же тогда виноват? Компас?

Да, выбор невелик: либо командир катера, либо компас.

— Кстати, вспомни, мы шли на одном магнитном! Гироскоп был из строя еще на подходе к притопленному кораблю.

Павлов угнетенно кивнул.

Итак, на подозрении магнитный компас!

Шубину представилось, как Грибов в задумчивости расхаживает взад и вперед у своего столика в аудитории.

«Разберем, — начинает он, — случай с бывшим курсантом нашего училища Шубиным. Будем последовательно исключать одно решение за другим...»

Далее Грибов сказал бы, наверное, о пейзаже.

«На войне, — учил он, — пейзаж перестает существовать сам по себе. Все, что совершается в природе, может влиять на ход событий и должно обязательно приниматься в расчет навигатором».

Но что совершалось в природе перед аварией? Море было штилевое. Из-за туч проглядывала луна.

Если бы компас соврал где-нибудь на Баренцевом море, полагалось бы учесть в догадках северное сияние.

С давних времен сохранилась поморская примета: «Матка (компас) дурит на пазорях», то есть при северном сиянии. Ведь сполохи на небе подобны зарницам: те возвещают о грозе, эти — о магнитной буре. Порыв магнитной бури, бушующей в высоких слоях атмосферы, невидимое «дуновение» может коснуться стрелки магнитного компаса и отклонить ее, а вслед за нею и корабль от правильного курса.

Но авария произошла не на Баренцевом, а на Балтийском море. Здесь северные сияния редки.

Так что же повлияло на компас?

Робкий стук в окно.

— Кто?

— Боцман беспокоит, товарищ гвардии капитан-лейтенант! Ужинать будете с товарищем гвардии лейтенантом?

— Хочешь есть, Павлов? Нет? И я нет. Спасибо, Фаддеичев, не надо ничего!

— Как же так: и обедали плохо, и ужинать не будете?..

Долгий соболезнующий вздох.

— Англичанину передать, чтобы завтра пришел?

— Да! Завтра. Все завтра!

Слышно, как боцман топчется под окном. Потом тяжелые шаги медленно удаляются.

Через полчаса опять стук, на этот раз в дверь.

— Кто там еще?

— Откройте! Я.

Князев перешагнул через порог и остановился:

— Ух! Накурили как! Что же без света сидите? Вечер на дворе!

Павлов встал и зажег керосиновую лампу под старомодным четырехугольным колпаком. Полосы дыма медленно поползли мимо лампы к открытой форточке.

— Не надумали еще?

— Кружим пока, — неохотно ответил Шубин. — Ходим вокруг да около.

— Вокруг чего?

— Да компаса магнитного. Вокруг чего же еще?

— Ага! Ведь вы при одном магнитном остались. Гирокомпас-то растрясло?

— Вышел из строя, пока нас самолет гонял. То и дело стопорили ход.

Пауза.

— Не сдвинули ли мягкое железо?

— На выходе я определял поправку. Компас был исправен.

— Может, в карманах было что-нибудь, что могло повлиять на девиацию: нож, ключи, цепочка?

Мысленно Шубин и Павлов порылись в карманах. Нет, металлического во время похода не было ничего.

Шубин невесело усмехнулся:

— Вспомнил шутку профессора Грибова, единственную, которую слышал от него за четыре года обучения: «Без опаски можно подходить к компасу только в одном-единственном случае — обладая медным лбом. Медь не намагничивается».

— Слушай! — Князев быстро повернулся к Павлову. — А не взял ли ты случаев какой-нибудь металлический трофей?

Шубин насторожился:

— Что имеешь в виду?

Почему-то вообразилась ракетница. Мог же Павлов взять на транспорте что-нибудь на память. Ну, скажем, ракетницу. Потом по рассеянности положил ее рядом с магнитным компасом и...

— Какие там ракетницы, что вы! — Павлов обиженно отвернулся. — Совсем меня за мальчика считаете.

— Да, металлического не взяли ничего, — подтвердил Шубин. — Боцман лишь немного компота прихватил. Но ведь компот не влияет на девиацию.

Никто не улыбнулся его шутке.

— Минные поля! — торжественно изрек Князев. — Компасы врут на минных полях.

— Но их не было на пути. В Ригулди остались карты минных постановок. Я смотрел.

Павлов выдвинулся вперед и с ходу понес чепуху. Он забормотал что-то о секретном магнитном оружии.

Князев только вздохнул. Но Шубин слушал, не прерывая. Пламя в лампе мигало и подпрыгивало. По стенам раскачивались длинные тени, похожие на косматые водоросли.

— Не меняют ли немцы, — говорил Павлов, — магнитное поле у берега? Не уводят ли корабль с помощью какой-то магнитной ловушки на прибрежные камни?

— Гм! — сказал Князев.

— Нет, вы вдумайтесь! Немцы знали о предстоящем отступлении. Вот

и спрятали у берега нечто вроде магнитного спрута. Условно называю его спрутом. Но, возможно, у него были такие щупальца, особые антенны, что ли. Когда корабли проходили мимо, то попадали в зону его действия...

Павлов поднял глаза на своих собеседников и осекся. Шубин молчал. Но лицо Князева сморщилось, словно бы он хлебнул какой-то кислятины.

Под утро Павлов и Князев, внезапно онемев, повалились ничком на свои койки. Головоломка со «спрутом» вымотала их сильнее, чем иная торпедная атака.

Шубин еще немного посидел у стола, потом встал и потушил лампу. За окном светало.

До назначенного адмиралом срока осталось каких-нибудь три с половиной часа. А дальше — позор на всю бригаду, снятие с должности и суд!

Но Шубин, стиснув зубы, упрямо поворачивался спиной к этой страшной мысли. Пока нельзя переживать, зря расходовать нервную энергию. Всего себя надо сосредоточить на решении проклятой головоломки!

Павлов и Князев, накрывшись шинелями, оглушительно храпели наперегонки. Расслабляющее тепло стояло в комнате, как вода в сонной заводи.

Шубин открыл окно. Крепким октябрьским холодком пахнуло оттуда. Он поежился и, накинув шинель, присел на стул у окна. Что-то недовольно пробурчал Павлов за спиной, по-детски почмокал губами и натянул шинель на голову.

Аккуратно выметенная улица перед домом еще пуста. Грибов как-то упоминал о том, что по субботам чистюли-эстонки «драят медяшку», то есть чистят ручки дверей, — совсем как на флоте.

Эх, профессора бы сюда! С ним бы поговорить по душам! Он нашел бы чего присоветовать. Порылся бы в своей папке со всякими штурманскими головоломками, поколдовал бы над нею и вытащил что-нибудь такое, что, на удивление, подходило бы к данному случаю.

Шубин представил себе, как профессор раскладывает перед собой на столе портсигар, авторучку, блокнот, еще что-то. Затем снимает пенсне и, короткодохнув на стеклышки, начинает протирать их неторопливыми, округлыми движениями.

Это он делает на каждом экзамене. А Шубин чувствует себя сейчас точь-в-точь как на экзамене.



Странно, однако, видеть Грибова так близко без пенсне. Глаза, оказывается, у него добрые, усталые, в частой сеточке стариковских морщин.

«Не собираюсь выгораживать вас, — ворчливо говорит он. — Не стал бы выгораживать в таких делах родного сына, если бы у меня был сын...»

«Понимаю, Николай Дмитриевич...»

«Подождите, я не кончил! Конечно, причина вне вас! („Как странно, — удивляется Шубин. — Почти то же и в тех же выражениях я давеча говорил Павлову“.) Продолжайте искать, товарищ Шубин, придирчиво осматриваясь! Вот, например, эти... ящики! Они мне представляются сомнительными».

«И мне, товарищ профессор!»

Но это уже сон. Шубин крепко спит, уронив усталую голову на подоконник.

Голос Грибова настойчиво перебивают два других голоса: азартный, с петушиными нотками — Павлова и размеренно-рассудительный — Князева.

На фоне этого спора идут сны, причудливые, тревожные.

То представляется жадный магнитный спрут, новейшее секретное оружие, ловушка для кораблей, о которой толковал Павлов. То — якорные мины, поставленные у берега Хиума и двусмысленно покачивающие своими круглыми головами на длинных шеях — минрепах. То — корабль-призрак, накренившийся на борт, с обвисшим флагом, на котором скалится череп с перекрещенными костями, похожими на свастику.

И тут же кувыркаются, как дельфины, ящики с консервами. Выглядят на море несуразно, как это часто бывает во сне, и все же многозначительно!

Вдруг четыре эти видения заколыхались, завертелись, слились воедино.

Но Шубину было еще невдомек, что замысловатый гибрид из ящиков, корабля, мин, «спрута» и есть разгадка недавней аварии...

Шубин понял это, когда проснулся. Как открыл глаза и увидел залитую неярким октябрьским солнцем улицу, так и понял! Разгадка пришла к нему на цыпочках, пока он спал.

Консервы! Почему именно консервы должны были находиться в тех ящиках, которые боцман «прихватил» с транспорта? Ведь их даже не вскрыли, так невскрытыми и выбросили за борт!

Кроме того, трудно предположить, что большой транспортный корабль

был загружен одними консервами. Гарнизон на Моонзундском архипелаге нуждался не только в консервах. Он прежде всего нуждался в боезапасе, то есть в снарядах, патронах, гранатах и прочих изделиях из металла. А это существенно меняло дело.

Шубин заорал изо всех сил:

— По-одъем!

Князев и Павлов всполошенно вскинулись. Они глядели на Шубина во все глаза, нашаривая ботинки под койками.

— Ящики? Какие ящики? Их выбросили за борт у Ристна, эти ящики.

— Но до Ристна они с нами были? Верно? Металл, который находился в них, отклонял стрелку нашего компаса!

— Металл? Вы говорите: металл? Какой металл?

— А вот этого не знаю пока. Но буду знать!..

В девять утра Шубин был у адмирала. Тот встретил его неприветливо.

— Подготовили объяснение?

— Никак нет! Прошу отсрочки — до возвращения разведчиков с притопленного транспорта.

И Шубин доложил о своей догадке. Она показалась адмиралу настолько правдоподобной, что он немедленно распорядился дать шифрограмму на транспорт: «Обследовать трюм, уточнить характер груза».

Но когда еще смогут это сделать разведчики! Конечно, не сразу, и только между делом.

Днем они не отлучаются от иллюминатора, ночью попеременно дежурят на палубе. Мимо проходят вражеские конвои. Хорошо бы нажать кнопку стреляющего приспособления или гашетку пулемета! Но приходится орудовать лишь радиоключом, выстукивая вызов на базу.

По этому вызову с площадок срываются в воздух самолеты, а из гавани стремглав выбегают торпедные катера — наперехват вражеских караванов!

Немцы, понятно, слышат чужую рацию, работающую у них под боком. Но запеленговать ее нельзя: едва радисты пристраиваются к волне, как та пропадает, глубже зарывшись в эфир. Нахальный щебет через некоторое время возникает уже на новой волне и снова мгновенно пропадает. Сигнал очень короткий, условный, передача его занимает несколько секунд, не больше. Уловка эта носит название — «передача на убывающей волне».

Да, дел у разведчиков хватает и без особого адмиральского поручения.

Шубин выходил со своим отрядом в торпедные атаки, исправно топил

корабли, в общем, делал то, что должен был делать, но тревога не покидала его. Никогда, пожалуй, не волновался так за высаженных им разведчиков (конечно, исключая случай с Викторией).

Он представлял себе, как прибой все круче кладет транспорт на борт, как волны с шипением переплескивают через палубу. Мало-помалу море довершает разрушение, начатое советскими самолетами. Транспорт дотягивает последние свои дни, может быть, часы.

Не развалилась бы раньше времени эта старая бандура!

Однако немцев вскоре «столкнули» с Саарема, по выражению Шубина. Надобность в пребывании разведчиков на притопленном транспорте отпала. Их сняла наша подводная лодка, которая возвращалась из операции.

Узнав о том, что разведчики вернулись, Шубин и Павлов со всех ног кинулись к адмиралу.

Их приняли немедленно.

У стола адмирала стояли оба разведчика. Они были утомлены, небриты, но с достоинством улыбнулись морякам. На столе, возле письменного прибора, кучей свалены были шарикоподшипники!

Шубин и Павлов оцепенели, уставившись на них.

Были они разного диаметра, чистенькие, блестящие, в аккуратной упаковке из промасленной пергаментной бумаги.

Вот, стало быть, он, опасный металл, который вывел катер на камни!

— Кавардак такой в трюме в этом, — продолжал докладывать разведчик. — Ящик на ящике, и все перемешались. Попадались некоторые и с консервами, но больше с ними, с шарикоподшипниками!

— Может, там еще что было, не знаем, — добавил второй разведчик. — Только небольшая часть трюма осталась незатопленной. Мы уж по колено в воде ходили.

Адмирал обернулся к Шубину:

— Ты почему-то считал: никель. Опаснее никеля!

— А вы с Князевым не верили, что спрут, — укорил Шубина Павлов. — Как же не спрут? Только в пергаментной упаковке. И привередливый! Деревянным брезговал, пропускал мимо, а к металлу сразу присасывался своими невидимыми щупальцами.

— Не просто к металлу! — поправил адмирал. — Только к чувствительной магнитной стрелке!

Шубин кивнул.

Не исключено, что от работы электромоторов шарикоподшипники намагнитились. В ящиках они были уложены рядами, а это имело значение для усиления магнитного поля. Приблизившись к месту своей гибели в

районе банки Подлой, транспорт, можно сказать, представлял собой уже один огромный магнит.

— Цепочка из трех звеньев, товарищ адмирал, — сказал разведчик. — Первое звено — корабль, второе — ящики с шарикоподшипниками, третье — магнитный компас на катере. И это еще не все!

Он подбросил на ладони сверкающий кругляш и быстро повернул его вокруг оси:

— Полюбуйтесь! На нем клеймо!

Три буквы стояли на кольце шарикоподшипника: «СКФ».

Шубин присвистнул:

— «СКФ»! Ого! Это же знаменитая шведская фирма! Шарикоподшипники, выходит, шведские?

— То-то и оно!

— А Швеция гордится тем, что полтора века не воюет.

— Правильно! Люди не воюют. Воюют шарикоподшипники.

— Само собой! Я и забыл про это, — пробормотал Шубин сквозь зубы. — Бизнес не имеет границ.

— Каких границ?

— Я говорю: бизнес не имеет границ, товарищ адмирал! Из-за высоких прибылей Швеция, хоть и нейтральная, помогает Германии против нас.

— Не вся Швеция! Ее капиталисты! А шведские моряки, наоборот, помогают нашим людям. Были побеги из фашистских концлагерей на побережье Балтики. Беглецов, я слышал, прятали в трюмах шведских кораблей.

Шубин промолчал. Глаз не мог отвести от «опасного груза», от двойных стальных обручей, внутри которых сверкали шарики, плотно пригнанные друг к другу.

На этих шариках вертится колесо войны! Не будет их, и останутся, оцепенеют танки, самолеты, вездеходы, амфибии, грузовые и легковые машины. Разладится весь огромный механизм истребления людей.

Теперь понятно, почему подводная лодка кружила подле притопленного транспорта. Она охраняла тайну трех букв: «СКФ»!

А быть может, изыскивались способы как-то выручить, спасти ценный груз. Он, вероятно, направлялся не только для гарнизона Хиума и Саарема, но предназначался также и мощной курляндской группировке.

Что-то, однако, помешало спасти груз. Вернее всего, не хватило времени. С разгрузкой транспорта не успели обернуться, потому что Советская Армия и Флот наступали слишком быстро.

«А возможно, это я спугнул подводную лодку, — подумал Шубин. Такая мысль была ему приятна, льстила его самолюбию. — Поединок не состоялся, но все же я спугнул ее!..»

Во всяком случае, «Летучий Голландец», как всегда, был там, где совершался торг за спиной воюющих, где затевалась очередная подлость, которая должна была продлить войну, а значит, и унести десятки, сотни тысяч человеческих жизней.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### 1. Один из гвоздей

Кампания 1944 года закончилась для Шубина на подступах к Павлово в полуторасти милях от Кенигсберга. Отряд торпедных катеров был отведен в Ленинград, на зимний перестой. И слово-то до чего унылое: перестой!..

Вынужденное бездействие плохо отражалось на Шубине. Он делался неуравновешенным, раздражительным, даже капризным — как ребенок, которого оторвали от игр и уткнули лицом в угол.

В довершение всего они разминулись с Нэйлом!

Когда Шубин наконец вспомнил об английском моряке, его уже не было в Ригулди. Оказалось, что наиболее ослабленную группу бывших военнопленных — и Нэйла среди них — спешно эвакуировали в тыл.

Куда? Адрес, адрес! Какой город, госпиталь? Этого эвакуаторы не знали.

Но что же произошло на реке Арамаке, Аматаке, Акатаре, — словом, на одном из трехсот притоков Амазонки? Что это за светящаяся дорожка, о которой упоминал Нэйл? При каких обстоятельствах встретился он с «Летучим Голландцем»? Какой груз охраняла подводная лодка?

Молчание...

С беспокойством и состраданием поглядывала Виктория на непривычно угрюмого Шубина. Она сказала однажды:

— Будто бы читал книгу и тебя прервали на самом интересном месте, верно? Отозвали по неотложному делу. Потом вернулся, а книгу кто-то унес...

Зато «Ауфвидерзеен» был тут как тут!

Когда ум полностью занят работой, посторонним мыслям не протиснуться в него. Вход всякой мерихлюндии строжайше воспрещен! Но стоит прервать работу, и тут уж изо всех щелей ползет такая нечисть, что хоть волком вой!

На холостом ходу жернова мыслей перетирают сами себя. Сейчас они под аккомпанемент «Ауфвидерзеен» бесконечно перемальывали одно и то же: тягостные воспоминания о пребывании Шубина на борту «Летучего Голландца».

Он снова думал о гаечном ключе. Правильно ли сделал, что не пустил

его в ход во время своего пребывания на борту «Летучего Голландца»?

Конечно, не в его, Шубина, характере была такая жертвенная гибель. Он предпочел бы как-нибудь исхитриться и потопить подводную лодку, а самому всплыть, чтобы насладиться триумфом.

Вдобавок один знакомый подводник разъяснил Шубину, что у него все равно ничего не получилось бы. В каждом отсеке обязательно есть вахтенный.

— А потом? Тебе не удалось бы задраить обе переборки. Да и тебя услышали бы сверху, с поверхности моря, только в том случае, если бы находились непосредственно над подлодкой.

Это как будто снимало с Шубина вину. Но жажда мести оставалась неутоленной.

Виктория проявляла неусыпную заботливость и старалась пореже оставлять его одного. Они часто бывали на людях, ходили в театр, в гости.

— Старайся не вспоминать! — советовала она. — Ведь это как в сказке: оглянись, и злые чудища, целая свора чудищ, кинутся на тебя сзади и разорвут!

Новый год Шубины собрались встретить в Доме офицера.

Разложив на диване парадную тужурку, Шубин озабоченно прикреплял к ней ордена и медали.

За спиной раздавался дразнящий шелковый шорох. Это Виктория, изгибаясь, как ящерица, перед трюмо, натягивала узкое длинное платье. Военнослужащие женщины уже появлялись на вечеринках в гражданском платье.

Потом она, покачиваясь, прошла по комнате.

— Какое упоение, не можешь себе представить! Туфли на высоких каблуках!

— Неудобно же!

— Все равно упоение! Я так давно не танцевала! Милый, застегни мне «молнию» на платье!

Но с этой «молнией» всегда возникали задержки, нельзя, однако, сказать, что досадные. Приходилось поправлять прическу, пудрить раскрасневшееся лицо...

— Мы опоздаем, милый, — шепнула Виктория, не оборачиваясь. Звонок у входной двери был не сразу услышан.

— Два длинных, один короткий! Позывные Шубиных! Боря, к нам!

В узкий коридор, а потом в комнату с трудом протиснулось что-то

громоздкое, лохматое. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это длинная куртка мехом наружу. Человек внутри куртки был незнаком Шубиным.

Лишь когда он улыбнулся и сросшился на переносице черные брови забавно поднялись, Шубин узнал его. Джек Нэйл, судовой механик, предъявил свою улыбку вместо визитной карточки!

От удивления и радости Шубин не находил слов. Но гость нашел их, и это были русские слова.

— Спасибо! — неожиданно сказал он. — Драстуй, товарищ! — Подумав, добавил: — Пожалуйста...

Он замолчал и улыбнулся еще шире. Пока это было все, чему он научился в России.

Выяснилось, что некоторое время Нэйл служил в Заполярье, а теперь едет в Москву, в военную миссию, за новым назначением.

Худое лицо его было гладко выбрито. С ключьями пены и седой бороды он смахнул, казалось, лет двадцать заодно. Подбородок выдвинулся резче. Рот, оказывается, был узким, решительным. Зато заметнее стали морщины.

— Но вы собрались в гости, — сказал Нэйл, переминаясь у порога с ноги на ногу. — Сегодня все встречают Новый год.

— Вы встретите его с нами! Мы приглашаем вас в Дом офицера... Но вы не представляете себе, как я рад вам!

— Не больше, чем я, — вежливо сказал гость. — Что ж, до часа ночи я в вашем распоряжении. В час тридцать отходит мой поезд.

— А сейчас двадцать два! Когда же успеем поговорить? Ведь вы не досказали еще об этой реке, притоке Амазонки.

Шубин умоляюще посмотрел на Нэйла, потом на Викторию.

Она не могла видеть его умоляющим.

— Мы останемся дома, только и всего! — объявила она, скрывая огорчение под улыбкой. — Я сымпровизирую ужин. Мистер Нэйл извинит нас за скромность угощения.

Шубин радостно объявил, что у него есть НЗ<sup>[27]</sup>. В ответ Нэйл, ухмыляясь, вытащил из кармана плоскую флягу:

— Думал, чокнусь сам с собой в поезде, если не застану вас в Ленинграде. Адрес дали североморские катерники, но, как говорится, без гарантии. Бренди, правда, слабоват.

Он признался, что всем напиткам на свете предпочитает русскую водку.

— Так же крепка, как ваши морозы и ваша дружба, — значительно сказал он.



подавив вздох, Виктория сменила парадные туфли на растоптанные домашние, подвязала фартук и принялась хозяйничать.

А мужчины, улыбаясь, уселись друг против друга. Происходил тот традиционный обряд, который обычно предшествует беседе двух друзей, встретившихся после долгой разлуки: обоюдное похлопывание по плечу, подталкивание в бок, радостные возгласы и бессмысленный смех.

— Я не могу понять ваше лицо, — сказал Шубин, задумчиво всматриваясь в Нэйла. — Сколько вам лет?

— Сорок шесть.

— Когда вы улыбаетесь, вам можно дать меньше. Но в концлагере я думал, что вы ровесник Олафсону.

— Это не только концлагерь. Это еще и Шеффилд.

Нэйл задумчиво разгладил ладонью скатерть:

— Вас интересует Аракара, один из притоков Амазонки. Но ведь я шел к ней издалека, из Шеффилда. Отправная точка в моей биографии — Шеффилд.

Если вы ничего не узнаете о нем, то не поймете, почему я, оружейник и потомок оружейников, стал моряком, бродягой, и в тысяча девятьсот сорок втором году, в разгар войны, очутился в нейтральной Бразилии.

Итак — Шеффилд. Он расположен в графстве Йоркшир, которое славится не только своими свиньями, но и своей сталью. В прошлом веке там обосновались Армстронги и Виккерсы. Следом пришли и мы, Нэйлы. Да, мы пришли за ними, но наши семьи, как говорится, не ладили между собой... — Он мрачно усмехнулся: — Ведь «Нэйл» по-английски значит «гвоздь». А как гвозди могут относиться к молотку или руке, которая держит этот молоток?

Мужчины в нашей семье умирали, не достигнув сорока лет. Я один, как видите, перевалил этот рубеж. Обманул своих хозяев, потому что вовремя сбежал от них.

Вы скажете, что мои отец и дед, квалифицированные рабочие, получали большое жалованье и премии за срочность? Да! Когда отец, надев в воскресенье котелок и праздничный сюртук, под руку с матерью шел в церковь, нищие говорили ему: «Сэр!»

Родители имели коттедж и небольшой счет в банке. Но это была крупница по сравнению с тем, что выручали на производстве оружия Армстронги и Виккерсы. Они были главными убийцами. Конечно, и мы, Нэйлы, помогали им убивать.

Мой отец умер на работе, возле своего станка.

Заказ был срочный: броневые плиты для танков. Тогда, в тысяча девятьсот шестнадцатом году, танки были новинкой. Новое секретное оружие того времени. И оно сыграло свою роль под конец войны.

Отец свалился ничком на станок. Я не успел подхватить его. «Переработался», — сказали врачи. Эпитафия из одного-единственного слова!

Что ж, Виккерс не торопясь раскрыл свою большую бухгалтерскую книгу, списал отца, потом приплюсовал к основной сумме цену выработанных в этот день броневых плит. Но я не хотел, чтобы меня списывали или приплюсовывали! — Нэйл стукнул по столу ножом. — Извините!.. Один из гвоздей взбунтовался! Это был я. Бунт гвоздей — невидаль на заводах Виккерса. Но мне было плевать на все.

«Надо вдосталь надышаться перед смертью», — решил я. И ушел в море. Сначала плавал кочегаром, потом кончил училище и стал судовым механиком. Это было не просто в те годы.

Вам, молодым, трудно вообразить гавани послевоенного времени. Кризис! Кризис! Толпы безработных докеров на пирсах. Много женщин с черными повязками на рукавах. Корабли, поставленные на мертвые якоря. И — кладбища кораблей! На одной банке в Северном море, в районе, где происходила знаменитая Ютландская битва, я насчитал три с лишним десятка торчащих мачт. Будто лес, затопленный в паводок... Историки спорят о том, кто победил в Ютландской битве: немцы или англичане. Я считаю: победил «Летучий Голландец»!

— Разве он уже был тогда? — удивился Шубин.

— Ну, не он, предшественники его! Неужели вы не поняли, что по морям скользит целая вереница «Летучих Голландцев»? Да, бесшумно и быстро, как волчья стая!..

Одно время я думал так же, как вы. Я с облегчением вздохнул, узнав о смерти компаньона Виккерсов, сэра Бэзила Захарова.

Но через несколько лет стало известно, что Гитлер наградил орденом Генри Форда. «Эге-ге!» — сказал я, и в голове у меня прояснилось.

«Не буду воевать! — беспрестанно повторял я. — Ни за что не буду! Не хочу работать на виккерсов и захаровых!»

Но случилось так, что я не выдержал зарока.

В тысяча девятьсот сорок втором году я служил на одном бразильском речном пароходе, который ходил по Амазонке, развозя груз и пассажиров

по пристаням.

В шутку мы называли его «землечерпалкой». Он был очень старый, колесный. Чудо техники девятнадцатого века! Весь скрипел на ходу, будто жаловался на своих нерадивых хозяев. Эти скупердяи, видите ли, жалели денег на ремонт. Однако силенка в его машинах еще была! И напоследок он доказал это...

Мы отправились в рейс при зловещих предзнаменованиях.

В Южной Америке, надо вам знать, полно фольксдойче, то есть переселенцев немецкого происхождения. Большинство из них были организованы в союзы и не теряли связи с фатерландом. Считалось, что они потенциальная опора Гитлера.

Случаи торпедирования бразильских кораблей участились. Немецкие подводные лодки запросто заходили в устье Амазонки.

Бразилия соблюдала пока нейтралитет, но ведь немцы не очень считались с нейтралитетом.

Упорно поговаривали о готовящемся фашистском перевороте. В Рио рассказывали, что подводные лодки «неизвестной национальности» буквально роятся у бразильских берегов. А фольксдойче каждую ночь передают в море световые сигналы, чтобы облегчить высадку десанта.

В одном женском монастыре, где аббатисой была немка, обнаружили рацию. Монашки укрывали ее в притворе церкви и отстукивали свои шифровки под торжественные звуки «Te deum»<sup>[28]</sup>.

Впрочем, немного успокаивало то, что «Камознс» совершает рейсы лишь в среднем плесе Амазонки, и то главным образом по ее притокам, которые соединяются друг с другом. «В такую даль, — думал я, — не забраться немецким подводным лодкам! И к чему им туда забираться?»

— А глубины? — спросил Шубин, напряженно слушавший своего гостя.

— Глубины позволяли это, особенно сразу после сезона дождей. Тогда вода поднимается на сорок — пятьдесят футов выше своего уровня. Потом, на протяжении нескольких месяцев, она медленно спадает.

Бассейн Амазонки, как вам, вероятно, известно, представляет собой громаднейшее в мире болото, более или менее топкое. Связь с людьми, живущими в маленьких поселках по берегам рек, осуществляется только с помощью пароходов.

За рейс мы обходили Тракоа, Тукондейру и Рере, три самых захолустных притока Амазонки.

На плантации доставляли почту, консервы, рис, сахар и сухую муку, точнее — истолченный в порошок корень одного растения, забыл его

название. Бразильцы сыплют этот порошок в похлебку, посыпают им мясо и даже добавляют в вино. А с плантаций забирали коричневые шары каучука, его сгустившийся сок, и, кроме того, конечно, бананы, какао, ананасы.

По палубе приходилось пробираться бочком. Ведь на «Камозэнсе» были и пассажиры: рабочие — добыватели каучука, их жены и дети.

Люди лежали на палубе вповалку, подложив под голову сумки с пожитками. Это был первый «этаж». Затем шел второй и третий — гамаки, развешанные один над другим. И, наконец, была еще крыша, которую подпирали столбы. Туда забирались любители свежего воздуха и располагались среди связок бананов и клеток с курами, утками и поросятами.

Наверху, однако, было небезопасно. Иногда пароход, обходя мель или плывущий сверху плавник<sup>[29]</sup>, круто отклонялся к берегу. Свесившиеся над водой ветви деревьев могли, как метлой, смести зазевавшихся пассажиров.

А в воде их поджидала пирайя. Слыхали о такой рыбке? Нет? О! Будет пострашнее аллигаторов. Небольшая, не длиннее селедки, но на редкость свирепая и прожорливая. Своими глазами видел, как стая этих рыб набросилась на весло, опущенное в воду, и выкусила из него целый кусок. Мне рассказывали, что у некоторых индейских племен — только не у Огненных Муравьев, это точно знаю, — принято опускать мертвецов в реку, чтобы пирайя обглодала их до костей. Занимает всего несколько минут. Потом скелет красят и вывешивают у входа в хижину.

Не зря упоминаю об этих пирайя. До них еще дойдет черед!

Ну, стало быть, наш «ноев ковчег», безмятежно шлепая плицами, подвигался себе по реке Рере, чтобы в положенное время свернуть в устье Тракоа. Происшествий никаких! Население ковчеха ело, пило, пело, плакало, переругивалось, хрюкало, кудахтало.

Тишина на пароходе наступала только ночью. Но тогда над водной гладью начинали звучать голоса болот и тропического леса.

В ночь накануне встречи с «Летучим Голландцем» мне было, однако, не до этих призрачных голосов — я находился в машинном отделении. Вдруг команда: «Стоп! Малый назад!» Потом по переговорной трубе меня вызывают на мостик, и голос у капитана, слышу, злющий-презлющий.

С чего бы это он, думаю!

Ну, вытер руки паклей, выбрался наверх.

Корабль покачивается посреди реки, удерживаясь на месте ходами. По обеим сторонам — черные стены леса. Плес впереди сверкает, как рыба чешуя. Ночь безлунная, но звездная, полная, знаете ли, этого странного

колдовского мерцания мелькающих в воздухе искр.

Оказывается, второй помощник, стоявший вахту, по ошибке свернул не в то устье.

И сделал это, заметьте, давно — почти сразу после захода солнца.

Парень был молодой, самонадеянный. Прошел, наверное, миль двадцать пять вверх по реке, принимая ее за Тракоа. Спихватился, лишь когда рулевой сказал ему:

«Что-то долго не открывается пристань на правом берегу».

(Там принято в ожидании парохода зажигать факелы и размахивать ими среди зарослей, чтобы облегчить подход к пристани.)

Пристань должна была открыться на восемнадцатой миле от устья. Тогда, совладав со своим мальчишеским самолюбием, второй помощник приказал разбудить капитана.

Впрочем, в бассейне Амазонки заблудиться не мудрено. Все эти реки и речушки похожи ночью друг на друга, как темные переулки, в которые сворачиваешь с главной, освещенной улицы.

Но, когда капитан пробормотал: «Аракара», мне, признаюсь, стало не по себе.

Ни поселков, ни плантаций на реке Аракаре нет. По берегам ее живет племя Огненных Муравьев. С недавнего времени их стали подозревать в каннибализме.

Аракара по-настоящему еще не исследована. Да что там Аракара! Даже такая река, как Бранку, в общем уже обжитая и протяженностью в триста миль, не положена до сих пор на карту!

«Ни черта не видать, — сказал капитан, опуская бинокль. — Зато слышно очень хорошо. И этот шум мне не нравится. Прислушайтесь!»

Ночь в тех местах не назовешь тихой!

Воздух дрожмя дрожит от кваканья миллионов лягушек. По временам доносится издали мучительный хрип, словно бы кто-то умирает от удушья. Это подает с отмели голос аллигатор.

Но над кваканьем и хрипом аллигатора господствует ужасающий рев. Сто львов, запертых в клетке, не смогли бы так реветь. Да что там львы! Я всегда рисовал в своем воображении ящера, который очнулся от тысячелетнего сна и оповещает мир об этом, выползая из своего логовища.

Но это всего лишь обезьяна-ревун. Просто разминает себе легкие перед сном, забравшись на свой «чердак», то есть на самую верхушку дерева.

«Ну? — поторопил меня капитан. — Слышите?»

Да! Что-то необычное примешивалось к этому хору. На болоте, в лесу,

словно бы отбивали такт.

Мне вспомнился Шеффилд. Так работает паровой молот. Но, конечно, здесь это сравнение было ни к чему.

«Индийский барабан», — пробормотал капитан.

«Скорее, топот многих ног», — возразил помощник.

«Пляска духов!» — вполголоса сказал рулевой.

Мы переглянулись.

Я, конечно, знал об этой священной пляске. По слухам, ее совершают раз в году, в безлунные ночи, на специально расчищенных полянах. При этом приносятся человеческие жертвы. Толковали о том, что Огненные Муравьи прячут в недоступных зарослях своего идола, по-видимому нечто вроде мексиканского Вицлипуцли, бога войны. И культ его, древний, кровавый, сохраняется в строжайшей тайне.

Я расстегнул последнюю пуговицу на рубашке.

Ну и духота!

В машинном отделении — сто два градуса по Фаренгейту, но наверху немногим лучше. Неподвижный воздух наполнен запахами гниения, ила, застоявшихся испарений болота.

Под этим листовым пологом чувствуешь себя так, будто тебя засадили внутрь оранжереи. Не хватает воздуха, рубашка липнет к телу, сердце выбивает тревожную дробь. И выйти нельзя! Заперт на замок!

Прислушиваясь к грохоту барабанов — если это были барабаны, — наш рулевой зазевался. «Камознс» стал лагом к течению, потом ударился бортом о песчаный пережат. От сильного толчка пассажиры проснулись.

Тотчас изо всех закоулков «Камознса» понеслись протяжные, взволнованные жалобы:

«Где мы? Почему стоим? Мы тонем?»

Капитан сердито обернулся к помощнику:

«Заставь их замолчать!»

Тот сбежал по трапу.

Но, вероятно, он сболтнул о пляске духов, потому что жалобы стали еще громче. Страх, как головешка на ветру, перебрасывался по палубе из конца в конец, разгораясь все сильнее.

И вдруг шум стих. Только плакали дети, а матери вполголоса унимали их.

Мы увидели светящуюся дорожку на воде!

## 2. Пулеметчики и рыба пирайя

— Как — светящуюся дорожку? — Виктория с удивлением оглянулась на Шубина. — Это ты видел светящуюся!..

— Я видел в шхерах, Нэйл — на реке. И как выглядела она, камрад?

— Она выглядела странно, — ответил Нэйл. — Будто гирлянда праздничных фонариков была подвешена на ветках, потом провисла под своей тяжестью и опустилась на воду.

— Правильно.

— Но это не были праздничные фонарики! — Нэйл спешил рассеять возможное заблуждение. — Это были светящиеся вешки. Ими обвехован фарватер.

— И он тянулся вдоль реки?

— Нет, пересекал ее.

— Ну, ясно. — Шубин задумчиво кивнул. — Вешки ограждали подходы к заливу или протоке. Воображаю, какие там густые камыши! Кто же прошел по огражденному вешками фарватеру?

— Никто.

— Не может быть!

— Мы, по крайней мере, не заметили никого. Наверно, фонарики зажгли для проверки. Через минуту или две они погасли.

— И это было близко от вас?

— С полкабельтова, не больше.

— А грохот барабанов? Прекратился?

— Не прекращался ни на минуту.

— Да, непонятно.

— А чем непонятнее, тем опаснее! Я так и сказал капитану. «Пойду к машинам, — сказал я. — Не нравится мне это. Мой совет: разворачиваться и уносить ноги поскорее!» — «Согласен с вами, — говорит капитан. — Да ведь тут развернуться не так-то просто. Я pošлю помощника промерить глубины. Не сходите ли за компанию с ним?»

Забыл сказать, что наш старший помощник валялся у себя в каюте с приступом малярии, руки не мог высунуть из-под одеяла. Ну, а на второго, сами видите, надежда была плоха.

«Понимаю, — говорю я. — Ладно! Схожу за компанию!»

Спустил ялик. Помощник сел на корму. Я взялся за весла. Стали окунать в воду футшток.

Перекаты были в нескольких местах, но ближе к правому берегу. Держась левого берега, почти у самых камышей, можно было свободно пройти.

Я начал было разворачивать ялик, собираясь вернуться на корабль.

Вдруг вижу: камыши расступаются, оттуда выдвигается что-то черное, длинное!

Второй помощник оглянулся и чуть не выронил футшток.

Аллигатор? Ну нет! Штука не страшнее аллигатора. Индейский челн!

Он медленно скользил по воде прямо на нас.

Пустой? Да, как будто.

Но индейцы, я слышал, иногда применяли уловку: ложились плашмя на дно челна, подплывали на расстояние полета копья и лишь тогда поднимались во весь рост.

Помощник вытащил пистолет. Я приналег на весла.

С мостика, верно, заметили, что мы гоним изо всех сил. Пароход начал разворачиваться.

Я не сводил глаз с камышей. Каждую минуту ожидал, что оттуда вырвутся на плес другие челны, целая флотилия челнов.

Однако камыши были неподвижны.

И челн, который выплыл из зарослей, не преследовал нас. Течение подхватило его и понесло, поставив наискосок к волне.

«Хитрит индеец, хитрит! — бормотал помощник. — Прячется за бортом!»

Но я начал табанить. Потом быстро развернулся, погнался за челном и, зацепив его веслом за борт, подтянул к ялику.

Помощник был прав! На дне челна неподвижно лежал человек!

Я занес над ним весло. Помощник с опаской потыкал его в спину дулом пистолета.

«Мертвый?»

«Дышит. Но без сознания. Вся спина в крови».

Мы отбуксировали челн к «Камозэнсу».

Раненый оказался индейцем. На нем были только холщовые штаны. Когда мы перенесли его в каюту и положили на койку, то увидели, что спина у него, как у тигра, в полосах, но кровавых!

Ему дали вина. Он очнулся и забормотал что-то на ломаном португальском.

Но тут капитан приказал мне идти вниз.

«Вот что, красавцы! — сказал я своим кочегарам. — Хотите участвовать в человеческих жертвоприношениях? Я — нет! Вы тоже нет? Тогда держать пар на марке! Выжмем все, что можно, из нашей землечерпалки!»



И мы выжали из нее все, что можно.

В ту ночь у топок не ленились. От адского пара глаза лезли на лоб! Но сверху, с мостика, то и дело просили прибавить обороты.

«Ну еще, Нэйл, еще! — бормотал капитан. — Ну хоть чуточку!»

Как наши котлы не взорвались, ума не приложу.

Под утро я поднялся на мостик.

Влажное тело обдало ветерком — от движения корабля.

«Камознс» показал невиданную в его возрасте прыть. Только искры летели из трясущихся труб. Он мчался вниз без оглядки, суетливо двигая плечами, как бегущая женщина локтями.

Капитан мрачно сутулился рядом с рулевым.

«Как наш полосатый бедняга?» — спросил я, закуривая.

«Умер».

«Неужели? Жаль его!»

Капитан кинул на меня взгляд исподлобья:

«Самим бы себя не пожалеть! Напрасно мы взяли его на борт».

«Почему?»

«За ним была погоня. Он сам сказал это. А теперь гонятся за нами».

«Кто гонится?»

«Его хозяева».

«Не понимаю. Индейцам нас не догнать».

«При чем тут индейцы?»

«Но ведь он сбежал из-под ножа! Разве не так? По-моему, его собирались принести в жертву богу войны».

«Он бежал не от индейцев, а от белых».

«Каких белых?»

«Он считал, что это немцы».

«А! Фольксдойче?»

«Не фольксдойче. Я так и не понял до конца. Он потерял много крови, приходил в себя на короткое время. Бормотал о белых, которые не хотят, чтобы видели их лица, и поэтому ходят в накомарниках. Правда, в зарослях, как вы знаете, уйма москитов и песчаных мух. Но между собой эти люди разговаривали по-немецки».

«А он понимал по-немецки?»

«Немного. Когда-то работал у фольксдойче. Но он не сказал своим новым хозяевам, что понимает немецкий. Кем, по-вашему, он работал у них?»

«Носильщиком? Добытчиком каучука?»

«Он состоял при машине, которая забивает сваи! По его словам, люди

в накомарниках строят среди болот капище своему богу».

«Капище?»

«Ну, так, наверно, выглядит это в его дикарском понимании, — с раздражением бросил капитан. Он говорил коротко, отрывисто, то и дело оглядываясь. — Черт их там знает, что они строят! Рабочих очень много, он говорил. Индейцы. Платят им хорошо. Но они не возвращаются домой».

«Как?!»

«Их убивают, — пробормотал капитан, всматриваясь в сужавшийся за кормой лесной коридор. — Расстреливают».

«Расстреливают собственных рабочих?»

«Так сказал этот индеец. Он сам видел. Вдвоем с товарищем рубил кустарник на дрова, углубился в лес. Вдруг слышит выстрелы! Второй индеец хотел убежать, но наш заставил его подобраться ближе. В зарослях была засада! Люди в накомарниках подстерегли рабочих, которые, отработав свой срок по контракту, возвращались домой. Они были перебиты до единого!»

«В это трудно поверить», — с изумлением сказал я.

«Зачем индейцу было врать? Он с товарищем так испугался, что решил бежать, не заходя в лагерь. Но по их следу пустили собак, догнали, подвергли наказанию. Второй индеец умер под плетью. Нашему индейцу удалось обмануть сторожей. И тут вы заботливо подобрали его и приволокли на пароход!» — Капитан со злостью прокашлялся, будто подавился ругательством.

«На таком большом строительстве, — в раздумье сказал я, — есть, вероятно, и мотоботы».

«А! Разве я не сказал вам? У этих в накомарниках есть нечто получше мотоботов. Индеец говорил: „длинный, очень большой челн, который может нырять и...“

«Подводная лодка?!»

«Они называли ее... Да, вы же знаете немецкий! Как по-немецки „Летучий Голландец?“

«Дер флигенде Холлендер».

«Вот именно! Второе слово индеец не мог понять. Он не знал, кто такие голландцы. Но первое слово запомнил хорошо: „летающий, летучий“. „Но это не самолет, — бормотал он, самолеты, по его словам, видел в Манаосе. — Это длинный челн, который...“ И так далее».

«Летучий Голландец», понятно, прозвище, — сказал я. — Зачем немцам база подводных лодок, если эта база так далеко от устья Амазонки?»

«А это вы у Деница<sup>[30]</sup> спросите! — сердито бросил капитан, снова оглядываясь. — Меня сейчас интересует одно: хватит ли дров до Рере?»

«Должно хватить!»

В тех местах пароходы по мере надобности пополняются не углем, а пальмовыми дровами. Но ведь мы не пополнялись дровами на очередной пристани — второй помощник, как вы помните, спутал устья рек.

Я спросил капитана, думает ли он, что за нами послали в погоню подводную лодку.

«Не знаю. Не думаю ничего. Чувствую погоню спиной».

«Но индеец, беглец, умер!»

«Люди в накомарниках не знают об этом, и мы стали им опасны. Побывали на самом краю какой-то важной тайны. А разве заткнешь рот всем этим?» — Он презрительно показал вниз.

Там разгорались и гасли и снова разгорались огоньки трубок. В Бразилии трубки курят даже женщины. На палубе продолжали шумно обсуждать события ночи.

«Рере, Рере! — озабоченно бормотал капитан. — Боюсь, не дотянем до Рере!»

Но мы дотянули до Рере.

Ночь развеялась внезапно, как дым.

Я собрался было опять в свою «преисподнюю», но замешкался на трапе. Не мог удержаться, чтобы не оглядеться вокруг.

Ночь сдает вахту дню! Это всегда красивое и величественное зрелище — под любыми широтами. Но на экваторе оно особенно красиво.

Здесь «смена вахты» происходит без предупреждения. Не бывает ни сумерек, ни рассвета.

Вдруг длинная зыбь быстро пробежала по верхушкам пальм, потом из-за них взметнулись лучи. Словно бы воины, тысячи воинов, спрятавшись в зарослях, разом выдернули из ножен свои мечи!

Аракара осветилась. Вода была бледно-розовой, а берега ярко-зелеными. Впереди стал виден слепящий плес Рере. Он даже как будто был немного выпуклым посредине. От нас его отделял узкий мыс, поросший папоротником.

Я с изумлением увидел, что мыс удлиняется!

Он менял свои очертания на глазах, делался ниже и уже.

И вдруг я понял: это нос подводной лодки, тупо обрубленный, как секира, выдвигается из-за мыса!

Еще несколько секунд, и она уже вся на виду: серая, в пятнах камуфляжа, как змея, очень длинная, без всяких опознавательных цифр или букв.

От нее мы были на расстоянии полукабельтова. Как она смогла обогнать нас? Наверно, был какой-то сокращенный путь, подлодка прошла к устью Аракары неизвестными нам протоками.

Я даже не успел испугаться. Меня поразила высокая боевая рубка и отсутствие орудия на палубе. Но пулеметы были там, и расчет выстроился подле них.

Подводная лодка замерла посреди плеса, преграждая нам путь.

С палубы донесся разноголосый протяжный вопль.

Что-то крикнул за моей спиной капитан. Второй помощник торопливо прошлепал босиком по трапу. Я увидел, как несколько матросов спускают на таях шлюпку. На них стала напирать толпа пассажиров, орущих, визжащих, вопящих.

О! Это очень страшно — паника! Особенно на корабле.

Шлюпка поползла, стала косо, черпнула воду кормой.

За борт полетели спасательные круги, подвесные койки, ящики.

Будто столбняк пригвоздил меня к трапу. Я неподвижно стоял и смотрел, хотя знал: мое место у машин!

Но что мог сделать наш бедняга «Камознс», безоружный, беспомощный, зажатый в узком пространстве берегами реки? Неуклюже разворачиваясь, он печально проскрипел в последний раз своими ревматическими бимсами, шпангоутами и стрингерами.

Однако нас не удостоили торпеды.

Короткая очередь!

Я оглянулся. Капитан лежал скорчившись, подогнув голову под плечо. Рука свисала с мостика. В ногах капитана валялся рулевой.

Нас расстреливали из пулеметов!

Течение сразу же подхватило неуправляемый «Камознс» и понесло его на пережат.

Я стряхнул с себя эту одурь. Кинулся со всех ног на мостик к штурвалу. Но не добежал, не успел пробежать!

Резкий толчок, скрип, грохот!

Вокруг меня колыхались люди, обломки, ящики.

Я был уже в воде!

Вероятно, «Камознс» получил большую пробоину или несколько пробоин. Он быстро заваливался набок. По перекосившейся палубе скатывались в воду люди.

Мимо меня проплыло несколько корзин, связанных вместе. На них взобрались два или три человека. Я присоединился к ним.

Нас развернуло и потащило прямо к подводной лодке. Шлюпка, переполненная людьми, обогнала наши корзины. Весла опускались неравномерно.

Матери поднимали детей и показывали их пулеметчикам, которые стояли на палубе.

Но вот по шлюпке стегнула очередь, гребцы и пассажиры шарахнулись к корме. Шлюпка перевернулась.

И тут явились пирайи!

Вода вокруг барахтавшихся людей забурлила, запенилась. Пена была кровавой!..

Пулеметчики решили отдохнуть. Они спокойно стояли, облокотившись на свои пулеметы. А пирайи доделывали за них работу!

Видеть это было нестерпимо! Просто нестерпимо! — Нэйл стукнул себя кулаком по лбу: — Как это выбьешь отсюда? Как?! — И, задохнувшись, добавил тихо: — Разве что пулей...

Он с силой потер лоб, обернулся к Виктории:

— Извините! Вообще-то не позволяю себе распускаться. Но стал описывать по порядку, и это так живо вспомнилось! Еще раз прошу извинить!..

Течение несло наши корзины к подводной лодке.

Я увидел, как матрос вынес на палубу разножку. На нее сел человек. Ему подали фотографический аппарат. Он сделал несколько снимков. Потом закурил и, перебросив ногу за ногу, стал смотреть на нас.

И я подумал: до чего же мне не повезло! В свой смертный час не увижу лиц жены или друзей. Уношу с собой взгляд врага, этот отвратительно безучастный, ледяной взгляд!

Человек, сидевший на разножке, наблюдал за нашей агонией у его ног так, словно бы мы были не люди, а черви...

Снова очередь! Брызги воды поднялись перед глазами. Кто-то закричал.

Больше ничего не помню. Потерял сознание от боли...

Когда я очнулся, корзины покачивались в прибрежных камышах. Я был один. Рана на плече кровоточила.

Я с осторожностью раздвинул камыши. Река была пуста. Только алые полосы плыли по сияющему выпуклому плесу.

Мне показалось, что это кровь. Но это были лучи заката...

— Как же вам удалось выбраться из тех мест?

— Меня подобрала Огненные Муравьи.

— Те самые? Подозреваемые в каннибализме?

— Да. Наткнулись на меня в лесу, по которому я кружил. Мне рассказывали потом, что я кричал, плакал, кому-то грозил.

Несомненно, пропал бы, если бы не Огненные Муравьи. Джунгли Амазонки беспощадны ко всем слабым, одиноким, безоружным.

У Огненных Муравьев я пробыл до осени...

— А культ бога войны? — прервал Нэйла Шубин. — Сумели ли вы проникнуть в тайны этого культа?

— Нет. Я попросту не заметил его.

— Да что вы! Как так?

— Видите ли, Огненные Муравьи очень примитивны по своему развитию. Им бы ни в жизнь не додуматься до такого культа! Они почитают духов предков, вот и все. Я, конечно, не специалист. Может, что-то упустил. Во всяком случае, кочуя по лесу, они старательно обходят места, где ныряют челны, грохочут барабаны, гаснут и зажигаются колдовские огни.

— А! Кому-то выгодно отвадить людей от Аракары?

— Вы правы. Чем дольше я жил у Огненных Муравьев, тем больше убеждался в том, что бедняг оболгали, оклеветали — с помощью газет и радио, как это принято в нашем цивилизованном мире.

До утра мог бы рассказывать вам о длинном доме, в котором живет племя, об охоте на рыб с помощью лука и стрел, о «заминированных» участках, то есть полосах земли, усыпанных рыбьими костями и замаскированных сверху листьями.

При мне произошла стычка Огненных Муравьев с враждебным племенем Арайя, что значит «иглистый скат». Я с ужасом наблюдал массовое применение духовых ружей, страшных десятифутовых деревянных труб, из которых выдувают маленькие стрелы, смазанные ядом кураре.

Показать бы одну из этих труб в Шеффилде, на нашем заводе! Ведь она могла считаться прабабушкой современной артиллерии!

В конце августа я окреп настолько, что смог проститься с Огненными Муравьями. В Редонде, ближайшем поселке на реке, мне сказали, что Бразилия объявила войну Германии.

— Вы сообщили о «Летучем Голландце»?

— Сразу же! Едва лишь вернулся в Рио. И были приняты срочные меры. На Аракару полетели самолеты.

Было высказано предположение, что немцы строят аэродром на Аракаре. Подводная лодка могла служить для связи: возможно, доставляла особо важные строительные материалы.

А мне вспомнился Шеффилд. Его тоже можно назвать «капищем бога войны». Чего доброго, думал я, в джунглях Амазонки воздвигают завод, который будет выпускать какое-то секретное оружие. Не готовятся ли с помощью этого оружия предпринять завоевание Америки, сначала Южной, потом Северной?

Но летчики вернулись с Аракары ни с чем. Они пролетели над рекой километров полтора, а внизу были только леса, однообразно волнистое зеленое пространство.

Олафсон, которому я рассказал об этом, честил почему зря подслеповатых бразильских летчиков. А я не мог их осуждать.

Пробродив целое лето в том районе, знаю, как непроницаем лиственный полог. Были там закоулки, где в самый яркий полдень царилась ночь.

Говорят: странствовать по дну зеленого океана. Но это и есть океан. И дно его кишит всякой нечистью. От болотных змей харарака до «челна, который умеет нырять»...

### **3. «Ю энд ай...» (Пароль штурманов)**

Нэйл поднял голову.

В воспоминаниях своих ушел так далеко под сень бразильских пальм, что не сразу понял, где находится сейчас.

Под большим оранжевым абажуром сверкает туго накрахмаленная скатерть. На праздничном столе расставлены водка, бренди, закуска.

В углу оперся на этажерку моряк. Лицо его сосредоточенно и сурово, губы сжаты.

А перед Нэйлом, положив руку на стол, тихо сидит красавица в длинном вечернем платье. В ее серых, широко открытых глазах — удивление, сострадание, печаль.

— Боже мой! Я взволновал и расстроил вас! — с раскаянием сказал Нэйл. — И когда? В новогоднюю ночь! Это нехорошо с моей стороны. Переложить часть своих воспоминаний на чужие плечи! Недаром говорят, что бог проклял человека, дав ему память.

— Не согласен! — сказал Шубин. — Что касается меня, то я ничего не

хочу забывать!

Виктория вскинулась с места:

— Товарищи! Что же мы? Без пяти двенадцать!

Нэйл начал придвигать стулья к столу, Шубин принялся разливать по рюмкам водку. Виктория отодвинула свою рюмку:

— Мне фруктовой. Я не пью, ты же знаешь!

— Э, нет! Пусть сегодня Гитлер пьет фруктовую!

Часы начали бить. Шубин поднял налитую до краев рюмку:

— Ну, первый тост — за победу!

— О, йес, йес! — закивал головой Нэйл. — За побиеду!

Это русское слово он тоже выучил в Заполярье. Водку Нэйл выпил залпом, а не глотками, как пьют в Западной Европе. Потом старательно крякнул — тоже на русский манер.

Виктория и Шубин засмеялись. Он был, оказывается, рубахой-парнем, этот бывший рабочий-оружейник из Шеффилда и друг индейского племени Огненных Муравьев!

За окном поднялись огни фейерверка, похожие на новогоднюю елку, увешанную разноцветными электрическими лампочками и осыпающимися нитями «серебряного дождя».

Шубин подумал, что, наверно, у Гитлера трясутся руки, когда он наливает себе фруктовой или минеральной воды за новогодним столом. Что-нибудь покрепче пить сегодня ему не стоит, да и вообще он, говорят, не берет в рот хмельного: хочет прожить до ста лет!

— Пусть Гитлер сдохнет в этом году! — торжественно провозгласил Шубин.

Охотно выпили и за это.

Третий бокал — традиционный: за тех, кто в море!

Потом Нэйл предложил тост за своих гостеприимных русских хозяев. Шубин в ответ хотел выпить за здоровье Нэйла, но тот поднял руку:

— Хочу предложить тост не совсем обычный. В новогоднюю ночь я привык вспоминать о кораблях, на которых плавал. Были среди них и танкеры, и лайнеры, и транспорты, и вспомогательные судна, и даже такой колесный торопыга, как «Камознс». И я думаю о них с благодарностью и любовью. Какое-то время они были моим домом... Говорил ли я, что Олафсон разделял корабли на добрых и злых? Так вот, предлагаю сегодня выпить за добрые корабли! За то, чтобы на пути им никогда не встретился «Летучий Голландец»!

Моряки, серьезно кивнув друг другу, выпили.

Настала очередь Шубина рассказать о «Летучем Голландце».



Англичанин только поднимал брови да издавал короткие восклицания.

Каков, однако, размах у этого «Летучего»! Наверно, нет уголка на земном шаре, где бы не побывал он — не то подводный связной, не то маклер, который помогает военным монополистам, торговцам оружия, совершать их тайные сделки.

Шубин сердито оглянулся на часы, когда они коротко пробили за спиной.

Нэйл встал:

— Через полчаса мой поезд. Мне пора!

Гостя проводили до лестницы.

— Пишите же!

— И вы пишете!

— Непременно встретимся после победы!

Виктория всем телом прижалась к Шубину. Пальцы ее, чуть касаясь, быстро пробежали по его лбу. Нахмурился! Мальчик ее стал опять задумчивым и грустным.

Почему?

Чтобы отвлечь его, она пустила в ход все средства, какими располагают в таких случаях женщины. Сегодня Виктория была особенно нежна, как-то необычно, тревожно ласкова с Шубиным. Но, проснувшись среди ночи, она увидела рядом рдеющий огонек папиросы.

— Что, милый? Опять он? «Ауфвидерзеен»?

— Нет. Ты спи! Я просто думаю о жизни, о нас с тобой...

Окна зашторены. В комнате тишина, мрак. Только часы повторяют одно и то же, спрашивают осторожно: «Кто ты? Что ты?» Или она где-то читала об этом?..

— Слушай, — негромкий голос Шубина. — Я все думаю о слове, которого не знал Олафсон. Может, это не одно слово, а три: «Ю энд ай»? Помнишь? Нэйл крикнул в лагере. Очень сильные слова, верно? Если бы штурманы всех морей, капитаны, лоцманы, судовые механики, матросы сказали друг другу «Ю энд ай», что тогда случилось бы с «Летучим»? Камнем бы упал на дно!

— А потом опять всплыл.

— Не дали бы ему всплыть! Блокировали бы его во всех норах! Установили бы всеокеанскую блокаду!.. Олафсон этого не мог один. Это могут только все сообща!.. Я, ты, Нэйл! Все, кому «Летучий» — враг. Простые, обыкновенные слова, когда их произносят сотни тысяч людей,

могут остановить, оглушить, убить! И потом, как в сказке, все фарватеры в мире станут чистыми, свободными для плавания кораблей...

Он потушил папиросу и сразу же, без перерыва, закурил новую.

— Да, — медленно повторил он. — «Ю энд ай», пароль штурманов...

Ночь. Полагалось бы спать. Но Виктория рада, что он не молчит. Выговорится — заснет.

— Я раньше знаешь какой был? Беспечный, ничего близко к сердцу не принимал. Я, наверно, потому и не понравился тебе сначала. Но, после того как пробыл несколько часов на «Летучем», я стал думать о многом и по-другому. Не знаю, сумею ли тебе объяснить. Ну, как бы сразу окидываю взглядом большое навигационное поле. Начал видеть свой фарватер и предметы не только вблизи, но и вдали. Например, стал задумываться о мире. Каким будет все, когда мы победим? Что я буду делать тогда? Я же катерник, профессиональный военный. Вот толкуют о самопожертвовании. Вызвал, мол, огонь на себя или выручил товарища с риском для жизни. А ведь от меня могут потребовать еще большего самопожертвования. Поставят перед светлые адмиральские очи и скажут: «Гвардии капитан-лейтенант Шубин! Отныне ты уже не гвардии капитан-лейтенант! Уходишь в отставку или в запас». Работа, конечно, найдется. Буду штурманить на каком-нибудь лесовозе, китобое, танкере. В Советском Союзе кораблей хватит. А не хватит, еще построят. На бережку припухать не собираюсь.

— Я и не представляю тебя на берегу. Но почему ты вспомнил об этом?

— Начал было задремывать, и вдруг померещился верещагинский «Апофеоз войны». Только пирамида была сложена не из черепов, а из военных кораблей. Очень быстро прошло перед глазами, как бывает, когда засыпаешь. С тобой бывает так?

— Да. Мы вчера с тобой рассматривали альбом. Там есть Верещагин.

— Я и стал вертеть в уме эту пирамиду, прилаживая ее то к одному, то к другому морю. Наступит же, думал я, время, когда военные корабли не понадобятся больше людям. Мир! Всюду мир! Тогда, в назначенный день и час, двинутся к какой-нибудь заранее выбранной банке военные флоты всех государств, берега которых омывает это море. Сойдутся вместе, отдадут друг другу воинские почести, приспустят флаги и... Банка — нечто вроде фундамента, понимаешь? Сначала на нее лягут линкоры, крейсера, авианосцы. Вторым слоем — корабли поменьше. И вот в море появился новый железный остров — память о прошлых войнах!

— Выходит, как бы свалка, мусорные кучи, так я поняла?

— Нет! Не свалка. Памятник! Ведь на кораблях сражались и умирали

люди. Многие из них были, конечно, обмануты, сражались за высокие прибыли для разных виккерсов и круппов. Но они жизнью заплатили за свою доверчивость. Это, скорей, могила неизвестному моряку.

— Торговые и пассажирские корабли, проходя мимо железного острова, будут давать гудки — в память погибших?

— Правильно. Теперь ты поняла.

В темноте лиц не видно. Но по голосу Виктории можно догадаться, что она улыбается:

— Неужели и твои торпедные катера топить?

— Катера?..

В растерянности Шубин забормотал:

— Топить?.. А если приспособить их для мирных целей?.. Например, доставлять в порты срочную корреспонденцию... Скорость уж очень...

Пауза.

— Нет! И мои катера тоже! — решительно сказал он. Но тут же поспешил добавить: — Зато их, как самые легкие, на вершину пирамиды!..

В марте 1945 года почти вся бригада торпедных катеров сосредоточилась в районе Клайпеды. Только катера Шубина оставались еще в Ленинграде. Им предстояло догнать бригаду по железной дороге, на платформах.

Сам Шубин вместе с инженер-механиком должен был прибыть в Клайпеду заблаговременно, чтобы подготовиться для выгрузки своих торпедных катеров и спуска их на воду.

Настал день отъезда.

Пока Шубин укладывал чемодан, Виктория ходила по комнате, трогала безделушки на этажерке, бесцельно переставляла их.

— Что с тобой?

— Волнуюсь.

— Но почему? Ты не первый раз провожаешь меня.

— Да. И с каждым разом волнуюсь все больше.

Шубин порылся в чемодане, достал оттуда маленький осколок и, будто взвешивая, подбросил его на ладони.

— Лови! Когда станешь бояться за меня, вынь, посмотри — и пройдет!

Осколок имел свою коротенькую историю. В одном морском бою Шубин нагнулся к тахометру, чтобы проверить число оборотов. Выпрямляясь, он зацепился за что-то карманом. Оглянулся — в верхней части борта зияет только что появившаяся рваная дыра! Это за спиной

промахнули осколки снаряда. Не нагнись Шубин к тахометру...

По возвращении на базу боцман отыскал в рубке один из осколков.

— Видишь? На море ни снаряды, ни пули не берут! А на суше я не воюю.

— И ты совсем не боишься? Никогда?

— Ну, так лишь дураки не боятся. Просто я очень занят в бою. Некогда бояться... Нет, вот где я страху-то натерпелся! В госпитале прошлым летом!

— Почему?

— На больничной койке очень боялся помереть. Склянки эти, банки, духота!.. Помирать — так уж красиво, с музыкой! Под стук пулеметов, мчась вперед на своей предельной скорости! У нас так в сорок втором году один офицер умер: как стоял в рубке, так мертвый и остался стоять. Склонился головой на штурвал и... — Он спохватился: — Да что это я? Тут победа на носу, а я о смерти завелся!

Виктория, присев на стул, задумчиво смотрела на Шубина. Маленький осколок лежал, уютно спрятавшись, между ее ладонями.

— Он был теплым?

— Даже горячим.

— Хорошо. Я буду беречь его, как ты велишь.

Перед отъездом она поднесла Шубину цветы, букетик цветов. В поисках их обегала весь город. И наконец нашла в оранжерее на улице Добролюбова. Там во время блокады высаживали редис и лук. Теперь снова занялись цветами.

Победа! Близкая победа! Весной 1945 года все в Ленинграде дышало ожиданием победы.

— О! — с раскаянием сказал Шубин. — А я ни разу не подарил тебе цветы! Эх, я! И были же у нас на Лавенсари красивые, высокие, надменные, как ты. Ведь ты когда-то была надменная! Я даже боялся тебя немного. До сих пор в ушах звучит: «Мы не на танцах, товарищ старший лейтенант!»

Шубин шутил, улыбался, говорил без умолку, а сам с беспокойством и жалостью заглядывал в лицо Виктории. Она была бледна, губы ее вздрагивали.

На перроне, у вагона, инженер-механик деликатно оставил их вдвоем.

Она прижалась к его груди, опустив голову, стараясь унять нервную дрожь.

— Ничего не говори, — шепнула она. Минуту или две Шубин и Виктория молча стояли так, не размыкая объятий.

— По ваго-на-ам! — протяжно крикнул, будто пропел, начальник эшелона.

Мельком, из-за шубинского плеча, Виктория увидела круглые вокзальные часы, которые показывали семнадцать двадцать.

Она откинула голову. Неотрывно и жадно всматривалась в длинный улыбающийся рот, ямочку на подбородке, две резкие вертикальные складки у рта.

Потом быстро поцеловала их по очереди, будто поцелуем перекрестила на прощанье...

#### 4. Перехваченный гонец

Колдовские пейзажи мелькали за окном.

Возникало озерцо с аспидно-черной водой и черным камнем посредине. На таком камне полагалось сидеть царевне-лягушке, величественно-неподвижной, задумчивой.

Горизонт волнистой чертой перечеркивал ели, над которыми в такт колесам покачивался месяц.

Шубин не отходил от окна.

Соседи по купе устраивались играть в домино. Стойма утвердили чемодан, на него положили другой. Столик у окна занимать было нельзя: на столике стояли цветы. Инженер-механик с достоинством давал пояснения:

— Самые ранние! Жена гвардии капитан-лейтенанта в оранжерее купила. Как же! Открылись уже и оранжереи в Ленинграде!

Вокруг цветов завязывался робкий роман между проводницей и молоденьким лейтенантом-сапером, видимо только что выпущенным из училища.

Весь вагон проявил большое участие к цветам. Лейтенант первым произнес слово «складчина». Кто-то посоветовал для подкормки пирамидон, но общим решением утвердили сахар. Тотчас лейтенант обошел соседние купе и притащил полстакана песку и немного кускового.

— Будем подсыпать систематически, — объявил он сияя, — и доставим букет совершенно свежим!

Проводница с особым старанием, чуть ли не каждый час, меняла воду в банке. При этом косила карим глазом в сторону лейтенанта и многозначительно вздыхала:

«Вот она, любовь-то, какая бывает!»

А на станциях и полустанках у окна с букетом собиралась толпа.

Местные девушки с соломенного цвета волосами и в пестрых косыночках замирали на перроне, благоговейно подняв лица к ранним, невиданно ярким цветам.

«Хорошие люди, — думал Шубин, стоя в проходе. — Очень хорошие. И лейтенант хороший, и проводница, и эти светленькие девушки-латышки. А против них поднялась со дна нечисть, выходцы из могил! Тянутся своими щупальцами, хотят задушить, обездолить. Но — не выйдет! Я не дам!»

Соседи звали его «забить козла» — он отговорился неумением. Заиграли песню — не подтянул. Дружно пригубили чарочку, но и после этого Шубин не развеселился. Поговорил о том о сем и убрался в сторонку.

В купе было темно. Между разнообразными, плотно утрамбованными вагонными запахами бочком протискивался аромат цветов.

Было жаль Викторию. Шубин еще никогда не видел ее такой растерянной, беспомощной, заплаканной.

Зато теперь все стало на свое место: он воюет, она волнуется. Прошлой весной, в начале их знакомства, было наоборот. Шубину было очень неловко от этого.

Но мысли о Виктории перебивались другими, будничными мыслями: о мерах предосторожности, которые надо принять, перебрасывая катера с вокзала в порт, о спорах со скупой шкиперской частью, не желавшей отпускать брезент, и так далее.

Шубин не знал, не мог знать, что гонец с «Летучего Голландца» уже снаряжается в путь...

По утрам Шубин нередко выходил в поиск без авиации — если был сильный туман. Над Балтикой по утрам почти всегда туман.

Он стелется низко, как поземка. Сверху можно различить лишь топы мачт. Но корабли под ними не видны. А невысокие торпедные катера, те целиком скрываются в тумане.

С одной стороны, как будто бы хорошо — не увидят немецкие летчики. С другой — плохо: и сам не увидишь ничего!

Однако у Шубина, помимо «теории удач», была еще вторая «теория» — «морских ухабов». Случая только не было ее применить.

Есть такая поговорка: «Вилами на воде писано» — в смысле «ненадежно», «неосновательно». Это справедливо лишь в отношении вил. Что касается форштевня корабля, то тут «запись» прочнее.

Продвигаясь вперед, корабль гонит перед собой так называемые

«усы».

Они похожи на отвалы земли от плуга. Две длинные волны под тупым углом расходятся по обе стороны форштевня и удаляются от него на большое расстояние.

Впрочем, считали, что Шубин берет грех на душу, доказывая, будто может обнаружить в тумане эсминец по «усам» за шесть — восемь кабельтовых, а крейсер даже за милю — конечно, в штиль.

Но он построил на этом сегодня свою тактику. Начал неторопливо ходить переменными галсами, выискивая «след», оставленный кораблем на воде.

Сухопутный фронт к тому времени придвинулся к Кенигсбергу. Шубин вышел на подходы к аванпорту Кенигсберга — к городу и крепости Пиллау.

Волнение было не более двух баллов. Воздух напоминал воду, в которую подлили молока.

Так прошло около часа.

Вдруг катер тряхнуло. Вот он, долгожданный водяной ухаб!

Шубин заметался по морю. Приказал положить руля вправо, влево. Ухаб исчез. Приказал лечь на обратный курс. Снова тряхнуло. Но уже слабее. Волна затухает!

Шубин развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел зигзагом. Остальные катера двигались за ним, повторяя его повороты.

Они натолкнулись на встречную волну, прошли метров пятьдесят, натолкнулись на нее еще раз. Удары делались более ощутимыми. Волна увеличивалась.

Так радист, прикинув к радиоприемнику, ищет нужную волну в эфире — то соскакивает с нее, то опять, торжествуя, взбирается на «гребень».

Между тем туман стал расходиться. Воздух напоминал уже не воду с молоком, а стекло, на которое надышали. Но горизонт был еще стерт.

Всем телом ощущая нарастающие толчки, Шубин вел свои катера к истоку волны. Судя по ее размахам, корабль был большой. Хорошо бы — транспорт, этак в три или четыре тысячи тонн. Как прошлой осенью!

Но, к огорчению моряков, у истока волны не оказалось транспорта. Впереди темнело мизерное суденышко, по-видимому штабной посыльный катер.

Он шел с большой скоростью, узлов до тридцати. Вот почему образовались очень длинные и высокие волны.

Тратить торпеду на такого мездрюшку было бы, конечно, мотовством.

Павлов вопросительно взглянул на Шубина:

— Из пулемета, товарищ командир?

Шубин промолчал, продолжая вести отряд на сближение с немецким катером. В быстром уме его возник иной план.

Давно в штабе бригады тосковали по «языку».

В морской войне это явление чрезвычайно редкое. А сейчас, в предвидении штурма Пиллау, «язык» был бы как нельзя более кстати.

В посыльном катере, наверно, сидит начальство. Выскочило из Пиллау и дует себе на предельной скорости в Данциг.

Выхватить бы это начальство из-под носа у немцев, чуть ли не в самой гавани, и доставить на базу для плодотворного собеседования с нашими разведчиками!

Да, было бы толково. Поярче, пожалуй, чем потопить транспорт. И не исключено, что полезнее!

Через несколько минут шесть торпедных катеров окружили немецкий посыльный катер. Все пулеметы пристально, с явным неодобрением уставились на него.

Немецкий рулевой сразу бросил штурвал. Следом за ним неохотно подняли руки два бледных офицера в кожаных пальто и унтер-офицер береговой службы. Наконец, озираясь с дурацким видом, вылезли наружу мотористы.

Шубин бегло просмотрел документы пленных. Начальство, с его точки зрения, было третьесортным: всего лишь интенданты. Но на безрыбье...

Офицеры следовали по своим интендантским надобностям в Данциг. Унтер-офицер, не имевший, как выяснилось, никакого отношения к ним, направляется еще дальше — через Данциг в Берлин.

Шубин приказал, отобрав документы и оружие у пленных, рассадить их по торпедным катерам. Интендантов он забрал к себе, унтер-офицера поместил к Князеву, рулевого и мотористов — на другие катера.

Придирчивый Фаддеичев и здесь проявил свой «настырный» характер. Ему показалось, что немецкие офицеры недостаточно расторопно пересаживаются на торпедный катер. Он набрал было в грудь воздуха, готовясь выпустить его обратно изрядно измельченным словами специального аврального назначения, но перехватил предостерегающий взгляд Шубина.

— Есть, товарищ гвардии капитан-лейтенант! — сказал он, вздохнув. — Я только хотел им объяснить, чтобы поаккуратнее переходили, не упали бы, храни бог, в воду...

Торпедные катера повернули на базу.



Изредка, не без самодовольства, Шубин оглядывался на своих «языков».

Нахлобучив козырьки фуражек на глаза, подняв бархатные воротники пальто, они сидели, понурясь, между торпедами, под бдительной охраной Степакова и Ластикова, вооруженных автоматами.

Что ж! Так и положено выглядеть пленным немцам — будто они насквозь вымокли и продолжают покорно мокнуть под дождем.

Шубина окликнул взволнованный голос Князева:

— Товарищ гвардии капитан-лейтенант! Мой немец... — Но слова заглушила трескотня автомата.

Шубин поспешно развернулся. Катер Князева стоял, застопорив ход. Кто-то толчками плыл от него в море.

— Живым, живым! — заорал Шубин в ларингофон. — Не стрелять!

Но когда он приблизился, то не увидел в море пленного.

Князев с растерянным видом вертел в руках какие-то бумажки. Рядом стоял смущенный матрос, держа автомат дулом вниз. Остальные, перегнувшись через борт, напряженно вглядывались в колыхавшуюся серую воду.

— Ну, все! — объявил один из них и выпрямился. — Жаловаться к морскому царю ушел!

Торпедные катера покачивались на волне, развернувшись носами. Интенданты с робостью перешептывались, косясь на грозного юнгу с автоматом.

Оказалось, что Князев и его команда не сразу заметили странное поведение пленного. Отвернувшись, он украдкой вытаскивал что-то из кармана, пихал в рот и пытался прожевать. Кинулись к нему. Думали, яд! Но изо рта торчали белые клочки.

— Товарищ гвардии старший лейтенант! Он секретные документы жрет!

Унтер-офицера схватили за руки, повалили на спину, стали вытаскивать бумагу изо рта. Сделав отчаянное усилие, он проглотил ее. Но в кулаке были крепко зажаты еще какие-то обрывки.

— Не можно, не можно! — бормотал он, путая польские слова с немецкими. — Ферботен! Не можно!

Кто-то ударил его автоматом по руке. Кулак разжался. Несколько измятых клочков выпали и разлетелись по палубе. Их бросились подбирать.

Немец воспользовался этим, вырвался и прыгнул, вернее, свалился за

борт. Тогда по беглецу дали очередь из автомата. Море было пустынно. Туман рассеялся, но день оставался пасмурным. Южную часть горизонта, более светлую, подчеркивала жирная линия. То был немецкий берег, коса Фриш-Неррунг, которая прикрывает с моря Пиллау.

— «Не можно, не можно»! — с негодованием сказал Шубин. — То есть как это — не можно? Попал к нам в плен, обязан всю документацию предъявить! Это неправильный немец у тебя был. Ну-ка, дай!

Князев с виноватым видом подал два уцелевших измятых клочка.

Шубин разгладил бумагу. Какие-то мудреные значки! Не то арабская вязь, не то стенография. Шифр, само собой!

Но среди непонятных значков он почти сразу же наткнулся на упоминание о себе. «Пирволяйнен» — было там, выведенное латинскими буквами. А чуть подальше, перескочив через два или три значка, стояло слово «Котка».

Но ведь это он, Шубин, назвался Пирволяйненом на борту «Летучего Голландца»! И придумал вдобавок, что он из города Котка!

Шубин поспешно нагнулся, оберегая листки, боясь, что их вырвет ветром из рук и унесет.

Но больше ничего не удалось прочесть. Закорючки, одни закорючки, черт бы их подрал!

Шубин выпрямился.

— Кого проворонил-то! Эх! — с сердцем сказал он Князеву. — Знаешь, кто это был? Наверно, гонец, курьер, связной с «Летучего Голландца»!

— Ой!

— Вот тебе и «ой»! Имел при себе донесение и тут же схарчил его — у вас на глазах, пока вы танцевали вокруг с автоматами!

Команда князевского катера сконфуженно молчала, стараясь не глядеть на Шубина.

Павлов удивленно присвистнул:

— Выходит, «Летучий» в Пиллау?

Шубин раздраженно дернул щекой. Нелепый вопрос! Как будто о «Летучем» можно сказать что-нибудь наверняка!

Он смотрел в бинокль на полоску берега, которая дразняще колыхалась вдали. Поскорей бы скомандовали штурм этого Пиллау!

Обратно на базу гнали во весь опор.

Шубин, спрятав драгоценные клочки в карман кителя и то и дело похлопывал себя рукой по груди: сохранены ли?

В штабе разберутся в этих закорючках! Говорят, есть такие

специалисты по разгадке шифров, прямо щелкают их, как орехи.

Потом мысли вернулись к связному, который предпочел утонуть, лишь бы не отдать донесение.

Какой, однако, непонятной, гипнотической силой обладал этот «Летучий Голландец», если мстительной кары его боялись даже больше, чем смерти!..

## **5. По вызову: «Ауфвидерзеен»...**

Выйдя к границам Восточной Пруссии, Советская Армия натолкнулась на так называемый вал «Великая Германия», простиравшийся на глубину до шестидесяти километров. Лишь на линии внешнего оборонительного обвода, окружавшего Кенигсберг, стояло девятьсот дотов. Отдельные форты носили названия прославленных прусских полководцев: Врангеля, Гнейзенау.

Только что в небольшом городке, неподалеку от Кенигсберга, с чугунным грохотом свалилась наземь статуя Гинденбурга. Ее подорвали немецкие минеры. По пятам за отступающими немецко-фашистскими войсками шла Советская Армия, и они страшились возмездия. Во временно оккупированных русских городах памятники Ленину расстреливались прямой наводкой из орудий. Фашисты мерили на свой аршин: думали, что русские тоже воюют со статуями.

Фельдмаршал Гинденбург лежал, поверженный в прах своими же солдатами. Но еще стояли, превратившись в форты, Гнейзенау и Врангель. Они смотрели на восток. Это было подобие тех аку-аку, каменных статуй, которые стерегут остров Пасхи, устремив вдаль свои слепые глаза. Магией воспоминаний, словами-фетишами, своими мертвыми полководцами пытались немцы загородиться от опасности, неотвратимо, как океан, надвигавшейся с востока.

Туман, туман... Земля, размокшая от стаявших снегов... Голые, дрожащие леса...

По дорогам идут на Кенигсберг советские войска. Бредут в грязи пехотинцы, ползут, лязгая гусеницами, танки, громыхает артиллерия.

А моряки идут морем вдоль берега, чтобы тоже принять участие в битве за Восточную Пруссию.

В течение нескольких дней советские войска прорвали внешний, долговременный пояс обороны, овладели городами Инстербург, Тильзит, Гумбинен, Прейссиш-Эйлау и подступили к окраинам Кенигсберга.

В штабе фронта стоял фанерный макет города, очень большой, тридцати шести метров в диаметре. Командиры частей по многу раз проигрывали здесь предстоящий штурм.

Он был звездным — то есть начался сразу со всех сторон. Согласованность во время такого штурма особенно важна.

На исходе четвертого дня ожесточенных уличных боев генерал от инфантерии Ляш подписал в подземном блиндаже акт о капитуляции. Из ста пятидесяти тысяч человек немецкого гарнизона остались в живых только девяносто две тысячи.

Сражение за Восточную Пруссию подходило к концу. Поляки настойчиво нажимали с берегов Вислы. Кое-кто из фашистов уже бежал на полуостров Хелл и оттуда через Борнхольм — в Швецию.

Но аванпорт Кенигсберга — его морские ворота были еще на замке. Крепость Пиллау держалась.

Это была первоклассная, неоднократно модернизированная крепость. В учебниках истории с гордостью упоминалось о том, что в свое время ее не сумел взять Наполеон.

После падения Кенигсберга в Пиллау продолжали непрерывно поступать подкрепления из Данцига (Гданьска) по узкой косе Фриш-Неррунг, перегораживавшей залив.

По ней же эвакуировали технику и раненых.

Для того чтобы взять Пиллау, нужно было перехватить косу клещами. Сделать это приказали морякам.

С суши крепость должен был одновременно штурмовать армейский корпус.

Для согласования действий Шубин побывал в его штабе.

Попутно он не преминул поинтересоваться результатами расшифровки донесения, которое было передано армейцам.

Да, специалисты сумели раскусить этот орешек! Он, впрочем, оказался не из твердых. Для более сложной зашифровки, видимо, не было подходящих условий.

На первом клочке бумаги прочли:

«...Пирволяйнен, летчик из города Котка... не было моим упущением... командир сам... срочном погружении, как я уже доносил».

Из этого можно было заключить, что кто-то, помимо командира, регулярно информировал свое начальство обо всем происходящем на подводной лодке. В какой-то связи вспоминался и случай с финским

летчиком.

Однако это относилось к прошлому.

О настоящем и будущем говорилось на втором клочке, который был еще более скомкан и надорван по краям, чем первый.

Вот что удалось разобрать на нем:

«...Пиллау в ожидании... кладбище... взять на борт пассажира... условному сигналу „Ауфвидерзеен“...»

Перебрасывая мостики между словами, нетрудно было восстановить фразу целиком. Она, вероятно, выглядела так:

«(В настоящее время находимся в) Пиллау в ожидании (чего-то!) на кладбище, (готовясь или будучи готовы) взять на борт пассажира (по условному сигналу „Ауфвидерзеен“.

Шубин был ошеломлен. Буквы прыгали и кувыркалились перед его глазами, словно бы он еще стоял в рубке своего подскакивающего на волнах катера.

Сначала больше всего поразили слова: «условному сигналу „Ауфвидерзеен“.

Так, стало быть, этот надоедливый мотив, впервые услышанный в шхерах, был условным сигналом!

А Шубин-то считал, что мотив привязался к нему по случайному совпадению!

Ничего подобного! «Ауфвидерзеен» был связан с «Летучим Голландцем», имел самое прямое и непосредственное отношение к тем еще не разгаданным тайнам, которыми битком набита окаянная лодка!

Шубин со вниманием перечитал текст.

Итак, «Летучий» — в Пиллау! По крайней мере, был там в момент отсылки донесения. Будем надеяться, еще не ушел.

Но зачем ему забираться на кладбище! Как это понимать — «кладбище»?

Шубин в раздражении сломал папиросу.

Однако главное было не в этом. Главное было в словах: «взять на борт пассажира».

Кто этот пассажир?

Шубин, конечно, сразу же раскалился добела:

— Вот бы меня в Пиллау с корабельным десантом! Я бы пошуровал там! Вскрыл бы подводную лодку, как консервную банку, выковырял оттуда этого пассажира!

— А вы не волнуйтесь, капитан-лейтенант! — сказали ему. — Вскроют вашу «консервную банку» без вас. Все будет нормально.

Занимайтесь своим делом. Спокойно высаживайте десант, топите корабли!

В общем, на Шубина побрызгали в штабе холодной водичкой. А он, понятно, зашипел, как утюг.

Каково? «Не волнуйтесь!»! «Спокойно топите, высаживайте»!

Шубин, очень недовольный, уехал.

В машине он не переставал бурлить.

Князев и Павлов, сидевшие на заднем сиденье, многозначительно переглядывались. Они хорошо знали своего командира, понимали его и любили со всеми его слабостями.

Дело в том, что Шубин очень ревниво относился к славе своего отряда, своего дивизиона, своей бригады. К этому прибавилось сейчас и некое искони существующее боевое соперничество между флотом и армией.

Шубину казалось обидным, что «Летучего Голландца» захватит кто-то другой, а не он, Шубин. И добро бы еще захватили моряки, а то ни с того ни с сего почему-то армейцы, — впрочем, конечно, вполне уважаемые товарищи.

В центре Кенигсберга спустил скат. Князев и Павлов остались помогать шоферу, а Шубин решил пройтись, чтобы поразмяться и успокоиться.

Вокруг был притихший город-пепелище.

«Как аукнется, так и откликнется, — подумал Шубин, вспомнив про Ленинград. — Аукнулось на одном конце Балтики, откликнулось на другом».

Сюда бы специальными эшелонами этих фабрикантов оружия, военных монополистов, всю злую, жадную свору! Взять бы за шиворот их, встряхнуть, ткнуть носом в эти кучи щебня, в свернувшуюся клубком железную арматуру, в то, что осталось от знаменитого некогда Кенигсберга! Смотрите! Осознайте! Прочувствуйте! Это вы превратили его в пепелище, ибо такова неотвратимая сила отдачи на войне!

Странно было видеть здесь сирень. Нигде и никогда не встречал Шубин так много сирени, и такой красивой. Махровая, необыкновенно пышная, она настойчиво пробивалась повсюду между руинами. В зарослях ее начинали неуверенно пощелкивать соловьи, будто пробуя голос и с удивлением прислушиваясь к тишине, царящей вокруг.

Шубину пришло на ум, что штурман «Летучего Голландца» родом из Кенигсберга. В кают-компании, за обедом, он спросил мнимого

Пирволяйнена, не бывал ли тот в Кенигсберге. И мнимый Пирволяйнен едва удержался тогда, чтобы не созорничать, не брякнуть: не бывал, мол, но надеюсь побывать!

Вот и побывал!

Тихий голос рядом:

— Эссен!<sup>[31]</sup>

Пауза.

Снова робкое:

— Эссен...

Шубин опустил глаза. Рядом стоял мальчик лет шести в штанах с помочами. Обеими руками он держал маленькую пустую кастрюльку. Такие ребятишки с кастрюльками, судками, мисочками всегда толпились у походных кухонь во взятых нами немецких городах.

Шубин присел на корточки перед малышом:

— Ви хайст ду, бубби?<sup>[32]</sup>

— Отто...

Кого-то смутно напомнил этот малыш. Кого?.. Худенькое серьезное лицо, удивленно поднятые темные брови... Нет, не удалось припомнить!

«Эссен»...

Сила отдачи на войне слепа, как всякая сила отдачи. Орудие, которое стреляло по Ленинграду, откатившись, ударило не Гитлера и не Круппа, а этого несмышленища, горемычного Отто из Кенигсберга!

Шубин вернулся к машине. Рывком он вытащил оттуда взятые в дорогу консервы, черный хлеб, пакеты с концентратами.

Мальчику представился, наверное, добрый Санта Клаус с его рождественским мешком. Только мешок этот был цвета хаки, солдатский.

Шофер, мигая белесыми ресницами, с удивлением смотрел на Шубина.

— Ты что?

— Сказано же, товарищ гвардии капитан-лейтенант: убей немца!

— Дурень ты! О вооруженном немце сказано, с автоматом на шее, оседлавшем танк, и тем более на нашей территории! А из этого немца еще может, выйдет толк!.. Как считаешь, Отто? Выйдет из тебя толк?

Подарки не умещались в кастрюльке, вываливались из рук. Шубин огляделся. В пыли лежала пробитая немецкая каска. Он поднял ее, перевернул.

— Вот и кастрюлька нашлась!

И на серьезном личике наконец появилась улыбка, слабое отражение

всепокоряющей шубинской улыбки.

Шубин пошел вместе с Отто, чтобы у него по дороге не отняли еду. Из подвалов, щелей, дверей и окон, как скворцы из скворечен, высовывались молчаливые немцы и смотрели на это шествие. Впереди шагал немецкий мальчик, прижимая к себе перевернутую каску, доверху наполненную продуктами, следом шел русский моряк.

Дом Отто был пещерой в буквальном смысле слова. Над низким входом нависали какие-то рельсы и бетонные плиты с торчащими прутьями арматуры.

Из пещеры выглянула старая женщины — или она только казалась старой? Изможденное лицо ее было припорошено пылью.

Шубин кивнул малышу и быстро зашагал к машине, испугавшись изъятий благодарности.

Потом «Виллис», виляя меж развалин, быстро проехал через Кенигсберг и скрылся в облаке пыли...

Каким же ты будешь, бубби, когда вырастешь? Двадцать тебе сравняется, наверно, в 1959 или 1960 году. Забудешь ли ты этого русского военного моряка, который подарил тебе полную каску продуктов среди руин Кенигсберга?

Неужели забудешь?..

В город Пальмниккен, где стояли гвардейские катера, Шубин вернулся к вечеру.

Все заметили, что он не то чтобы невеселый — командиру перед боем нельзя быть невеселым, — а какой-то вроде бы задумчивый.

Он присел на бухту троса, закурил, загляделся на светлое, почти белое море, приплескивавшее у его ног.

Привычные, домашние звуки раздавались за спиной.

Боцман жужжал неподалеку, как хлопотливый шмель: жу-жу-жу, жу-жу-жу! Кого это он жучит там? А, юнгу!

Потом юнга вприпрыжку пробежал мимо, напевая сигнал, который исполняют на горне перед ужином:

Бери ложку, бери бак  
И беги на полубак!

Значит, команда садится ужинать.



У Шурки в детстве было мало детского. Блокада, потом пребывание в дивизионе среди взрослых наложили на него свой отпечаток. (Впрочем, Шубин с гордостью говорил о своем воспитаннике: «Возмужал, не очерствев!») Но тем трогательнее были прорывавшиеся в нем порой мальчишеское озорство и смешные выходки.

Шубин подозвал юнгу, всмотрелся в его лицо, вздохнул:

— Худой ты у нас какой! Вытянулся за этот год! Не надо бы тебе в операцию!

— Почему?

— Опасно!

Шурка был поражен. Опасно? Но ведь на то и война, чтобы было опасно. И он не первый год воюет! Командир еще никогда не заводил таких разговоров. А вдруг на самом деле не возьмет? Он капризно надул губы. Когда же и покапризничать, как не перед операцией?

— Ну ладно, ладно! Пойдешь в операцию!

Чтобы утешить юнгу, Шубин показал ему карту побережья, на которой коса Фриш-Неррунг выглядела, как ножка гриба-поганки.

— А мы чик по этой ножке! Перережем, и шляпка отвалится!

— Перережем, отвалится, — повторил юнга, с обожанием снизу вверх глядя на Шубина.

И всегда что-нибудь придумает командир!

Не мешкая, Шурка отправился рассказывать приятелям про «гриб-поганку», выдавая, по обыкновению, командирскую шутку за свою. Он не успел еще насладиться всеобщим одобрением, как боцман окликнул его и приказал ложиться спать.

Как! Так рано — спать?

Но это было распоряжением гвардии капитан-лейтенанта, а в таких случаях пререкаться не полагалось. Ночью предстоит трудная работа, надо получше отдохнуть.

Сам Шубин остаток вечера просидел над планом Пиллау, который удалось раздобыть в штабе.

Князев с интересом прислушивался к его бормотанию.

— Кладбище? — рассуждал вслух Шубин. — Что это за кладбище?.. Погребальная романтика, черт бы ее драл!.. Корабль мертвых... Стоянка на кладбище...

Он долго возился с картой, что-то измеряя на ней. Наконец с удовольствием потянулся — так, что кости хрустнули!

— Ну, понял? — спросил Князев.

— Да есть догадка одна. Подожду говорить пока. Возьмем Пиллау,

проверим!

Но настроение у него определенно улучшилось. Он отправился спать на катер, в моторный отсек. Любил спать на моторе, подложив под себя капковый жилет. Хорошо! Как на печи в русской избе! Снизу, от мотора, исходит приятное тепло и легкий усыпляющий запах бензина. Авиационный бензин пахнет очень уютно!

Шубин заснул мгновенно, едва лишь накрылся регланом. Бессонница — это для нервных и малокровных! Военный моряк должен уметь спать где угодно, когда угодно и даже сколько угодно — про запас!

Сон был сумбурный, но приятный. Бензин, что ли, навевает такие сны? Густые заросли были вокруг, и листья, падая, кружились — совсем медленно и беззвучно. В парке не было никого. Только он и Виктория были там.

Они стояли друг против друга, тихо смеясь, держась за руки. Между ними возникло и все усиливалось острое и томительное ощущение близости...

Вдруг из-за огненной куртины выступил Фаддеичев. Вытянувшись, он приложил руку к фуражке:

«Разрешите доложить, товарищ гвардии капитан-лейтенант...»

Открыв глаза, Шубин смущенно взглянул на стоявшего над ним боцмана, словно бы тот мог подсмотреть его сон.

— Приказали разбудить! Время — двадцать два тридцать!

Шубин плеснул себе в лицо холодной воды, энергично вытерся полотенцем, и сонной истомы как не бывало. Только осталась смешная досада на боцмана: почему не дал досмотреть такой хороший сон?

— Князев! Подъем! Начинаем посадку десанта!

## 6. Штурм Пиллау

Отряд Шубина шел с первым броском.

На море был штиль, и это было хорошо, потому что десантники, размещенные в желобах для торпед, сидели в обнимку, чтобы занимать меньше места и не вывалиться на крутом развороте.

Каждый катер поднимал до сорока человек и напоминал сейчас московский трамвай в часы пик.

Лунная дорожка выводила прямо на косу.

Хорошим ориентиром также было облако. Оно было багровое и висело над горизонтом на юго-западе. Штурм Пиллау с суши начался.

Десантники должны были перехватить косу Фриш-Неррунг с обеих сторон.

Со стороны Кенигсберга двигался батальон морской пехоты, посаженный на бронекатера. Со стороны моря на торпедных катерах и катерных тральщиках двигался стрелковый полк.

Катера шли как бы в двойном оцеплении.

Три группы прикрытия выдвинулись на запад, север и юг, чтобы обезопасить корабли десанта от возможного нападения. Кроме того, были еще корабли охранения, малые канонерские лодки, которые неотлучно сопровождали торпедные катера.

Подойдя к берегу, Павлов застопорил ход.

Лес на косе стоял, весь пронизанный лунным светом. Между деревьями вспыхивали горизонтальные факелы.

Катер, двигаясь по инерции, ткнулся носом в песчаную отмель.

— Десант! На высадку!

Солдаты торопливо перешли на нос и стали прыгать в воду. Здесь было неглубоко.

Какое-то время катер оставался неподвижным. Это было очень недолго, две или три минуты. Павлов почти сразу же дал полный назад. Но немецкие артиллеристы «ущучили» его. Рядом раздался нестерпимо резкий лопающийся звук.

Павлов локтем подтолкнул Шубина и тяжело осел к его ногам. Шубин попытался поднять его, но тело было тяжелым, безжизненным.

Боцман доложил, что убиты Дронин и Степаков. Снарядом разбило правый мотор, повредило рулевое управление. В моторном отсеке возник пожар.

Все уцелевшие моряки во главе с Шубиным бросились тушить его.

Тем временем другие торпедные катера, подходя к берегу, развели сильную волну. Она приподняла неуправляемый катер Павлова и, развернув его лагом, выбросила на отмель.

Шубин выскочил из моторного отсека, огляделся:

— Юнга! Семафор на катера: подойти ко мне, стащить с мели!

Первым к Шубину приблизился Князев. Несмотря на сильный обстрел, он подходил очень медленно — давал ход, потом стопорил машины, чтобы не сесть самому на мель. Через несколько минут к нему с такими же предосторожностями присоединились еще два катера.

Им удалось завести швартовы, но катер Павлова так присосало к песку, что пеньковые концы рвались один за другим.

Всплески от снарядов поднимались уже рядом с катерами-

спасателями. Матросы Князева поспешно заделывали пробоину в таранном отсеке.

Шубин понял, что, возясь с буксировкой, рискует другими катерами своего отряда.

Тогда скрепя сердце он решил оставить гибнущий катер и высадиться с остатками команды на вражеский берег. При создавшемся положении это было менее опасно, чем мешкать здесь, на виду у береговых артиллеристов.

Шубин приказал катерам-спасателям отходить. Потом обернулся к своим матросам:

— Автоматы, гранаты разобрать! На берег — за мной!

Шурка прыгнул в воду плашмя, погрузился с головой, но кто-то сразу же подхватил его и поволок за собой к берегу.

Отфыркиваясь, он поднял мокрое лицо. С одной стороны его поддерживал Шубин, с другой — боцман.

Выбравшись на берег, Шубин огляделся. Совсем мало черных бушлатов подле него. Живы только боцман, радист и юнга. Павлова нет, Дронина нет, Степакова нет.

Но в бою надо думать только о живых! Будет время помянуть мертвых! Если будет...

Песчаные дюны, поросшие сосняком, были вдоль и поперек изрезаны траншеями. Сгрудившись в узком лесистом коридоре, зажатые с боков заливом и морем, люди дрались с невиданным ожесточением, зачастую врукопашную.

Бой на косе разбился на отдельные яростные стычки.

Беспрерывно раздавалась быстрая трескотня, словно бы кто-то прорывался через лес напролом, ломая кусты и сучья. От острого запаха пороховых газов першило в горле.

И все время над лесом на бреющем кружили наши самолеты.

Ширина косы Фриш-Неррунг не превышает нескольких десятков метров. К сожалению, не удалось соблюсти полную точность при высадке на косу обеих десантных групп. Стрелковый полк и морские пехотинцы были разобщены, очутились на расстоянии трех-четырёх километров друг от друга. Пространство это было почти сплошь заполнено немцами.

Взбегая на отлогий песчаный берег, Шубин не утерпел и оглянулся. Катер Павлова почти лежал на борту, продолжая гореть. Оранжевое пятно расплылось рядом — отблеск пламени на воде.

Жалость сдавила сердце. Не думал Шубин, что так придется

расстаться с катером. Надеялся довоевать на нем до конца. Но — не довелось!

А ведь сколько раз выручали они друг друга из беды! И в шхерах. И у камней Ристна. И в бесчисленных морских боях...

Он круто повернулся к морю спиной, чтобы не видеть агонии своего катера.

Подле моряков теснились пехотинцы:

— Ого, и полундра<sup>[33]</sup> с нами! Давай, давай, полундра!

Воздух звенел от пуль, будто над ухом все время обрывали тонкую, туго натянутую струну.

Вот как оно получилось-то! Воюя с первого дня войны, Шубин только под конец ее услышал это дзиньканье, которое ранее всегда заглушал рев моторов.

Отступавшие от Пиллау немецко-фашистские войска смешались с подкреплениями, которые подходили из Данцига.

Все это сгрудилось в одном месте, примерно посредине косы. Образовалось какое-то крошево: вопящие люди, танки, увязающие в песке скрипящие повозки, дико ржущие кони.

В этом мелькании теней и огней, посреди призрачного леса, зажатого с обеих сторон морем, порой трудно было разобраться, где свои, где чужие.

Но Шубин упорно прорывался вдоль косы к Пиллау.

Светало. Уже ясно видны были дома на противоположной стороне.

Десантники выбежали к причалу. Все паромы были угнаны. Но это не остановило солдат. Расстояние между косой и городом не превышало ста метров. Солдаты стали наспех сбивать плоты или связывали по две, по три пустые канистры и, вскочив на них, плыли к Пиллау, кое-как отгребаясь досками. Некоторые, забросив за плечи сапоги и автоматы, кидались вплавь — таков был яростный порыв наступления!

Шурка упал на какое-то подобие плота рядом с Чачко.

А где командир?

Вот он!

Как морского конька, Шубин оседлал несколько связанных вместе канистр и, сгорбившись, с силой греб веслом. Где он раздобыл весло?

Тритоны на фонтане, Синдбад-мореход верхом на дельфине, тридцать три богатыря, выходящие на берег, — все смешалось в голове у юнги...

Шубин обогнал его и Чачко. Вода вокруг колыхалась, взбаламученная множеством плывущих к набережной людей.

Набережная приближалась. Как злая собачонка, взад и вперед прыгал на ней маленький желтый танк. Ствол его орудия мелко трясся, выбрасывая

вспышки — одну за другой.

Вдруг танк будто ударили палкой по спине. Он закружился на месте и замер.

Шубин первым выскочил на берег. В ботинках хлюпала вода. Даже не отряхнувшись, он побежал вдоль набережной. Потом обернулся, махнул рукой своим матросам, свернул за угол в какой-то переулок.

В чужом городе он ориентировался свободно, словно бы уже не раз бывал в нем. Недаром так старательно изучал план Пиллау накануне штурма!

Под ногами хрустело стекло. Все окна были выбиты. Витрины магазинов зияли черными провалами.

Воздух превратился в одну сплошную, беспрестанно вздрагивающую струну.

Из-за красно-белой башни маяка стучали пулеметы.

Обходя их, Шубин кинулся в какой-то двор. Матросы и пехотинцы последовали за ним.

Они очутились внутри каменного колодца. Привалившись к стене, лежал опрокинутый велосипед. Колеса его еще вертелись.

Весь двор был разноцветный. Его устлала письяма, в конвертах и без конвертов, смятые, разорванные, затоптанные сапогами. Вероятно, в этом доме помещалось почтовое отделение.

Но тут же были и жилые квартиры. Откуда-то доносился плач. Детский голос сказал просительно:

— Штиль, муттерхен! Зи зинд хир!<sup>[34]</sup>

Шурка подполз к одному из подъездов, заглянул внутрь. Лестничная клетка! Под лестницей, накрывшись какими-то рогожами, сидело на корточках несколько гражданских. Из кучи выглянула девочка и тотчас же опять нырнула под свои рогожи.

Шурка нахмурился, осторожно прикрыл дверь. Разве это правильно: им, Шуркой, пугать маленьких детей?

Юнга оглянулся. Его командир неподвижно стоял у стены, нагнув голову и глядя в одну точку. О чем он думает? Наверно, вспоминает план Пиллау?

И город-то штурмует, руководствуясь какой-то одному ему понятной штурманской прокладкой. Судя по всему, прорывается не просто к гавани — к определенному месту в этой гавани!

В затылок Шурке жарко дышали солдаты. Они постепенно

скапливались во дворе и, шурша письмами, переползали под стенами. На середину двора залетали шальные пули.

Мокрые гимнастерки дымились. Из-за крыш уже поднялось солнце.

Старший сержант, командир взвода, то и дело вскидывал глаза на Шубина, ожидая его приказаний. Нужды нет, что тот не пехотинец, а моряк. Авторитет и обаяние волевого офицера скажутся в любых трудных условиях и объединят вокруг него солдат.

Шубин выглянул из-под арки ворот, что-то прикинул, сравнил. Потом обернулся и сделал несколько шагов от ворот внутрь двора. Он улыбался.

И вдруг, будто трескучим ветром, сдуло у него с головы фуражку. Кувыркаясь, она отлетела в угол двора.

Но Шубин продолжал стоять. Заглянув снизу, Шурка с ужасом увидел, что глаза его командира закрыты. Он стоял и качался. Потом упал.

Ему не дали коснуться земли, подхватили под руки.

Боцман трясущимися руками пытался оказать первую помощь. Со всех сторон протягивались бинты из индивидуальных пакетов.

Несколько солдат, грохоча сапогами, кинулись по лестнице на чердак. Из окна с лязгом и звоном вылетел пулемет. Вместе с ним упал и пулеметчик. Это был немец-смертник, оставленный на чердаке для встречи десанта и прикованный цепью к пулемету.

Но Шурка не смотрел на него. Он не сводил глаз со своего командира. Лужа крови медленно расплзлась под ним, захватывая все больше разноцветных конвертов.

К Шубину протолкался Чачко с автоматом на шее. Фланелевка его была разодрана в клочья, из-под нее виднелась тельняшка. Увидев распростертое на земле неподвижное тело, он отшатнулся, потом отчаянно закричал, будто позвал издали:

— Товарищ гвардии капитан-лейтенант!

— Тише ты! — строго сказал старший сержант, поддерживая голову Шубина. — Отходит гвардии капитан-лейтенант.

Минуту Чачко остолбенело стоял над Шубиным. Багровое, лоснящееся от пота лицо его исказила гримаса. Но он не зарыдал, не заплакал, только длинно выругался, сдернул с шеи автомат и ринулся со двора обратно, в самую свалку уличного боя...

Появились санитары.

Перекинув через плечо автомат, Шурка бежал рядом с носилками. Санитары попались бестолковые. Шарахались от каждой пулеметной очереди, встряхивали носилки. Бежавший с другой стороны Фаддеичев ругал их высоким рыдающим голосом.

При толчках голова Шубина странно, безжизненно подсакивала, и юнга все время пытался уложить ее поудобнее.

Только бы донести до госпиталя! Только бы живого донести!

Шурка стоял в коридоре особняка, где быстро, по-походному, развернули полевой госпиталь, и смотрел в окно на канал и свисавшие над ним ветки. В зеленоватой воде отражалось многоугольное, из красного кирпича здание крепости.

За плотно прикрытой белой дверью находился гвардии капитан-лейтенант. Только что ему сделали переливание крови — перед операцией.

Князев, с забинтованной головой, пришел в госпиталь. В коридоре ему удалось перехватить какого-то врача и поговорить с ним. Шурка не слышал разговора, но видел, как оттопырилась нижняя губа врача и еще больше осунулось худое, серое от пыли лицо Князева. Плохо дело!

— Не приходит в сознание, большая потеря крови, — сказал Князев, подойдя к юнге. — Насчитывают шесть или семь пулевых ранений! Другой бы уже умер давно...

Воображению Шурки представился раненный в прошлом году торпедный катер, из которого хлестала во все стороны вода. Гвардии капитан-лейтенант сумел удержать катер на плаву, спас от потопления. Кто спасет гвардии капитан-лейтенанта?

Князев ушел и увел с собой боцмана. Но юнге разрешено было остаться. Да и как было не разрешить ему остаться?

Шурка занял позицию в коридоре у окна, напротив шубинской палаты, и стоял там, провожая робким взглядом проходивших мимо врачей. Новые партии раненых прибывали и прибывали.

Сердобольные нянечки покормили юнгу кашей. Торопливо поев, он снова стал, как часовой, у дверей. Конечно, это было против правил, но ни у кого не хватало духа прогнать его, — таким скорбным было это бледное, худое, еще по-детски не оформившееся лицо.

Где-то за стеной тикали часы. Они, вероятно, были большие, старинные, и бой у них был красивый, гулкий. Сейчас они старательно отмеривали минуты жизни гвардии капитан-лейтенанта, и Шурка ненавидел их за это.

Шесть или семь ранений! Можно ли выжить после семи ранений?

Хотя гвардии капитан-лейтенант всегда выходил из таких трудных переделок!

Однажды в присутствии Шурки он сказал Павлову:



«Конечно, я понимаю, что рано или поздно умру, и все-таки, знаешь, не очень верю в это!»

А сейчас гвардии капитан-лейтенант лежит без сознания, воля его парализована — корабль дрейфует по течению к роковой гавани.

Только бы он пришел в себя! Мозг и воля примут командование над обескровленным, продырявленным телом и, быть может, удержат его на плаву.

О, если бы он очнулся хоть на две или три минуты! Шурка стал бы на колени у койки и шепнул на ухо — так, чтобы никто не слышал:

«Не умирайте, товарищ гвардии капитан-лейтенант! Вам нельзя умирать! Ну скажите себе: „Шубин, живи! Шубин, живи!“ И будете жить!..»

Накрытого белоснежной простыней гвардии капитан-лейтенанта провезли мимо Шурки на операцию, потом через час с операции.

Юнга так и не увидел его, хотя поднимался на цыпочки. Гвардии капитан-лейтенанта заслоняли врачи. Они шли рядом с тележкой и, показалось Шурке, прерывисто дышали, как замороженные лошади после тяжелого пробега.

В коридоре зажглись лампочки, санитарки начали разносить ужин. Будничная жизнь госпиталя шла своим чередом, а двери палаты были по-прежнему закрыты перед юнгой. Командир его никак не сдавался — не шел ко дну, но и не всплывал.

За окном стемнело.

Лишь в начале ночи заветные двери распахнулись, и врачи вышли из палаты. До Шурки донеслось:

— И без того долго держался. Был безнадежен.

От этого «был» у Шурки похолодело внутри.

— Да, железный организм!

— А по-моему, слишком устал. Он так устал от войны...

Переговариваясь, врачи прошли по коридору. Шурка, будто окаменев, продолжал стоять на своем посту у дверей.

Тиканье часов наполнило уши, как бульканье воды. Часы за стеной словно бы сорвались с привязи, стучали оглушительно и быстро.

Из палаты вышла сестра.

— А ты все ждешь? — сказала она добрым голосом и вздохнула. — Нечего тебе, милый, ждать! Иди домой! Иди, деточка!

Она сделала движение, собираясь погладить юнгу по голове.

Но он уклонился от ее жалостливой ласки. Рывком сбросив с себя больничный халат и нахлобучив бескозырку, стремглав кинулся к выходу из

госпиталя.

Он бежал по длинному коридору, потом по лестнице, наклонив голову, громко плача. Не помнил уже о том, что он военный моряк, а моряку не положено плакать. Он никогда и не плакал раньше, не умел. И вот...

Гвардии капитан-лейтенант, Шуркин командир, самый счастливый человек на Балтике, — был! Его нету больше, нет!

А за этой дикой, разрывающей душу мыслью неотступно бежала другая: что же будет теперь с Мезенцевой? Как он, Шурка, сумеет сообщить, рассказать о смерти своего командира его вдове?

**КНИГА ВТОРАЯ**  
**МЕЗЕНЦЕВА И ЛАСТИКОВ**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1. Орден вдов

Иногда возникает скачок в чередовании событий.

Где-то погиб человек — при загадочных обстоятельствах, вдали от своих близких, — и последний кусок его жизни, очень важный, пропал для них, провалился во мрак.

Так случилось с Викторией. Прощальный поцелуй, объятие на вокзале, и все! Почти сразу — ей показалось, что сразу, — она узнала, что Шубина нет.

Что-то твердили ей о песчаной косе, о немце-смертнике, прикованном цепью к пулемету, — она не понимала ничего. При чем здесь коса, цепь, пулемет? Для нее Шубин умер в тот день, когда они прощались на перроне Балтийского вокзала. Больше она не увидела его, и он умер. Только привкус горечи и ощущение боли остались на губах, — с такой силой они поцеловались на прощанье.

В детстве Виктория пережила крымское землетрясение. Она приехала в Алупку с отцом накануне, поздно вечером. Воздух был удивительно плотным, почти вязким. Массой расплавленного асфальта навалился он на побережье. И ритм прибоя был странным — с какими-то провалами, как пульс больного. Что-то надвигалось — не то с моря, не то с гор...

И это ощущение повторилось спустя много лет — предчувствие надвигающейся катастрофы. Да, катастрофы! Ибо лишь с нею можно сравнить обыденный факт: где-то умер человек!..

Вечером Виктория, придя домой со службы, подошла в шинели и берете к радиоприемнику, включила его. Только после этого она стала раздеваться.

В ту весну каждый вечер был праздничным — ровно в двадцать передавались приказы Верховного Главнокомандующего. Потом гремели салюты и небо расцвечивалось фейерверком.

С трудом переводя дыхание — очень спешила, боясь опоздать, — Виктория услышала знакомый голос радиокomentатора.

Она остановилась с полотенцем в руках, но швырнула его на стул, разобрав первые слова. Речь шла об очередной победе войск Третьего Белорусского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.

Голос звучал, как труба горниста над бранным полем:

— «...командование решило перерезать косу. Со стороны залива был высажен десант в составе батальона морских пехотинцев, со стороны моря — стрелковый полк на гвардейских торпедных катерах».

Виктория стояла, напряженно вытянувшись, прижав руки к груди.

Гвардейские торпедные катера!

— «После ожесточенных уличных боев, — продолжал греметь голос, — войска Третьего фронта овладели городом и крепостью Пиллау, последним оплотом гитлеровцев на Земландском полуострове. Удар сухопутных частей, при поддержке кораблей и подразделений Краснознаменного Балтийского флота, привел к уничтожению тридцатипяти тысячной группировки противника и полному очищению полуострова. Десантники и военные моряки ценой значительных потерь в личном составе обеспечили успех этой операции, вписав золотыми буквами свои имена...»

Виктория опустилась на стул. Сердце ее так колотилось, что она должна была обеими руками держаться за него.

«Значительные потери!» Она была военным человеком, умела читать сводки. Вся коса, наверно, залита кровью наших солдат и моряков.

Борис?.. Нет, не может быть!

Но ночью опасение перешло в уверенность. Виктория вставала с постели, ходила взад и вперед по комнате, грея в руках осколок снаряда, подаренный Шубиным. «Станешь бояться, посмотри — и пройдет», — сказал он. Но он был счастлив на море. А этот бой происходил на суше, на какой-то песчаной косе.

И когда спустя несколько дней на пороге комнаты появился дрожащий от волнения Шура Ластиков, а из-за спины его выглянул незнакомый капитан-лейтенант, тоже с бледным, удрученным лицом, Виктория не спросила ничего. Только поднялась и схватилась за горло.

Потом она услышала неприятный, скрежещущий, бьющий по нервам крик. Голос был незнакомый. Но это кричала она сама...

Вокруг, как ни странно, не изменилось ничего.

Люди каждый день спешили на работу, а с работы — к себе домой. Здания стояли на своих местах. По-прежнему светило неяркое ленинградское солнце. Иногда шел дождь. Было чуточку легче, когда дождь.

Да, все было, как прежде. Только, увидев лицо Виктории, люди, весело настроенные, с поспешностью гасили улыбку, как гасят папиросу в

присутствии больного.

Лицо высокой худой женщины, которая шла, смотря только вперед, было неподвижно и очень бело, будто заоченело на ледяном ветру. Скорбь надменна! Она как бы обособляет человека, приподнимает над другими людьми.

И вместе с тем гордая Виктория стала тонкослезкой.

Однажды, возвращаясь со службы домой, она присела на скамейку в сквере напротив Русского музея. Вечер был тихий, но из-за крыш поднималась туча.

Дети, большеглазые, худенькие, с гомоном и писком носились вокруг.

Громыхнул гром, первый, майский. Мальчик лет пяти, бросив мяч, кинулся к своей матери, сидевшей на скамейке, уткнулся в ее колени.

— Налет, мама? Налет?

— Что ты, лапушка! Это гром.

Малыш пугливо, из-под материнской руки, посмотрел на небо:

— А чей это гром, мама? Наш или немецкий?

Сидевшие на скамейках с удивлением подняли глаза на женщину в морском кителе с погонами капитана. Она вскочила и, нагнув голову, быстро пошла, почти побежала в сторону Садовой.

Так жаль — до слез — стало этого малыша, который не знал еще, что такое гром, но уже знал, что такое налет!

И было жаль себя. Мучительно ныло, разламывалось на куски сердце: сына бы ей, сына! Чтобы хмурился, как Шубин, и улыбался, как он, и, протягивая ей осколок, говорил: «Если будешь бояться за меня, посмотри — и пройдет!»

Вот уж прозвучали и салюты девятого мая. Виктория ходила по празднично украшенным улицам и радовалась вместе со всеми. Но привкус горечи оставался на губах. Теперь он, этот привкус, всегда был с нею, чего бы ни коснулись губы.

И она безошибочно угадывала своих товарок, по признакам, почти неуловимым. Одна низко опустила голову, уступая дорогу мужчине и женщине, которые об руку шагали по тротуару, натываясь на прохожих, ослепленные своим счастьем. Другая поднесла платок к глазам. Почему? А! Увидала малыша, который подскакивает на руках у отца, загорелого, улыбающегося!

То был как бы тайный орден вдов — наподобие масонского. Стоило женщинам обменяться взглядом в празднично-шумной толпе, чтобы без слов понять друг друга...

Снотворным Виктория оглушала себя на ночь, но тем страшнее были

пробуждения. Воющая тоска охватывала по утрам. Все делалось пугающе ясным, отчетливым, как при свете медленно опускающихся немецких «люстр».

Хотелось спрятаться с головой под одеяло, чтоб продлить немного миг забвения.

Потом снотворные перестали помогать. Виктория начала просыпаться по ночам. Это было ужасно. Во сне видела Шубина, разговаривала с ним, и вот пробуждалась одна — в тихой темной комнате!

Подушка, казалось, еще хранит вмятину от его головы. Губы пересохли и щемят, жажда его губ. Плечи и руки тоскуют и томятся по его твердым ласковым пальцам.

Но его нет. По левую сторону кровати — стена, по правую — пустота. Безнадёжно тикают часы-браслет у изголовья...

Да, время в ее внутреннем мирке остановилось. Оно остановилось на семнадцати двадцати — столько показывали круглые вокзальные часы, когда Виктория провожала Шубина.

А в большом, окружавшем Викторию мире время продолжало торопливо бежать вперед и вперед. Миновал 1945 год, за ним и 46-й. Осенью 47-го года вернулся из эвакуации Грибов и прочел вводную лекцию по кораблевождению, после чего у него побывал курсант Ластиков.

Начались поиски разгадки «Летучего Голландца». Но они, как и все остальное в мире, шли мимо Виктории.

На имя Шубина между тем продолжали приходиться письма.

Виктория, не читая, с раздражением швыряла их в вазу на этажерке. Писали однокашники Шубина, которые, служа на Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах, еще не знали о его гибели. Но как не стыдно им не знать об этом? За что они так мучают ее, Викторию?

А весной 1948 года пришло письмо от Нэйла — почему-то из Западной Германии. Нераспечатанное, оно также отправилось в вазу и легло поверх груды других, пылившихся на этажерке писем...

Виктория нахмурилась, когда Шура Ластиков робко передал о желании Грибова навестить ее.

Этот-то ведь знает, что Шубина нет! Утешать хочет? Не нужны ей утешения!

Но потом она одумалась. Шубин всегда с любовью и уважением отзывался о своем профессоре. Отказать ему во встрече было бы неудобно.

Скрепя сердце Виктория согласилась.

Профессор был суховат и замкнут с виду и очень прямо держался. При нем нельзя было плакать — Шура предупредил, что он не выносит слез.

Однако и поведение его было таково, что не давало повода к слезам. Он не расспрашивал о Борисе, не заглядывал участливо в глаза. Поздоровавшись, коротко попросил извинить за беспокойство. Курсант Ластиков сказал, что у Виктории Павловны есть письма от друзей Шубина, возможно связанные с «Летучим Голландцем», а поскольку он, Грибов, занимается «Летучим Голландцем»...

Просматривая письмо Нэйла, он удивленно поднял брови, потом с неудовольствием покачал головой.

Лишь под конец визита профессор уделил внимание хозяйке.

— Вам переслали из Пиллау вещи Шубина?

— Некоторые.

— Не было ли среди них блокнотов, планов, карт?

— Нет. Вот его вещи. — Виктория указала на стену, где висела пустая порыжелая кобура на длинном ремне, а рядом тикали часы-браслет. — Часы идут. Завожу каждый день. Говорят, портятся, если не заводить.

Голос ее дрогнул.

Грибов посмотрел на Викторию и добавил мягче:

— Может показаться странным, что я не выражаю соболезнований. Это принцип. По-моему, соболезнования расслабляют.

— Да?

— Уверяю вас, — сказал Грибов еще мягче. — В горе понимаю толк.

Виктория наклонила голову — от Ластикова знала, что Грибов во время блокады потерял семью.

— Буду говорить лишь о деле. Это, — профессор поднял письмо, — полагалось передать мне без промедления. И уж во всяком случае вскрыть.

Слова его прозвучали как выговор.

— На вашем месте, — сказал он, — я бы обязательно поинтересовался тем, что пишет Нэйл. Ведь указан обратный адрес: Западная Германия, город такой-то, улица такая-то. И вы знаете, что Нэйл разделял ненависть Шубина к «Летучему Голландцу». Да, полагалось сразу вскрыть, прочесть и передать мне. Было бы лучше, чем предаваться никчемным самоистязаниям.

— Никчемным?! — Виктория выпрямилась. Шура Ластиков, присутствовавший при разговоре, привстал и с беспокойством оглянулся на шкафчик, где находились лекарства.

Но Грибов продолжал так же спокойно:

— Этот Нэйл входит, по его словам, в одну из комиссий, которые ищут



в Западной Германии секретные немецкие архивы. Вам известно, что там охотятся за архивами? Так вот, комиссии Нэйла посчастливилось наткнуться недавно на очень важный документ. Это шифрованная радиограмма с борта «Летучего Голландца», по-видимому последняя.

Шура не удержался от возгласа радости. Виктория промолчала, угрюмо кутаясь в шерстяной платок.

— Текст радиограммы... — Профессор заглянул в письмо: — Текст ее таков: «FN» докладывает: Бельты закрыты, отстаиваюсь Винете, случае невозможности прорваться положу подлодку грунт Винете, рассредоточив команду, буду пытаться уйти по суше». «FN» — это, понятно, инициалы «Летучего Голландца» («дер флигенде Холлендер»). «Винета» — условное наименование тайной стоянки.

— Где же эта стоянка?

— А вспомните гонца, перехваченного накануне штурма Пиллау. Рассказывал вам товарищ Ластиков о гонце?

Шура снова привстал:

— Я рассказывал, товарищ капитан первого ранга.

— На клочке бумаги, который удалось вырвать у немца, упоминался Пиллау. Сопоставьте это с радиограммой. Есть все основания предполагать, что тайная стоянка — в Пиллау.

Виктория промолчала.

— Я полагал, что это будет вам интересно, — сказал Грибов с упреком. Она не усмехнулась, только уголок ее рта нервно дернулся.

Грибов кивнул:

— Понимаю вас.

Виктория недоверчиво прищурилась.

— Конечно, находка Винеты не вернет вам Шубина, — продолжал Грибов. — Но учтите: «Летучий Голландец», вероятно, цел до сих пор. Разыскав и обезвредив его, мы предотвратим гибель тысяч, сотен тысяч людей. Подумайте о других женщинах, которые, подобно вам, будут тосковать и мучиться в расцвете лет.

Грибов выждал минуту или две, надеясь, что Виктория скажет что-нибудь. Она по-прежнему молчала. Но отсутствующее выражение в ее глазах исчезло. Сейчас эти прекрасные сумрачные глаза были широко открыты и не отрывались от Грибова.

— Американцам, — сказал Грибов, — было, оказывается, известно о существовании «Летучего Голландца». Поэтому радиограмма произвела сенсацию. Особенно поразило комиссию известие о том, что тайная стоянка — в Пиллау...

— Я перебыю вас. Второй раз вы говорите: в Пиллау. Была в Пиллау, хотите сказать?

— Хочу сказать то, что говорю: была в Пиллау и осталась там.

— Но Пиллау вот уже три года, как переименован в Балтийск. В его гавани стоят наши корабли. И Винета не найдена?

— Надо думать, чрезвычайно искусно запрятана. И Шубин знал об этом.

— Неужели?

— Он пробивался именно к Винете во время уличных боев. Мне это совершенно ясно теперь.

Шура нетерпеливо подался вперед:

— Разрешите, товарищ капитан первого ранга? На клочке бумаги было еще слово «кладбище».

— Да. Мне это вначале представлялось условным наименованием.

— А разве слово «кладбище» можно понимать буквально?

— По-видимому, нет, — осторожно сказал Грибов.

— Наверняка нет. Есть же условное наименование «Винета». А что это, по-вашему?

— Пока не знаю. Найдем — узнаем. — Он неожиданно спросил: — Вы так и не побывали в Балтийске на могиле Шубина?

Глаза Виктории потускнели.

— Боюсь, — помедлив, сказала она. — Боюсь увидеть его могилу.

Она зябко повела плечами.

— Сам Шубин всегда шел навстречу опасности, — возразил Грибов. — И потом, поверьте, невозможно долго прожить зажмурившись.

— А зачем вообще жить?

— Не говорите так! Если бы Шубин услышал, ему стало бы стыдно за вас. Позвольте сказать прямо, что я думаю?

— Пожалуйста.

— По-моему, вы загипнотизировали себя своим горем... Нет, выслушайте до конца! Я, понятно, не врач, всего лишь немолодой человек, много переживший. Но я бы вас лечил Балтийском.

— Как это — Балтийском?

— Конечно, Винету и затопленную в ней подлодку будут искать без вас, и можно не сомневаться, что найдут. Но неужели вы хотите остаться в стороне от поисков? Найти Винету — ваш долг перед Шубиным.

— Долг? Почему?

— Еще Цезарь сказал: «Недоделанное не сделано». В Пиллау Шубин, так сказать, уронил нить. Ее надо найти и поднять.

— Именно мне?

— Кому же еще, как не вам? При очень сильной взаимной любви — извините, что я вспоминаю об этом, — подразумевается и полное взаимное понимание. А это имеет значение в данном случае. На многое в Балтийске, бывшем Пиллау, надо взглянуть как бы глазами Шубина.

— Его глазами?..

— Да, это важно. Но кто сможет сделать это лучше вас?

Виктория, опершись подбородком на руку, задумчиво смотрела на Грибова.

— Просьбу о переводе в Балтийск могут не удовлетворить, — сказала она наконец.

— Я напишу вашему начальству. Кто это? А! Мой бывший курсант. Большинство нынешних адмиралов — мои бывшие курсанты. Не забывайте, я как-никак человек со связями!

Он улыбнулся. И от этого суровое, печальное, иссеченное морщинами лицо его сделалось таким добрым, что Виктории ужасно захотелось поплакать у Грибова на груди.

Но плакать было уже поздно — гости прощались, стоя у порога...

Вскоре, воспользовавшись «связями» Грибова, Виктория уехала к новому месту службы — в Балтийск. И кто знает, быть может, это спасло ее рассудок.

## 2. Правда сильнее бомб

Вечером, на исходе знаменательного дня, когда Грибов побывал у Виктории и прочитал о Винете, он дольше обычного засиделся за своим письменным столом.

Картотека (о ней пока знают лишь он да Ластиков) очень увеличилась за зиму.

Почти каждый вечер зажигается лампа под зеленым абажуром. Словно бы опускается колокол света, и Грибов со своей работой оказывается под ним, — вернее, внутри него.

Да, очерчен магический круг! Все, что вне круга, погружено во мрак. Но тем ярче отблеск жизни на столе: все эти исписанные мелким штурманским почерком четырехугольники картона, газетные и журнальные вырезки, обведенные красным карандашом, а также пометки на географической карте.

Профессор любит повторять изречение Декарта: «Порядок

освобождает мысль». И на столе у него образцовый порядок.

Здесь нет книг с торчащими из них лохмотьями закладок, хотя за зиму Грибов прочел уйму мемуарной, военной и военно-политической литературы. Нет и писем, хотя осенью еще была завязана и доньше поддерживается переписка с Князевым, Фоминым и другими сослуживцами Шубина. Их сообщения значительно дополнили и уточнили рассказ бывшего юнги.

На письменном столе профессора лишь его картотека. Факты тщательно отобраны, «спрессованы» и разнесены по отдельным листкам. Их можно сразу окинуть взглядом.

И эта отраженная жизнь беспрестанно в движении, листки то сближаются, то разъединяются, а от этого соответственно меняются смысл и взаимная связь дат и фактов.

Похоже на мозаику. Бережно и терпеливо складывает Грибов факты и даты, как разноцветные куски.

От множества событий, цифр, имен пестрит в глазах.

Но вот постепенно, не очень быстро, начал проступать зигзаг — некий причудливый, пока не совсем отчетливый узор. В «мозаике» сложилось: «Вува», «Вундерваффе» — иначе, волшебное оружие, с помощью которого гитлеровцы надеялись выиграть войну.

Это решение загадки выглядит как будто правдоподобно. По крайней мере, Шубиным до конца владела мысль о том, что подводная деятельность Цвишена и его команды «мертвецов» связана с испытанием нового секретного оружия.

Однако в ходе дальнейшей работы Грибов усомнился в правильности такого решения.

Он заставил себя отвлечься от слова «Вува», которое Шубин слышал в шхерах. Ведь тот мог и ослышаться.

Поразмыслив над этим, профессор отодвинул в сторону карточку с надписью «Вува». Посредине письменного стола очутились две другие карточки, озаглавленные: «Английский никель» и «Клеймо СКФ».

Три буквы «СКФ» завертелись перед глазами, как огненные круги рекламы.

Нейтралитет — ныне понятие устаревшее. Бизнес не имеет границ! Однорейсовый моряк прав. Как отказаться от выгодной сделки, если многие военные материалы продаются сейчас на вес золота, подобно заморским пряностям во времена Магеллана?

Военно-стратегическое сырье, которое в годы войны доставляли в Германию из «нейтральных» стран и даже стран противоположного

военного блока, взмах за взмахом швырялось в топки войны.

Но отблески, которые падали из этих то и дело открывавшихся топок, по-новому освещали и тайную деятельность «Летучего Голландца».

Теперь карточки на письменном столе профессора легли в иной раскладке. Они группируются вокруг «Никеля» и «Клейма».

Эту новую «раскладку» можно обозначить словами: «Подводный связной». Не являлся ли Цвишен таким связным? Не осуществлял ли «торговлю из-под полы», налаживая тайные коммерческие сделки между капиталистами воюющих стран?

Карточек, в общем, не так много, но кажется, что письменный стол прогибается под их тяжестью, — уж очень весомы факты.

И, чем больше скоплялось этих фактов, чем глубже вникал Грибов в сокровенную связь между ними, тем лучше понимал, что новейшая легенда о «Летучем Голландце» не потеряла своей злободневности и по окончании второй мировой войны.

Тут требовался, пожалуй, не столько историограф, сколько опытный контрразведчик, а быть может, полезно было и тесное взаимодействие между ними.

Пришло, наконец, время «двинуть дело по инстанции». Письмо из Западной Германии подхлестнуло Грибова. Нельзя медлить ни одного дня!

Поэтому он ускорил свой отъезд в командировку по делам училища, давно предполагавшуюся. А прибыв в Москву, прямо с вокзала явился к контр-адмиралу Рышкову, бывшему своему ученику.

— Я официально к вам, Ефим Петрович, — сказал Грибов, усаживаясь в кресло после обоюдных приветствий. — Разрешите доложить?

И он сжато рассказал о встречах Шубина с «Летучим Голландцем». Рышков удивился:

— Позвольте! Я же слышал о «Голландце»! Еще весной тысяча девятьсот сорок четвертого года. Сам прилетал на Лавенсари, чтобы расспросить Шубина. Но почему прервалась работа? Вы говорите, Шубин даже побывал на борту этого «Голландца»?

— Потому и прервалась. Парадоксально, но факт. Медицинское заключение было неблагоприятно для Шубина. А вы уже находились в то время на Тихоокеанском флоте.

— Весной тысяча девятьсот сорок четвертого года речь шла о Вуве, то есть о новом секретном оружии. О никеле и шарикоподшипниках я не слышал.

— Да и Вува. Не исключено, что была и Вува. Наряду со всем прочим.  
— В шхерах упоминалась Вува, — настойчиво повторил Рышков. — То есть ракеты-снаряды. Известно, что немцы испытывали их на Балтике под конец войны.

— Вот как! В шхерах?

— Нет. На юге Балтики.

— Где?

— В Пеннемюнде на острове Узедом.

— И это происходило в тысяча девятьсот сорок четвертом году?

— Да.

— Весной?

— Осенью. Сведения у нас, Николай Дмитриевич, самые подробные. Испытаниями руководил небезызвестный Вернер фон Браун, «отец Вундерваффе», как величали его немцы. Проект назывался «Урзель», в честь какой-то женщины.<sup>[35]</sup> Ракеты-снаряды носили наименование «А-9». Пускать их предполагалось с подлодки.

— Ах, все-таки с подлодки?

— Да. В момент залпа она должна была находиться в подводном положении, то есть стрелять из-под воды. Дальность действия запланировали в пять тысяч километров. Но с испытаниями «А-9» ничего не вышло.

Грибов хмуро усмехнулся:

— Как оно и явствует из всего последующего. Ну-с, а что, по-вашему, могло помешать немцам?

— Этого я не знаю. Думаю, скорее всего, технические неполадки. В общем, как говорится, «фокус не удался».

— Шубин предполагал, что неизвестное ему секретное оружие собирались испытывать под Ленинградом. Но ваши сведения полностью проясняют картину. Зачем испытывать оружие под носом у противника, если в Южной Балтике, на большом удалении от линии фронта, это удобнее во всех отношениях? Узедом расположен укромно.

— Недалеко от нынешнего Свиноуйсьце.

— Да, бывший Свинемюнде. По тем временам глубокий тыл. Я рад, Ефим Петрович, что вы подтверждаете мою догадку: весной сорок четвертого года «Летучий Голландец» не занимался в шхерах испытанием нового секретного оружия. Он был занят чем-то другим.

— Но это же вытекает из сообщения самого Шубина, — подхватил Рышков. — На палубе «Летучего Голландца» не было соответствующих приспособлений. Шубин, по вашим словам, видел лишь спаренный

пулемет.

Грибов помолчал.

— Для нас сейчас важнее не то, что он видел, а то, чего не видел, — сказал он.

Рышков недоумевающе смотрел на него.

— Я имею в виду пассажиров «Летучего Голландца». Представляя Шубина офицерам, старший помощник сказал: «Наш новый пассажир». Значит, были и другие пассажиры — до Шубина или одновременно с ним? Иногда, Ефим Петрович, они кажутся мне опаснее ракет-снарядов или атомной бомбы.

— Ну что вы! Да и были ли они? Вас поразило слово «новый». Но Шубин мог ослышаться или перепутать. Пассажирская подводная лодка! Что-то не верится! Транспортная — еще так-сяк! Допустим, она транспортная. Все равно упираемся в тупик, в кормовой отсек. У люка переборки торчал часовой? Подумать только: на подлодке — часовой! Но что могли прятать за его спиной? Вы отвергаете секретную аппаратуру, скажем, модель Вувы, которая проходила испытания на подводной лодке. (Грибов сделал протестующий жест.) Виноват, Николай Дмитриевич, я закончу свою мысль. Но, если это не аппаратура, тогда, несомненно, груз! И я даже скажу вам, какой груз. Сырье для изготовления атомной бомбы! «Летучий Голландец» занимался тем, что доставлял в Германию это сырье из разных отдаленных мест!

Рышков встал из-за стола и прошелся по кабинету.

— Я, конечно, думаю вслух. Почему «Летучий» дважды побывал у берегов Норвегии? Там находился завод тяжелой воды, не так ли? А рейс Цвишена по Амазонке? Мне припоминается, что в Южной Америке найдены залежи урановой руды. Где найдены? Быть может, вблизи этой речушки... как ее...

— Аракара, — сказал Грибов.

— Да, Аракары. Предположите, что бразильцы не знали об этом. Но знали фольксдойче, немецкие колонисты. Потихоньку от бразильцев они начали добывать руду и на подлодках переправлять в Германию. Вот вам гипотеза. Понятно, рабочая! В эту схему укладывается все, в том числе внешний вид и поведение команды «Летучего Голландца». Они вполне объяснимы. Более того: и вид этот и поведение — улика! Вообразите: подлодка, на протяжении нескольких лет, в условиях строжайшей секретности, почти не отставиваясь у берега, перевозит радиоактивное

сырье! Какой мозг, какое здоровье выдержат это? Постепенно, год за годом, матросы и офицеры «Летучего Голландца» превращаются в больных, полубезумных людей. Все дело в грузе! Он разрушает здоровье, сокращает жизнь, мало-помалу сводит с ума.

Рышков приостановил свою ходьбу и круто повернулся к Грибову:

— Ну, как?

Грибов сидел неподвижно, в раздумье.

— От «Летучего Голландца» всего можно ждать, — сказал он, вздохнув.

Он подумал о том, что у переборки кормового отсека Шубина остановил окрик: «Ферботен». Но ведь на это «ферботен» постоянно натыкался и сам Грибов во время своих мысленных странствий по отсекам «Летучего Голландца».

— Вы правы, фиксируя внимание на кормовом отсеке, — сказал он Рышкову. — Это — как запретная комната в сказочном замке. За ее дверями спрятано нечто страшное, чудовищно страшное — разгадка многих тайн.

Рышков удовлетворенно кивнул.

— Я думал о сырье для атомной бомбы, — продолжал Грибов. — Но для доставки его из «разных отдаленных мест», как вы сказали, потребовалась бы, наверное, целая флотилия «Летучих Голландцев». Впрочем... — Он пожал плечами. — Мне иногда приходит в голову, что деятельность «Летучего Голландца» могла быть очень разносторонней. Кстати, в тех же шхерах, где упоминалась пресловутая Вува, Цвишен взял на борт человека, которого именовали господином советником. А спустя несколько месяцев Шубин видел «Летучего Голландца» возле транспорта, загруженного шведскими шарикоподшипниками... Однако это могло быть и совпадением, — добавил Грибов со свойственным ему пристрастием к точности.

— Но никель-то не совпадение? Олафсон свидетельствует, что в норвежских шхерах «Летучий» конвоировал транспорт с английским никелем!

Грибов подавил улыбку. Ему нравился задор бывшего его ученика.

Контр-адмирал был человеком с живым воображением, легко воспламенявшимся. Если бы в кабинете присутствовал кто-нибудь третий, он мог бы подумать, что это Рышков, сердясь и негодуя, убеждает своего тяжелодума-профессора в существовании «Летучего Голландца».

— Возможно, не только никель, — неторопливо ответил Грибов. — Но уж никель-то бесспорно. В послевоенной мемуарной литературе я нашел подтверждение этому. Английские торговцы действительно продали



немцам залежавшийся на складах никель. Посредниками были норвежские судовладельцы. Понятно, о самом факте говорится очень глухо, в одной фразе. Мы с вами располагаем гораздо более подробным и красочным описанием очевидца.

— А шарикоподшипники с клеймом «СКФ»?

— Мне удалось выяснить, что на этих шарикоподшипниках летали две трети самолетов Гитлера. Из Швеции, кроме того, вывозилось ежегодно столько железной руды, что это покрывало треть всей потребности Германии.

— Внушительные цифры!

— Уж чего внушительней! Вот вы, Ефим Петрович, говорили об урановой руде. Но ведь не только она опасна в руках военных монополистов. Мир, фигурально выражаясь, вращается вокруг металлической оси.

— Люди гибнут за металл, — подсказал Рышков.

— И гибнут, заметьте, не только ради тяжелых желтых крупиц. Целую армию свою уложили немцы на Украине, пытаясь удержать в руках никопольский марганец. У меня есть такая запись: «Стоимость военных материалов...» Надеюсь, что в ближайший приезд в Ленинград вы побываете у меня и ознакомитесь с моей картотекой. Не все в ней связано непосредственно с «Летучим Голландцем», зато воссоздает общую картину и дает пищу для догадок.

— Спасибо. Буду в Ленинграде, обязательно воспользуюсь приглашением.

— Что же касается слов «новый пассажир», то я допускаю: Шубин мог ослышаться или перепутать. Во время пребывания на борту «Летучего Голландца» он был вдобавок болен. На это тоже надо делать поправку. Однако каким бы окольным путем ни шли мы к разгадке «Летучего Голландца», очутимся под конец неизменно перед закрытой дверью в кормовой отсек. Разгадка там!

— Взломать бы эту дверь! — пробормотал Рышков.

— Быть может, придется сделать и это, — непонятно сказал Грибов. — Но отойдем на некоторое время от запертой двери!.. Вообще-то, Ефим Петрович, я не любитель кроссвордов, тем более технических. В истории «Летучего Голландца» меня прежде всего интересуют люди. А они были во всех отсеках. Если нам с вами нельзя в запретный кормовой отсек, то хорошо побывать хотя бы в каюте штурмана или командира «Летучего Голландца».

— «Хотя бы!» — Рышков засмеялся. — И побеседовать с ними по

душам?

— И побеседовать по душам. Видите ли, для меня по-прежнему убедительно звучит одна фраза из «Войны и мира»: «Не порох решит дело, а те, кто его выдумали». Вот и хочется добраться до самых главных выдумщиков. Через Цвишена! Ведь он, нет сомнений, был непосредственно, и на протяжении многих лет, связан с военными монополистами. И учтите: «Летучий Голландец» еще не найден!

Рышков внезапно прервал свою пробежку по кабинету и остановился перед Грибовым.

— Что вы хотите этим сказать?

Он присел на подлокотник кресла, не сводя с Грибова настороженно-испытующего взгляда. Потом вдруг широко улыбнулся:

— Ну, говорите же, не томите, Николай Дмитриевич! Ведь я знаю вас. Вы не можете без того, чтобы не приберечь что-то под конец. Приберегли, признайтесь? И наверняка самое интересное и важное. Вытаскивайте-ка это «что-то», кладите на стол!

— Отдаю должное вашей проницательности, — сказал Грибов. — В награду получите! Вы, кажется, читаете не только по-немецки, но и по-английски?

— Само собой! Иначе какой бы я был контрразведчик?

Грибов вынул из кармана письмо Нэйла, заботливо разгладил на сгибах и подал Рышкову.

По мере того как тот вчитывался в письмо, улыбка медленно исчезала с его лица.

— Винета? Вот как! — пробормотал Рышков сквозь зубы. — И в районе Балтийска?

— Заброшенная старая стоянка, как я понимаю, — пояснил Грибов. — Но, видимо, хорошо замаскированная стоянка. Так сказать, рудимент войны.

— И вы считаете, что на грунте в этой Винете лежит «Летучий»? Еще со всей своей командой, чего доброго. Мнимые мертвецы превратились наконец в настоящих мертвецов? Во главе со своим командиром?

— Ну, это вряд ли. Злые люди обычно живучи. А Цвишен, видимо, очень зол.

— О! Думаете, жив? И действует до сих пор?!

Грибов сделал неопределенный жест.

— Столько раз «тонул» и снова всплывал.

— Я просею Балтийск через частое сито! — с ожесточением сказал Рышков и энергично взмахнул рукой, показывая, как сделает это. — Будьте уверены, Николай Дмитриевич: раздобудем из-под воды этого Цвишена — живого или мертвого!

— Я предпочел бы мертвого, — пошутил Грибов. Но лицо Рышкова оставалось серьезным.

— Из области историографии, — медленно сказал он, — мы, таким образом, вернулись к заботам дня. Нэйл пишет: балтийской Винетой заинтересовались наши любознательные бывшие союзники. Выходит, встречный поиск, Николай Дмитриевич?

— Выходит, так.

— Злые люди живучи... Вы правы. Те, кто когда-то «фрахтовал» «Летучего Голландца», остались. И они сделались еще злее, хитрее, агрессивнее.

— Намного агрессивнее, Ефим Петрович! Именно поэтому так важно решить загадку «Летучего Голландца» и оповестить о решении весь мир. Правда сильнее бомб! Верю в это, несмотря на то что вот уже сорок лет, как я кадровый военный.

Рышков задумчиво смотрел на Грибова:

— Вы рекомендовали вдове Шубина перевестись в Балтийск. Быть может, полезно подключить ее к поискам? Я дам команду.

— Лучше, чтобы все получилось без команды.

— Ну, как хотите. «Виктория» по-латыни значит «победа». Я шучу, конечно.

Рышков встал. Поднялся с кресла и Грибов.

— Очень приятно опять работать с вами, дорогой Николай Дмитриевич! Считайте себя нашим постоянным консультантом по «Летучему Голландцу». Мне не надо напоминать вам, что поручение это секретное. Будем время от времени обращаться к вам за советом.

— Есть, товарищ адмирал! — сказал Грибов, как положено по уставу.

Полезно ли «подключить» Викторию Павловну к поискам «Летучего Голландца»? Для чего или для кого полезно? Для поисков или для Виктории Павловны? Грибов думал об этом, возвращаясь из Москвы. Во время своего визита к вдове Шубина он старался разговаривать с нею возможно более деликатно, хоть и строго. Он даже не назвал ее ни разу вдовой. Все так наболело в этой бедной женской душе, что любое неосторожное прикосновение могло причинить новую боль.

Конечно, Грибов хотел, чтобы Виктория занялась поисками Винеты в Балтийске. Это отвлекло бы ее от тягостных воспоминаний.

Но он отнюдь не настаивал, не понукал и не подталкивал. Торопливость была противопоказана здесь.

И как человек несколько старомодный, он считал, что к важной мысли или решению надо подводить женщин с осторожностью, создавая впечатление, что эта исподволь внушенная мысль явилась без подсказки, сама по себе.

Недаром Мопассан писал: «Она была женщина, то есть ребенок». А Виктория Павловна была вдобавок больной ребенок.

Подключиться, чтобы переключиться... Именно так понимал Грибов положение. Но будет ли реальная польза делу от участия Виктории в поисках? В этом он, признаться, не был уверен.

### **3. Виктория в Балтийске**

По приезде на новое место службы Викторию охватила привычная и любимая ею атмосфера военно-морской деловитости. Все было просто, ясно, налаженно. Люди двигались как бы по четко расчерченным прямым линиям. Это успокаивало.

Балтийск — город флотский. Якорек — не только на ленточках бескозырок, которые носит большинство его обитателей, но и на щите у въезда со стороны шоссе. Улицы именуются: Черноморская, Синопская, Севастопольская, Порт-Артурская, Кронштадтская, Киркенесская, Флотская, Якорная, Катерная, Артиллерийская, Солдатская. Есть также Морской бульвар и Гвардейский проспект.

Комнату Виктории дали в доме на пирсе, неподалеку от метеостанции, места ее работы.

Корабли швартовались в двадцати шагах от дома. Каждые полчаса на них вызванивали склянки. Перед заходом солнца катились по воде мелодичные переливы горнов — к спуску флага. Под окном устраивались матросы, негромко басила гармонь, и на высоких нотах звучал женский смех.

Город медленно оживал. На месте руин, рядом с красными домами мрачноватой немецкой архитектуры, поднимались белые дома советской постройки.

А на обочинах тротуаров, где недавно ржавела брошенная впопыхах немецкая техника, запестрели цветы: гвоздика, анютины глазки и японская

ромашка блеклых тонов, словно бы подернутая нежнейшей туманной дымкой.

Увидев высаженные цветы, самый недоверчивый или недалекий человек мог понять, что советские моряки обосновались здесь прочно, «насовсем».

В Балтийске у Виктории оказалось много старых знакомых.

Одним из первых встретил ее Селиванов, разведчик базы, который когда-то отправлял Викторию в шхеры.

— А я здесь в том же амплуа, что и на Лавенсари, — объявил он преувеличенно бодрым тоном, каким сейчас разговаривали все с Викторией. Потом, задержав в долгом пожатии ее руку, пообещал: — Еще встретимся, поговорим! Сначала окрепните у нас, хорошенько морским ветерком обдуйтесь!

Чудак! Как будто она приехала на курорт...

На второй день после приезда Виктория отправилась на окраину Балтийска, где размещался гвардейский дивизион (из-за множества лягушек место это в шутку прозвали Квакенбургом).

Виктория боялась неловких расспросов, неуклюжих соболезнований. Опасения были напрасны. Моряки отнеслись к ней с деликатным радушием. Некоторые знали ее еще по Кронштадту и Ленинграду, но тогда она была другой, веселой. Они стеснялись при ней своего зычного голоса, своей решительной, твердой походки. Недавно и Шубин был таким. А теперь полагалось говорить о нем, понизив голос, и называть его: «покойный Шубин». Это было нелепо, несообразно. Он всегда был такой беспокойный!

Князев, к сожалению, отсутствовал — года два уже, как был переведен с повышением на Север. Сейчас дивизионом командовал Фомин, тоже из «стаи славных».

Он почтительно проводил вдову Шубина к его могиле.

Это была скромная могила, укрытая сосновыми ветками и букетиками полевых цветов. Она возвышалась за шлагбаумом, у въезда в расположение части. И мертвый, Шубин не расставался с товарищами.

Викторию тронуло, что цветы у подножия могилы свежие. Кто-то обновлял их день изо дня. Вероятно, это были дети из соседней школы.

Фомин проявил деликатность до конца — придумал какое-то неотложное дело, извинился перед Викторией и оставил ее у могилы одну. Когда он вернулся, Виктория уже овладела собой.

— Еще просьба к вам, товарищ гвардии капитан третьего ранга, — сказала она. — Я бы хотела проделать последний путь Бориса с момента

его высадки. Не сможете ли вы съездить со мной на эту косу?

— Есть. Хотя бы завтра. Удобно вам?

— Да.

Коса Фриш-Неррунг была очень узкой. Справа и слева сквозь стволы сосен светлела вода. Лес на дюнах был негустой. Дующие с моря ветры изрядно общипали его. На самых высоких деревьях остались только верхушки крон. От этого сосны сделались похожими на пальмы. И наклонены были лишь в одну сторону — от моря к заливу.

Справа от Виктории был Балтийск, за спиной, в глубине залива, — Калининград, прямо перед нею — заходящее солнце. Сплюснутое, как луковица, оно неподвижно лежало на темно-синей воде.

А тучи двигались над ним, меняли краски, распуская шире и шире свои гордые разноцветные крылья.

Ветер, дувший с утра, стих. Но голые стволы с обтрепанными метелками наверху оставались в наклонном положении, будто навечно запечатлев картину бури, натиск отшумевшего шторма.

Тоска по умершему охватила Викторию с такой силой, что она схватилась за дерево, чтобы не упасть.

Фомин отвел глаза и быстро заговорил — первое, что пришло в голову:

— Со мной один профессор переписку завел. Капитан первого ранга Грибов. Может, слышали о нем? Заинтересовался донесением, которое мы перехватили в море, перед штурмом Пиллау. Там было слово непонятное — «кладбище». Мы уж с Князевым и так и этак прикидывали. Порешили: условное обозначение, к настоящему кладбищу отношения не имеет. Нечто вроде, знаете ли, всех этих «Тюльпанов», «Фиалок», «Ландышей»... — Он робко попытался пошутить: — Помните, как «выращивали» их у своих раций связисты во время войны?.. А третьего дня меня о кладбище разведчик базы расспрашивал.

— Селиванов?

— Он. Далось им всем это кладбище!

— А Борис знал, где находится кладбище в Пиллау?

— Надо думать, знал. Князев рассказывал: командир перед штурмом тщательно изучал карту Пиллау.

— Но, переплыв канал и очутившись в городе, кинулся совсем в другую сторону?

— Вы угадали. В диаметрально противоположную сторону.

На обратном пути Виктория не проронила ни звука. Фомин тоже молчал, понимая, что ею овладели воспоминания.

Он не догадывался, что Виктория старается упорядочить, организовать

эти воспоминания. Все силы души сосредоточила она на том, чтобы возможно более отчетливо представить себе картину штурма и тогдашнее состояние Бориса, — пыталась как бы войти в это состояние!

Изучая карту города, Борис не ожидал, что примет участие в уличных боях. Он думал попасть в Пиллау уже после его падения, как это было, скажем, в Ригулди. Но вот внезапный поворот событий, одна из превратностей войны, и Борис со своими моряками — на косе, в преддверии Пиллау, а значит, и предполагаемой секретной стоянки «Летучего Голландца».

Что ощутил он, переправившись в город через канал? Бесспорно, желание немедленно, самому, проникнуть в эту стоянку. И, если Цвишен еще там, не дать ему уйти!

Но каков был ход мыслей Бориса? Какими соображениями руководствовался он, сразу же, не колеблясь повернув направо, к гавани, а не налево, к кладбищу?

И далеко ли был от цели, когда очередь смертника, прикованного цепью к пулемету...

Сойдя с парома, Фомин повел Викторину вдоль набережной, потом узкими переулками и наконец остановился под аркой большого дома.

— Здесь, — сказал он.

Виктория боязливо заглянула через его плечо. Во дворе по-прежнему помещалось почтовое отделение. В других подъездах были квартиры. На веревках сушилось белье, ребятишки с гомоном и визгом играли в классы. Привыкнув к кочевой гарнизонной жизни, они в любом городе чувствовали себя как дома.

— Двор был устлан письмами, — сказал Фомин. — Ходили по письмам, как по осенним листьям. Кое-что отобрали потом и передали на выставку в Дом Флота. Разведчикам-то письма были уже ни к чему, война кончилась. А гвардии капитан-лейтенанта, — добавил он на той же спокойно-повествовательной интонации, — ранило вон там, у кирпичной стены. Хотите, войдем во двор?

— Нет.

— Госпиталь, — нерешительно сказал Фомин, — располагался чуть подалее, через три квартала.

Но лимит выдержки кончился. И к чему Викторине госпиталь? Шубина туда несли на носилках. Он был без сознания. Это был уже не Шубин.

Нет, не так он хотел умереть. Не на больничной койке, среди «банок и склянок». Он хотел умереть в море, за штурвалом. Промчался бы за своим «табуном», тремя тысячами «лошадей» с белыми развевающимися

гривами, и стремглав, на полной скорости, пересек тот рубеж, который отделяет мертвых от нас, живых.

Викторию тронуло внимание, оказанное Шубину устроителями выставки «Штурм Пиллау».

Выставка помещалась в Доме Флота. Одна из стен в фойе была увешана картами, схемами и портретами участников штурма. А в центре, с увеличенной фотографии, обтянутой крепом, смотрел на посетителей Шубин.

Он усмехался, сдвинув фуражку с привычной лихостью чуточку набок. Выражение его лица не гармонировало с траурной рамкой. Но, вероятно, не нашлось другой, более подходящей фотографии.

Вокруг нее группировались фотографии поменьше. На них стеснительно щурились гвардии лейтенант Павлов, гвардии старшина первой статьи Дронин, гвардии старшина второй статьи Степаков и другие. Виктория узнавала их по точному и краткому описанию, сделанному в свое время Борисом.

— А это что? — Виктория нагнулась над витриной. Внимание ее привлекли записи, сделанные по-немецки на листках почтовой бумаги очень четким, аккуратным, без нажима почерком. Она не сразу поняла, что писали несколько человек, а не один, — просто каллиграфия хорошо поставлена в немецких школах и почерк унифицирован.

— Письма на фронт? — Она обернулась к сопровождавшему ее начальнику Дома Флота.

— Нет. С фронта домой. Почта не успела разослать адресатам. Для разведки письма эти уже не представляли интереса — через несколько дней Германия капитулировала, — а мы кое-что отобрали. Ярко характеризуют моральный уровень гитлеровцев на последнем этапе войны. Вот письмо, прошу взглянуть! Экспонированы только две страницы, письмо очень длинное. Какой-то моряк, уроженец Кенигсберга, пишет своей жене...

Виктория прочла:

«Мне бы хоть минуту побывать в нашем тенистом Кенигсберге...»

— К тому времени его Кенигсберг превратился в груды пепла и щебенки под бомбами англо-американской авиации. Моряк, видно, пробыл слишком долго в море, оторвался от реальной действительности. В Калининграде по указанному адресу не осталось никого. На конверте, лежавшем под стеклом, был адрес: «Фрау Шарлотте Ранке, Линденаллее, 17». «Я жив, Лоттхен! — так начиналось письмо. — Ты удивишься этому.



Но верь мне, я жив!»

Все время моряк настойчиво повторял это: «Я жив, жив!»

Обычно он называл жену «Лоттхен» или еще более нежно, интимными прозвищами, — смысл был понятен лишь им двоим. Но иногда обращался сурово: «моя жена». «Помни: ты моя жена и я жив!»

Виктория перевела взгляд на другую страницу. Вот описание какой-то экзотической реки. Изрядно покружило моряка по белу свету! Впрочем, описания были чересчур гладкие и обстоятельные, будто вырванные из учебника географии. И они следовали сразу за страстными упреками. Это производило тягостное впечатление. Словно бы человек внезапно спохватывался, стискивая зубы, и произносил с каменным лицом: «Как я уже упоминал, местная тропическая флора поражала своим разнообразием. Там и сям мелькали в лесу лужайки, окаймленные...»

И опять Виктория пропустила несколько строк.

«Не продавай наш дом, — заклинал моряк, — ни в коем случае не продавай! Помни, я жив и я вернусь!»

Она разогнулась над витриной:

— Бр-р! Какое неприятное письмо.

— Довольно характерное, не правда ли? Все вокруг гибнет, а он беспокоится о своем доме. Я взял эти странички наугад.

— Письмо давит. Не хочется читать дальше. Будто присутствуешь при семейной сцене.

И снова, как бы ища поддержки, Виктория посмотрела на фотографию улыбающегося Шубина...

Грибов был бы доволен, если бы понаблюдал за результатами прописанного им «лечения» Балтийском.

Виктория по-прежнему думала о Борисе непрерывно, но думала уже по-другому. Мысленно вглядывалась в его лицо. Жадно. Пытливо. До боли в глазах. Однако — без слез! Черты лица не расплывались.

Для очистки совести Виктория побывала на кладбище.

Ничего особенного не было там. Папоротник и кусты жимолости. Они, видимо, очень разрослись за последнее время. Дорожки были покрыты густой травой. Деревья как бы сдвинулись плотнее. Это был уже лес, но кое-где в нем белели и чернели покосившиеся надгробия.

Виктория остановилась подле мраморного памятника, грузно свалившегося набок. По нему змеилась трещина. Тускло блестел над нею якорек, а ниже была надпись: «Покойся во господе вице-адмирал такой-то,

родился в 1815 г., умер в 1902».

Машинально Виктория высчитала возраст умершего. Восемьдесят семь! Крепенок, однако, был покойный адмирал и, несомненно, в отличие от своих матросов, отдал богу душу не в море, а дома, на собственном ложе под балдахином.

И вдруг она поняла, что стоит на том самом месте, где когда-то стоял механик «Летучего Голландца»!

Виктории представился коллекционер кладбищенских квитанций, как его описывал Шубин: одутловатые щеки, бессмысленная, отсутствующая улыбка. Именно здесь, у могилы восьмидесятисемилетнего адмирала, возникла маниакальная мысль: тот моряк не утонет в море, кто закупит много кладбищенских участков!

Виктории стало жутко. Она оглянулась.

На кладбище, кроме нее, не было никого. Светило солнце. В кустах громко щебетали птицы. Со взморья доносился гул прибоя.

И оттого, что светило солнце, стало еще страшнее.

С трудом пробираясь сквозь заросли, Виктория выбежала к морю.

Что же означало слово «кладбище»?

Шубин понял это. Но она не могла понять.

В тот вечер Виктория вернулась к себе, измученная до того, что даже не смогла раздеться. Только сбросила туфли и повалилась на кровать.

Она лежала, вытянувшись, закрыв глаза, и шепотом повторяла:

— Помоги же! Помоги! Мне трудно, я не могу понять! Вообще ужасно трудно. Невыносимо. Ну, хоть приснись мне, милый!..

На следующий день Виктория пошла к Селиванову. «Мужик он умный, — говорила она себе, — и знает меня не первый год. Он не откажется от моей помощи.

Другой на его месте мог бы сказать: «Вы метеоролог? Вот и занимайтесь себе ветрами и сыростью». Селиванов так не скажет».

— Ну как? — спросила она с порога, заботливо прикрыв за собой дверь. — Нового ничего?

Не удивившись вопросу, Селиванов отрицательно покачал головой. Но вид у него при этом был бодрый.

— Впечатление такое, — сказала Виктория, усаживаясь на предложенный ей стул, — словно вы поджидаете меня с какой-то хорошей вестью.

— Угадали. Я знал, что вы придете ко мне. Еще тогда знал, когда были

на пути в Балтийск.

— Так вот, товарищ капитан второго ранга, я хочу участвовать в поисках Винеты.

— Вполне естественно с вашей стороны. Уже посетили местное кладбище?

Виктория смущенно кивнула.

— Не смущайтесь. Этой простейшей догадкой надо переболеть, как корью. В свое время наши армейские товарищи тоже искали причал между кладбищем и морем.

— Неужели?

— Им, видите ли, рисовалась бухта, возможно, искусственная и очень тщательно замаскированная. А в глубине, под сенью кладбищенских деревьев, нечто вроде эллинга. В некоторых фашистских военно-морских базах, например в Сен-Лорене, были подобные эллинги. Представляете: железобетонное укрытие, наверху насыпан слой песка толщиной в четыре метра, а под ним подлодки. Говорят, спокойно отстаивались и даже ремонтировались во время самых жестоких бомбежек.

— Кладбище в Пиллау пусто.

— Да.

— Недаром Шубин шел не к кладбищу, а к гавани.

— Причем здесь гавань? Вы что же, полагаете, в гавани размещалась эта «В»? Никогда.

— Она могла быть очень маленькой.

— Бесспорно и была маленькой, так сказать, одноместной. Но ведь «ЛГ» не терпел никакого соседства. Думаете, полез бы в гавань, где полным-полно других военных кораблей? Что вы! На этом «ЛГ», по-моему, тележного скрипа боялись.

Даже разговаривая с глазу на глаз, Селиванов по укоренившейся профессиональной привычке предпочитал называть «Летучего Голландца» и «Винету» не полностью, но по инициалам.

— И все же Шубин шел к гавани! — упрямо повторила Виктория.

— Ошибка, Виктория Павловна, уверяю вас! Он, говорят, даже принял под команду солдат, оставшихся без офицера. До «В» ли ему было? Представляете: штурм, уличные бои? А Борис был азартный вояка, увлекающийся, Мне ли Бориса не знать! Слава богу, дружками были!

Виктория нахмурилась. Ей захотелось сказать:

«И все-таки я знаю его лучше, чем вы!» Но она только заметила сдержанно:

— Вы почти не встречались с ним после Лавенсари. Он очень

изменился, побывав на борту «Летучего Голландца». Но оставим это. Если исключить гавань и кладбище, то где же, по-вашему, была Винета?

Селиванов выдержал паузу.

— Мне приказано привлечь вас к поискам, если таково ваше желание, — сказал он с некоторой торжественностью.

Лишь сделав это небольшое вступление, он перешел к сути дела. Она, по его мнению, заключалась в двух названиях: «Геббельсдорф» и «Альтфридхоф».

— Это такая деревенька в глубине залива, на самом берегу, — объяснил Селиванов. — Расположена примерно на полпути между Калининградом и Балтийском. Именовалась Геббельсдорфом при гитлеровцах, в честь их главного колченогого лгуна. А прежнее название — Альтфридхоф. По-немецки «Фридхоф» — «кладбище», не так ли? «Альтфридхоф» — «Старое Кладбище» или «Старый Погост», если хотите.

— Неужели?.. Хотя название подходит.

— То-то и оно. Последние дни я тем и занимался, что разыскивал это «кладбище». «Винета не может находиться в Пиллау, она в его окрестностях», — такова с самого начала была моя мысль. На одной из старых, до-гитлеровских карт я нашел то, что искал.

— Стоянку или деревню?

— Пока деревню. Видите ли, рядом с Альтфридхофом располагался небольшой судоремонтный завод. Гитлеровцы взорвали его при отступлении. Металлолом там уйма. Надо думать, и обломки «Летучего Голландца» где-то лежат. Я минеров туда послал. Шуруют. Был, вероятно, секретный док. Но доберемся и до него.

Селиванов сказал, что завтра снова отправляется в Альтфридхоф.

Создана комиссия с участием представителей штаба флота. Еще бы! Пусть эта стоянка заброшена, даже разрушена. Все равно находка ее — событие чрезвычайное!

— Мне остается только поздравить вас, товарищ капитан второго ранга.

— Рано поздравлять. Знаете пословицу: «Не кажи гоп...» Мы вот что сделаем. У меня в машине есть одно место. Я заеду за вами завтра.

— Есть. Спасибо.

Виктория очень медленно шла по городу, опустив голову.

Деревня Альтфридхоф — Старый Погост... Рядом — судоремонтный завод... Секретный док в его недрах...

Догадка Селиванова выглядела довольно убедительно. И все же Виктории трудно было побороть какое-то внутреннее предубеждение. Борис шел к гавани, в этом не могло быть сомнений!

Лучше Селиванова представлял себе, как засекречена подводная лодка Цвишена. Пусть даже изменили ее силуэт, скажем, сделали пристройку к боевой рубке, установили фальшивое орудие на палубе. Но и проделав это, Цвишен, мастер камуфляжа, не решился бы поставить свой «корабль мертвых» бок о бок с другими, обычными кораблями.

Борис знал об этом и тем не менее шел к гавани. Почему он шел к гавани?

Как пригодилась бы сейчас карта Пиллау с его пометками, если он делал пометки!..

Ну что ж, догадка с Альтфридхофом будет проверена завтра!

«У меня в машине есть одно место...» Этим, стало быть, и ограничится участие Виктории в поисках?..

Она, повторяя путь Шубина во время уличных боев, миновала вздыбленный желтый танк с рваной раной в борту. На стволе было выведено: «Шакал». Этот танк уцелел в ливийской пустыне, чтобы превратиться на Балтике в металлолом.

Неужели и от «Летучего Голландца» осталась только бесформенная груда железа?

За углом, неожиданно сразу, открылся обширный пустырь. Вдоль улицы, которая вела к нему, торчали почерневшие стволы. Кроны, как ножом, срезало артиллерийским огнем.

Большое красное здание стояло посреди пустыря. На его куполообразной крыше торчал шпиль с золотым петушком.

В свободное время матросы гоняли на пустыре мяч. Тут были когда-то дома, потом в развалинах домов — доты.

Виктории рассказывали, что из одного дота вскоре после штурма вылезла кошка. Наверно, она немного свихнулась от бомбежек и артиллерийских обстрелов. В руки не давалась, только кружила подле людей, мяукая и тараща желтые бесноватые глаза. Ее хотели пристрелить, чтобы не наводила тоску, но пожалели, начали приручать.

Минуло два-три дня, и кошка вышла из-под развалин, ведя за собой двух котят. Голодная процессия гуськом проследовала по трапу и далее прямо на камбуз, правильно заключив, что война кончена. Кошку командир приказал назвать Маскоттой, котят матросы называли по-русски — Братик и Сестричка.

На каждом шагу видны были здесь следы недавнего штурма, который

потряс город подобно всесокрушающему землетрясению.

«Спокойнее всего чувствовали себя мертвецы на кладбище, — рассказывал Виктории один старик немец. — Я сам охотно спрятался бы в гроб и накрылся гранитной плитой...»

Сверху Викторию позвал скрипучий, резкий голос. Она подняла голову. В крыше красного дома зияло отверстие от снаряда, но золотой петушок продолжал качаться на своем насесте, откликаясь скрипом на каждый порыв ветра.

Флюгер, наверно, не умолкал никогда — в Балтийске почти не бывает безветрия. И сейчас он вертелся как безумный, трещал, скрипел, лязгал. Но понять ничего было нельзя.

Виктория пошла дальше вдоль канала. По ту сторону его вытянулась шеренга розовых домов, которые случайно пощадило «землетрясение». Красные черепичные крыши мирно отражались в светлой глади. Пейзаж был задумчивый, совсем голландский. Засмотревшись на него, Виктория споткнулась о какой-то кабель. Тотчас же ее окликнули, на этот раз снизу:

— Осторожней, девушка!

На дне канала лежал притопленный буксир. Над водой торчали только труба и медный свисток, сверкавший в лучах заходящего солнца. Рядом покачивался бот с водолазным снаряжением. Три матроса, закончив работу, приводили его в порядок.

Увидев Викторию, они, как по команде, выпрямились и подняли вверх широкие улыбающиеся красные лица — откровенно залюбовались ею.

— Не повредили бы свои стройные ножки, товарищ старший лейтенант! — медовым голосом сказал один из матросов, побойчее. (Признал в Виктории по кителю офицера, но, не видя снизу погон, титуловал наугад.) — А ведь, я считаю, такие ножки даже у нас на КБФ <sup>[36]</sup> — редкость. Правильно?

— Правильно! — поддержали его товарищи.

— Вон туда, за шлагбаум, вообще не ходите, — обстоятельно и заботливо объяснял матрос, видимо стараясь продлить удовольствие. — Замусорено все. И ковш там такой же замусоренный. Мы называем его: кладбище кораблей!

Виктория прошла по инерции несколько шагов, усмехаясь бесхитростному комплименту, почти что коллективному. И вдруг остановилась. Кладбище... кораблей? Матрос сказал о кладбище кораблей?

Водолазы с удивлением переглянулись в своем боте. Почему старший лейтенант со стройными ножками вдруг повернулась и быстро пробежала мимо них в обратном направлении?

Выслушав Викторию, Селиванов, надо ему отдать должное, не стал колебаться или упрямиться. Он тотчас же позвонил командиру порта.

— Ковш номер семь, точно! — сказал тот. — Вы же были там со мной. Да, свалка кораблей. Еще не расчищена, потому что далеко. Сейчас я заеду за вами. Надо поспешить, чтобы добраться засветло.

Вскоре Виктория, Селиванов, командир порта и еще несколько офицеров очутились у дальнего, заброшенного ковша. Узкоколейка, которая вела к нему, заросла травой. Шлагбаум был завязан ржавой проволокой.

Ковш № 7 выглядел уныло, как лес поздней осенью.

Торчащие вертикально или в наклонном положении мачты напоминали деревья, лишенные листвы. Иллюзию дополняла рыбацья сеть, которая была натянута над мачтами. Она была похожа на осеннюю дымку или легкий сероватый туман, запутавшийся между стволами деревьев.

Под сетью, покорно ожидая своей участи, жалось друг к другу около десятка кораблей: две баржи, речной пассажирский пароходик, три буксира, несколько щитов-мишеней. К берегу привалился бортом небольшой танкер с развороченной кормой.

Немцы стаскивали сюда все эти корабли, готовясь впоследствии отправить их на слом. Но — не успели. Помешало наступление советских войск.

А у новых хозяев гавани еще не дошли руки до этого отдаленного ковша. И без того полно дел было в Балтийске.

Заброшенность ковша бросалась в глаза. Сеть, натянутая над мачтами, была разорвана во многих местах и кое-где провисла до самой воды.

Потревоженные чайки с бранчливыми криками носились над нею.

— Меня давно удивляла эта сеть, — сказал командир порта. — Помните, в шхерах немцы прятались под рыбацкими сетями от авиации? Развесят у берега, будто для просушки, и ставят под них свои катера или подлодки. «Но здесь-то что прятать? — думал я. — Какой летчик позарился бы на такой хлам?»

— В этом и был расчет.

Да! Никаких особых сооружений! Ничего, что могло бы привлечь внимание сверху или с берега! Сеть даже была не камуфлированная, а самая обыкновенная — рыбацья.

Корабли стояли в ковше очень тесно, впритык. Но посредине, между речным пароходом и одной из барж, оставлен был неширокий проход.

— Вот тут он, верно, и стоял, этот «Голландец»! — вскричала

Виктория.

Но лицо Селиванова еще сохраняло недоверчивое и замкнутое выражение.

— Быть может, он на дне? — предположил один из офицеров.

— Ну, что вы! Ковш слишком мелкий. На дне его не спрячешь подлодку-рейдер.

По брошенным доскам офицеры гуськом перешли на палубу парохода.

Отсюда хорошо были видны плиты причала. В магистралях, проложенных между ними, тянулись ответвления — через пароход к пустому пространству между кораблями. Это были топливный и водяной трубопроводы.

Командир порта по соединительным рожкам определил, что трубопроводы предназначались для питания подводной лодки.

Отдельные запасные части для нее, также и элементы аккумуляторной батареи, были обнаружены в соседней полузатопленной барже. Но основной базой, по-видимому, являлся пароход.

В борту пробита была дверь, с порога которой свешивался трап. Дверь вела в просторное помещение, где команда подлодки могла отдыхать после тесноты своих отсеков. В углу стоял разбитый рояль. За ним дотошный Селиванов нашел даже несколько разорванных игральных карт.

На пароходе, как на всякой базе, оборудованы были прачечная и душевая. Однако, судя по всему, подводная лодка отстаивалась здесь не подолгу. Это было нечто вроде конспиративной квартиры, где разрешается провести только одну ночь, чтобы не навести на след.

Но каким образом удавалось «Голландцу» незамеченным проникать в ковш и покидать его?

Это происходило, понятно, ночью. Виктория вообразила, как по сигналу с моря немецкое командование мгновенно затемняло гавань, объявляя воздушную тревогу. Приближаются бомбардировщики противника!

На самом деле у бонов — «Летучий Голландец».

Конечно, Цвишен, входя в гавань, дает позывные. Иначе его могли бы принять за вражескую подлодку и запросто расстрелять. Но это чужие, условные позывные. Он, так сказать, представляется под одним из своих псевдонимов. Вдобавок и псевдоним этот известен всего двум-трем лицам в Пиллау.

Впрочем, внимание всех в гавани отвлечено. Где же бомбардировщики противника? Огни выключены, бинокли на кораблях и на берегу подняты к небу, а тем временем длинная тень проскальзывает мимо бонов, мимо



стоящих на рейде и у пирсов кораблей, поворачивает в глубь гавани, к ковшу № 7. Потом с осторожностью втягивается в узкий проход между полузатопленной баржей и речным пароходом.

Все! Дошла! Притаилась!

Отбой воздушной тревоги!

Утром заброшенный ковш, свалка кораблей, выглядит как обычно. Ветер слегка раскачивает рыбачью сеть. И даже чайки по-прежнему неумолимо снуют под нею.

Балансируя на узкой доске, переброшенной с парохода на причал, командир порта огляделся:

— Тесновато все же было ему.

— Ничего, — ответил кто-то из офицеров. — В тесноте, да не в обиде. Разворачиваться, понятно, приходилось на пупе.

— Но мне вот что странно, — сказал другой офицер. — Для одной-единственной подводной лодки оборудовали такую стоянку!

— Наоборот! Это и есть самый неопровержимый признак! — с воодушевлением возразил Селиванов. (Его недавнего скептицизма как не бывало.) — Именно для одной-единственной в своем роде! Можно ли еще сомневаться в том, что лодка эта была особо секретной и выполняла поручения чрезвычайной государственной важности?

Он быстро обернулся и посмотрел Виктории в глаза:

— Признаю при свидетелях: вы правы! Вернее, Борис был прав. «В» размещалась в гавани, а не в окрестностях Пиллау. Я ошибался.

#### **4. Письмо, не доставленное по адресу**

В своем докладе Селиванов дал высокую оценку той помощи, которую оказала ему вдова Шубина во время поисков Винеты. Приказом командующего капитану Мезенцевой объявлена была благодарность.

— И все-таки случай, — вздохнул командир порта, сидя у Селиванова. — Не услышь она тогда: «кладбище кораблей»...

— Неверно. И вы и я, несомненно, не раз слышали те же слова. Но мы не вслушались в них. И не поняли. А она поняла. Почему? Душа была настроена на эту волну. Все силы души были напряжены, и вот...

— Она не допускала мысли, что Шубин мог ошибиться.

— Да, и это, конечно.

Грибов, которого Рышков тотчас же известил о находке, поздравил Викторию по телефону.

Это была самая важная и ценная для нее похвала. И все же она была недовольна.

Нить, которую Шубин уронил во время штурма, была найдена и поднята. Ну, а дальше? Куда тянется, куда ведет эта нить?

Предусмотрительный Цвишен успел вывернуться, как всегда, и уйти заблаговременно, не дожидаясь штурма Пиллау.

Что же, в таком случае, означала его радиограмма, текст которой сообщил Нэйл? Стало быть, на Балтике была еще одна стоянка, помимо «кладбища кораблей» в Пиллау?

Откровенно говоря, Виктория ждала большего и от самого «кладбища». Находки были, в общем, ничтожными. Запасные части для подводной лодки? Груда разорванных игральных карт? Как хотите, этого маловато.

Виктория надеялась на то, что в Винете будут найдены какие-то документы, проливающие свет на деятельность «Летучего Голландца». Воображению ее рисовалось нечто подобное той же радиограмме или, на худой конец, обрывкам донесения, перехваченного Шубиным. Ведь мог забыть Цвишен в Винете что-нибудь особо важное? Мог или нет?

— Нет! — решительно отрезал Селиванов, когда Виктория поделилась с ним своими огорчениями. — Совершенно исключено, Виктория Павловна. Как я понимаю Цвишена, он не из тех людей, которым приходится обращаться в бюро утерянных вещей. Что вы, право! Такой пройдоха, опытнейший диверсант!

— Лоуренс тоже был опытнейший! — сердито сказала Виктория. — И, между прочим, забыл, говорят, в поезде чемодан со своей рукописью. Потом заново восстанавливал ее по памяти.

— А вы, я замечаю, вошли во вкус поисков! — Селиванов поощрительно улыбнулся. — Да, это затягивает. Дело азартное.

Но при чем тут азарт?

Не то что Селиванову, даже Грибову не решилась бы рассказать Виктория о том странном ощущении, которое испытала, обнаружив Винету. Это была не радость завершения поисков, нет. Винета была, увы, пуста. Значит, надо снова и снова искать, до основания перерыть весь Балтийск, чтобы найти... Что? Этого Виктория не знала.

Все больше овладевало ею ощущение, что в Балтийске, кроме Винеты, есть еще нечто очень важное, непосредственно связанное с «Летучим Голландцем».

Объяснить это ощущение было не просто.

Но вот пример, который, быть может, подойдет — хотя бы отчасти.

Вообразите, что вы вошли в темную комнату и остановились на ее пороге или даже прошли до середины. Не слышно ничего, вокруг мрак. И все же вы уверены, что здесь еще кто-то. Быстро щелкаете выключателем. Так и есть! По углам сидят люди и молча смотрят на вас...

Виктория испытывала подобное нетерпеливое и в то же время боязливое ожидание. Она перешагнула порог комнаты, даже прошла до середины, но внутри по-прежнему было тихо. А выключатель на стене никак не могла найти, как ни старалась.

Мистика? Ничуть. Просто сигнал предельно напряженных, обостренно чутких нервов...

Осень незаметно перешла в зиму, теплую, бесснежную, но ветреную.

Рядом с домом Виктории возвышался маяк, снизу белый, сверху красный. Он загорался через короткие промежутки времени, и тогда делались видны грани его могучей линзы, отбрасывавшей свет далеко в море.

Если по небу быстро неслись тучи, маяк, казалось, качался. Когда же у входных бонов начинали жаловаться на туман ревуну, над маяком вытягивались длинные тени, будто крылья ветряной мельницы.

Виктория знала, что Шубин любил маяки. Быть может, он любил их оттого, что начинал службу в Кроншлоте, — там перед войной стояли торпедные катера. А фонарь на Кроншлотском маяке очень уютный, в форме бочоночка, разноцветный, похожий на елочное украшение.

Погода в Балтийске переменчива. Здесь часто бушуют штормы. Похоже, что ветры всей Южной Балтики слетаются в этот город на свой бесовский шабаш. Они катаются по крышам, визжа, как дерущиеся коты, громяют, лязгают, кувырком проносятся по улицам, срывают с деревьев последнюю листву.

И вдруг — почти мгновенно — все стихает! Луна протискивается между тучами, освещая готически-острый силуэт города и просторную гавань с военными кораблями.

Море, которое видно Виктории в окне, в общем, дисциплинированное — зажатое волноломом и пирсами.

Лишь отдаленное эхо штормов докатывается сюда. В солнечный день вода за волноломом более темна, чем у пирса. Но солнце как-то не идет к этим местам. Наоборот, сизые, синие, серые тучи хороши. Окраска военных кораблей, покачивающихся на воде, гармонирует с ними.

Вероятно, сумрачные пираты Цвишена до своего мнимого потопления,

не таясь, посещали Пиллау. Субботнюю ночь они кутили в ресторане «Цум гольдене Анкер»<sup>[37]</sup> — на месте его сейчас строится гостиница, — а в воскресенье отправлялись в кирху замаливать грехи. На скамьях сидели, тесно сгрудившись, исподлобья поглядывая по сторонам.

Неужели же после них не осталось в Балтийске никаких следов? Пусть Цвишен был дьявольски предусмотрителен и осторожен. Ну, а другие члены команды: офицеры, матросы?..

Виктория засмотрелась на море. Вдали что-то ярко сверкнуло. А! Чайка поймала луч солнца на крыло.

Таким было и ее, Виктории, короткое женское счастье. Сверкнуло на солнце крылом, и все!

Как мало, в общем, она побыла с Шубиным! Все кончилось для нее слишком быстро. Не успела опомниться от первых головокружительных поцелуев, как все кончилось.

Мысленно она со злостью одернула себя. Грибов послал ее в Балтийск не для того, чтобы она бесконечно причитала над собой. Он верил в нее. Он сказал: «Кто же лучше вас понимал Шубина? Сильная взаимная любовь подразумевает и безусловное взаимное понимание».

Но ведь так оно и было! Как-то Шубин заметил:

«Есть же бедняги на свете! Живут вместе, бок о бок, и много лет живут, а души их находятся, на противоположных концах солнечной системы».

А Виктория рассказала ему о своей приятельнице, которая с деланной беспечностью говорила:

«Как мы живем с мужем? Да так и живем. Сосуществуем!»

У Виктории с Шубиным было по-другому. Ей казалось иногда, что они угадывают мысли друг друга.

А вот теперь ничего не получалось у нее с «отгадкой»...

Ее раздражало и мучило то, что она до сих пор топчется посреди «темной комнаты». Твердо знает, что здесь есть кто-то, но никак не может нашарить выключатель на стене.

Бывая в Доме Флота и проходя по фойе, Виктория неизменно замедляла шаги у стендов. Шубин поощрительно и загадочно улыбался ей со стены. В фуражке, сдвинутой на правый глаз, выглядел так, будто, спроси его, тотчас же с готовностью ответит, где искать «недостающую деталь» разгадки.

Смотря на Викторию — по обыкновению, прямо и весело, — Шубин

словно бы хотел помочь ей, подсказать. Но она не могла понять выражение его лица.

Почему-то тянуло к витринам, которые стояли под фотографией Шубина. И в то же время что-то как будто отталкивало от них.

Вероятно, все дело было в письме, которое «давило».

Моряк писал жене, опасаясь за свою жизнь. Но он безумно ревновал ее, и ревность была сильнее страха смерти. Он писал: «Я измучен ревностью. Я вижу тебя во сне. Ты стоишь и смотришь на меня холодно, отчужденно. Я просыпаюсь в ужасе и долго не могу заснуть. Но ведь мы не чужие друг другу. Я твой муж, и я жив!»

Какая-то тягостная тайна скрывалась между строк, — она как бы околдовывала.

Иногда Виктории чудилось, что она уже читала или слышала об этом ревнивом моряке. Где? Когда? Как ни напрягала ум, не могла вспомнить. После смерти Шубина она стала такой беспамятной...

Она скользила быстрым взглядом по витринам и спешила дальше.

Как-то летом случилось Виктории побывать по служебным делам в Калининграде.

С утра парило — перед грозой. Люди двигались согнувшись, едва волоча ноги, словно брели по дну океана.

Возвращаясь на вокзал, Виктория присела отдохнуть в скверике перед цветочной клумбой.

Оглядываться не хотелось. За спиной — она знала это — руины. Так в 1949 году выглядел центр бывшего Кенигсберга: руины, пышные заросли сирени и бурьяна, почти джунгли, а в скверах — яркие цветы, заботливо высаженные новыми жителями.

Кенигсберг был разрушен во время безжалостных англо-американских бомбежек в августе и сентябре 1944 года. Летчики молотили с воздуха преимущественно по жилым кварталам. Центр представлял из себя сплошное пепелище.

Восстановить эту часть города было уже нельзя. Калининград начал отстраиваться на окраинах бывшего Кенигсберга.

Не странно ли, что в притворе одной из разрушенных церквей сохранилась гробница Канта, имевшая форму призмы, острой гранью вверх? В этом был насмешливый и зловещий смысл, гримаса смерти: мертвый уцелел, тогда как десятки тысяч живых обитателей Кенигсберга погибли и погребены под развалинами.

Да, руины, руины!.. Со вздохом Виктория оторвалась от созерцания беззаботно-мирных цветов и встала.

Она прошла несколько шагов, осторожно ступая по щебню, и вдруг увидела под ногами дощечку с надписью: «Lindenallee, № 17».

Но, кажется, так называлась улица, на которой жила женщина, которой было адресовано письмо ревнивца? И номер дома как будто тот же?

Виктория осмотрелась. Ничего не сохранилось от Линденаллее. Только горы щебня были здесь, скорбные остовы домов, почерневшие от дыма, да пирамиды из бетонных плит и перепутанных прутьев каркаса, полускрытые зарослями бурьяна. Лип, от которых, вероятно, возникло название улицы, тоже не было. Над бурьяном и щебнем до сих пор висел специфический, непередаваемо печальный запах разрушения.

Виктории рассказывали, что некоторые жители, чудом уцелев после бомбежек, прятались потом в пещерах под развалинами, зарывшись в землю, как кроты.

Садясь в поезд, Виктория еще находилась под впечатлением руин Кенигсберга.

Начисто исчезнувшая Линденаллее как-то гармонировала при этом с тучей, которая медленно поднималась над городом. Она была темно-синяя, с фиолетовыми подтеками и, приближаясь, все больше наливалась мраком. С минуты на минуту можно было ждать дождя.

Поезд тронулся. За стуком колес Виктория не услышала грома. Туча над горизонтом расселась надвое. Небо прочертил быстрый зигзаг. Потом хлынул дождь.

Наконец-то!

Прижавшись лбом к стеклу, по которому хлестали дождевые струи, Виктория вглядывалась в темноту. Невидимые молоты ударяли по туче, как по наковальне, с ожесточением высекая из нее брызги искр.

Здесьние места — грозовые места.

Коренные обитатели — славянское племя пруссов. Как у всех славян, на их небе правил громовержец Перкус (Перун). Надо думать, что грозы и тогда были часты.

Но нередко над здешними пологими холмами метали громы и молнии не боги, а люди.

Кенигсберг, превращенный ныне в пепелище, только повторил судьбу литовского поселения Твангете, сожженного рыцарями-тевтонами. Первые дома Кенигсберга были воздвигнуты на пепле, среди развалин.

И чуть ли не каждое столетие с той поры небо вновь и вновь сотрясают неслыханные грозы.

В пятнадцатом веке — это сражение при Грюнвальде, в восемнадцатом — при Гросс-Егерсдорфе, в двадцатом — при Танненберге и, наконец, самое ожесточенное и кровопролитное из всех — под Кенигсбергом-Пиллау.

Эхо титанических битв до сих пор грохочет над холмами, а в небе полыхают зарницы, как отблески далекой канонады...

Виктория не отходила от окна. Не слышно было ни грохота грома, ни шелеста дождя. Гроза была беззвучной. Только отчетливо постукивали колеса. И под этот стук, через правильные промежутки времени, над горизонтом вырастали корявые стволы молний. Мгновения были видны облитые ярким светом холмы, рощи, остроконечные черепичные крыши, и все опять исчезало в кромешной тьме.

Через пазы в окнах протекла вода, черная лужа с хлюпаньем плескалась по полу — в такт размахам вагона. Виктория подобрала под себя ноги. Это бы еще ничего. Она любила грозу. Но сегодня что-то мешало наслаждаться грозой. Что это было? А, письмо моряка и руины исчезнувшей Линденаллее! Какие-то почти бесформенные догадки роились в мозгу, возникали отдаленные смутные сопоставления. А в ушах назойливо звучало монотонное: «Я жив, Лоттхен. Я жив!»

Фраза эта не была умоляющей, нет! Звучала скорее как угроза, как заклинание. Моряк словно бы гипнотизировал на расстоянии свою жену. Слова с мучительным усилием вырывались из его горла. Он как бы взывал к жене из-под могильной плиты или со дна океана сквозь многометровую толщу воды.

И вдруг — новая ярчайшая вспышка! Туча, сопровождавшая поезд на всем его пути, взвилась и завернулась снизу подобно обгорающему свитку.

Виктория поняла! Она словно бы выхватила из огня драгоценный неразгаданный свиток.

Нет, уже разгаданный! Письмо, которое лежало под стеклом в Доме Флота и так неотвязно мучило ее, написал Венцель, штурман «Летучего Голландца»!

Утром письмо в присутствии нескольких офицеров было извлечено из витрины.

Это было нечто вроде дневника, довольно подробного, но без дат, беглые, отрывочные записи. Видимо, делали их время от времени, по мере того как в голову приходили мысли или представлялся случай уединиться.

И подумать, что все эти годы письмо с «Летучего Голландца»

пролежало в фойе Дома Флота под фотографией Шубина!

А до этого оно долго валялось среди других не отосланных адресатам писем во дворе почтового отделения. И Шубин ходил по этому бумажному ковру. Стоило лишь нагнуться, чтобы подобрать чрезвычайно важный документ, гораздо более важный, чем перехваченное им донесение. С первых же строк Шубин, конечно, понял бы, кто автор письма.

Но он не смотрел под ноги. Он был поглощен поисками Винеты, так же как Виктория в прошлом году. Да, внимание их обоих было отвлечено. Именно поэтому письмо пролежало так долго под стеклом витрины.

Страницы письма были смяты, грязны, — видимо, затоптаны сапогами. На двух или трех листках расплылись бурые пятна. Кровь? Быть может, даже кровь Шубина?

Виктория отогнала эту мысль и начала читать. Вот упоминание о пучеглазом Гейнце, далее о Готлибе, Курте, Рудольфе...

## 5. «Их леве, Лоттхен!»

«Я жив, Лоттхен. Ты удивишься, узнав это. Но я жив. Вглядишься получше: это мой почерк. Ты ведь помнишь мой почерк. Верь мне, это я. И я жив.

Я рискую жизнью, когда пишу тебе. Я вынужден писать, то и дело пряча листки, беспрестанно оглядываясь. Меня расстреляют, узнав, что я пишу тебе. Даже не станут высаживаться для этого на берег. Всплывут ночью и расстреляют в открытом море, если, понятно, позволит погода.

Церемониал известен. Приговоренного выводят на палубу под конвоем двух матросов, третий несет балластину, чтобы привязать ее к ногам. Руководит расстрелом вахтенный офицер, бывший товарищ по кают-компаниям, который накануне передавал приговоренному соль за столом или проигрывал ему в шахматы.

Я вижу это так ясно, словно бы это уже случилось. И я боюсь. Но еще больше я боюсь, что ты меня забудешь.

Письмо очень длинное. Я пишу его на протяжении всех этих долгих лет.

Писать на нашей подлодке строжайше запрещено. Но мне удалось обойти запрещение.

Видишь ли, я пользуюсь особым доверием командира (однажды он сказал, что я и Курт — его лейб-гвардия на подводной лодке).

Как штурман, я знаю все секретные подходы к Винетам, веду



прокладку курса.

Мало того. Наш командир честолюбив. И он был бы не прочь издать после войны свои мемуары, наподобие «Семи столпов мудрости». Но Лоуренс соединял в одном лице разведчика и литератора. Наш командир ни в коей мере не обладает литературным даром. Поэтому он прибег к моей помощи.

В свободное время я делаю записи, которые он прячет потом в сейф. И я делаю это совершенно открыто, на глазах у других офицеров, а между тем урывками пишу и тебе. Конечно, при малейшей опасности приходится быстро подкладывать письмо под черновик мемуаров.

Надеюсь на случай, на какую-нибудь оказию. Во что бы то ни стало, и возможно скорее, ты должна узнать, что я жив!

Меня постоянно подгоняет этот Гейнц.

Из всех моих товарищей я больше всего боюсь и ненавижу Гейнца. Ты должна помнить его. Я познакомил вас в ресторане в Пиллау. Он пучеглазый, лысый и все время шутит.

Лоттхен! Шутки его подобны раскаленным иглам, которые во время допроса запускают под ногти! День за днем он снимает с меня допрос, подавливает, расставляет ловушки!

Он ждет, что я сорвусь. И я могу сорваться. Скажу что-нибудь из того, о чем нельзя ни говорить, ни думать. Будучи выведен из себя его приставаниями, подлыми намеками на твой счет!

Изредка, впрочем, он дает мне передохнуть и принимается подавливать других.

Вчера, играя в шахматы с Рудольфом, он начал вполголоса напевать:

Эс гейт аллес форюбер,  
Эс гейт аллес форбай...<sup>[38]</sup>

— Приятный мотив! — небрежно сказал Рудольф. — Откуда это?

— Вы не знаете?

— Нет.

— О! Неужели?

— Я не музыкален. Ваш ход, доктор!..

Проиграв партию, Гейнц ушел, очень недовольный.

А мы с Рудольфом молча переглянулись. Мы, конечно, знали недавно

придуманное продолжение этой песенки. Оно крамольное:

Цуэрст фельт дер Фюрер,  
Унд да ди Партай. [\[39\]](#)

...Впрочем, может, это не Гейнц. Мне подозрителен Курт, любимчик командира. Не внушает доверия также Готлиб, механик. Возможно, он лишь прикидывается дурачком. Да, собственно говоря, и Рудольф, мой сосед по каюте...

Все здесь подозревают друг друга и следят друг за другом. И тем не менее, рискуя жизнью, я пишу тебе, чтобы сказать: я жив!..

Сейчас, Лоттхен, я открою тайну. Наша гибель мнимая! Мы только притворились мертвыми.

Подобно мертвым, мы погружены во мрак, в мир призраков, где двигаются крадучись и говорят вполголоса. Но ни один мертвец не получает жалованья, а мы получаем — даже тройной оклад! Ведь это неопровержимо доказывает, что я жив, не правда ли?

Бой в Варангер-фьорде, о котором было написано в похоронном извещении, кончился вничью. Командир обманул противника и ушел.

Но, вернувшись на базу, мы получили «назначение на тот свет», как сострил Курт. Весной 1942 года мы еще сохраняли способность острить...

Но знай: это только маскировка под мертвых! Наш командир жив. И я жив. Помни: ты моя жена и я жив!

Ни в коем случае не продавай дом на Линденаллее и не выходи замуж. При живом муже нельзя выйти замуж, помни это!

Доктор просто поддразнивает меня, чтобы заставить проговориться. Но я тоже начну прислушиваться к его словам, ко всем его обмолвкам, шуткам, анекдотам. И посмотрим, кого первым из нас проведут на нос лодки по сужающейся скользкой палубе!..

Но иногда я верю ему. И чаще всего — во сне. Когда человек спит, душа его беззащитна. Я ничего не могу с собой поделывать, Лоттхен, как ни стараюсь. Я вижу сон, один и тот же, очень страшный. Я вижу, что иду по Линденаллее. Соседи, стоящие за изгородью, отворачиваются от меня и не отвечают на мои поклоны. Я подхожу к нашему дому, отворяю калитку, закрываю за собой. Прodelываю это очень медленно. Я боюсь того, что произойдет. Я знаю, что произойдет.

Поднимаю глаза: на террасе стоит наш Отто в своей бархатной курточке и коротких штанишках. Он видит меня, но не трогается с места. «Что же ты? — говорю я. — Ведь это я, твой папа». Я задыхаюсь от волнения. Сердце неистово колотится в моей груди.

А потом появляешься ты. Ты тоже стоишь, не трогаясь с места, и смотришь на меня — холодно, равнодушно, отчужденно. Ты смотришь на меня так, будто я виноват перед тобой и Отто. Но ведь я не виноват! Меня заставили пойти на эту подводную лодку. Я не хотел этого. Ты же знаешь: я хотел остаться в Копенгагене...

Что может быть страшнее такого сна?

Только пробуждение!

Вероятно, человек, проснувшись в гробу, испытывает подобные муки.

Открыв глаза, я вижу себя все в той же тесной, как гроб, каюте-выгородке, а надо мной темный свод. Это подволок подводной лодки. И бежать из нее некуда...

Несчастья мои начались с апрельской командировки в Копенгаген. Помнишь ее?

Слишком хорошо выполнил задание! А мы с тобой так радовались моим успехам!

Подводному флоту понадобились эти проклятые военно-морские базы для нанесения ударов по Англии. Адмирал Дениц сделал заявку на Данию и Норвегию, и он получил их.

Англичане разрисовывают события так, будто наши солдаты были спрятаны в трюмах германских торговых судов, прибывших в Копенгаген накануне вторжения. Ты знаешь, что это вранье. Я рассказывал тебе. Накануне в Данию прибыли — обычным пассажирским самолетом — всего два человека: я — по уполномочию военно-морских сил и майор, командир батальона, который должен был захватить городские укрепления.

Майор под видом туриста занялся копенгагенской цитаделью, где размещены штаб, телефонная станция, караульные посты. А я отправился в порт.

У пирса было слишком много судов. Но я выяснил, что два больших транспорта скоро уйдут. Таким образом освободится место для наших десантных кораблей. Все устраивалось хорошо. В зашифрованной телеграмме я мог даже указать номера причалов.

Вечером мною заинтересовался полицейский. Я объявил ему, что заблудился. Толстый болван услужливо проводил меня к остановке

автобуса. А когда он ушел, я вернулся на пристань, чтобы закончить свою работу.

Посмотрела бы ты, как прошло вторжение! На маневрах не могло пройти лучше (кстати, операция так и называлась: «Везерские маневры»). Наши солдаты действовали в цитадели, словно бы стояли там гарнизоном несколько лет. И на пристани было не меньше порядка. Какой-то матрос-датчанин, зевавший у причала, даже принял швартовы с нашего десантного корабля. Спросонья дурень посчитал нас за своих. Хотя нет, я спутал, это случилось позже, в Норвегии.

Датчане вели себя, как кролики: наивные, толстые, самодовольные. Вторжение в Данию очень напоминало охоту на кроликов.

Если бы вся война была такой! Но она не была такой...

— Вы отличились в Дании и Норвегии, — сказал командир, когда я представлялся ему по случаю назначения на подводную лодку. — Добавьте к своим положительным качествам еще умение молчать. Такова отныне ваша профессия: действовать и молчать.

Я понял, что означает «действовать и молчать», очень скоро — во время операции «Букет красных цветов». В Пиллау и дома я не рассказывал тебе о ней, но теперь это уже не тайна. Надо было, видишь ли, выставить букет в окне нашего посольства в Дублине — как сигнал к восстанию и государственному перевороту. Но лишь после того, как мы высадим в Ирландии организаторов восстания!

Это не удалось, потому что один из них умер от сердечного припадка в Ирландском море, уже в виду пологих зеленых берегов.

Пришлось вернуться ни с чем, если не считать мертвеца.

И тогда я допустил оплошность. Я восстановил против себя доктора.

Понимаешь ли, на походе он очень раздражал меня: бестолково суетился подле умирающего, которого поддерживали его товарищи, давал ему нюхать нашатырь, неумело тыкал иглой в руку. Я терпеть не могу бестолковых. И за ужином я сказал, что «пассажир из Дублина» выжил бы, будь на борту врач, а не фельдшер (но ведь так оно и есть: Гейнц военный фельдшер, мы лишь из вежливости называем его доктором).

Гейнц позеленел от злости и все же засмеялся.

— У «пассажира из Дублина», — ответил он, — вместо сердца была старая, стоптанная галоша. С таким сердцем даже не стоило танцевать «гроссфатер», не то что пускаться в диверсии.

— Вдобавок в лодке было очень душно, — вставил Курт, любимчик

командира.

— Курт прав, — подхватил доктор. — Если бы можно было всплыть и впустить через люк свежего воздуха... Но вы же знаете, что мы не могли всплыть. Над нами было полно английских кораблей. Впрочем, — любезно добавил он, повернувшись ко мне, — когда вы почувствуете себя плохо, я обещаю утроить свои усилия.

И видела бы ты, как он оскалился!

Рудольф говорит, что наш доктор снимает улыбку только на ночь, но утром, вычистив зубы, снова надевает ее.

Он злой, хитрый и неумный! Самое опасное сочетание. Помнишь восточную поговорку: «Тяжел камень, тяжел и песок, но всего тяжелее — злоба глупца»?

Но довольно о Гейнце.

Зато наш командир умен и широко образован. Рядом с мореходными справочниками на его книжной полке стоят Шпенглер, Ницше, Гёте, Моммзен. В Винету-два по его заказу регулярно доставляют экономические журналы — вместе с горючим и продовольствием.

Впервые явившись к нему и ожидая, пока он просмотрит документы, я загляделся на книжную полку. Он перехватил мой взгляд:

— Вы, кажется, закончили университет до того, как поступить в военно-морское училище? Где именно? А! Об этом сказано в ваших документах. Кенигсберг.

— Готовился стать доктором философии, господин капитан второго ранга, — доложил я.

Но разговор на этом прервался.

Наш командир на редкость немногословен.

За все годы, что я служу с ним, он — при мне — лишь дважды вступил в общий разговор в кают-компании. И то неожиданно! Его как бы прорвало. Видно, тема задела за живое. Человеку все-таки очень трудно оставаться наедине со своими мыслями, тем более если они невеселые...

Говорят, он самый молчаливый офицер германского подводного флота. Очень может быть. Особые условия нашей деятельности, конечно, наложили на него свой отпечаток. Человек замкнут, потому что держит нечто под замком.

Впрочем, у вас, женщин, это, видимо, иначе. Вы делаетесь еще болтливее, когда утаиваете секрет. Старательно прячете его за своей беспечно-милой, кружащей голову болтовней...

Но я хотел не об этом. Я хотел описать тебе нашего командира.

Ты думаешь, его лицо всегда неподвижно? Наоборот! Мимикой он как бы дополняет скупое отмериваемое слово. И это производит пугающее впечатление. Чего стоит хотя бы обычная его ужимка: голова склонена к плечу, один глаз зажмурен, другой устремлен на тебя с непонятной, многозначительной усмешкой. Он будто прицеливается...

Повторяю: командир только дважды приоткрылся передо мной вне наших служебных с ним отношений.

В первый раз это было так. Мы доставили очередного пассажира в точку randevu и возвращались «порожняком». Командир обедал в кают-компании, что не так часто бывает.

Он безмолвствовал, по обыкновению. Мы уже настолько привыкли к этому, что разговор за столом — понятно, негромкий и сдержанный из уважения к командиру — не умолкал.

Речь почему-то зашла о будущем. Что будем делать после войны, когда Третий райх повергнет в прах своих врагов и воцарится над миром?

Франц, старший помощник, сказал, что безработица нам, во всяком случае, не угрожает, войн хватит на наш век. Рудольф что-то пробурчал насчет усталости. Гейнц сощурился. Большие розовые уши его оттопырились еще больше.

Заметив это, я процитировал Гегеля: «Война предохраняет народы от гниения».

Рудольф открыл рот, чтобы ответить. Но вдруг в кают-компании раздался резкий, тонкий голос. Все с удивлением вскинули головы. Командир заговорил!

— Вы правы, Венцель, — сказал он. — Вернее, прав Гегель. Без войн нельзя. Человек не может без войн. В этом — сущность его извечной жизненной борьбы.

— Но с кем же воевать, если мир будет покорен?

Командир мрачно усмехнулся:

— У людей короткая память. Время от времени придется напоминать то одному, то другому континенту, что хозяева мира — немцы!

Он замолчал и больше не принимал участия в разговоре.

А вторично разговорился — так же неожиданно, — когда подводная лодка лежала на грунте, ожидая наступления темного времени суток для всплытия. Мы сидели за ужином. Разговор шел о долголетию.

Помню, Готлиба не было с нами. Он был, вероятно, в моторном отсеке.

Я похвастался своими отцом, дедом, прадедом. Никто из них не позволил себе умереть раньше семидесяти.

Гейнц стал расхваливать целебное действие китайских трав. Потом заспорили о том, какая профессия выгоднее в смысле долголетия. Я стоял за пастухов, Курт и Гейнц — за пчеловодов.

И вдруг в кают-компании раздался голос командира:

— Дольше всех живут главы военных концернов! Почему? Не знаю. — Он помолчал. — Я заметил, что фабриканты оружия живут тем дольше, чем больше людей с их помощью умерло. Сделал даже несколько выписок — любопытства ради. Вот! Возьмем хотя бы Армстронга. Основатель фирмы, изобретатель нарезного орудия. Он жил девяносто лет! Смерть, видно, расчетлива. Делает поблажки своим постоянным поставщикам. Очень умело откупался от смерти и Бэзил Захаров, компаньон его сына. Прожил... позвольте-ка!.. восемьдесят с чем-то. Да, правильно! Хайрам Максим, изобретатель пулемета, жил семьдесят шесть. Альфред Крупп — семьдесят пять. Август Тиссен — восемьдесят два. И сынок его Фриц не оплошал. Оказал финансовую помощь нашему фюреру и дотянул до семидесяти шести. А вы толкуете о пастухах и пчеловодах!

Он встал, спрятал в карман записную книжку:

— Нужно уметь извлекать уроки из чтения! Наш Готлиб собирает кладбищенские квитанции. Зачем? Чтобы дольше прожить. Вздор! Квитанции не помогут, не смогут помочь. Пакет акций — военных акций! — неизмеримо надежнее! Раздобудьте такой пакет, вцепитесь в него зубами и не выпускайте даже ночью! Смерть снисходительна к фабрикантам оружия.

Люди, по-моему, начинают интересоваться долголетием, почти прожив жизнь. Так и наш командир. На вид ему не менее пятидесяти, хотя он скрывает это и даже красит волосы. Об этом проговорился Курт.

Пятьдесят лет — и всего лишь командир подводной лодки!

Звание командира тоже не соответствует его возрасту и военноморскому опыту. Он только капитан второго ранга. В этом звании был в 1942 году, так и остался в нем.

Видишь ли, он просто не успел получить повышение, потому что был «потоплен». Мы остались в тех же воинских званиях, в каких нас застигло потопление.

Вот почему лучший подводный ас Германии до сих пор лишь капитан второго ранга, хотя давно должен быть адмиралом.

При иных обстоятельствах он стремительно продвигался бы вверх по лестнице чинов и должностей. Ему покровительствует сам адмирал Канарис...

(Пришлось сделать перерыв, накрыть письмо картой. Мимо прошел Курт, беззаботно насвистывая и раскачиваясь, как в танце. Он, несомненно, наушник!)

Продолжаю. Да, Канарис... Командир учился в одном с ним кадетском училище в Киле, а ты знаешь, как однокашники помогают друг другу на флоте и в армии.

Но дело не только в Канарисе. Мне рассказывали, что еще в двадцатые годы нашему командиру, тогда безвестному лейтенанту флота в отставке, посчастливилось оказать важную услугу фюреру. Это случилось на митинге. На фюрера было совершено покушение, но наш командир прикрыл его грудью. Пуля, предназначавшаяся фюреру, задела шею командира и повредила какой-то мускул или нерв. Таково происхождение его увечья. Как видишь, оно почетно. Вот почему командиру доверено командование такой подводной лодкой, как наша. Он пользуется правом личного доклада фюреру!

Но почему, будучи другом Канариса, более того, пользуясь правом личного доклада фюреру, командир терпит Гейнца?

Считается, что Гейнц следит за нами по заданию командира. А я думаю: не соглядатай ли он, приставленный к самому командиру?

Пример. Мы прибыли в Винету-два и стали на ремонт. В этот день база была в трауре, как и вся Германия, по случаю пленения на Волге нашей доблестной Шестой армии.

Вечером в кают-компании собрались Рудольф, я, Готлиб, Гейнц, еще кто-то. Делая вид, что хочет развеселить и подбодрить общество, Гейнц, по своему обыкновению, расставлял нам ловушки. Мы помалкивали.

— Вы прямо какие-то неживые, — сказал он наконец с раздражением. — Или не дошло, повторить?

— Гейнц жаждет рукоплесканий, — сказал я.

— Могу даже разъяснить. Кстати, вы знаете, почему немецкий лейтенант, выслушав анекдот, смеется три раза, а генерал только один раз?

О боже! Еще история, заплесневелая, как морской сухарь!

Молчание. Гейнц быстро перебегает взглядом по нашим лицам: не клюнет ли кто-либо на крючок? В каждом рассказанном им анекдоте — крючок!



— Ох уж этот Гейнц! — лениво сказал Рудольф. — Когда-нибудь прищемят ему язычок раскаленными щипцами!

— Расскажи этот анекдот командиру, — посоветовал Готлиб. — Он поймет. Еще не адмирал.

— А заодно, — подхватил я, — выясни, как он относится к пленению армии на Волге.

Гейнц только злобно покосился на меня и больше уже не раскрывал рта.

Но я опять о Гейнце...

Наш командир, возможно, чувствует себя обойденным по службе.

И дело не только в адмиральском звании. Человеку, если он совершает необычное, нужны всеобщее признание, клики толпы, хвалебные статьи в газетах. Один некролог, даже пространный, не может заменить этого.

Командиру не хватает славы. (Как мне тебя!)

Наиболее значительное из того, что он совершил в жизни, — а он не молод, не забывай об этом! — не подлежит оглашению. На его подвигах стоит гриф: «Строго секретно».

С мая 1942 года лучший подводный ас Германии — в тени. И неизвестно, когда выйдет из нее. Да и выйдет ли вообще? Ведь даже дубовые листья к своему рыцарскому кресту он получил «посмертно». Об этом было в некрологе.

При командире нельзя упоминать прославленных немецких подводников. Его просто сгибает в дугу, когда он слышит фамилии Приена и Гугенбергера.

Из одного этого ты можешь заключить, что мы живы. Мертвые не завидуют живым. И они не ревнуют.

Впрочем, кто знает...

Но уж, во всяком случае, мертвые не страдают от холода, жары, духоты и зловония.

А мы переводим дух только по ночам, когда подводная лодка всплывает для зарядки аккумуляторов. Потом опять, и надолго, крышка гроба захлопывается с печальным лязгом.

Душно. Тесно.

К испарениям человеческого тела, к парам кислоты аккумуляторов, к специфическому запаху рабочей аппаратуры, а также смазок добавляется

еще запах углекислоты. Накапливаются опасные отбросы дыхания.

Неделями, Лоттхен, мы пьем застоявшуюся теплую воду, и то в ограниченном количестве. Ее приходится экономить в походе. Едим однообразную консервированную пищу. И подолгу не моемся, как пещерные люди.

Посмотрела бы ты на нас, какие мы грязные! Ты, такая чистюля, заставляющая по субботам мыть с мылом тротуар перед домом и сама готовая часами плескаться в ванне, как маленькая девочка, взбивая пену!

Я любил смотреть, как ты плещешься в ванне.

Мысленно я вдыхаю сейчас аромат твоих волос. Ты раньше любила духи «Юхтен». Они пахнут прохладой, как липы в июле. Кто дарит тебе «Юхтен»? Или он привозит тебе трофейные «Коти»?

Но я снова о том же. Он! Я даже не знаю, кто это — он! Какой-нибудь молодчик с усиками, отдохавший после фронта в Кенигсберге? Или это наш хромоногий сосед, который сбоку похож на ворона?

А быть может, его все-таки нет? Ты по-прежнему верна мне, Лоттхен? Будь мне верна! Помни: я твой муж и я жив!

Но почему ты, собственно, должна быть мне верна? Я отсутствую уже третий год. И даже по официальным справкам я мертв.

Однажды ты сказала, улыбаясь: «Никогда тебя не обману. Нельзя будет сказать правду — лучше промолчу».

Ты бросила эти слова мимоходом, но я поднял их, сберег и ношу на груди до сих пор. Они прожигают мне грудь насквозь! «Промолчу!..» И вот ты молчишь. Ты молчишь уже третий год, и я схожу с ума от этого молчания.

А во сне меня мучает твой голос.

Нас всех мучают ласковые женские голоса.

Наверно, лишь полярник, долго проживший на зимовке, сумел бы это понять. Обыкновенным людям невдомек, какая страшная колдовская сила — женский голос!

Два с половиной года мы в отрыве от земли. Кратковременные стоянки на базах не в счет. Винеты засекречены, их обслуживают немногочисленные команды — исключительно из мужчин. (Начальство бережет нас. Оно считает, что женщины менее надежны, так как более болтливы.)

За эти два с половиной года ухо привыкло лишь к грубым, низким, хриплым мужским голосам. И вдруг в отсеках раздается женский голос!

Нежный, высокий — милый щебет! Или томный, грудной — голубиное воркование! Это Курт включил трансляцию.

На стоянках иногда слушаем радио, чтобы не совсем отстать от вас, живых. Это разрешено. И, пока передают последние известия или очередную статью Геббельса, мы спокойно сидим у стола кают-компания или лежим на своих койках. Но стоит подойти к микрофону певице или женщине-диктору, как все меняется.

Будто порыв обжигающего ветра пронесся вдоль отсеков! Сохнет во рту. Волосы шевелятся на макушке. Душно, душно!

Этого нельзя вытерпеть! Из кают-выгородок раздаются хриплые, сорванные, грубые мужские голоса:

— Выключи! Выключи, болван! Ради бога, выключи!

Вкрадчивый и нежный женский голос потрясает нашу подводную лодку сильнее, чем глубинные бомбы!

Курт выдергивает штепсель...

Но сны-то ведь не выключишь, Лоттхен!

Даже каменная усталость не помогает. Мысли и во сне продолжают вертеться. Мозг искрит.

Что бы я ни делал днем, ночью неизменно возвращаюсь в свой страшный сон.

Иногда сны бывают ярче и реальнее жизни, особенно такой однообразной, как наша...

Но, быть может, тебе удастся обмануть меня? Сделай это!

Обмани меня, Лоттхен, когда мы будем снова вместе! Каждый день неустанно, по многу раз, повторяй: я верна тебе, я всегда была тебе верна!

И я, вероятно, поверю.

«Чем неправдоподобнее ложь, тем чаще надо ее повторять, чтобы заставить в нее поверить». Так сказал рейхсминистр Геббельс. В этом деле он знает толк...

Мне бы хоть минуту побыть в нашем зеленом Кенигсберге! Сделал бы один глубокий жадный вдох, и опять — в свою преисподнюю!

Но семисотлетие Кенигсберга обязательно отпразднуем вместе! До славного юбилея осталось немного. В 1955 году мне будет только сорок пять лет. Разве это возраст для мужчины?

Я мало курю, не пью. Вдобавок у меня отличная наследственность.

В день семисотлетия мы всей семьей побываем в розарии, потом на озере.

Флаги Третьего райха — на домах, полосатые полотнища свисают до земли! Над городом гремят марши!

Отто и Эльза пойдут впереди, чинно взявшись за руки, а мы, как положено родителям, следом за ними...

Когда я воображаю это, у меня меньше болит голова.

Монотонно тикают часы. Они поставлены по берлинскому времени. Всюду, на всем протяжении Германской империи, в самом райхе и в оккупированных областях, а также на кораблях германского флота, стрелки показывают берлинское время.

И я подсчитываю — просто так, чтобы забыться, — сколько еще минут осталось до семисотлетнего юбилея Кенигсберга...

## **6. Каюта-люкс (Продолжение письма)**

Выше я писал об ирландском экстремисте, из-за которого я восстановил против себя Гейнца. Но были и другие пассажиры.

Для них впоследствии оборудовали каюту в кормовом отсеке, убрав оттуда торпедные аппараты. Конечно, там нет особого комфорта. Да и не может его быть. В подводной лодке слишком тесно. И все же эта каюта — не наши двухъярусные гробы и даже не салон командира.

Мы зовем ее между собой «каюта-люкс»... Длинной вереницей, один за другим, сползают наши пассажиры в подводную лодку. Сначала видим только ноги, которые медленно спускаются по вертикальному трапу. Потом видим и лица. Ноги разные. Лица — одинаковые почти у всех. Без особых примет. Сосредоточенные, угрюмые. Не лица — железные маски!

Лишь один пассажир походил, пожалуй, на человека. Да и то пока лежал в беспамятстве на полу. Едва открыл глаза, как лицо заостенело, будто у мертвого.

Я обозначил его в вахтенном журнале как «пассажира из Котки». Мы, понимаешь ли, записываем своих пассажиров без упоминания фамилии — только по названию города: «пассажир из Дублина», «пассажир из Осло», «пассажир из Филадельфии». Впрочем, этот был, можно сказать, безбилетным. Его выловили крюком в Финском заливе во время моей вахты.

Случайного пассажира не поместили в каюте-люкс — она секретная.

Он спал на койке Курта, а ужинал с нами в кают-компании.

Меня потянуло к нему. От него веяло удивительным душевным здоровьем. В этом плавучем сумасшедшем доме только он да я были нормальными. Но мы не успели поговорить.

Было у него и другое, неофициальное название: «человек тринадцатого числа». Так его окрестили в кубрике.

Матросы были уверены, что он принесет нам несчастье. Ведь его выловили тринадцатого числа.

Не странно ли? На борту «Летучего Голландца» боятся призраков!

На нашей подводной лодке — металлическом островке, насыщенном до предела техникой, битком набитом механизмами, не хватает лишь колдуна, который совершал бы ритуальные пляски среди кренометров и тахометров!

Матросов напугало то, что «пассажир из Котки» явился в сопровождении свиты чаек. По-матросскому поверью, чайки — души погибших моряков.

Однако «опасное» влияние «человека тринадцатого числа» продолжалось недолго.

Пробыв у нас несколько часов, он ушел обратно в море. Замешкался при срочном погружении. Тут зевать нельзя. Мы ушли на глубину, а он остался. Либо утонул, либо попал в плен к русским.

Но такая смерть не хуже и не лучше всякой другой. По крайней мере, сэкономил балластину, которую привязывают к ногам, чтобы труп сразу ушел под воду. Обычно он уходит стоймя, словно напоследок вытягивается перед остающимися во фронт...

Я вспомнил похороны в море. Нет, это была не казнь, обычные похороны. Умер матрос, наш с тобой земляк.

Позволь-ка, где же это было? В Тихом океане? Нет, пересекали Тихий океан в составе большого конвоя. Шло пять или шесть подводных лодок. А мне во время похорон запомнилось одиночество. Гнетущее. Ужасающее. Узкое тело подводной лодки покачивается на волнах. А вокруг океан, бескрайняя пучина вод. Значит, Атлантика. Это было в Атлантике.

Да, несомненно, не море — океан. Слишком длинными были волны, катившиеся мимо. И небо было слишком большим, светлым. Потому что оно отражало океан.

В тот раз, по-моему, мы перебрасывали тюки, набитые пропагандистской литературой.

Приходится время от времени впрыскивать под кожу этим фольксдойче сильно действующее, тонизирующее. Наша подлодка выполняет роль такого шприца для инъекции.

В данном случае, насколько я помню, это было подбадривающее лекарство. Но иногда в шприце бывает и яд...

Когда я поднялся на мостик, в глаза мне ударили косые лучи. Солнце склонялось к горизонту. Это был единственный ориентир в водной пустыне.

Я поспешил пустить в ход секстан, чтобы уточнить наше место. А вахтенный матрос стал к визиру<sup>[40]</sup> и принялся его поворачивать. В любой стороне горизонта могла возникнуть опасность. Второму матросу было приказано наблюдать за воздухом.

А внизу, на палубе, происходило погребение. Оно не отняло много времени.

Пастора у нас заменяет командир. Он выступил вперед с молитвенником в руках и прочел над мертвецом молитву.

Потом загромыхала балластина по борту, увлекая за собой тело, зашнурованное в койку, похожее на мумию.

Команда: «Пилотки надеть!» — и все кончено. Погребение заняло не более пяти минут, как раз столько, сколько нужно, чтобы определиться по солнцу.

Нельзя было рисковать слишком, долго находиться на поверхности!

Быть может, стремительно опускаясь, мы обогнали нашего бедного земляка, который, вытянувшись, как на перекличке, уходил глубже и глубже к месту своего последнего упокоения...

Люди по-разному уходят из нашей подводной лодки.

Бедный Генрих уходил плохо. Он не хотел уходить. Но мне нельзя вспоминать о Генрихе...

Я начал писать о пассажирах.

Некоторым еще до смерти приходилось полежать в гробу. Подразумеваю наши торпедные аппараты. Кое-кого доводилось провожать так — до нашего мнимого потопления.

Они залезали в аппарат по очереди. Затем Рудольф, наш минер, наглухо захлопывал заднюю крышку. Обменивались условным стуком. Короткий удар по корпусу аппарата: «Как самочувствие?» Ответный удар: «В порядке». Два удара: «Почувствовал себя плохо». Каждый сообщал только о себе.

Люди лежали в абсолютном мраке, головой касаясь пяток соседа. Потом Рудольф заполнял торпедный аппарат водой и, уравнив давление внутри аппарата с забортным давлением, открывал переднюю крышку. Люди по очереди выбирались наружу и всплывали — со всеми предосторожностями, не забывая о кессонной болезни.

Так было в тех случаях, когда командир не рисковал всплыть. Но зато мы приближались к берегу почти вплотную.

Понятно, для такого ухода требуются крепкие нервы. Но после нашего потопления в Варангер-фьорде (не забывай: оно мнимое!) все изменилось, в том числе и состав пассажиров.

Дико подумать о том, чтобы наших теперешних пассажиров заталкивали в торпедный аппарат. В большинстве своем это немолодые, солидные люди, без всякой спортивной подготовки. Даже каюта-люкс кажется им недостаточно удобной. Вахтенный офицер берет под козырек, когда их усаживают в надувную лодку, чтобы доставить на берег. Глаза при этом рекомендуется держать опущенными. Наши пассажиры не любят, когда им смотрят в глаза.

Иногда встреча происходит не у берега, а в открытом море. Пассажир пересаживается на корабль или, наоборот, с корабля на нашу лодку. Чаще всего это бывает ночью.

Помню одну такую встречу посреди океана. Мы явились в точку randevu, когда корабля с пассажиром еще не было. Он запаздывал.

Наша подводная лодка всплыла и, покачиваясь на волнах, ходила короткими курсами и малыми ходами.

Я был вахтенным офицером.

Ты не можешь себе представить, что это такое — ночь посреди океана!

Куда ни кинь глазом — вода, вода. А над нею в пустоте висит одинокая луна. Нет ничего более одинокого на свете, чем луна над океаном...

Но и в новолуние страшно посреди океана. Слабый мерцающий свет разлит вокруг. Волны безостановочно катятся навстречу, неторопливо обегая земной шар. Это картина первозданного хаоса. Таким, вероятно, был мир, когда бог отделил свет от тьмы.

Странная мысль пришла в голову. Я подумал: как жутко, наверно, было богу! Не от страха ли одиночества он и создал нас, людей? Мы всего лишь порождение огромного космического страха. Поэтому и жизнь наша с самого детства до старости наполнена страхами, разнообразными страхами.

Я поймал себя на том, что бормочу:

— Бедный бог! Бедный!..

Я объясню тебе, Лоттхен, почему я уверен, что вернусь к тебе.

Наш командир — лучший подводный ас Германии.

Он чрезвычайно осторожен. Когда на воду падают сумерки, он неизменно идет на глубине, безопасной для таранного удара. Вечернее освещение обманчиво. В перископ может показаться, что еще (или уже) темно. Лодка может всплыть, а ее будет видно.

Командир выводит нас из таких опасных переделок, в которых сломал бы шею любой другой, менее искусный и опытный подводник.

Недавно «морские охотники» гоняли нашу лодку под водой на протяжении нескольких часов. Сальники дали течь. От гидравлического удара левый гребной винт остался только с двумя лопастями, и скорость уменьшилась. Глубинные бомбы сыпались за кормой, как яблоки с дерева в бурю.

Я подумал, что Готлибу не помогут и его четырнадцать кладбищенских квитанций.

И все же командир ушел. Нырнул под звуконепроницаемый слой и ушел.

Он знает назубок гидрологию Балтийского, Северного, Норвежского и других морей (гидрология, понятно, меняется от времени года).

Когда-то я объяснял тебе, что есть перепады плотности воды, через которые не проникают звуковые волны. А под водой нас преследуют по звуку. Нырнув под такой, как бы броневой, купол, мы можем маневрировать там или спокойно отлеживаться на грунте. Туда не достигают даже «звонки дьявола», как мы называем Асдик<sup>[41]</sup>.

Кроме того, командир то и дело сверяется с картой кораблекрушений.

Это, собственно, карта мирового океана, но она пестрит особыми значками. Стоит взглянуть на нее, чтобы сразу же ориентироваться на обширном морском кладбище.

Наше место — вот оно! Совсем неподалеку от нас, на такой-то глубине, лежит «Неистовство», линейный трехдечный корабль британского флота, потоплен французами в таком-то году. Чуть подальше, на таких-то координатах, находится знаменитый «Титаник», который напоролся на айсберг незадолго перед первой мировой войной. А вот прогулочная яхта «Игрушка», водоизмещением столько-то тонн. Выбор, как видишь, велик.

Мы уже не раз играли в жмурки с врагом на морском кладбище. Гейнц в шутку называет это осквернением могил.

Командир подводит преследователей к затонувшему кораблю, выпускает немного соляра — для приманки, потом, круто отвернув, уходит переменными галсами. Он не притворился мертвым, нет. Вместо себя



подставил мертвеца под удар!

На поверхность вздымаются обломки. Соляр и обломки!

Почему не доставить преследователям немного удовольствия? Назавтра в победных реляциях появится сообщение о новой потопленной немецкой лодке. А наша подлодка, цела-целехонька, выскакивает из воды на другом конце моря. Игра в жмурки продолжается...

Только что я отпаивал водой Рудольфа, моего соседа по каюте.

Бедняге померещилось, что он в церкви, на заупокойной мессе.

— Неужели ты не слышишь, Венцель? — бормотал он, схватив меня за руку и весь дрожа. — Ну вот — орган! Служка зазвонил в колокольчик! Поют девушки, хор! Боже мой, я слышу, как рыдает моя мать!

Я поддерживал его трясущуюся голову, боясь, как бы он не откусил край стакана.

На этот раз припадок прошел быстро. Я даже не вызывал Гейнца. Нового ничего все равно бы не сказал. Слуховая галлюцинация! С нашим Рудольфом это бывает.

Рудольф откинулся на подушки, рубаха на груди была мокрая — половину воды он пролил на себя.

— Успокойся же! — сказал я. — Ты моряк, возьми себя в руки!

— Я спокоен, — пробормотал он. — Я спокоен, ты же видишь. Я спокоен, как сельское кладбище...

Эти дни он слишком много смотрел на траурное извещение, которое висит над его койкой. И вот — результат! Я виноват, недоглядел.

Где и когда он раздобыл эту регенсбургскую газетенку? (Регенсбург — его родной город.) На наши базы почти не доставляют провинциальные газеты. И представь: это оказался именно тот номер, на последней странице которого мать Рудольфа извещает о заупокойной мессе по сыну, лейтенанту флота, погибшему смертью героя в Варангер-фьорде, и так далее!

Рудольф вырезал из газеты извещение, аккуратно окантовал и повесил над своей койкой.

Вначале это выглядело как шутка, мрачноватая, правда, но все же шутка. Рудольф то и дело повторял:

«Я полно прожил свою жизнь, даже прочитал траурное извещение о самом себе».

А потом начались эти слуховые галлюцинации...

Я один из немногих на нашей подводной лодке, кто до сих пор сохраняет ясную голову.

Профессор Гильдебрандт всегда хвалил мою голову. Он считал, что я умею убеждать. Прицал лишь за пристрастие к метафорам и некоторую сумбурность изложения. И тем не менее он собирался оставить меня при кафедре.

Я читал бы лекции в Кенигсбергском университете, в тех же аудиториях, в которых учился сам. Со временем ты стала бы госпожой профессоршей. И тогда не надо было бы рисковать жизнью, чтобы убедить тебя в том, что я жив.

Но — помутилась ясная голова!

Все дело в том, что Кенигсберг не только город великого Канта. Это и бывший центр комтурства Тевтонского ордена, затем оплот Второго и Третьего райха на Востоке.

И вот стали бить барабаны, и зарычали трубы, и от ветра, который они подняли, разлетелись мои аккуратные конспекты по философии.

Вероятно, в жизни каждого человека (а также, я думаю, и народа) есть роковая поворотная дата. Совершена ошибка — непоправимая, — и все идет под уклон, в тартарары!

Для меня такой датой был 1934 год. Фюрер провозгласил могущество Германии на море, и я, распроставшись с Гильдебрандтом, пошел в училище подводного плавания.

А когда вся Германия перешагнула роковую дату?..

В первую мировую войну — я помню цифры — погибло два миллиона немцев, столько же, сколько населения во всей Дании. Сейчас, наверно, погибло втрое больше, то есть население Швеции.

Лоттхен, пойми! Мне гораздо труднее, чем остальным: Рудольфу, Готлибу, Францу, Курту! Я больше думаю, чем они. Это — кадровые офицеры флота Великой Германской империи. Их учили только одному — убивать. А я умею не только это. Все-таки я закончил университет...

Иногда я жалею, что закончил его...

Может ли возникнуть миролюбивая Германия — вот в чем вопрос!

Нет ли фатальной неизбежности, исторического предопределения во всем случившемся? Семя военных катастроф — не заложено ли оно, это семя, в самых глубинах немецкого духа?

Я хотел бы побеседовать сейчас с профессором Гильдебрандтом.

По-моему, на вопрос о миролюбивой Германии он ответил бы

утвердительно. И в самом деле: почему бы Германии не быть миролюбивой? Есть же в нашем национальном характере, кроме воинственности, и прославленная аккуратность, и точность, и трудолюбие, и, наконец, мечтательность! Кто еще умеет так мечтать, как мы, немцы? Фауст не только погубил бедную Гретхен. Он занялся созидательным трудом на благо людей. Он строил плотины, отвоевывал землю у моря.

Мною иногда овладевает иллюзия. Это не слуховая галлюцинация, как у Рудольфа. Просто даю волю воображению, тому самому, за которое меня порицал профессор Гильдебрандт...

Вижу и ощущаю себя в просторном светлом кабинете. Окно — до пола — распахнуто настежь. Вдали, за деревьями, видна церковь, в притворе которой погребен великий Кант.

Я не капитан-лейтенант Ранке, я доктор философии Ранке.

Однако одновременно вижу и этого злосчастного капитан-лейтенанта. Он горбится над столиком у своей койки. Вот пугливо оглянулся, прикрыл картой маленький исписанный листок. Иллюминаторов в каюте нет. Лампочка горит вполнакала.

Но ведь это совершенно чужой для меня человек! Он вызывает во мне страх и отвращение.

Проходит несколько минут, и видение высокого кабинета исчезает. В каюте тесно, душно. Я — снова я, и устало распрямляюсь над этим бесконечным письмом к тебе.

«Две души — увы! — в душе моей!» Как прав был наш великий Гете, сказав это!

Но если миролюбивая Германия возможна, то это конец для меня, для таких, как я! Нет и не может быть места нам в миролюбивой Германии! Мы слишком много грешили.

Ты скажешь, что, оставшись при кафедре, я был бы мобилизован и направлен на фронт? Да. Но тут есть разница. Обер-лейтенант или капитан пехоты, обыкновенный офицер вермахта, — это совсем не то, что штурман нашей подводной лодки. Все дело в нашей подводной лодке...

Вчера Курт перехватил по радио сообщение английской станции. Якобы несколько «Фау», выпущенных на Лондон, сбились с курса.

Они покружились в воздухе и, вернувшись, взорвались во Франции, неподалеку от командного пункта фельдмаршала Рундштедта. Фюрер в это время проводил там совещание.

Англичане вне себя от радости. Еще бы! Немецкие «Фау»

возвращаются и бьют по своим! Но они именно не бьют по своим! Ведь желанная для англичан встреча «Фау» с фюрером не состоялась. Бог простер свою могучую десницу над фронтом и отвел снаряды «Фау» от ставки Рундштедта. Фюрер был спасен!

Разве не видно в этом предзнаменования? Фюреру — даже в случае крайних неудач на фронте — предназначена величественная роль в будущем. Бог за фюрера!

А если уж и бог отступится от него, то ведь есть еще «Летучий Голландец». Мы станем судьбой фюрера!

Но тсс! Молчок, силенциум!<sup>[42]</sup>

Быть может, судьба потому и хранит меня, что с некоторых пор жизнь моя и моих товарищей неразрывно связана с жизнью фюрера?

Выше я привел несколько случаев, которые должны убедить тебя в том, что я жив. Приведу еще один случай. Он произошел на суше, а не на море, что особенно важно.

Мы поднялись по реке, преодолевая бар. Пришли сюда в половодье, когда вода стоит на 10-12 футов выше корней деревьев.

Это невиданно громадная река, вся в густых, почти непроходимых зарослях, где живут драконы и где втайне возводят заколдованные замки.

Мы двигались только по ночам — в позиционном положении. Это значит, что систерны заполнены, продута лишь средняя группа. Над водой возвышается рубка, частично видна и поверхность палубы.

С берега можно принять нас за дерево, почти лишенное ветвей, но с тяжелыми корнями, плывущее стоймя.

Но дерево плыло против течения!

Согласно расчету времени, пора было поворачивать. Я уже начал беспокоиться. Вдруг командир, стоявший рядом со мной, сказал:

— Вот она, эта светящаяся дорожка на воде!

И справа, в зарослях, мы увидели мерцающую гирлянду. То были не болотные огни, а фонарики на вешках. Они были зажжены специально для нас и указывали путь к Винете-пять.

Командир приказал продуть все систерны, и подводная лодка, всплыв, углубилась в заросли тростника. За ними открылась узкая протока.

Мы были здесь впервые. Командир решил переждать ночь в зарослях.

Протока представляла собой как бы прохладный коридор. Над головой смыкались ветви деревьев, это напомнило мне нашу тихую, тенистую Линденаллее.

Утром нас окутала зеленоватая полумгла, которую косо перечеркивали лучи солнца. Командир выслал на бак впередсмотрящих, боясь наткнуться на сучья и корни поваленных деревьев.

По сторонам протоки высился тростник — в два человеческих роста. За ним темнел тропический лес. Ночь как бы прилегла вздремнуть у корней деревьев.

Наконец с облегчением я увидел, что тенистый коридор расширяется. Впереди светлым пятном зеленела расчищенная от деревьев поляна. Посредине стояло сооружение на высоких сваях.

Нет, по виду оно не напоминало замки, которые Эльза видела на цветных картинках. Но, по сути, это и был заколдованный замок, предназначенный для невидимок и призраков.

Мы ошвартовались у причала. Там кипела работа.

Мог ли предполагать великий Гумбольдт, что, спустя полтора столетия, по его следам пройдут саперы фюрера?

На поляне корчевали пни, забивали сваи, а над головой с криками носились взад и вперед ярко-зеленые желтоголовые попугаи.

Мы оказались как бы внутри вольеры...

Но там были не только попугаи. Сильнее их пронзительных криков донимала нас болтовня обезьян. О! Нескончаемая, стрекочущая, со взвизгами и истерическими рыданиями. Какой-то сумасшедший дом на ветвях!

Готлиб признавался мне, что иной раз его тянет схватиться за рукоятки спаренного пулемета и дать длинную очередь вверх. Сразу бы умолкли!

И разве можно винить меня за то, что в этом диком шуме, и духоте, и жаре я иногда терял контроль над мыслями? Я думал о тебе, Лоттхен, все самое ужасное, постыдное.

Но хватит, хватит об этом!

Как я уже упоминал, местная тропическая флора поражала своим разнообразием. Там и сям мелькали в лесу приветливые лужайки, окаймленные папоротником. Приветливость их, однако, лжива. Это трясина, топь, которую надо обходить с опаской.

Ты скажешь, что зелень должна успокаивать. В Кенигсберге она успокаивает. Недаром наш Кенигсберг считается самым зеленым городом в Европе после Парижа. Но тамошняя зелень была слишком яркой. Она не успокаивала, а раздражала. И листья казались покрытыми лаком.

Орхидеи попадались на каждом шагу — самой разнообразной окраски

и разного запаха. Одни пахли, как фиалки, другие — как червивое тухлое мясо!

А неподалеку от нашей стоянки росло дерево, похожее на безумие. У него были тонкие искривленные стволы, а на них гроздь причудливых желтых цветов. Они завивались, как локоны, и свисали почти до самой земли. Слабые стволы гнулись под их тяжестью.

Я старался не смотреть на странное дерево, когда проходил мимо. Мне казалось, что это фотографический снимок чьего-то бедного больного мозга, сделанный при вспышке магния.

Но я хотел рассказать тебе о встрече с драконом.

Однажды ночью с разрешения командира я отправился поохотиться. Примерно в полукабельтове от причала был водопой. Я засел там, чтобы подстеречь какое-нибудь животное.

Ночь была лунная. Я покачивался в челноке, который одолжил у строителей, курил и думал о тебе и детях.

Вдруг мною овладела тоска. Это не была тоска по тебе или по дому, я уже привык к ней, если к тоске можно привыкнуть.

Это было что-то другое, мучительнее во сто крат!

Страх вошел в меня медленно, как тупое тусклое лезвие. Потом лезвие вытащили и с силой погрузили вновь.

Мною овладела паника.

Бежать отсюда, бежать!

Но весло вывалилось из рук. Я не мог двинуться с места. Мозг был полупарализован.

В лесу протяжно кричала сова. Индейцы называют ее «матерью луны». Корни деревьев переплелись в толстые тугие узлы. Так свиваются змеи весной. Ветки, опутанные лианами и орхидеями, купались в воде. Я как зачарованный смотрел на черную воду, боясь оглянуться.

Что это со мной? Болотная лихорадка начинается иначе. И Гейнц закармливает нас хиной — в целях профилактики.

Страх был необъясним. Я хотел уплыть отсюда — и не мог!

Стыдно признаться, но я начал кричать. Да, как испуганный ребенок, запертый в темной комнате!

Вахтенные на нашей подводной лодке слышали меня. Вскоре на шлюпке подошли Курт, Гейнц, еще кто-то.

Я объяснил им, что не могу двинуться с места. Гейнц, по обыкновению, отпустил какую-то шутку.

Но индеец, сидевший на руле, молчал. Он напряженно всматривался в сумрак за моей спиной. Потом сделал предостерегающий жест и словно бы

выдохнул со свистом:

— Сукуруху!

По-индейски — это удав!

Мои товарищи схватились за пистолеты. Я оглянулся. В десяти — пятнадцати метрах от челнока, на отмели, засыпанной сухими листьями, возвышалась конусообразная масса. Над ней чуть заметно покачивалась маленькая голова.

Удав не двигался. Но при ярком лунном свете видно было, как вытягивается и сокращается длинное тело при дыхании.

Неподвижные глаза были устремлены на меня.

Не могу описать тебе эти глаза! Они светились во мраке. Но самое страшное не в этом. В них столько злобы, беспощадной, холодной, мстительной! Да, мстительной! На меня смотрел древний повелитель мира, король рептилий, свергнутый со своего трона человеком и оттесненный на болота, под корни деревьев!

(Мне довелось еще раз увидеть подобные глаза, но уже не в зарослях тропической реки. Об этом после.)

«Опомнись, Венцель! — сказал я себе. — Это лишь большой червяк. Ведь твое ружье с тобой!»

Однако ружье весило чуть ли не тонну. Я с трудом поднял его, не целясь выпустил в змею весь заряд. Рядом захлопали пистолетные выстрелы.

Лезвие, торчавшее между лопаток, исчезло! Я выпрямился...

Потом индейцы измерили длину убитого нами удава. Она составляла почти пятьдесят футов!

На строительстве было много разговоров об этом случае. Индейцы считали, что змея была сыта и только это спасло меня.

Глупцы! Любыми средствами провидение оберегает тех, кто предназначен для свершения высокой исторической миссии!

Но, гордясь этим, я, честно говоря, не хотел бы вернуться к дому на сваях.

Тамошные места — сплошной змеевник. В жару мы ходили в высоких резиновых сапогах, опустив голову, боясь наступить на что-нибудь извивающееся.

А в воде, помимо аллигаторов, нас подстерегали иглистые скаты. Они нападают на купальщиков и бичуют их своими длинными хвостами. Иглы очень ломкие и остаются в ране.

Поэтому, когда нам хотелось освежиться, слуги поливали нас из ведер, предварительно процедив воду.

Да, иглистые скаты, змеи, аллигаторы — это, пожалуй, охрана надежнее, чем батальон самых отборных эсэсовцев!

А дальние подступы к заколдованному замку охраняет рыба пирайя. Она неслышанно прожорлива и состоит только из огромной пасти и хвоста.

Многие натуралисты могли бы позавидовать нам. Мы наблюдали пирайю в действии.

Колесный пароход на наших глазах ударился о гряду камней и начал тонуть. Пассажиры и команда очутились в воде. Тотчас, словно бы под водой дали сигнал, к месту аварии ринулись пирайи.

По возвращении я покажу тебе несколько фотографических снимков. (Детям их смотреть не стоит.) Снимки уникальные. Гумбольдт, я думаю, многое отдал бы за них.

Снимки сделал командир. Он приказал вынести на палубу разножку, уселся и принялся хладнокровно фотографировать то, что происходило в воде у его ног.

Лоттхен! Это было ужасно! Это напоминало давку у дверей мясного магазина!

И я позавидовал самообладанию нашего командира. Он не знает жалости к побежденным, как герой древних саг. Я не могу так. Ты же меня знаешь. Я лучше отвернусь...

Ночь в зарослях вспомнилась недавно — во время аудиенции.

Он стоял выпрямившись у стола, в обычной своей позе. Я видел его впервые так близко. Он мельком взглянул на командира, потом устремил на меня испытующий взгляд. Глаза были неподвижные, выпуклые, отчего создавалось впечатление, что у него нет век (это незаметно на портретах).

Я принялся раскладывать на столе карту. Она показалась мне тяжелой, словно была сделана из свинца, а не из бумаги.

Потом я отошел от стола, ожидая вопросов. Странно, что ноги тоже стали тяжелыми.

Но во время доклада он ни разу не обратился ко мне, только изредка взглядывал на меня.

Я продолжал чувствовать скованность во всем теле. Когда он устремлял на меня взгляд, мною овладевала оторопь. (Говорят, в свое время он брал уроки гипноза).

Не исключено, впрочем, что мое состояние объяснялось просто



усталостью после похода. А быть может, в кабинете было слишком жарко.

Кабинет был отделан только в черное и желтое. Сверху светила люстра, круглая, как луна. Немолчно трещал вентилятор на столе. Полотнища знамен, свисая со стен, покачивались от сквозняка, как заросли. Изредка через неплотно прикрытое окно доносились протяжные возгласы: «Ахтунг!» Ими обменивались часовые наружной охраны. Это было похоже на крик совы...

И тогда мне пришла в голову странная ассоциация.

По счастью, вскоре он отпустил нас наклоном головы, не спуская с меня своих неподвижных, лишенных век глаз.

Я понимаю: ассоциация нелепа, страшна. Но мне не с кем поделиться, кроме тебя. И от этих ассоциаций голова раскалывается на куски.

Я подумал: неужели же он совершит с нами предполагаемый дальний поход? Мне будет казаться, что в нашу лодку через верхний люк...<sup>[43]</sup>

Лоттхен! Мы в Винете-два. Ждем приказа о выходе в дальний поход.

Из газет ты знаешь о наступлении в Арденнах. Оно связано с нашим ожиданием. Все, что совершается сейчас на фронтах, связано с ним. Надо во что бы то ни стало оттянуть время!

Под Новый год на борт доставлен груз особой важности. Но я не должен писать об этом. И я хочу сообщить тебе о другом.

Сейчас отправлюсь к командиру. Буду просить его отпустить меня домой, в Кенигсберг. На самый короткий срок. На день, на несколько часов.

Мне хватит даже двух часов! Расстояние — пятьдесят километров, шоссе отличное. Туда и обратно — час, пусть полтора часа, принимая во внимание ночь (конечно, я отправлюсь ночью) и контрольно-пропускные пункты на шоссе.

Мне нужно только несколько минут побыть дома. Увидеть тебя и детей, обнять вас и сказать, что я жив!

Ведь можно пренебречь даже самыми строгими запретами, если война уже проиграна. Тем более сейчас, когда мы готовимся в дальний поход. Неизвестно, скоро ли вернемся в Германию. Быть может, пройдет не один год...

И никто меня не узнает. Я обвяжу лицо бинтами. На контрольно-пропускных пунктах меня примут за человека, который ранен в лицо. Не станут же сдирать бинты с раненого офицера!

А для соседей ты сплетешь какую-нибудь историю. Скажешь, например, что тебя проводывал друг твоего покойного мужа.

Решено! Иду к командиру. Как бы я хотел не отсылать это письмо!

Неудача! Командир отказал наотрез.

Положение, по его словам, обострилось. Мы ждем условного сигнала только до двадцать четвертого апреля. Потом, если будет трудно прорваться через Бельты и Каттегат, уйдем в восточную часть Балтики. Винета-три еще более надежна, чем Винета-два. Надо нырнуть под гранитный свод, отлежаться, выждать...

Это по-прежнему не смерть, Лоттхен!

Что бы ты ни услышала о судьбе нашей подводной лодки, помни, знай, верь: я жив!

Но это письмо, надеюсь, убедит тебя.

Я нашел наконец способ отправить его.

Ковш, в котором мы стоим, бдительно охраняется. У шлагбаума всегда торчит часовой. Конечно, солдатам невдомек, кого они охраняют.

Несколько дней, не обнаруживая себя, я наблюдал за часовыми, пока не отобрал одного. Лицо его показалось мне наиболее подходящим.

Вчера ночью мы столкнулись. Он достаточно глуп, чтобы поверить небылице, которую я придумал. И тем не менее он заломил непомерную цену. Короче говоря, сегодня мои золотые часы и тысяча марок перейдут в карман его куртки вместе с этим письмом.

А между тем ему надо лишь бросить письмо в почтовый ящик!

Я решил послать письмо по почте. Быть может, письма уже не перлюстрируются. В тылу, наверно, царит хаос, сумятица.

Рискую. Но что же делать? Узнал по радио, что русские подходят к Кенигсбергу. Еще несколько дней, и мы с тобой будем отрезаны друг от друга.

Кроме того, предстоит дальний поход... Если положение не улучшится, мы уйдем в дальний поход.

И тогда...

Но до этого ты должна узнать, что я жив! Надеюсь, через два-три дня ты уже получишь это письмо.

Прочитав и перечитав — для памяти, — немедленно сожги его! И никому ни слова, ни полслова о нем, если ты дорожишь моей и своей жизнью!...»

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1. Прокладка курса

Профессор, по обыкновению, задернул шторы на окнах. Еще Плиний сказал: «Мысль живет и ярче во мраке и безмолвии».

Наконец-то наступил тот момент, когда все стало ладиться в работе. Появилась легкость в пальцах, мысль сделалась острее, изложение проще, свободнее. И аргументы, которые недавно еще вяло расползались по бумаге, теперь сами со всех сторон сбегаются под перо.

Произошло это после того, как легла на стол копия письма, найденного в Балтийске. (Рышков незамедлительно передал ее Грибову для ознакомления и консультации.)

Конечно, именно среди руин Пиллау и Кенигсберга можно было понять, чье это письмо.

Венцель, в числе других фашистов, был повинен в разрушении Пиллау и Кенигсберга. Быть может, даже смутно догадывался об этом, воображая свою Линденаллее в дыму и пламени, но отгонял от себя страшную мысль.

Да, действовал как бы в бреду.

Сослепу продолжал наносить удары, не отдавая отчета в том, что каждый из этих ударов рикошетом падает на его близких.

С монотонным, маниакальным упорством он повторял свой припев: «Я жив!» Будто не только жену — себя самого старался уверить в этом.

Но Грибов сумел отбросить все лишнее — то есть личное.

Письмо штурмана он прочел как штурман. Словно бы процедил сквозь фильтр найденные в Балтийске листки, отжал из них ревнивые упреки и сентиментальные жалобы. На письменном столе остались даты и факты.

И снова, уже в третий раз, изменился «узор мозаики», который складывается из карточек на столе.

Венцель подтвердил предположение Грибова о том, что тайная деятельность «Летучего Голландца» была самой разносторонней. «Корабль мертвых», несомненно, участвовал в «торговле из-под полы», конвоируя английский никель. Но это было лишь одним из разделов его деятельности.

Он, несомненно, занимался не только экономической диверсией, но также и военной, политической, идеологической. Как морской бог Протей, то и дело менял обличье. Поэтому так трудно было вначале понять, разгадать его.

И в самом деле: попробуй-ка разгадай! То Цвишен готовится высадить в Ирландии организаторов восстания. То сопровождает транспорт с никелем. То принимает на борт какого-то «господина советника», которому поручено «расшевелить этих финнов», чтобы удержать их от капитуляции.

Но во всех случаях он ввязывался лишь в крупную игру. «По маленькой» не играл...

Факты и даты из письма Грибов тщательно сверяет с другими имеющимися в его распоряжении сведениями. А затем выводы «суммируются» на небольшой, формата атласа, географической карте, которая всегда под рукой.

Вскоре весь мировой океан испещрен красными зигзагами, короткими и длинными. Это след «Летучего Голландца». Иногда он пропадает, чтобы опять появиться через сотню, а то и тысячу миль. Да, едва различимый змеиный след, опоясавший весь земной шар...

С год или с полгода назад, сидя у Грибова, Шура Ластиков восхищенно сказал:

— И как это вам удалось, товарищ капитан первого ранга? Можно сказать, прошли задним ходом по событиям.

Грибов усмехнулся, бережно расправил загнувшийся уголок карты:

— Да. Моя последняя в жизни прокладка — причем уже не своего, а чужого курса. Иначе — биография «Летучего Голландца», положенная на карту. — Он добавил, как бы извиняясь: — Ведь вы знаете: мы, моряки, привыкаем мыслить картографически. Я не экономист, не военный историк. Я моряк, штурман. И решение задачи у меня чисто штурманское...

Взяв за основу указания, мимоходом брошенные штурманом «Летучего Голландца», он постарался восстановить прокладку курса. Ломаная тонкая линия как бы проступала меж строк. Так, при соответствующей обработке, возникает тайнопись, нанесенная на бумагу лимонным соком или раствором пирамидона. Прежде всего Грибов положил на карту отрезок пути между Ирландией и Германией. Рядом проставил дату «1940, июль».

Он сумел установить, что ирландский экстремист, которого перебрасывали в Дублин, действительно существовал. Фамилия его была Райан. Но на подходе к цели он умер от сердечного припадка, что дало повод к вражде между Венцелем и Гейнцем.

Линия прокладки пробежала и от Киркенеса до Гамбурга (дата — «1940, декабрь»). Сговор английских торговцев и немецких промышленников подтвержден в ряде мемуаров.

Изучение документов, переданных в распоряжение Грибова, помогло

также уточнить назначение конвоя из пяти немецких подводных лодок, которые в 1942 году пересекли Тихий океан. («Помню ужасающее одиночество, — писал Венцель жене. — Значит, Атлантический, а не Тихий океан. В Тихом с нами было еще пять подлодок».)

Лодки доставляли из Японии важнейшее военно-стратегическое сырье, а именно кобальт. Он был остро необходим немецко-фашистским войскам на Восточном фронте. Но Япония еще не воевала с Советским Союзом. Во избежание огласки приходилось соблюдать особую осторожность.

А Цвишен был специалистом по таким «бесшумным» операциям. Поэтому он и находился в составе конвоя. Но, видимо, отстал от него где-то на полпути к Германии, — Венцель исключил Атлантику из этого перехода.

Атлантику «Летучий» пересекал с другими целями, и, надо думать, неоднократно. Пространство между Европой и Южной Америкой можно почти сплошь заштриховать линией прокладки.

Как сказано в письме: «Наша подводная лодка выполняет назначение шприца, в котором содержится подбадривающее для этих фольксдойче. Впрочем, в шприце бывает и яд».

Но Грибов не сомневался в том, что «Летучий» действовал у берегов Северной, а также Центральной Америки.

В одном документе сказано вполнамека о какой-то диверсии, подготовлявшейся в районе Панамского канала, по-видимому взрыве шлюзов. Кто должен был осуществить взрыв и почему не осуществил, так и не выяснено до сих пор.

Однако Грибову не верится, что Цвишен со своей командой мертвецов мог остаться в стороне от такой крупной военно-морской диверсии.

Впрочем, здесь профессор вступает уже в область непроверенного. А в подобных случаях он делает прокладку осторожным пунктиром. Это означает как бы вопросительно-неуверенную интонацию.

Так, например, пунктиром соединены на карте берега Северной Франции и Северной Америки. Рядом дата — «1944 год». Грибову неясно еще, принимал ли Цвишен участие в диверсии Эриха Гимбеля.

Этот инженер, кадровый эсэсовец, должен был проникнуть в недра «Манхэттен-проекта», то есть в тайну изготовления атомной бомбы, а если удастся, то и помешать ее испытаниям.

Он пересек с этой целью Атлантический океан — на подводной лодке! — и скрытно, ночью, высадился на восточном побережье США.

Однако его почти сразу же выдал спутник, американский офицер, завербованный немецкой разведкой в одном из лагерей для военнопленных.

Гимбель, впрочем, отделался легко. Смертную казнь ему заменили пожизненным заключением. Более того. Недавно он был помилован и вышел на свободу. В Западной Германии даже поспешили выпустить о нем и в честь него фильм «Шпион для Германии».

Что-то было в этой истории путаное, какая-то недоговоренность. Грибов считал вполне вероятным, что Гимбеля перед освобождением «выжали, как лимон», иначе говоря, заставили в обмен на свободу раскрыть некую важную тайну. Быть может, тайну «Летучего Голландца», если в США его доставил «Летучий Голландец»?

Индийский и Тихий океаны тоже пересекает пунктирная нить. Соединяя Индию и Японию, она связана, возможно, с человеком по имени Субха Чандра Бос.

Известно, что между Германией и Японией не было договоренности о том, кому перейдет Индия после разгрома Англии. Большинство индийцев были настроены антияпонски. Пользуясь этим, гитлеровцы начали под шумок формировать так называемый индийский легион — из солдат, взятых в плен в Северной Африке. Японцы, естественно, заволновались.

Чтобы умаслить их, в Токио был направлен — на подводной лодке! — один из предполагаемых руководителей легиона Субха Чандра Бос.

Не на борту ли «корабля мертвых» проделал он этот путь?..

И не были ли, подобно ему, пассажирами «Летучего Голландца» те многочисленные немецкие шпионы, которые регулярно забрасывались — на подлодках! — в Индонезию, хотя ее уже оккупировали союзники Германии, японцы?..

Согласно старому поверью, черт возвещает о своем приближении запахом серы. Об участии Цвишена в той или иной секретной операции Грибов догадывался по ее особо изощренному коварному вероломству.

Когда-то он пытался лаконично выразить смысл той или иной «раскладки». Сначала это была «Вува», «Вундерваффе», то есть секретное оружие, потом — «связной военных монополистов». Сейчас Грибову представляется наиболее точным, исчерпывающим такое определение: «ход морским конем».

Да, каждая операция, в которой участвовал «Летучий Голландец», может быть названа: «ход морским конем».

По вечерам кабинет профессора напоминает штурманскую рубку.

Она — святая святых корабля. Здесь всегда светло и тихо. Иллюминаторы плотно задраены. Где-то далеко завывает ветер, перекачивается эхо канонады. Штурман, склонившись над столом, не думает ни о чем, кроме прокладки. Только лампа подрагивает при качке, освещая карту и лежащие на ней транспортир, часы, циркуль, безукоризненно отточенные твердые карандаши...

Все это воскресает в памяти, когда старый штурман склоняется над прокладкой курса «Летучего Голландца».

На карте паутинные нити кое-где завязываются в узелки. Рядом с таким узелком чернеет буква «В» и порядковый номер. Это — Винеты. Пока известны всего лишь три. Вот они: Винета-два — в Пиллау, ныне не существующая, Винета-три — в восточной части Балтики, по-видимому в шхерах, и Винета-пять — в тропических джунглях Амазонки.

«Винеты бесспорно не однотипны, — доложил Рышкову Грибов во время очередного посещения. — Немецко-фашистское командование отступило в данном случае от своего обыкновения все и вся унифицировать. Характер маскировки определялся местными условиями. Конечно, в тропических зарослях можно и должно прятать Винету по-иному, чем в военной гавани или, скажем, в скалистых коридорах шхер».

О Винете-пять без промедления сообщено в соответствующие инстанции Бразилии. Но Винета-три, «рудимент войны» (так когда-то назвал Грибов Винету в Пиллау), — неподалеку, буквально под боком. И «Летучий Голландец», по словам Венцеля, должен был «отлежаться, выждать» именно в Винете-три. Усиленные поиски не дали пока ничего. Указания, которые содержатся в письме Венцеля, общи, сбивчивы: «Уйдем в восточную часть Балтики... Винета-три еще более надежна, чем Винета-два... Надо нырнуть под гранитный свод...»

Это и есть самое важное указание: «гранитный свод». Значит, Винета в шхерах запрятана где-то под землей?

Профессор ищет аналогий.

Он знает, что под конец войны часть Германии ушла под землю. Туда «провалились» некоторые военные заводы, аэродромы, штабы, склады. Под Кенигсбергом, например, располагался второй, «подвальный», Кенигсберг, который был частично затоплен перед капитуляцией.

Нечто подобное наблюдалось и в шхерах.

Шубин когда-то шутил, что «гранит на Карельском перешейке изъеден саперами, как пень — древооточцами».

Вспомнился в этой связи случай на Аландах.

О нем рассказал Грибову один из его учеников, который был членом Союзной Контрольной комиссии, проводившей в 1946 году демилитаризацию Аландских островов.

Работа подходила уже к концу. Воздвигнутые укрепления были взорваны или подготовлены к взрыву. Неожиданно в комнату, где заседала комиссия, вошел старый рыбак. Он не поздоровался, даже не назвал своей фамилии, положил на стол какую-то бумагу и так же безмолвно удалился.

Участники комиссии с удивлением увидели, что на оставленной бумаге нанесена часть схемы укреплений. Рассмотрев ее, они убедились в том, что утаен большой склад оружия.

Офицеры отправились к указанному месту. Это был небольшой, почти не посещавшийся людьми остров, а их в Аландском архипелаге более шести тысяч. Глубоко в расщелине скалы запрятаны были ящики с автоматами, карабинами, разобранными пулеметами. Кто-то пытался укрыть тлеющие угольки войны, готовясь раздуть их в будущем.

Быть может, и «Летучий Голландец» также спрятан в шхерах и ожидает нового трубного гласа, чтобы воспрянуть из-под пепла?..

Грибов встал из-за стола и, подойдя к окну, приоткрыл фрамугу.

Почти сразу ворвался в комнату бой часов.

То были куранты на каланче пожарной команды бывшей Адмиралтейской части, часы широкого дыхания и неторопливой, старомодной рассудительности.

Грибов привык к ним. Они были педантичны и напоминали о себе каждые пятнадцать минут. Сначала негромко отсчитывали: «раз, два, три», потом более внушительным, низким голосом говорили: «бам-м!»

Их бой похож был на перезвон колоколов, отдаленный, приглушенный, как бы идущий из-под воды... Почему именно из-под воды?

Вернувшись к письменному столу, Грибов задумался над этим неожиданно пришедшим сравнением. Оно связано с Винетой? Конечно. Сейчас все мысли связаны с Винетой.

Интересно, почему именно «Винета»? Что побудило Деница, Канариса или Гиммлера выбрать слово «Винета» для условного наименования стоянок «Летучего Голландца»?

Как будто ассоциируется с каким-то старым морским преданием. Да, средние века, слабый звон колоколов...

Иногда Грибову казалось, что он уже слышал или читал когда-то о Винете. Но воспоминания были слишком смутны, расплывчаты.

У своей настольной лампы, в комнате с плотно зашторенными окнами, он может без труда вообразить, что еще длится та, первая ночь над



картотекой. Только что он проводил курсанта Ластикова и знаменитого подводника Донченко, присел к столу, придвинул к себе одну из карточек и после некоторого колебания вписал в нее: «Светящаяся дорожка в шхерах».

Нет! Не четыре часа, а четыре года прошло с той ночи. Большой письменный стол сплошь устелен карточками, на которых — даты, факты, фамилии. А на маленькой карте в сети меридианов и параллелей, как пойманные рыбы, бьются Винеты...

Последняя ночь над картой прошла незаметно. За окном уже светло. Сквозь щели между шторами протискивается луч. Цепляясь за переплеты, он взбирается по книжным полкам, перемещается по стене к столу и, скользнув по карте через весь мировой океан, упирается в раскрытый настольный календарь.

Там запись — для памяти:

«Передача карты с прокладкой курса. Тов. Ластиков. Выпуск офицеров в училище».

С утра в училище необычно приподнятое настроение. Озабоченной рысцей пробегают по трапам дежурные, придерживая палаши у бедра. Командиры рот, выбритые до блеска, в полной парадной форме, при орденах и медалях, отдают и получают последние распоряжения. Стоя подле полотеров, исполняющих свой лихорадочный танец, офицер то и дело вынимает часы и нетерпеливо пристукивает ногой.

Все устали, взвинчены. Но это предпраздничная взвинченность.

Заместитель начальника по строевой части раздраженно оттягивает тесный крахмальный воротничок. Он вдруг спохватывается: привезли ли резинки для погон, кортиков и дипломов? Его успокаивают: привезли, привезли!

Даже часовой, застывший у знамени, судя по лицу его, несомненно, взволнован, хотя по уставу ему положено реагировать на происходящее только одним жестом: отданием чести по-ефрейторски, то есть отводя руку с винтовкой в сторону.

Об остальных курсантах и говорить нечего. В этот день равнодушных или спокойных нет. Разница лишь в оттенке эмоций.

У выпускников, которые донашивают на левом рукаве четыре золотых угла острым концом вниз, — это гордость пополам с радостью, старательно скрываемые. У остальных курсантов, носящих пока один угол, два или три, к радости примешиваются нетерпение и самая чуточка зависти.

Высшее военно-морское училище имени Фрунзе провожает своих

выпускников, новых офицеров флота!..

Церемониал этот совершается в бывшем Актовом зале, ныне зале Революции.

Вот начинает доноситься тяжелая, ритмичная поступь. Раскрываются белые резные двери, в зал сине-черным компактным прямоугольником входят курсанты.

Вдоль левой стены выстраиваются выпускники с отличниками на правом фланге, у противоположной стены — остальные курсанты, держа винтовки к ноге. Не дрогнет, не шелохнется ровный, как по ниточке, ряд безукоризненно выглаженных фланелевок, хотя сердца под ними, вероятно, колотятся во всю мочь.

Александр Ластиков — на правом фланге выпускников.

Не поворачивая головы, ничем не нарушая неподвижности шеренги, он скользит взглядом по группе преподавателей училища. Среди них — в полной парадной форме Грибов.

В зал торжественно вносят училищное знамя. Оно проплывает вдоль строя курсантов. Развеваются гордые ленты орденов Ленина и Ушакова. С сосредоточенно-строгими лицами, не глядя по сторонам, шагают великан знаменосец и два ассистента ему под стать, — в знаменную бригаду отбирают самых рослых отличников. Широкою выпуклую грудь пересекает голубая лента с золотой окантовкой, на плече — обнаженный палаш.

Зачитывается приказ министра о присвоении выпускникам воинских званий. Лейтенант... Лейтенант... Лейтенант...

Впервые выпускники слышат свои фамилии с прибавлением офицерского звания. Они морщат носы, пытаются остаться невозмутимыми. Но радостная мальчишеская улыбка помимо воли проступает на губах.

Команда:

— Офицерам-выпускникам погоны, кортики, дипломы вручить!

Поздравления, традиционный ответ: «Служу Советскому Союзу!», туш. И здесь соблюден церемониал: каждому отличнику туш исполняют особо.

Снова команда:

— Офицерам-выпускникам форму одежды — курсантскую на офицерскую сменить! Офицеры-выпускники, напра-во! По факультетам — шагом марш!

В классах на столах разложены тужурки с поперечными золотыми полосками на рукаве. Офицеры натягивают белые перчатки, поводят плечами, озабоченно скашивают на них глаза — привыкают к погонам. Те топорщатся крылышками: еще непослушны, не обмяты шинелью. На

золотой канители — строгий черный просвет и две маленькие серебряные звездочки. Путеводные звездочки! Куда, в какие моря, к каким подвигам во славу Родины поведут они?..

Пока что приводят обратно в зал. Шелест одобрения, восхищения среди гостей. Очень трогательно выглядят эти юные офицеры, совсем еще новенькие, угловатые в движениях, смущающиеся собственного своего великолепия.

Звучит Гимн Советского Союза. Адмирал произносит поздравительную речь. Под гулкими сводами раскатывается:

— Равняйся! Парад, смирно! К торжественному маршу, повзводно, на двух линейных дистанцию, первый взвод — прямо, остальные — направо! На плечо! Равнение направо! Шаго-ом — марш!

Следом за знаменем училища проходят молодые офицеры.

Зал опустел.

Приказ о назначении на флоты зачитывается уже в ротах:

— лейтенант Авилов — на Тихоокеанский... лейтенант Бубликов — на Черноморский...

Отличникам, по традиции, предоставлен выбор моря. Товарищи Александра заранее знают «его» море. Где и продолжать службу старому балтийцу, как не на Балтике?

Но заключительные слова приказа вызывают всеобщее недоумение:

«...откомандировывается в распоряжение командующего пограничными войсками Ленинградского военного округа».

Пограничными? Почему?

Александр обменивается с Грибовым многозначительным взглядом. Только они двое понимают, в чем дело. Это — тайна, о которой не положено знать никому, кроме самого ограниченного круга лиц.

Официальная часть закончена. Молодых офицеров окружают их гости — родственники и знакомые. Александр подходит к Грибову.

Короткое, сильное рукопожатие.

— Когда едете к новому месту службы?

— Послезавтра, Николай Дмитриевич.

— Очень хорошо. Я одобряю ваше решение не идти сейчас в положенный вам отпуск. Отгуляете его зимой.

— Конечно, Николай Дмитриевич. Хочется поплавать, пока длится навигация. А потом, я же читаю газеты...

Грибов кивком головы показывает, что понял, какое отношение имеют

газеты к этому решению.

Он задумчиво смотрит на лейтенанта Ластикова. Внешне сходства с Шубиным никакого. Да его и не может быть. Александр — не родной, а приемный сын. И в то же время угадывается глубокое внутреннее родство между ними.

Жесты и разговор Ластикова несколько медлительны. На первый взгляд он может показаться даже флегматичным. Но это спокойствие спортсмена, который бережет силы для решающего броска или удара.

Ластиков немногословен. А ведь когда-то, будучи юнгой, мог часами разглагольствовать, потешая матросов. Произошло нечто подобное тому, что происходит с тоненьким дискантом, который в период возмужания переходит в мужественный баритон или бас.

Время-то, время как бежит! Давно ли у дверей звонил стриженный под машинку курсант-первокурсник, старательно прятавший под военноморским этикетом свою застенчивость: «Разрешите войти!», «Разрешите представиться!»

Но потом, усевшись в кресле против хозяина, он овладел собой. Характерно, что сразу же овладел собой, едва назвал «Летучего Голландца», то есть перешел к делу, к цели своего посещения.

Помнится, сидел, сцепив пальцы рук между коленями, немного подавшись вперед, наклонив лобастую голову. Докладывал — именно не рассказывал, а докладывал — сжато, экономно, стараясь придерживаться только фактов.

Теперь лейтенант Ластиков, выпрямившись, стоит перед Грибовым.

Волосы у него светлые, почти льняные, не острижены под машинку, а расчесаны на пробор. Черты лица, очень загорелого, отвердели, определились.

И все же давешний милый сердцу Грибова угловатый первокурсник порой проглядывает в нем. Особенно когда задумается о чем-то — вот как сейчас, — и так глубоко задумается, нагнув голову и уставившись на собеседника своими темно-карими, широко расставленными, словно бы немного удивленными глазами.

— Я, Николай Дмитриевич, стал очень ясно понимать, как это важно: «Летучий Голландец»! Ведь мы по самому краю ходим, верно? Другие, может, только почитывают газеты и слушают радио краем уха, а для меня каждое слово будто молотком по голове. Закрою, знаете ли, глаза, и «Летучий» всплывает, как тогда, в шхерах, серый, в сером тумане, длинные стебли водорослей на нем.

Молодой офицер заставил себя улыбнуться, но глаза оставались

невеселыми, злыми.

— Ну что ж! — бодро сказал Грибов. — Я сделал свою часть работы. Остальное зависит уже от вас. От вашей целеустремленности, настойчивости, терпения. Я так и доложил адмиралу Рышкову... Надеюсь, не подведете? Я шучу, понятно. Вы как проводите сегодняшний вечер? По традиции, с товарищами?

— Так точно. Прощально-отвальная встреча.

— Тогда значит, завтрашний вечер у меня?

— Спасибо, Николай Дмитриевич.

— Спасибо будете после говорить. Я закончил прокладку курса. Завтра вручу карту вам...

## 2. Тема великого города

Когда Александр вышел от Грибова, то почти ничего не видел, не замечал вокруг. Зигзагообразная линия прокладки плыла в сумерках перед его глазами.

Как красная змейка, вертелась она на фоне домов и деревьев, горбилась, как гусеница, сдвигалась и раздвигалась, как складной метр...

Александр спустился по Невскому к зданию Адмиралтейства, покружил в сквере, где прогуливались няньки, толкая перед собой колясочки с детьми и значительно поглядывая на матросов, стоявших группами под сенью деревьев.

Как ни был он поглощен своими мыслями, все же с нескрываемым удовольствием подносил руку к козырьку, отвечая на приветствия.

Час был сравнительно ранний. Предстояло решить, как закончить этот вечер, последний в Ленинграде.

Товарищи, конечно, еще догуливают на квартире у одного из выпускников. Отличные, бравые ребята, весельчаки! Но к ним сейчас не хотелось. Они бы обступили Александра, принялись бы допытываться, почему у него такой рассеянный вид, и настойчиво требовать, чтобы он немедленно выпил «штрафную». И потом там, наверно, сидит эта Жанна! Вчера Александр не имел от нее ни минуты покоя. Она почти непрерывно хохотала, откидываясь назад всем корпусом, и говорила: «Красивый — жуть!»

— Шурик! Шурик! — кричала она через всю комнату (его никогда и никто не называл «Шурик»!) — Я приеду к вам в Выборг! Не бойтесь меня! Я не кусаюсь! — и закатывалась от смеха, будто и впрямь сказала

что-то очень остроумное.

А он и не боялся. Просто думал в этот момент о словах Грибова: «Остальное теперь зависит от вас. От вашей целеустремленности, настойчивости, терпения! Не подведете?»

Быть может, в другое время она и понравилась бы ему, эта так называемая Жанна? Хотя вряд ли.

Он с удовольствием зашел бы к Виктории Павловне — покрасоваться погонями и кортиком. Она, конечно, угостила бы его домашним печеньем и конфетами. До сих пор никак не могла привыкнуть к тому, что Александр уже взрослый мужчина.

«Ешьте печенье, Шура! — приговаривала бы она. — От мучного лучше растут!»

А куда еще расти? И так уж сто восемьдесят два сантиметра!

Но Виктории Павловны, к сожалению, не было в Ленинграде.

Миновав Исаакиевскую площадь, Александр без цели медленно побрел вдоль Мойки. Он очнулся лишь у театра имени Кирова. Сегодня ставили «Медного всадника».

Что ж, это кстати — Александр любил думать под музыку.

В кассе билетов не оказалось. Пришлось купить с рук.

— Только, извиняюсь, место — неважец, — честно предупредил человек, уступивший билет.

Капельдинер на цыпочках проводил офицера в ложу — увертюра уже началась. Был свободен один стул в заднем ряду. Александр осторожно присел на него.

Когда поднялся занавес, выяснилось, что место действительно «неважец». Александру была видна лишь часть софита в узком промежутке между стеной и кудряшками дамы, которая поместилась перед ним. О том, что творится на сцене, он и его соседка, невысокая худенькая девушка, могли только догадываться по реакции зрителей, сидевших в два ряда впереди.

Александр опустил голову. Что-то в музыке «Медного всадника» будило воспоминания о войне.

То была своеобразная мелодия, повторявшаяся время от времени, словно бы упрямо прорываясь сквозь препятствия.

Александру захотелось взглянуть на сцену, где старательно топали балерины. Он встал, постоял, глядя поверх голов, потом присел на барьер, отделявший одну ложу от другой. Отсюда видно хорошо, будто взобрался на салинг грот-мачты!..

Да, ему-то хорошо, а какво девушке, которая занимает место рядом?

Если Александр не видел ничего, то она уж и подавно.

Бедняга! Она изгибалась, вертелась, приподнималась, вытягивала шею, попробовала пересесть на освободившийся стул Александра, вернулась обратно. Еще бы! Плечистая дама и ее кудряшки закрывали собой весь горизонт!

Александр был подчеркнуто вежлив с женщинами, как положено моряку и офицеру. Он учтиво склонился к девушке:

— Извините, как ваше имя?

— Люда, — помедлив, удивленно сказала девушка.

— Так вот, Люда, почему бы вам не сесть на барьер, как я?

— Думаете, ничего? Можно?

— Вполне, — солидно подтвердил он.

Она уперлась руками в барьер, легко подпрыгнула и уселась рядом с ним.

— Ну как? — заботливо спросил он через минуту.

— О! Вполне, — повторила она его выражение с робким смешком.

Но через несколько минут Александра и Люду посадили с их насеста — по требованию какого-то придиры. И они снова погрузились в свой «колодець», на дно которого доносились только звуки оркестра.

Снова зазвучала торжественная мелодия-аккорд, и холодок пополз по спине.

— Неужели он не был здесь? — пробормотал Александр.

— Кто? — негромко спросили рядом.

— Композитор... Простите, я думал вслух. Так живо представилась блокада, а потом наша победа... Когда в оркестре звучит вот это!

— Но это же тема великого города! — удивленно сказала девушка. — Она проходит через весь балет.

На них зашикали. Тема великого города, вот, стало быть, что! А он и не знал.

Теперь понятно, почему воспоминания его пошли по такому руслу...

Ему виделся город, погруженный во тьму, очертаниями зданий напоминавший горный ландшафт, беспорядочное нагромождение скал.

Взад и вперед раскачивались по небу лучи прожекторов — гигантский светящийся маятник. Казалось, ободряющее тиканье метронома идет от этих лучей, они-то и есть метроном, который включается во время воздушного налета или артиллерийского обстрела и настойчиво напоминает людям: город жив, город стоит, город выстоит!

Фронт совсем близко — в двенадцати километрах от Дворцовой площади. Уже готовится вступить в должность немец, фашист, генерал-майор Кнут, назначенный «комендантом Петербурга». Исполнительный дурак, он заготовил даже путевые листы для въезда в город легковых и грузовых машин.

Зря трудился! Гордые ленинградцы не испытали на себе действия фашистского «кнута».

Зато сверху, с бомбами, ворвался в осажденный город посланец фашизма — голод! Это было в сентябре 1941 года.

— Ахти нам! Беда-то какая, беда! — крикнула мать, пробегая по коридору. — Склады с продовольствием горят!

Все вокруг озарено оранжевым мигающим светом.

Зенитки отогнали фашистских бомбардировщиков, но непоправимое совершилось. Ручьи масла текли по мостовой. Мука и пепел, летая по воздуху, оседали на скорбные лица людей, стоявших у пожарища.

Огонь затухал. Кое-кто, согнувшись, уже рылся в черно-серой земле.

— Попробуй! Сладкая! — Шуркин друг Генка протянул ему в горсти немного земли.

Она и впрямь была сладкой. Горячей и сладкой; земля пополам с сахарным песком!

Это был первый большой воздушный налет на город. Вскоре стакан земли с пожарища продавался в Ленинграде втридорога.

И все-таки великий город стоял и выстоял!..

Если бы Александр узнал, что соседка его думает, в общем, о том же, о чем и он, то сказал бы: «Мысли идут параллельным курсом», — и очень удивился бы.

Только Люда думала не о сладкой земле с пожарища, а о блокадном хлебе.

О, эти заветные сто двадцать пять граммов, дневная норма, о получении которой начинали мечтать уже накануне! Муки в маленькой черной плитке было меньше, чем древесных опилок, да и мука-то, собственно, была пылью, которую соскребали с пола на мельничных дворах. Но ленинградцы уважительно и ласково называли свой блокадный хлеб хлебушком!

Черная плитка уплывает в сторону. Перед Людой заколыхалась толпа. На Сенной бьют торговку-спекулянтку. Люди, до предела истощенные, раскачиваются, взмахивают кулаками, но удары слабые. После каждого удара приходится останавливаться и переводить дыхание. А лица у всех отекающие, неподвижные, с желтыми и багровыми пятнами.



Увидев подобный сон, ребенок просыпается с криком и долго не может потом заснуть. Но ведь это и был страшный сон ее детства — блокада!

А сосед Люды тоже продолжает совершать свое бесшумное странствие. Он видит себя в темном провале улицы. Медленно идет, и длинная тень его ползет по сугробам перед ним. Зарево качается над Петроградской стороной, потом перебрасывается в район гавани.

Лютый мороз сковал город, вода замерзает на лету. Только что Шурка схоронил мать. Сам отвез ее на санках, заботливо запеленав, как когда-то она пеленала его.

Он не плачет. Лишь внутренний озноб с утра начал бить его и не проходит. Да какой-то туман застилает глаза.

Это страшная ледяная весна 1942 года, когда вслед за мужчинами начали умирать и женщины. Они дольше держались.

Мать Шурки держалась до последнего.

Неделю назад пришло письмо от бабушки из Рязани. Несколько ломтиков сушеного лука были прикреплены наверху страницы. «Прошу не отказать в просьбе, — стояло в письме, — пропустить по почте этот лук в незабываемый город Ленинград для моего внучонка Шурочки 13 лет».

Мать, наверное, и ломтика этого лука не попробовала!

И вот он придет домой, а дома его встретит молчание! Из глубины длинной темной комнаты, с дивана, не раздастся слабый голос:

«Шуренька, ты? А я уж бояться стала за тебя. На улицах-то стреляют...»

Вдруг что-то странное произошло с ним. Он будто провалился под воду. Только справа расплывалось желтое пятно. То был отсвет пожара.

Ослеп? Шурка испуганно закричал. Улица не откликнулась.

Он стоял в чернильном мраке, охваченный страхом и нерешительностью, широко раскинув руки. Над ним негромко тикал метроном.

Он опять позвал на помощь.

Кто-то отозвался. Запахло табаком, дымом, мужским потом.

Это были матросы, которые жили в казармах на канале Грибоедова и возвращались домой — после тушения пожара.

Рука, пропахшая дымом, взяла мальчика за лицо, повернула к свету.

— Зарево-то я вижу, — пробормотал Шурка. — А больше не вижу ничего.

Пауза.

— Куриная слепота это! С голоду, — сказал рассудительный голос. Потом поинтересовался: — Далеко ли живешь?

Шурка сказал адрес.

— Дома у тебя кто?

— Один я. Мать сегодня схоронил.

— А отец?

— Еще летом под Нарвой...

Снова пауза.

— Покормить бы, — сказал второй, жалостливый голос.

— И покормим! Лейтенант свой, не заругает!..

Лейтенант — это был Шубин. А матросы — Фаддеичев, Чачко и Дронин. Страшный сон Шурки Ластикова кончился хорошо...

И Люде тоже видится ночь. Черным-черно вокруг. Тускло отсвечивает лед Невы.

Пришлось дотемна задержаться в госпитале у старшего брата.

Госпиталь находится за Финляндским вокзалом, Люда живет на Литейном.

Шагнув на лед реки, она оглянулась. К Неве, раскачиваясь из стороны в сторону, спускался мужчина в длинном пальто. Люде показалось, что она уже видела его у госпиталя. Значит, еще оттуда идет за нею?

Ею овладел страх. Ночь! На Неве, кроме них двоих, никого!

Она ускорила шаги. Шарканье за спиной сделалось громче. И человек ускорил шаги. Она побежала.

— Эй! — сипло крикнули сзади. — Карточки! Брось их, слышишь!

Но как она могла отдать карточки? Даже ценой жизни не могла их отдать. Карточки — это и была жизнь.

Люда скинула валенки и, держа их в руке, побежала в одних чулках. Она не ощутила холода, хотя мороз был лютый.

За спиной раздавались прерывистое дыхание и торопливый, очень страшный скрежет сапог по льду.

На берег вела лестница. Ступеньки обледенели, стали скользкими — днем по ним носили воду из проруби. Два или три раза Люда срывалась и, громко плача, сползала на животе.

Но преследователь ее, верно, очень ослабел от голода. Он так и не смог подняться по лестнице, свалился у ее подножия и уже не встал, может быть, умер.

А Люда, взобравшись наверх, тоже упала без сил. Тут лишь почувствовала, что ноги — как лед. Но надеть валенки она не смогла, так кружилась у нее голова.

Наверно, замерзла бы, если бы не помогли прохожие.

Всегда думает Люда о том, как ничтожно мало было тогда злых людей.

Добрыми держался Ленинград! А злые были как дуновение сырого ветра, который вместе с пороховыми газами наносило с запада. Можно сказать, они лишь привиделись Ленинграду, пронеслись как призраки по его темным улицам и растворились в тумане над Невой.

А великий город — его люди и стены — стоял и выстоял!..

Люда вздрогнула, услышав громкие аплодисменты.

Все в ложе смотрели на сцену, где раскланивались балерины.

Только моряк, ее сосед, не аплодировал. Они с удивлением поглядели друг на друга, будто просыпаясь...

— Так и не увидели танцев? Грустно.

— А вы?

— Я-то ничего. Мне просто нравится музыка.

— И мне.

Они вышли из ложи и включились в «факельцуг», как назвал Александр медлительное шествие пар по кругу.

Он мельком взглянул на свою спутницу, не вникая, как говорится, в ее наружность. Да, худенькая, небольшого роста, кажется, некрасивая. Но он и не собирался ухаживать.

— Вы начали говорить о теме города, — напомнил он. Да, девушка разбиралась в этом! Оказывается, училась в университете, готовилась стать искусствоведом!

От темы великого города перешли к самому городу.

Люда самозабвенно любила Ленинград.

— Могу читать и перечитывать его без конца — как любимую книгу! — сказала она с воодушевлением. — Перелистывая его гранитные страницы...

Она вообще говорила с воодушевлением, немного наивным, но милым. Александр заметил, что встречавшиеся в фойе оборачиваются и глядят им вслед: такими блестящими были глаза его спутницы.

— Позавидуешь вашим знаниям, — сказал он искренне.

Дело было, однако, не только в знаниях.

— Мы столько пережили вместе с Ленинградом, — сказала она.

— Да? Я тоже.

Но о блокаде поговорить не удалось. Раздался звонок, призывающий в зал.

Александр по-прежнему не смотрел на сцену. Лишь когда заработали цветные прожектора, создавая иллюзию волн, он привстал, чтобы оценить происходящее со своей профессиональной, флотской, точки зрения. Гм! Ну и волны!

Возможно, продлись балет еще с полчаса, Люда и Александр, мысленно покружив порознь по городу, встретились бы, наконец, на Дворцовой площади. И тогда в антракте они узнали бы друг друга.

Но этого не произошло.

Александр проявил учтивость до конца. Когда спектакль кончился, он предложил взять такси, чтобы доставить Люду домой. Но что-то в его голосе заставило девушку отказаться. Показалось, что ему не очень хочется провожать ее.

— Я живу недалеко, — сказала она, чтобы вежливо объяснить отказ. И все же словно бы ждала чего-то — быть может, деликатно высказанной просьбы о новой встрече.

— Тогда пожелаю всего хорошего, — чопорно сказал Александр. — Было очень интересно. Спасибо, что рассказали о теме великого города.

Кончиками пальцев он коснулся козырька фуражки, повернулся и ушел.

А Люда, перебегая Поцелуев мост — о нем шутят, что это единственный мост в Ленинграде, который не разводится, — ругала себя без устали, со всей страстью к преувеличениям, свойственной юности. Бесстыдная! Мерзкая! Каким было ее поведение в театре? Ведь она просто вешалась на шею этому моряку! Чуть ли не упрашивала его проводить ее, умоляла, если не словами, то взглядом!

Что он мог о ней подумать?..

А он ничего о ней не думал.

Ей стало бы еще обиднее, если бы она узнала, что моряк сразу забыл о случайной соседке, едва лишь расстался с нею.

Выйдя на Сенную площадь<sup>[44]</sup>, он увидел, как желтоватое облако поднимается над крышами домов. На фоне его резко выделялись антенны радиоприемников. Они представились Александру зенитными пушками и пулеметами, устремленными в небо в ожидании вражеского налета.

Как бы продолжалось его мысленное путешествие, начатое в театре.

Но вот облако распалось на облачка, из-за них проглянула луна, и перед Александром возник прекрасный мирный город, который отдыхал от дневных забот и трудов.

С завтрашнего дня покой его будет охранять он, лейтенант Ластиков!

Он повернул назад, очутился на канале Грибоедова и пошел вдоль него.

Небо очистилось от кучевых облаков. По нему бежала легкая рябь перистых.

Так и милый сердцу Ленинград, подобно высоким перистым облакам,

проносился в ту ночь мимо юноши — высветленный, выбеленный луной, со всеми своими дворцами, арками и почти невесомыми, быстро летящими над темной водой мостами...

### 3. «Там леший бродит...»

То лето на границе было напряженным, и как раз на участке, который непосредственно прикрывает Ленинград.

Впечатление такое, словно бы кто-то длиннорукий шарит, нервно перебирает пальцами вдоль линии нашей государственной границы, нащупывая слабинку, место возможного прорыва.

Сначала гибкая рука эта протянулась со стороны моря...

Наша авиаразведка обнаружила яхту неизвестной национальности на подходе к советским территориальным водам. Летчик радировал об этом в дивизион морской погранохраны. Тотчас же пограничный корабль получил приказ, двинулся навстречу яхте и задержал ее уже в наших водах.

Шла она из Стокгольма в Котку. Почему же вдруг очутилась так далеко от курса? Владелец яхты прикинулся заблудившимся. Он охал, стонал и с сокрушенным видом разводил руками: «Проклятый вест снес». <sup>[45]</sup>

Командир пограничного корабля сочувственно вздохнул, пряча улыбку.

Досмотровая группа, выраженная на яхту, не обнаружила в кубриках и в трюме ничего подозрительного. Однако яхта, как полагается, была препровождена на базу.

Там владельца ее подвергли еще более обстоятельному допросу. Он, кажется, ссылался на «проклятый вест»? Но это, к обоюдному удовольствию, поддается проверке.

Через каждые четыре часа в дивизионе получают так называемые кольцовки, то есть карты синоптической обстановки на море. Выяснилось, что владелец яхты возвел на погоду напраслину, — в тот день ветры вестовых румбов и не собирались дуть в этой части Балтики...

Прошло недели полторы. Ночью в наших водах было задержано второе иностранное судно, на этот раз сейнер.

Командиру досмотровой группы не понравилась палуба, точнее, небольшой участок ее. Недавно прошел дождь, все было мокро вокруг, а этот участок почему-то остался сухим.

— Тут у них шлюпка стояла, — доложил командир досмотровой группы. — Я считаю: увидели нас и спустили за борт. Надо догадываться, с гребцом.

Через четверть часа с помощью радиолокатора шлюпку обнаружили.

На ней угрюмо сутулился человек в плаще, бросив весла и нахлобучив капюшон на голову. А когда пограничники завели трос, как скакалку, и протащили под килем шлюпки, оказалось, что там два крюка. Но на них не было ничего.

— Успел отвязать в последний момент, — сказал боцман-пограничник, косясь на гребца. — Видать, дошлый, продувной, пробу негде ставить.

Что же висело на этих крюках? По-видимому, что-то тяжелое. Оно камнем ушло под воду. Мина?

— Пирсы, что ли, собрались взрывать? — спросил один из офицеров, сидя за столом в кают-компании. Корабль шел на базу, конвоируя задержанный сейнер. — Если мина, значит, что-то взрывать?

— Может, мина, а может, и не мина, — рассудительно сказал другой офицер. — Подвесили на крюках какой-нибудь чемоданчик. А в нем, представьте, контрабанда, или рация, или одежда для переодевания.

— Ищи теперь эту одежду на дне морском! — Командир корабля задумчиво повертел подстаканник. — Два нарушения подряд, и на одном участке... Похоже, нашаривают лазейку в каком-то определенном месте. А может, я ошибаюсь. Просто совпадение. Бывает и так.

Но вряд ли это было совпадением. В конце лета гибкая рука, протянувшаяся издалека к нашей границе, попыталась проникнуть в район шхер со стороны суши...

Сухопутную границу многие представляют себе по плакатам: бравый малый, выпрямившись, с винтовкой в руке стоит у полосатого столба. Но это часовой, не пограничник. Плох тот пограничник, который красовался бы в такой позе. Граница — это край невидимок. Столбы, правда, есть, но не в столбах дело.

Ночь. Птицы спят. Пахнет папоротником, грибной сыростью, хвоей, разогревшейся за день. Прошуршала в можжевельнике мышь.

Лосиха с лосенком вышла из лесу, посмотрела на распластавшегося в траве человека. Лосенок, чуть выдвинувшись из-за туловища матери, тоже посмотрел, удивленно и неодобрительно. Постояли, не спеша затрусили дальше.

Медленно светлеет. Тени резче. Стволы сосен стали выше, стройнее. По ним как бы стекают белые подтеки. Это за лесом восходит луна.

Два зайчонка, игравших на поляне, остановились. Ушки торчком! Поднялись на задние лапки, прислушались. Да, треск или шорох, настолько

тихий, что даже уху пограничника не уловить его. И два пушистых комочка покатались в разные стороны.

Обитатели приграничных зарослей охвачены беспокойством.

Изумленно свистнула птица, взметнувшись из куста. Зацокала пугливая белка в ветвях и смолкла.

Луна поднимается все выше. Сейчас это уже не тот огромный красный диск, который таинственно выглядывал из-за сосен. Чем выше поднимается, тем делается меньше, бледнее.

Что это? Двоится в глазах? По темно-синему небу плывут рядышком две луны. Вторая плывет быстрее первой. Описала дугу, нырнула в чащу. И одновременно что-то пронеслось между деревьями, как громадный нетопырь.

Проходят томительные минуты. Над зазубринами леса опять всплывает двойник луны.

Это надувной шар, достаточно большой для того, чтобы поднять человека, правда, не очень высоко, метра на три над землей. Важно лишь преодолеть заграждение.

Держась за лямки, зловещий прыгун проносится над оградой, над опасной контрольно-следовой полосой, над просекой. Он скорчился, ноги его поджаты к груди. Такой рисуют бабу-ягу, летящую над лесом на помеле.

Мягкое приземление в зарослях папоротника. Облегченный вздох. Сошло! А ведь мог зацепиться за ограду или наткнуться на дерево. След сбит.

Нарушитель выпрямился. И сразу же опять присел. За спиной мелькнула тень. Осторожно оглянулся. Но это собственная его тень! Стоит выпрямиться, как она ложится поперек просеки. Он предпочел бы в эту ночь не иметь тени.

Вентиль отвернут. Газ выходит из шара с приглушенным свистом, будто всполошилось целое гнездо змей. Нарушитель отцепляет от пояса коробку с химикалиями для надувания шара, вместе с оболочкой прячет под корневищем. Пригодится на обратном пути.

Теперь свериться с картой. Вот его место. До залива осталось не более пяти километров. Это самый опасный участок пути.

Поскорее бы очутиться у залива и погрузиться под воду!

В пронизанном тревожном светом лесу раздаются приглушенный шорох, треск ветвей, прерывистое дыхание. Нарушителю кажется, что в груди у него грохочет барабан. От мокрой, облипающей одежды поднимается пар. Баллоны пригибают к земле, часто приходится отдыхать.

Он идет пригнувшись, ступая по-звериному, с носка.

Между разлапистыми ветками поблескивает озерцо. Чуть поближе матово отсвечивает окно. На взгорке — бревенчатый домик.

В точности такой, на ярко-зеленой, под цвет травы, подставке, был подарен ко дню рождения — давным-давно. Так же отсвечивало слюдяное оконце, так же натыканы были рядом маленькие елки. Мальчику Ваде не хотелось расставаться с ним даже на ночь. Подарок поставили на стул подле кровати, и счастливый «домовладелец», свернувшись калачиком, долго смотрел на него, пока не уснул. А сквозь сон журчал над ним тихий голос:

«Спи, Ваденька! Спи, маленький!..»

То была его нянька. Какие сказки она умела рассказывать!

В воображении вставала Русь: леса дремучие, камни горячие, реки бегучие. Плакала у ручья Аленушка. Шел на выручку ей добрый молодец в богатырском шишаке. А над лесом, дыша дымом, летали Змей Горыныч, бородатые карлы и скорчившаяся однозубая баба-яга.

Да, да! Удивительные, восхитительные сказки!..

Сейчас мальчик Вадя, став взрослым, сам очутился в таком сказочном лесу, и даже домик со слюдяным оконцем был тот же.

Но теперь дом не принадлежал ему. У нарушителя не было дома. Будто злым черным вихрем кинуло его прямо из детской кроватки на тротуары европейских городов.

Проволокло по каким-то кафе, номерам дешевых гостиниц, полутемным зловонным задворкам. И вот, описав траекторию над континентом, он опустился в заросли папоротника, в чужом сказочном лесу.

И все с появлением его неуловимо изменилось.

Звякнул затвор? Кто-то стоит в кустах? Нарушитель вглядывается в струящийся лесной сумрак. Почудилось, слава богу!

Но ощущение опасности редко обманывает человека.

Нарушитель замечен!

И уже старший наряда торопливо докладывает по «сигналке» начальнику заставы. Говорит вполголоса, стоя на коленях в кустах и часто оглядываясь...

Застава поднята в ружье!

Со звоном и лязгом разобрав автоматы, тревожная группа сбежала с крыльца и протопала сапогами по хорошо утрамбованной земле двора. Главное — перекрыть нарушителю пути отхода!



Из соседнего колхоза спешит подмога.

Дружину содействия ведет Прасковья Гуляева. Ростом она невелика, но голос у нее зычный, а характер беспокойный, недоверчивый.

Сейчас дружинники закрывают рубеж, чтобы не допустить нарушителя к заливу.

Тревога, будто низовой пожар, раздуваемый ветром, охватывает лес. Какие-то силуэты пронесли мимо — не то испуганные лоси, не то рыси.

Каждым нервом своим ощущает нарушитель: обходят, настигают! Только бы ему добежать до залива! Маску на лицо, ласты на ноги — и нырк под воду, как ящерица. Ищи-свищи!

Но нет, не добежать.

Сквозь сердце иглой продернулся прерывистый, нестерпимо высокий звук. Лай! То лают собаки, брошенные по следу.

Нарушитель бежит, пригнувшись, будто падая с каждым шагом.

Позади него Русь, край удивительных нянькиных сказок. Впереди те же европейские тротуары, дешевый номер, полутемные зловонные задворки. Пусть! Лишь бы жить, жить!

Он прислонился к дереву, повел автоматом. Собака, выскочившая на поляну, с предсмертным визгом покатила в сторону. Ага!

Он опять кинулся бежать, оглядываясь, стреляя из-под руки.

Справа в зарослях сверкнула вода. Вот оно, спасение!

Лесное озеро! Не очень большое и, вероятно, неглубокое. Ничего! Как-нибудь уместится в нем!

На бегу он вытащил маску. Спрятаться в воде! Переждать погоню! Его не найдут, если вода покроет с головой.

Но он не успел взять в рот загубник и надеть маску. Что-то с силой ударило в спину, как камень, брошенный с размаху. Он упал.

Над ухом раздалось рычание. Вторая собака, догнав его, зубами и когтями рвала резиновый шланг от баллонов.

Нарушитель выпрямился, стряхнул ее, дал короткую очередь.

Потом, бормоча проклятия, швырнул в воду бесполезный акваланг. К черту все, к черту!

Между соснами в стороне залива уже мелькают быстрые тени.

Он повернул под прямым углом, побежал налегке.

К заливу не пробиться. Задание сорвано! Скорей назад, назад, пока не поздно! Единственный шанс на спасение — там, за полосатыми столбами!

— Уйду, — пробормотал нарушитель, увидев столбы вдали, и тотчас же упал ничком. Цепочка маленьких вихрей взметнулась из-под ног, пробежала в траве. Предупредительный огонь! То тревожная группа

залегла в кустах, преграждая нарушителю путь отхода.

Он несколько раз пытался встать. Но очередь из автоматов снова и снова настойчиво укладывала наземь.

— Бросай оружие!

Он метнулся в сторону. Споткнулся, упал. Вскочил, опять упал. Еще прополз несколько шагов, уже не видя ничего, царапая ногтями дерн, роя его лбом. Исчезнуть бы, зарыться в землю!

Не успел подумать, что его избавят от этого труда другие...

Начальник заставы подошел, посмотрел, досадливо крикнул:

— Эх, как же ты его так, Ищенко! Живым надо было. Какой ты всегда неосторожный!

— Та я ж його осторожно, товарищ капитан! — огорченно говорит Ищенко. — Я його по ногам быв. А вин якость-то вывернулся у мэнэ зпид мушки.

Проводник берет за ошейники разъяренных собак. Шерсть на них вздыблена, пасти оскалены.

Фельдшер возится подле двух пограничников, раненных нарушителем. Стрелял-то он хорошо, даже на бегу, этого у него не отнять!

— Прочесать лес! — приказывает начальник заставы. — За транспортом послали?

— Так точно, товарищ капитан!

Мертвеца перевертывают на спину. Вокруг него столпились пограничники и комсомольцы дружины содействия. На них глядит лицо, перекошенное злобной гримасой, серое от пыли.

— Знает его кто-нибудь?

— Никто не знает. Чужой в наших местах человек.

Пограничные люди, столпившись, смотрят на мертвеца — чужого человека. Национальность его так же трудно определить, как и возраст. На нем поношенный черный свитер. Брюки заправлены в сапоги.

И лежит этот чужой человек в приграничном лесу, ожидая своей погребальной телеги. Мухи уже кружат над ним.

А тем временем идет планомерное и обстоятельное прочесывание леса.

В лесу уже светло, хотя солнце еще не поднялось.

Пограничники переворошили всю опавшую прошлогоднюю листву, заглянули под каждый куст, не миновали ни одного дупла. И старания их были вознаграждены. Они наткнулись на оболочку надувного шара и лямки

к нему.

Это и увело вначале от небольшого лесного озера.

Посчитали, что искать больше нечего.

Шар-прыгун был по тем временам новинкой в технике перехода границы. Из Москвы приехала специальная комиссия. Затем, к большому удовольствию заставы, изучение новинки закончилось, и шар со всеми церемониями был препровожден в Музей пограничных войск.

Лишь спустя некоторое время, проводя повторные, еще более тщательные поиски, пограничники остановились и призадумались у лесного озера, на берегу которого топтался нарушитель, отбиваясь от собаки. За каким чертом его понесло сюда?

Вспомнили, что во время первого осмотра леса Кармен, лучшая собака заставы, никак не хотела отойти от озера и яростно лаяла на него.

Глубина была здесь небольшая — немногим более метра.

По дну озера прошлись баграми и выловили маску и ласты, а на пятом или шестом заходе вытащили и баллоны акваланга, которые подкатились под корягу.

Зачем они понадобились нарушителю? Неужели для того лишь, чтобы отлежаться в озере от погони?

Если нарушитель хотел проникнуть в Ленинград, то баллоны, естественно, были ни к чему. Быть может, он собирался пройти по дну заброшенного канала под водой и взорвать шлюзы? Это было единственное мало-мальски правдоподобное объяснение. Но сразу же возникал недоуменный вопрос: какой смысл в этой диверсии? Ведь канал давным-давно не используется по назначению.

В таком положении было дело, когда лейтенант Ластиков прибыл в дивизион, к месту своей службы.

#### **4. Хозяин шхер**

Он сидел перед новым своим комдивом и, отвечая на вопросы, придирчиво приглядывался к нему. В таких случаях осмотр всегда обоюдный.

Конечно, командир дивизиона пограничных кораблей не мог идти в сравнение с Шубиным. Но, по совести, кто бы и мог?..

Все же он был неплох. Невозможно было представить себе, чтобы кто-нибудь разговаривал с ним повышенным или нервным тоном. Спокойствие его было внушительно и немногословно. В некоторых случаях, вероятно,

оно даже подавляло.

«Украинец, — подумал Александр. — Украинцы, они спокойные!»

Но дело было не в национальности, а в профессии.

Вероятно, Александр тоже понравился комдиву, потому что тот придвинул к нему раскрытый портсигар.

Молодой лейтенант вежливо отказался.

— Занимаюсь спортом, — пояснил он. — Приходится, знаете ли, беречь сердце.

— Ну да, вы же аквалангист! Мне говорили о вас в Ленинграде. — Он многозначительно посмотрел на Александра. — Я знаю о вашем специальном поручении.

Александр промолчал. Само собой, комдив должен был знать об этом, чтобы направлять его поиски в шхерах.

— Уже представлялись командиру своего корабля?

— Так точно.

— Корабль ваш проходит планово-предупредительный ремонт, — неторопливо продолжал комдив, — закончится он через два дня. За два дня вы управитесь. Надо съездить на заставу к Мурысову.

— Береговая заставка?

— Нет, сухопутная. Но несколько дней назад на ее участке убит нарушитель, который нес с собой снаряжение аквалангиста. В связи с этим о вас уже несколько раз запрашивали из отряда.

Александр откашлялся. От волнения горло его пересохло. Нарушитель-аквалангист? Значит, Грибов был прав в своих догадках? Не зря советовал Александру заниматься подводным спортом?

— Куда же шел нарушитель?

— А это и надо установить.

Широкое красивое лицо комдива было по-прежнему спокойным, и Александр решил, что служить с ним будет неплохо.

— Думаю, товарищ комдив, вы тоже спортсмен, — осмелился предположить Александр.

— Почему так думаете?

— Очень уравновешенны на вид.

— А! — Комдив коротко засмеялся. — Восемнадцать лет на охране государственной границы. Научишься этой уравновешенности.

Он проводил Александра до дверей, что было высшим знаком его благоволения.

— Нет, я не спортсмен. Только болельщик. Но активный!..

Если бы Александр был суеверен, то решил бы, что это хорошее предзнаменование. Первые шаги его на Карельском перешейке направлены к Винете. Ни минуты он не сомневался в том, что чужеземный аквалангист искал Винету.

В отряде Александр тщательно ознакомился с выловленным из озера аквалангом, даже примерил на себя. Баллоны были новой, неизвестной ему конструкции, почти плоские. Они очень плотно прилегали к спине, что, по-видимому, давало возможность проникать в узкие подводные щели.

Затем командир отряда предоставил в распоряжение Александра «виллис», и тот по прямой лесной дороге, вилля между плитами гранита и длинными узловатыми корнями, за несколько часов доставил лейтенанта на заставу Мурысова.

Сухопутчики повели моряка к озеру.

— Нет, — сказал Александр, — озеро подождет. Покажите мне, откуда и как шел нарушитель. Это важно: как он шел.

Обычно шпионы и диверсанты пытаются нарушить границу на стыке двух застав. Стык, в их представлении, это что-то вроде межи. А межа всегда хуже обработана, чем поле.

Но в условиях нашей границы эта аналогия не подходит.

И, видимо, прыгун-аквалангист был неглуп. Он избрал другой путь — углубился в лес на участке заставы Мурысова, а потом шел параллельно линии границы, держа направление на лесное озеро.

Александра повели тем же путем.

Судя по всему, нарушитель передвигался короткими бросками. Подпрыгнув, с помощью своего шара проносился по воздуху, приземлялся. Опять с силой отталкивался ногами от земли и прыгал, как кенгуру. Так он пересек несколько полян. Но кое-где приходилось ползти.

Что же он сделал, когда понял, что его обходят? По-прежнему пытался прорваться к озеру.

Да, это было непонятно.

Лишь бросив в озеро снаряжение подводного пловца, нарушитель круто повернул — кинулся назад к границе. Вот здесь, уже в виду полосатых столбов, он был убит.

Комментарии на этом закончились, и хозяева с приезжим в молчании вернулись к озеру.

В общем, озеро, как и ожидал Александр, было безобидное. Облака плавали не только над ним, но и в нем, доставая до дна. Лишь зубчатая грань разделяла небо и воду. То темнел лес вдаль. Тишина поднималась

здесь из самых недр, доверху наполненных спокойными, неподвижными облаками.

Вспомнились рассуждения одного врача по поводу озер на Карельском перешейке.

«Озеротерапия! — глубокомысленно говорил он. — Нервных и усталых я лечил бы озеротерапией, то есть прописывал бы им озеро. В соответствующих дозировках. Купаться — это, конечно, своим чередом. Но главное — сидеть на берегу и смотреть. Особенно на восходе или на закате солнца».

Это показалось Александру недостаточно поэтичным. Дозировки, терапия... Он иначе понимал озера на Карельском перешейке.

«Они — как люди, — думал он. — Есть добрые, светлые, открытые солнцу и всем ветрам. Но есть и темные, злые. Зажатые скалами, таящие на дне своем вероломные замыслы или следы преступлений... Да, душа людей, душа озер!»

Он сам усмехнулся выпренности своего сравнения. Присев на валун, Александр вытащил блокнот и быстро набросал кроки местности. Ему, как всякому моряку, легче и проще было изобразить свой маневр на бумаге, чем объяснять его словами. Но в данном случае это был хитрый маневр нарушителя. Сухопутчики нагнулись над кроками.

— Что тут? — спросил Александр.

— Соседняя застава.

— А дальше?

— Залив морской. Шхеры.

— Ага!

Озеро в этой истории было, конечно, сбоку припека.

Только круглому идиоту пришло бы на ум прятать что-нибудь в таком небольшом и неглубоком озере. На пути нарушителя оно возникло, как случайная остановка, как полустанок. Но где же была конечная станция?

Морской залив? Да. Прыгун-аквалангист, несомненно, прорывался к заливу. Это был хитро задуманный обходный маневр. Сначала предполагалось путешествие по воздуху на шаре, затем «пересадка», и далее уже морем — с аквалангом под водой.

Где же намечалась «пересадка»?

До залива можно было доехать по лесной дороге, но Александр попросил провести его напрямик — лесом.

На полпути встретил его начальник соседней заставы старший лейтенант Рывчун. Это был коротенький веселый крепыш, немного постарше Александра. Он служил здесь уже третий год и знал на своем

участке каждый камень, каждый кустик, — лучше, пожалуй, чем мебель в собственной квартире.

За разговором об этом Александр и не заметил, как очутился на берегу второго озера.

Вот таким озером врач, наверно, не лечил бы. Бр-р! Мрачно как! Душевный озноб охватывает!

Александр поднял бинокль, вглядываясь в противоположный берег. Что-то мучительно знакомое мелькнуло между неподвижными тихими соснами, в очертаниях скал, и исчезло.

Начал накрапывать дождь. Вода потемнела, противоположный берег придвинулся. Он был высокий, обрывистый, с крутыми осыпями. Сосны клонились на нем в одну сторону.

— Шхеры, — пояснил Рывчун.

Ну конечно же, не озеро, а шхеры! Их можно запросто перепутать в этом причудливом озерно-шхерном крае. Вдобавок Александр видел шхеры в последний раз ни много ни мало семь лет назад...

Когда он и его спутники поднялись на пригорок, перед ними открылся весь просторный залив, ослепительно сверкающий в лучах заходящего солнца. На глади его теснилось множество лесистых островков. Некоторые из них подступали к материковому берегу почти вплотную.

На один из этих островков, таких приветливых с виду, похожих на корзины с зеленью, и стремился нарушитель. Где-то здесь, в зыбком лунном свете, должна была произойти метаморфоза. Кенгуру мгновенно превратился бы в ящерицу, в амфибию.

Но к какому острову стремился нарушитель?

Это-то и надо было узнать.

Весь следующий день Александр ходил по берегу вместе с Рывчуном. Тот, по-видимому, был отчасти польщен тем, что на участке его заставы находится нечто таинственное и неразгаданное, являющееся предметом всеобщего взволнованного внимания. Но он то и дело косился на своего спутника. Лицо приезжего моряка было рассеянно, словно бы он что-то припоминал.

— Послушайте! — вдруг сказал он. — За тем вон лесочком — дот?

— Развалины дота, — поправил Рывчун, с удивлением глядя на Александра.

Они миновали развалины дота.

— А тут, по-моему, стояла одна зловердная прожекторная батарея!

И это было так. Вокруг растрескавшихся, сдвинутых в сторону бетонных плит густо разрослись бурьян и мята.

— Где-то должен быть и маячок, — в раздумье сказал Александр, озираясь по сторонам.

— Был манипуляционный знак военного времени.

— Ну, правильно, — пробормотал Александр. — У самой лампы всего темнее.

— Какой лампы?

— Есть поговорка такая. У маяка. Поблизости от него и прятали Винету.

— Выходит, вы уже бывали здесь? — спросил Рывчун немного обиженно. — А я-то стараюсь, объясняю.

— Нет, на этом берегу не бывал, — ответил Александр. — Но однажды пришлось сутки просидеть напротив — вон там!

И пейзаж медленно, как вращающаяся сцена, повернулся перед ним на своей оси.

Александр уже видел однажды этот пейзаж — только очень давно и в другом ракурсе. Берег, на котором они стоят с Рывчуном, был в руках врага. Юнга, «впередсмотрящий всея Балтики», наблюдал за материковым берегом в бинокль, прячась в кустах на одном из островков.

Прошли сутки, наполненные тревогой и ожиданием, и на рассвете, в желтоватой слоистой мгле, неподалеку от шубинского катера всплыла подводная лодка Цвишена...

Да, несомненно, это произошло именно здесь! Естественно, что и Винета должна находиться где-то поблизости.

Но Александр забыл, что дело происходит в шхерах, двойственных, скрытных, порою даже вероломных. Шубин, морщась, называл их «страной миражей», а командир островной базы на Лавенсари — «шкатулкой с сюрпризами».

По телефону комдив разрешил Александру остаться еще на три дня для продолжения поисков.

Через несколько часов приехали из отряда военные инженеры. Вместе с Александром и Рывчуном они облазили на коленях каждый островок в заливе. Никаких следов бывшей тайной стоянки!

А островов девять, и все они — гранитные. Взрывать гранит? Взрывы могли дать повод к нежелательной дипломатической возне, вызвать международные осложнения. Ведь государственная граница проходит как



раз через залив. И без того поиски надо проводить по возможности более скрытно.

На исходе третьего дня обсудили результаты. А что, собственно, обсуждать? Результатов нет.

Азартно толковали о специальных приспособлениях наподобие миноискателей, покачивая головами, говорили о том, что придется испрашивать разрешение Ленинграда, а то и Москвы, высказывали резонные опасения по поводу того, что до осени уже ничего не успеть и, вероятно, придется отложить поиски до будущего лета.

Александр угрюмо молчал.

— Ведь вы новичок в таких делах, — сказали ему. — А в шхерах на каждом шагу можно камуфлетов ждать. Граница? Мало того, что граница. В этих местах долго фашисты находились. Стало быть, надо после них многое досмотреть, допроверить.

Затем последовал обстоятельный рассказ об утаенных подземных кабелях, о не восстановленной до сих пор системе водоснабжения и электросети. При отступлении увезены все планы, вся документация. Восстановить это не так-то легко.

— Двойное дно, — заметил один из инженеров. — Под ногами у нас двойное дно. Того и гляди, земля разверзнется или трещинами пойдет. — Он засмеялся.

— Действовать надо фундаментально, — сказал Александру второй инженер. — Представляете: обстукать, обшарить, а может, и перекопать такой большой район! Почему, кстати, вы думаете, что эта бывшая тайная стоянка — на острове, на одном из девяти островов? С не меньшим успехом она может находиться и на материковом берегу. Только подходы с суши к ней затруднены. Они доступны лишь со стороны моря — аквалангисту.

И с этим тоже нельзя было не согласиться.

На Шубина задержка подействовала бы самым худшим образом. Он рассорился бы с инженерами, поскакал жаловаться в Ленинград, в Москву, бесился бы, убеждал, торопил. Но Александр обладал большим запасом терпения.

Врагам дали по носу (может быть, даже не один раз, а три, если «заблудившиеся» сейнер и яхта шли по тому же заданию, что и прыгун-аквалангист). После этого было бы естественным притаиться, выждать. А там не за горами и зима. Не полезет же аквалангист под лед?

Зато будущим летом к Винете, вероятно, снова двинется вереница нарушителей в масках и с баллонами за спиной.

Значит, встречный поиск, как бывает встречный бой? Александр представил себе, как лихорадочно торопливо шарят под водой пальцы нарушителя. Омерзительно и страшно прикосновение этих скользких пальцев. Но он, Александр, крепко хватает их! И над тесно сплетенными руками поднимается лицо в зеленой воде — неподвижный стеклянный круг...

Пока же было приказано, не возвращаясь в дивизион, явиться на свой корабль, который уже вышел на охрану морской границы и сейчас находился неподалеку от заставы Рывчуна.

— Не переживай, лейтенант, — сказал Рывчун, провожая Александра. — Устережем твою Винету!..

Корабли пограничной службы непрерывно двигаются вдоль морской границы, перегораживая залив, сменяя через положенный срок друг друга. Получается нечто вроде скользящей стальной завесы.

Первую свою вахту на корабле Александр нес в качестве дублера при командире.

Выпало стоять «собаку», самую трудную, не любимую моряками вахту — между полночью и четырьмя часами утра. Обычно в это время очень хочется спать.

Но молодому офицеру не хотелось спать.

Никто на корабле не знал, что это не первая его ночь в шхерах. Но как все изменилось с тех пор! Тогда он был всего лишь «штурманенок». Сейчас он — штурман, правда еще только приучающийся к делу. Тогда, согнувшись на баке, юнга-впередсмотрящий с тревогой вглядывался во тьму: не вспыхнут ли лучи прожекторов, а вслед за ними горизонтальные факелы выстрелов? Сейчас он «расхаживает» по выборгским шхерам взад и вперед без опаски, как хозяин.

Восточный берег не таит в себе ничего враждебного. Опасность надо ждать с другой стороны. Чужую территорию враги используют иногда как трамплин для воровского прыжка. Прокрадываются к советским берегам издали — в предательских тенях и шорохах ночи...

Нет, Александру совсем не хотелось спать.

В шхерах было очень тихо. Повинуясь негромким приказаниям командира, рулевой осторожно перекладывал штурвал.

Внезапно над водой густо просыпались осенние падающие звезды. «Как салют в День Победы», — вспомнил Александр, и от этого стало хорошо на душе.

Командира уже сменил на вахте старший помощник. Но Александру все еще не хотелось в каюту.

Светало.

Шхеры выросли на глазах, медленно выплывая из ночи, будто лопнули якоря, удерживавшие на месте гранитный лесистый берег.

Все было в точности как в 1944 году. Так же тихо струился туман по воде, свиваясь в кольца и развиваясь. И так же неожиданно прорезались в нем остроконечные верхушки деревьев.

Еле слышно приплескивала волна. Тускло-серое зеркало залива начало медленно розоветь.

Вода, гранит, небо были почти одного оттенка, брусничного. Это — рассвет, самые первые краски рассвета, как бы проба неуверенной кистью.

Потом в воду щедро подбавили золотых блесков...

Неукоснительно, строго по расписанию, совершается это привычное, но всегда удивительное волшебство: ночь превращается в день!

Можно ли сомневаться в том, что чары спадут наконец с Винеты? Гранит расколется, пойдет трещинами под ногами, и...

Такое уверенно-бодрое настроение охватывало всегда по утрам. Александр был молод. И день был молод. У них у обоих все было еще впереди.

## 5. Шорохи и тени

В новой обстановке Александр ориентировался сравнительно быстро. Недаром всю войну прослужил юнгой — «досыта поел флотской каши». Что же касается навыков командира, то он осваивал их еще в училище: на первом курсе был командиром отделения, на третьем и на четвертом — старшиной класса.

Другим молодым офицерам пришлось гораздо труднее.

Главное, многим из них не сразу удавалось найти верный тон в обращении с матросами.

«То братаются, то гонорятся, то есть проявляют офицерский гонор», — так писал Александр Грибову. И то и другое были, конечно, крайности.

Грибов не замедлил с ответом.

«Уменье поставить себя — большое искусство, — писал он. — Причем в искусстве этом важна именно безыскусственность».

Товарищам по дивизиону Александр показался немного тяжелодумом, замкнутым и немногословным.

Тому было несколько причин. Из двадцати двух лет своей жизни девять он провел на флоте, считая и пребывание в училище. Это были годы отрочества и юности, когда складывается характер. Александр рано возмужал. В гвардейском дивизионе торпедных катеров его окружали суровые вояки, которые были, можно сказать, запанибрата со смертью.

В шлифовке характера, несомненно, сыграл свою роль и «Летучий Голландец». Многолетнее соседство с тайной как-никак сказывается — приучает к внутренней собранности.

Придя на границу, Александр сразу пришелся ко двору, и не только сдержанностью в разговоре, хотя она — качество профессиональное.

Тяжелодум? Ну что ж! Он знал за собой этот недостаток. Зато был однодум — как бывают однолюбцы.

Нужно только указать ему цель. И уж он стремился к ней неуклонно, методично, не отвлекаясь ни на что другое, чугунным плечом расшвыривая препятствия на пути.

Шубин сравнил бы его с торпедой. И в этом не было ничего обидного для Александра, потому что его командир говорил ласково-уважительно: «умница торпеда»...

Огромное удовольствие доставляло Александру узнавать шхеры — свои шхеры!

Уйма всякого зверья развелось здесь после войны!

А быть может, оно все время было в шхерах, только попритихло, запряталось в укромные уголки? И вот скопом вышло из чащ, когда кончилась война.

Животные вели себя удивительно храбро. Казалось, Карельский перешеек превратился в один огромный заповедник.

Был тут один лось, по которому проверяли часы. Дважды в день он являлся на маленькую железнодорожную станцию в лесу, точно к приходу поезда. Пассажиры, подъезжая, высматривали его из окон: «Вот он! Мчится со всех ног! Услышал гудок!»

На станции поезд стоит три минуты. Угощение припасено заранее — лось популярен по обе стороны границы. И, кивая головой с ветвистыми рогами, он снисходительно принимает — иногда даже из рук — дань своему величаво царственному великолепию.

Александру рассказали также о зайце, который жил на одной заставе. То был добрый малый, судя по воспоминаниям, очень общительный и хлопотливый. Он поднимался раньше всех, вприскокочку отправлялся на

стрельбы с пограничниками, а когда они возвращались, озабоченно прыгал перед строем. Завтракал, обедал и ужинал вместе со всеми, спать устраивался в ногах на чьей-нибудь койке.

Нужно представить себе нескончаемо долгие осенние или зимние вечера на заставе, чтобы понять, как любили этого наивного серого затейника.

Он стал жертвой собственной добросовестности. Как-то, потешая общество своими прыжками, прыгнул слишком высоко, ударился носиком о палку, которую держал над ним один из его приятелей, и упал.

Вначале думали, что заяц притворился мертвым — такова была одна из его затей. Потом поняли, что он умер.

До сих пор на заставе не могут без волнения говорить об этом.

Но звери на перешейке служат не только забавой. Они доставляют и немало забот.

Лоси, пробегая по лесу, задевают сигнальный провод, и начинается трезвон, который поднимает заставу в ружье.

Рысь переходит контрольно-следовую полосу, заботливо вспаханную и проборонованную на всем протяжении границы, и после этого над отпечатками осторожных лап, похожими на королевский знак лилии, долго в раздумье стоят следопыты: зверь ли прошел, нарушитель ли, прикинувшийся зверем?

Сейчас уже считается безнадежно старомодным напяливать на руки и ноги когти или копыта, чтобы на четвереньках перебираться через контрольно-следовую полосу. Но среди нарушителей могут найтись и ретрограды. «По старинке работают, отсталые», — с пренебрежением говорят в таких случаях.

Вскоре Александр перестал чувствовать симпатию к лосям. Связано это было с радиолокатором. Потом в кают-компании шутили, что тот работал слишком четко.

Еще во время практики Александр восхищался этим удивительным прибором, который одинаково хорошо «видит» днем и ночью, в снегопад и в туман. Зоркий «радиоглаз», укрепленный на мачте, непрерывно вращаясь, «осматривает» пространство вокруг корабля. Радиоволны разбегаются от него в разные стороны и, натолкнувшись на преграду, спешат обратно. А в рубке на экране появляются пятна и пятнышки, отсветы этих преград.

Александр замороженно следил за тем, как вертится светящаяся линейка-указатель, пересекая концентрические круги, определяющие расстояние. Вдруг хлопотливый лучик осветил пятнышко, которого не

было раньше на экране, торопливо побежал дальше, приблизился, снова осветил его. Пятнышко передвинулось. Оно находилось в пределах девятого круга, то есть в девяти кабельтовых от корабля.

Передвинулось? Стало быть, не риф, не остров? Впрочем, это ясно и так. На карте ближайший остров, один из группы прибрежных островов, расположен значительно дальше.

— Неопознанная цель, товарищ лейтенант! — доложил радиометрист.

— Вижу. Скорость движения цели?

Мгновенный подсчет:

— Три узла!

Шлюпочная скорость! Неужели нарушитель в шлюпке?

Дрожа от волнения, Александр вышел из рубки и доложил о движущейся цели командиру.

Тот с сомнением посмотрел на него. Но нетерпение молодого штурмана было заразительно.

— Курс двести тридцать! Полный вперед! Боевая тревога!

Палуба еще сильнее задрожала под ногами. Из люков начали выскакивать матросы. Пограничный корабль лег на курс сближения.

— Везет вам, товарищ лейтенант, — с уважением заметил сигнальщик. — Всего неделю у нас, а уже зверя заполевали!

— Это точно, что зверя, — подтвердил командир, не отрываясь от бинокля. В голосе его прозвучали веселые интонации.

Александр поспешил поднести к глазам свой бинокль. Высоко держа гордую голову над водой, пересекали пролив лоси: самец и две самки. Вероятно, животные перебирались с острова на остров в поисках корма. Красно-бурые, нарядные, яркие, как осенние листья, они спокойно плыли по воде и даже не отвернули, завидев корабль, только надменно покосились на него.

— Ну, ну! С кем не бывает, — утешил Александра командир. — На Дальнем Востоке со мной тоже был случай...

— Лоси?

— Утки. Летела, можете себе представить, стая диких уток, штук двести или триста. Низко над водой летела, и притом с большой скоростью — до пятидесяти узлов... А это чья скорость?

— Торпедный катер, — четко, как на экзамене, ответил Александр.

— Правильно. Пост СНИС дает неопознанную быстроходную цель. Тревога! Мы — наперехват!.. Э, да что говорить! Хорошо, хоть самолет не поднялся в воздух!

У Александра отлегло от сердца.

— Зря потревожил я вас, — смущенно сказал он.

— Не зря? Нет, не зря! — энергично возразил командир. — Лучше сто раз за лосями или утками сгонять, чем один раз нарушителя пропустить. В нашем с вами деле излишней бдительности нет и быть не может! Ходим по границе, по красной черте, а время, сами знаете, — разгар холодной войны, лето тысяча девятьсот пятьдесят первого года...

Лето в этих местах красиво, но беспокойно. Чарующая глаз игра света и тени — это ведь и естественная маскировка. Нарушитель в камуфлированном костюме может стоять рядом, между стволами деревьев, в чуть поддрагивающей сетке солнечных пятен, и остаться незамеченным — как притаившийся в листве ягуар или тигр.

А осенью шхеры ржавеют. Багряные, буро-зеленые и золотые полосы в разных направлениях прорезает вода.

Порой начинает моросить дождь. Потом ветер в несколько приемов срывает разноцветную сеть с островов.

Теперь нарушителю уже не нужен его камуфлированный костюм. Он укутывается в туман. А дождь услужливо смывает за ним следы.

В ту пору на море клокочут штормы.

Но вот и дожди кончились. Над Карельским перешейком медленно оседает облако снегопада. Гранит и топи устилает белизна. Воду в проливах и заливах затягивает льдом.

Есть пословица: «Зима мужику забот убавляет». В какой-то мере относится это и к пограничникам. Не надо каждый день бороновать контрольно-следовую полосу. Все покрытое снегом пространство вдоль границы — зимняя контрольно-следовая полоса.

Если же нарушитель рискнет пойти по льду, то будет пробираться вдоль берега, косясь на приметные ориентиры, чтобы не сбиться в пути.

Подобно волку, он любит метель. Она заодно с ним. Не нужно возиться с веником, оборачиваясь через каждые два-три шага и заметая снег за собой. Метель сама заметет, загладит предательские следы.

Но радиолокаторы не дремлют. Случается, что пограничникам приходится вставать на лыжи и «доставать» нарушителя с боем на восторошенном льду.

Корабли пограничной службы бездействуют в эту пору. Зимой моряки приводят в порядок материальную часть и технику, а также занимаются разнообразной учебой. Но вечера и выходные дни у них свободны. Офицеры получают больше возможности бывать с семьями.

Ранние браки вообще приняты среди моряков и пограничников. Многие офицеры женятся сразу же по окончании училища.

Женатые смотрят на холостяков, понятно, свысока.

— Женись, не пожалеешь! — снисходительно советовали Александру. — Связь с берегом будет крепче. И на море как-то бодрее. Обрати внимание: корабль и тот быстрее возвращается с границы на базу, — как лошадь в конюшню. После штормов и бурь отдыхаешь душой в семейном кругу.

— Это смотря какая жена попадется! — отшучивался Александр. — Бывают такие, что в море, пожалуй, поспокойнее.

Но он и впрямь чувствовал себя в море лучше, чем на суше. Был как-то собраннее, здоровее, счастливее. Жизнь на корабле заполнена до краев, она проста и осмысленна.

В письмах своих Александр лаконично «докладывал» Грибову и Виктории Павловне о себе, описывал, как старается выработать у себя шубинский характер:

«Вот, например, сомнения и колебания. Я стараюсь не допускать себя до них. Колебаться-сомневаться — это ведь не то, что обдумывать. Разные вещи, правильно?»

И вдруг замечаю: колеблюсь! Эге! Сразу круто кладу руля. Принимаю то решение, которое первое пришло мне в голову. Тут именно важно, что первое! Так учил гвардии капитан-лейтенант. «Тренирует волю, приучает к решительности», — объяснял он нам. И приводил случай с ослом: «Плохо быть ослом. Но особенно плохо — буридановым ослом».

Осенью 1952 года предстояли окружные спортивные соревнования. Ранней весной, когда лед еще сковывал море, комдив, «активный болельщик», отправил Александра в Ленинград для тренировки.

Неожиданно соседом его по общежитию оказался старый знакомый — Рывчун. Он занимался самбо.

Тренировкой динамовцев-самбистов, по словам Рывчуна, руководил участник войны, бывший полковой разведчик, человек уже немолодой, лет около пятидесяти. Недавно он возвращался ночью из гостей. В безлюдном переулке трое преградили ему дорогу. «Вытряхивайся, старичок, из шубы!» — предложил главарь. А двое других неторопливо зашли со спины — «помочь».

«Не знали, дурни, кого затрагивают. Самого Ивана Афанасьевича! — смеясь, сказал Рывчун. — Раскидал их, как котят. Потом уж опомнились, в



милиции. Сидят на скамейке в ряд и глазами на нашего тренера хлопают — вот те и старичок!»

Это заинтересовало Александра. Несколько раз он сопровождал Рывчуна на занятия самбо. Вначале полеживал в сторонке на груди матрацев, наблюдая, как мелькают перед ним крепко сбитые тела, слушая короткие подстегивающие возгласы: «Хорош захват!», «Теперь подсек!», «Перевел на боевой прием! Все!» Потом мускулы спортсмена нетерпеливо запросились на середину зала. Рывчун с разрешения инструктора показал Александру несколько приемов.

— Реакция быстрая у тебя, — одобрил он. — Но слишком много силы пускаешь в ход. А большинство приемов построено как раз на том, чтобы на пользу себе обратить силу противника...

В свою очередь, Александр пригласил Рывчуна в бассейн для плавания.

— Наша вода в семнадцать ноль-ноль, — предупредил он. — Не запаздывай! Вода в бассейне нарасхват.

Последний год в училище Александр держал первенство по плаванию. Он и до этого плавал хорошо — благодаря требовательности Шубина. Но лишь перебросив баллон через спину, а на ноги натянув ласты, ощутил по-настоящему радость пловца.

Рывчун смирнехонько сидел на скамейке, поджав под нее ноги в галошах (гостям выдавали галоши). Из бассейна длинными всплесками выбрасывалась вода. На полу растекались лужи. Стон вокруг стоял от командных возгласов, плеска, быстрых ударов по воде.

Бассейн был подсвечен изнутри. Гибкие тени скользили взад и вперед, будто рыбки в аквариуме.

До чего же приятно было на короткий срок обернуться рыбкой! Погружаясь в воду, Александр каждый раз чувствовал восторг волшебного превращения. Подводник, запертый в своей металлической коробке, даже водолаз, тяжело ступающий по дну в сапогах-грузах, не испытывают ничего подобного. Ощущения подводного пловца можно сравнить лишь со свободным полетом в воздухе.

Проносья по бассейну из конца в конец, легко разворачиваясь, быстро поднимаясь и опускаясь, Александр думал, что так, вероятно, будет летать человек. Реактивные самолеты станут использовать лишь на большие расстояния — для дальних путешествий. А в обиходе применят какие-то легкие приспособления вроде акваланга. Воздух, упругий, подвижный, пронизанный голубыми искрами, будет надежно держать — как вода держит Александра.

— Ну как? — спросил он, снимая маску и усаживаясь рядом с Рывчуном.

— А ты, я замечаю, целеустремленный человек, — сказал тот, прищурившись. — У тебя не окружные соревнования на уме, а что-то другое. Я знаю — что. На новую встречу надеешься, на счастливый случай?

— Случай? — Александр с достоинством выпрямился. — Насчет случая мой профессор так говорит: «Слабый ищет случая. Сильный его создает». Французская поговорка, к твоему сведению!..

## 6. Почерк Цвишена

В начале лета предполагалось приступить к поискам Винеты, но пограничников опередили.

Александр вызван к комдиву.

По тому, как спокойно тот держится, подчеркнуто неторопливо закуривает, Александр понимает, что дело срочное, важное и, вероятно, связано с Винетой.

Так и есть.

— Новое поручение для вас!

Многозначительная пауза. Но, беря пример с комдива, Александр уже научился при любых обстоятельствах сохранять спокойствие. Комдив благосклонно кивает:

— Да, по вашему особому департаменту. Не аквалангисты. Пока не аквалангисты. Какой-то черный макинтош.

— Опять у Мурысова?

— Нет. Рядом. Рывчун доносит, что на том берегу замечено подозрительное «шевеление». Прибыл какой-то черный макинтош. Из соседней гостиницы для туристов. Вы ведь любите ловить рыбу? — неожиданно спрашивает комдив.

Александр удивлен:

— Рыбу? Я бы этого не сказал.

— Почему?

— Да как-то не волнует, товарищ комдив.

— То есть как — не волнует?! — Комдив повысил голос. — Вас это не может не волновать! Вы же заядлый рыбак! Уверяю вас! Вот и отправляйтесь себе на рыбалку к Рывчуну. Завтра, кстати, воскресенье. Не будем раньше времени поднимать шум. Может, все это зря. Поняли?

— Так точно. Понял, товарищ комдив...

Вообще-то жить на Карельском перешейке и не увлекаться рыбной ловлей — выше сил человеческих.

Еще весной в Ленинграде Рывчун настойчиво приглашал Александра к себе.

— Лещи у нас — во! — соблазнял он. — И щуки есть. Метра в два! Не веришь? Ну, пусть будет полтора. А окуньки, те, брат, сами в лодку сигают. Ей-богу, не вру! Побывай у нас — убедишься! Лучше приезжай вечером, под выходной. Перевернем с тобой чарочку, заночуем, а в два часа утра, хочешь не хочешь, а разбужу. И — позорюем!

Так у них и все пошло: по расписанию.

Александр в ожидании ужина немного погулял в одиночестве вокруг дома, посидел на берегу залива, с рассеянным видом пошвырял в воду камешки.

— Ну как? Нагулял аппетит? — Рывчун уже суетился вокруг стола, накрытого к ужину.

Приятели, согласно программе, перевернули чарочку, отужинали, присели на крылечке посумерничать.

Быстрый дождик прошел. Небо — июльское, очень яркое, желто-зеленое. Облака разметались по нему оранжевыми и красными прядями. Солнце село, но еще светло.

В летней столовой, сбитой из досок, стоящей у берега на сваях (шутливое прозвище ее — «Наш поплавок»), бодро звякают ложки. Аппетит у пограничников богатырский, но сегодня возникают «неудовольствия». Едят, морщатся, приговаривают: «Плохо печет соседка. Плохой хлеб у соседки, кислый!»

Вчера пекарь заболел и отправлен в госпиталь. Хлеб приходится пока брать у «соседки», то есть на соседней заставе.

Наряды уже ушли на охрану государственной границы. Оставшиеся пограничники разбрелись по двору.

Несколько человек уселись с книжками на высоком камне. Пока светло, в помещение не тянет.

В другом конце двора происходит коллективная — всей заставой — стрижка Вовки, трехлетнего сына замполита. В руки он дается одному лишь старшине, а тот был в отпуску, только что приехал. За это время малыш зарос, как дикобраз. Сейчас он сидит на коленях у старшины, щелкающего ножницами, и, нагнув голову, рыдает басом. А вокруг толпятся его взрослые приятели и хором уговаривают:

— Ну, Вовка!.. Не плачь, Вовка!.. Давай, Вовка!

Вполуха Александр слушает вечерние мирные звуки отходящей ко сну заставы. Постепенно шум гложет. Краски блекнут, со стороны залива медленно наплывает туман...

Молчание нарушает Рывчун.

— А у нас происшествие, — говорит он, желая занять гостя. — Недавно два человека утонули. Не наши, с того берега, но ведь тоже люди — жалко.

Жена Рывчуна подает голос из дома.

— И таково жалко-то! — округло, по-володимирски, говорит она. — Оба молодые совсем. Хуторские. Ее-то нашли, а его по сю пору ищут...

На противоположном берегу залива живут хуторяне. Народ хороший. Не очень веселый, зато степенный, работающий. Есть победнее среди них, есть побогаче. Тех, говорят, специально расселяли здесь после сорокового года.

По хуторам кочуют странствующие батраки — совсем уж невидаль для советского человека. Приходят в поисках работы издалека, с другого конца страны, и все имущество уместается у них в небольшом сундучке да в карманах просторной суконной куртки.

Перед глазами пограничников проходит череда сельскохозяйственных работ: пахота, сев, сенокос, снова пахота. Земли для прокорма маловато. Но ведь есть еще вода. На рассвете и под вечер, хлопотливо стуча моторами, выходят в залив рыбацьи лодки.

В праздничные дни на той стороне устраиваются гулянья или состязания в лодках под парусами. Соседи любят спорт. На лесистой горе темнеет пятиэтажное здание. Это гостиница для лыжников и туристов. Сюда приезжают не только из соседнего городка, но даже из столицы.

По возвращении на заставу старший наряда обстоятельно докладывает обо всем, что довелось видеть. Память у пограничников цепкая, хорошо тренированная:

— Доктор, стало быть, на тот хутор больше не приезжал. Но мальчонка еще ходит с перевязанной рукой. К хозяину поступили два новых батрака. Снова приезжал человек в черном клеенчатом плаще. Неизвестно, из города или из гостиницы. Машина у него — микролитражка, темно-коричневая, старая. Наблюдал за нашим берегом в бинокль, прячась на сеновале. После обеда обратно наблюдал — уже через окно. Хозяин ему что-то объяснял. А вечером дед, хозяйкин отец, удил рыбу с лодки...

Положено докладывать обо всем, что заслуживает внимания, в том числе и мелочи. Кто их знает, может, только с виду мелочи, а присмотришься да сопоставишь с другими мелочами — вдруг и выйдет важное!

В общем, картина открывается однообразная. Происшествий почти не бывает.

Но недавно, в воскресенье, случилось происшествие, и очень печальное.

Утром, как водится, хуторские жители отправились в кирху. Звонарь зазывал их затейливым колокольным перебором.

— Ишь вызванивает! — одобрил один из пограничников. — Чистенько выбивает сегодня! — Он сказал это тоном знатока, хотя до прихода на границу и не слыхивал колокольного звона.

А после богослужения начался сельский праздник. Тут-то, во время катания на лодках, и случилось несчастье. Оно случилось за мыском — пограничники не видали подробностей. Сначала за деревьями белел парус. Потом смотрят — нет паруса, исчез! Ну, значит, спустили его спортсмены. И вдруг к мыску гурьбой понеслись лодки. Туда же побежали люди по берегу, некоторые с баграми. Пограничники поняли: лодка перевернулась!

Подтверждение пришло на следующий день. С той стороны сообщили через пограничного комиссара, что утонули двое: девушка и молодой человек. Просили принять участие в поисках.

Застава тотчас же откликнулась. Несколько пограничников прошли вдоль нашего берега, осматривая заросли камыша и бухточки, куда могло прибить трупы течением. Ничего обнаружить не удалось.

Обычные доклады приобрели грустную окраску:

— Сегодня мать водили под руки по берегу. Или его мать, или ее. Очень плакала.

— Опять водолазов привозили из города. Все ищут. Родственники сильно убиваются.

На третий день поисков кого-то прибило к берегу. Пограничный наряд видел, как рыбак, удивший с мостков, бросил удочки и побежал, нелепо размахивая руками. Собралась толпа. Она долго стояла у воды, потом двинулась к домам. Что-то несли, тесно сгрудившись. Простыня, нет, подол белого праздничного платья волочился по земле. То была утопленница.

— Как Офелия, — дрогнувшим голосом добавил пограничник.

За что получил замечание:

— Вы свои поэтические сравнения — в стенгазету! Офелию, товарищ Кикин, в рапорт не надо...

Спутника девушки так и не нашли...

— Куда же он девался? — Александр удивлен и обеспокоен, но не показывает виду.

— Могло в море вынести. Или под корягу прибило. Тут, знаешь, коряг у нас много. То и дело лески рвут. Заклинило между корягами, он и качается себе под водой. До будущей весны прокачается. А весной вытолкнет его при подвижке льда на поверхность. Обязан всплыть.

— Ну, наговорился? — укоризненно спрашивает жена Рывчуна. — За разговорами зорьку бы не проспять!..

Стемнело. Лают собаки. В квартире замполита — она напротив — осветилось окно. Шторы не задернуты.

Видно, как хозяин садится к столу, придвигает тетрадки и учебники. На загорелом лице его — кроткое, почти детское выражение, чуточку даже грустное.

Одно за другим темнеют окна.

Тревожная группа спит в одежде и сапогах, чтобы не мешкать с одеванием, если раздастся телефонный вызов с границы.

Вот и день прошел. Что принесет ночь? С этой мыслью отходят ко сну на заставе...

Мертвец, которого так долго искали, всплыл именно в эту ночь.

Он всплыл метрах в ста от нашего берега, напротив бухточки, осененной тенистыми деревьями, где вдобавок камыши гуще, чем в других местах.

Заметили утопленника не сразу — он очень долго покачивался посреди плеса, словно был в нерешительности.

Ночь — лунная, но небо сплошь затянуто облаками. Свет какой-то рассеянный, колеблющийся, тускло-тоскливый.

Пограничный наряд медленно проходит вдоль берега, прячась за кустами.

Чтобы прогнать тоскливое чувство, более молодой пограничник начинает разговор вполголоса:

— Тут старший лейтенант недавно рыбу подлавливал. На спиннинг. Однако не пошла. Все нервы ему повыдергивала. Играла, играла, так играючи и ушла.

— Тише ты! — останавливает старший. — Посматривай!

На плесе играет большая рыба; может, та самая, что «все нервы повыдергивала». Взблескивает плавник. Раздается характерный шлепок

хвостом по воде.

Опять тускло блеснул плавник. Что это? Неужели не плавник — рука?!

Пограничники, не сговариваясь, разом присели. Из-за кустов неотрывно наблюдают за диковинной рыбой.

Все-таки, пожалуй, не рыба. Скорее пень с торчащими короткими корнями. Подмыло его весной в ледоход и вот носится, как неприкаянная душа.

Покачиваясь с боку на бок, пень неторопливо пересек залив.

У гряды подводных камней, очерченных рябью, надо бы этому пню остановиться. Течение завихряется здесь. Над камнями постоянно кружатся щепки, ветки, пучки водорослей. Но он не задержался — плывет дальше.

Напряженный шепот в кустах:

— Человек?!

— Умолкни ты!

«Пень» продолжает приближаться к нашему берегу.

Сейчас подплывет, распрямится, «обернется» человеком. Потом человек сгорбится, «обернется» зверем и на четвереньках со всех ног, обутых в медвежьи или собачьи когти, побежит в лес.

«По старинке, однако, работают», — хочет сказать младший пограничник, но ему перехватывает дыхание.

Нет! Это не человек, притворившийся пнем. Это мертвец! Он плывет на спине, закинув голову. В затененном, словно бы из-за штор, лунном свете лицо видно неясно. Однако угадываются неживая белизна, пугающая, зловещая окостенелость скул, носа, подбородка.

Мертвец плывет навзничь, чуть покачиваясь, как на катафалке. Лоб его пересекает узкая темная полоса, не то запекшаяся рана, не то водоросли.

Пограничники ждут, не шелохнутся, будто вросли в землю.

Встревоженно бормоча, волна подносит мертвеца все ближе.

Заскрипел песок. Волна протащила труп еще немного.

Ноги остались в воде, туловище уже на берегу. Оно лежит так близко, что можно дотянуться до него стволом автомата.

Держа палец по-прежнему на спусковом крючке, младший пограничник всматривается в запрокинутое лицо. Оно страшно. Бело и неподвижно. Один глаз вытек, другой отсвечивает, будто капля росы.

Пограничники ждут. Незаурядное терпение надо воспитать в себе пограничникам!

Проходит еще минут пять... Младший, пожалуй, поверил бы мертвенной неподвижности и вышел бы из-за кустов. Но старший опытнее. Что это сверкнуло тогда над водой? Рука?

Утопленник пошевелился.

Нет! Его качнула волна. Она медленно переворачивает труп на бок, кладет на живот. Однако волна-то ведь совсем маленькая?..

Пограничники ждут.

Очень жутко наблюдать за тем, как оживает мертвец. Медленно-медленно поднимает голову. Оперся на локти. Замер в позе сфинкса.

Это поза ожидания и готовности. Малейший подозрительный шорох на берегу — и мнимый мертвец отпрянет, извернется угрем, в два-три сильных взмаха очутится в безопасности на середине плеса...

Но неизменно тихо вокруг.

«Течет ритмичная тишина», — это, кажется, из Киплинга?

Так, впрочем, и должно быть. «Маскировка под мертвого». Ловко придумано! У шефа, надо отдать ему должное, светлая голова. Пусть он придиричив, высокомерен, с подчиненными обращается хуже, чем обращался бы с настоящими батраками, зато выдумщик, хитер, изворотлив — сущий бес!

Выжидая, человек лежит до половины в воде, будто взвешенный в лунном свете.

Монотонно поскрипывает сосна: рип-рип!.. рип-рип!..

Вначале план был другой, более громоздкий. Но, к счастью, подвернулась эта гибель во время катания на лодках.

Шеф и его «батраки» наблюдали за катастрофой с сеновала.

Лодка перевернулась в тот момент, когда спортсмен, сидевший на руле, ложился на другой галс. Упавший парус сразу накрыл обоих — и молодого человека и девушку.

Толпа повалила к месту гибели. Шеф длинно выругался.

— Поднимется кутерьма! — пояснил он. — Начнутся поиски, погребальный вой, плач, то да се. Верных пять-шесть дней задержки.

Он оказался прав. Поиски утопленников затянулись. Из города понаехало множество народу: чиновники, полицейские, родственники, праздные ротозеи. На берегу вечно толклись люди.

Шеф выходил из себя.

— Ну что за дурни эти утопленники! — говорил он. — Где их угораздило утонуть? Перед самым наблюдательным постом русских, и как раз теперь, когда мы здесь!

«Батрак» постарше соглашался с начальством. Ожидание всегда изматывает нервы.



Второй «батрак» высокомерно молчал, курил и сплевывал в сторону. Это раздражало его напарника.

Познакомились они уже здесь и с первого взгляда безотчетно возненавидели друг друга.

Безотчетно? Пожалуй, нет. Сумма вознаграждения очень велика, а шеф пока только присматривается к своим помощникам. Кто из них пойдет на задание, а кто останется в резерве? «Батраки» видят друг в друге конкурента.

Второй «батрак» — немец. Лицо у него узкое, злое, заостренное, как секира. А глаза темные, без блеска, будто насквозь изъедены ржавчиной. Лет ему не более тридцати, но волосы на голове и брови совершенно белые. Ранняя седина, что ли, а может, он альбинос?

Первый «батрак» постарше. На вопрос о национальной принадлежности отвечает уклончиво. Всякое бывало... Иной раз — особенно с похмелья — долго, с усилием припоминает, кто же он сегодня: грек, турок, араб?

Впрочем, где-то на дне памяти сохраняется расплывчато-мутное видение: остров Мальта, труппы Ла-Валлеты. Там он родился. Но это было очень давно, около сорока лет назад. Пестрым калейдоскопом завертелась жизнь. И сорокалетний возраст — почти предельный в его профессии.

Поскорее бы сорвать это вознаграждение! Убраться бы в сторонку, приобрести бар, доживать жизнь на покое. Но задание, наверное, перехватит альбинос. Он моложе.

И тут, как повсюду, безработные отталкивают друг друга локтями. Молодые, понятно, поспевают раньше пожилых.

Злые, как осенние мухи, бродят по хутору «батраки», выполняя для отвода глаз пустячную работу. Того и жди, вспыхнет ссора между ними. Шеф предотвращает ее коротким «брек».<sup>[46]</sup>

На третий день он с биноклем забирается на сеновал. Там есть узкое отверстие под крышей, нечто вроде амбразуры. В нее часами разглядывает противоположный, русский берег. И скалит зубы при этом. Ого! Маленьких детей пугать бы такой улыбкой!

Наутро он сообщает «батракам» свой план.

Альбинос вынул трубку изо рта:

— Придумано хорошо. А кто пойдет?

— Он.

— Почему не я?

Шеф нахмурился:

— Я решаю!

Потом все же соблаговолил объяснить:

— Он уже ходил на связь с этим Цвишеном, бывал на борту его лодки. В Басре, в сорок первом, — так, кажется?

— Да.

Альбинос неожиданно захохотал:

— Вы правы, как всегда. Старик лучше меня сыграет роль покойника.

Мальтиец обиделся:

— Я ненамного старше тебя, зубоскал! Впрочем, с твоей унылой неподвижной рожей не надо и маски, чтобы...

— Брек, брек! Вам еще пригодится злость. Конечно, вы сыграете лучше. Ведь это не первая ваша роль, не так ли?

И в этом он тоже прав.

Сейчас мальтиец — на русском берегу. Глаза его широко открыты. Уши наполнены вкрадчивыми шумами ночи.

А в закоулках мозга проносятся тени.

Они кривляются, дергаются, словно в танце. Это — босой, в подвернутых штанах фотограф на пляже в Констанце. Это — сонный портье второразрядной афинской гостиницы. Это — дервиш<sup>[47]</sup> из подземной тюрьмы в Басре.

Особенно ему удался дервиш. Как был продуман характер! Как тщательно отделана каждая деталь!

Этого дервиша заподозрили в том, что он — переодетый европеец, и сволокли в тюрьму.

Перешагнув ее порог, он спросил, в какой стороне восток, потому что окон в камере не было, и потребовал коврик для совершения намаза. Тюремщики грубо высмеяли его. Но кто-то ради любопытства швырнул ему грязную циновку.

Узник не удовлетворился этим и попросил кувшин с водой, чтобы совершать ритуальные омовения. В воде ему было отказано.

Тогда он принялся проклинать своих палачей.

Глотка у него была здоровая, и он вопил так, как могут вопить только ослы и дервиши.

— Смерть людей, — кричал он, — предначертана в книге судеб, и он не страшится смерти! Да будет на то воля аллаха, единого, премудрого, вечносущего! Но, препятствуя совершать предписанные кораном обряды, его лишают райского блаженства, которое обещано каждому правоверному. О гнусные палачи, сыны греха, зловонные бешеные псы!

Покричав несколько часов, он умолк. Заглянули в замочную скважину.

Узник был занят тем, что отковыривал глину в стене и старательно растирал между ладонями. Его спросили, зачем он это делает. Он ответил, что при обряде «тейемун», предписанном пророком, разрешено вместо воды пользоваться песком, если час намаза настиг путника в пустыне.

Дервиш упрямо боролся за свой рай. Он неукоснительно совершал ритуальные омовения размельченной глиной и громко молился, стоя на циновке лицом к востоку.

Под дверями его камеры толпились любопытные. Сам начальник тюрьмы неоднократно спускался сюда и садился на стул у двери, чтобы послушать, как молится узник: не перепутает ли слова молитвы?

На исходе третьей недели стало ясно, что дервиш — настоящий. Перед ним с извинениями распахнули ворота, и он гордо удалился, неся под мышкой подаренную ему циновку и продолжая зычным голосом проклинать своих обидчиков — сынов греха.

Да, сыграно было без запинки!..

Он вжился в свою роль даже больше, чем Вамбери, знаменитый английский шпион.

Известно, что, возвращаясь из своего «путешествия» в Среднюю Азию, куда он ездил под видом турецкого дервиша, Вамбери едва не был разоблачен в Герате. Во время парада перед дворцом афганского эмира он стоял подле оркестра и машинально отбивал ногой такт, что не принято делать на Востоке. Промах был замечен самим эмиром, впрочем, без неприятных для шпиона последствий.

В «репертуаре» мальтийца роль упрямого дервиша, пожалуй, наилучшая. Но тогда он был моложе на одиннадцать лет. Ему было примерно столько же, сколько альбиносу сейчас.

Ну что ж! Остается сыграть свою последнюю роль — утопленника. И — со «сцены»! Куда-нибудь подальше, в глушь! Смешивать коктейли у стойки бара, ни о чем не думать, никого не бояться, стать наконец самим собой. Можно же под старость позволить себе роскошь — стать самим собой?

«Утопленник» выпрямился во весь рост, огляделся. Бухта ему нравится. Глубокая, тенистая. Облюбована заранее, во время длительного просмотра местности из узкой амбразуры на сеновале.

Пограничники слышат самодовольный смешок. Это страшнее всего. Лицо «мертвеца» при этом неподвижно, лишено всякого выражения.

Он делает несколько шагов, разводя ветки руками, словно бы еще

плывет. Кусты смыкаются за ним, как вода. Теперь его нельзя увидеть с того берега, если бухта просматривается в бинокль. Лишь тогда нечто холодное, твердое упирается между лопаток. Рядом раздается тихий, но внятный голос:

— Руки вверх! Не оборачиваться!

Интонации убедительные, их нельзя не понять, даже если не изучал русский язык в специальной школе.

Но мальтиец не трус, и он выходил из еще более опасных переделок.

Он покорно поднимает руки. Одновременно, пригнувшись, как бы ныряет вниз головой. Пули со свистом пролетают над ним.

Лежа на земле, он стреляет несколько раз.

В такой тесноте промахнуться невозможно.

Стон боли!

С силой оттолкнувшись ногами, мальтиец хочет откатиться к воде. Но движения скованны, баллон пригибает, а сверху навалились, приемом самбо выкручивают руку, в которой зажат пистолет.

Удар прикладом по голове! Мальтиец теряет сознание.

Старший наряда, стараясь не стонать, — он ранен, — вызывает на помощь товарищей с заставы.

Тем временем его товарищ укладывает нарушителя ничком, чтобы удобнее было держать.

— Поаккуратней, Кикин! — просит старший наряда, скрипя зубами от боли. — Не повреди его там! Мордой-то, мордой в землю не очень, задохнется еще!

Прибывают с заставы пограничники во главе с офицером и осматривают местность. В прибрежных кустах нет ничего. Вода залива — как гладкий лунный камень. Противоположный берег темен, тих.

Нарушитель пришел в себя, его конвоируют на заставу. Сзади несут раненого пограничника. Все, тесно сгрудившись, перебираются по валунам, прыгают через ручьи, ныряют в заросли ежевики и шиповника.

Рука у мальтийца, кажется, сломана, голова гудит, как котел, но, по привычке, он напряженно вслушивается в реплики, которыми обмениваются его конвоиры. Отлично знает русский язык. Однако никак не может понять, почему один из пограничников, обращаясь к нему, повторяет имя «Офелия». Произносит его даже с каким-то ожесточением:

— Ну, давай, давай! Иди уж... Офелия!

Впрочем, у нарушителя немного времени для догадок. Застава размещается неподалеку от бухты. Скрипят ступени. Его обдает теплыми домашними запахами. Сильнее всего запах сапог и масла для протирания

оружия. Последний шаг — и он в кабинете начальника заставы.

Мнимый утопленник — с плеча его еще свисают водоросли — угрюмо молчит. Заранее решил не отвечать на вопросы. В кабинет входят русские офицеры, но он опустил голову, делает вид, что не смотрит по сторонам.

На него тоже не смотрят. Общее внимание привлекает маска, брошенная на стол. Она сделана очень искусно, «под мертвеца».

— Вот же гады! — удивляется Кикин, придерживая у ворота разорванную гимнастерку. — Что делают, а? Под чужое лицо маскируются!

Впрочем, сейчас лицо нарушителя не краснее снятой с него маски. Бледность даже ударяет в какую-то зеленоватость. Челюсть у него очень длинная, нижняя губа выпячена, как у щуки.

Из-под полузакрытых век он следит за тем, что происходит вокруг.

Молодой моряк — почему на заставе моряк? — осматривает баллон, ласты, долго вертит в руках маску.

— Притворился мертвым! — негромко и со злостью говорит он хмурому приземистому офицеру. — Но это же почерк Цвишена!

Нарушитель не поднимает головы, но по спине его проходит дрожь...

Комендант участка, прибывший на заставу по телефонному вызову, сидит у стола, с подчеркнутой небрежностью перебросив ногу за ногу, и поглядывает на бледного немолодого человека без маски.

— Ничего не говорит, товарищ майор, — огорченно докладывает Рывчун. — Притворился немым.

— Заговорит, — уверенно замечает майор, покачивая ногой. — Это он еще не просох, не очухался. А переоденут его во все сухое да посадят против следователя, сразу весь наигрыш — как рукой! Он же, видать, не дурак. Дело идет о его жизни. Заговорит — будет жить. А уж если не заговорит...

Он очень проницателен, этот майор, старый пограничник! Нарушитель быстро взглянул на него, снова опустил голову.

Заговорит!..

Но, когда его доставили в Ленинград, он еще упирался некоторое время — по инерции.

Потом, подобно действию пружины часового механизма, инерция кончилась. Он вздохнул, провел по лицу тяжелой, со вздутыми венами рукой:

— Буду говорить!

И словно бы прорвало его! Стенографистка не успевает записывать, то

и дело меняет остро отточенные карандаши.

Зачем ему, в самом деле, упираться, мучить себя? Бара уже не будет, это ясно. Обещанное вознаграждение потеряно. Честь? Долг? Это давно слова-пустышки для него. Родина? Но у него нет и не было родины.

И он устал притворяться. Последняя роль сыграна, больше ему не играть. Можно дать себе волю, расслабить натянутые нервы. Все кончено. И в этом есть какое-то облегчение.

Но, чем дольше говорит нарушитель, торопясь, поясняя, уточняя, тем более озабоченным делается лицо полковника, который снимает допрос...

Через несколько часов он является с докладом к генералу.

— Ага! — удовлетворенно говорит генерал. — Вы были правы. Это связано с прошлогодним нарушением.

— Но сам он клянется-божится, что ему ничего не известно об этой первой попытке нарушения.

— Темнит, как вы думаете?

— А зачем ему темнить? Он очень словоохотлив. И ведь это дело прошлое. Он ничего не скрыл от нас насчет будущего, насчет своего напарника, которого пока придерживают в резерве на том берегу. Вы знаете, у меня мелькнула догадка: не имеем ли мы в данном случае дело с двумя разведками?

— Которые соперничают между собой, не зная друг о друге?

— Да.

— Любопытно!

— Второй нарушитель пытается уменьшить свою вину. Прошу взглянуть, страница пятая протокола допроса: «Мое задание особого рода. Я не должен был убивать ваших людей или взрывать мосты, электростанции и заводы. Я послан изъять очень важную международную тайну».

— Вот как! Даже международную! Но сути тайны, по его словам, он не знает. Врет?

— Вряд ли. Простой исполнитель. Так сказать, рука, а не голова. «Потом я должен был включить часовой механизм, — сказал он. — До остального не было дела. Ведь я хотел остаться в живых, вернувшись домой. А меня учили, что есть тайны, которые убивают».

— Резонно. Он заботился о своем здоровье. Как, кстати, самочувствие раненого пограничника?

— Умер по дороге в отряд, товарищ генерал. Не успели донести до госпиталя.

Генерал, стараясь скрыть волнение, низко наклоняется над столом и

без нужды передвигает тяжелый письменный прибор. Пауза.

— Продолжайте, — говорит он своим обычным ровным голосом. — Что сказал еще этот мнимый мертвец, столь заботящийся о своем здоровье?

— Он готов, по его словам, сам показать нам вход в эту Винету. К сожалению, нарушителя немного повредили при задержании — сломали ему руку. А там, как он говорит, надо проплыть метров десять под скалой.

— Но он набросал на бумаге план?

— Да. Остров обозначен под условным наименованием «Змеиный».

— Ну что ж! Главное — это план. Ведь лейтенант Ластиков аквалангист?

— Так точно. Но у меня есть вариант решения.

Полковник кратко докладывает свой вариант. Несколько минут генерал в раздумье барабанит пальцами по столу.

— Рискованно, вы не находите? Мы ставим Ластикова под удар.

— Я подумал об этом. Его будут страховать запасные аквалангисты и Рывчун. Зато эффект двойной.

— Сомневаюсь в том, чтобы этот так называемый шеф решился на новую попытку. С противоположного берега был слышен шум, видны вспышки выстрелов. Логический вывод: нарушитель схвачен, возможно, признался.

— А мы прибегнем к хитрости, товарищ генерал. Представьте себе: до этого шефа — не уточняю, каким путем, вероятно, окольным — доходит весть: нарушитель при задержании принял яд. Кстати, капсула с ядом была при нем.

— Так. Продолжайте!

— Тогда вплавь направляется к острову второй нарушитель. Но Ластиков наготове и...

— Согласен! — Генерал прихлопнул ладонью листы протокола допроса. — Хоп, майли!

В молодости он служил в Средней Азии и, по старой памяти, любил иногда употреблять местные выражения.

## 7. Засада на острове Змеиный

Командир корабля хмуро встретил Александра после его возвращения с заставы, где был схвачен нарушитель, притворившийся уопленником.

— Не везет мне с вами, лейтенант!

Александр удивился. В чем он мог провиниться?

— Да нет! Штурман-то вы хороший. Но комдив то и дело отнимает вас у меня. Вот сейчас в Ленинград едете — на дополнительную тренировку перед соревнованиями. Уже приказ печатают.

На тренировку — сейчас? Но это же нелепо! Весь участок границы напряжен в связи с дерзкой попыткой ее нарушения, а он, лейтенант, штурман корабля, будет прохлаждаться, плескаться в бассейне под светом рефлекторов, как на кино съемке!

— Прошу разрешения войти!

За дверью раздалось: «Да!» Комдив говорил по телефону, видимо, с округом. Не отнимая трубки от уха, он махнул рукой в сторону кресла: пригласил садиться.

— Ясно, товарищ генерал, — повторял комдив. — Понял вас. Да, он уже здесь. Сейчас отправлю к вам, товарищ генерал!

Посмотрев на Александра, который сидел перед ним выпрямившись, с холодно-отчужденным видом, он усмехнулся, даже, почудилось, ободряюще подмигнул. Комдив подмигнул? Нет, этого не могло быть.

— Некогда объяснять, лейтенант. Берите мой катер и духом — на поезд и в Ленинград!..

Так Александр и сделал.

Из управления от генерала он вышел упругим шагом, в самом отличном расположении духа. И если бы кто-нибудь наблюдал за ним, то, вероятно, понял бы: радость эта особого рода, воинственная, от которой блестят глаза, но плотно сжимается рот!

Очень хотелось хоть на полчаса забежать к Грибову, но делать этого было нельзя. Да и до поезда оставались считанные минуты.

В другое время Александр обязательно дошел бы до вокзала пешком — тут-то и идти было всего ничего. Лишний раз полюбовался бы панорамой Невы и красавицей «Авророй», поставленной навечно у Нахимовского училища. Но сейчас не до того. Он на ходу вскочил в трамвай и сразу же стал протискиваться к выходу:

— Сходите у вокзала? Извините!.. А вы сходите?..

Девушка, стоявшая у выхода, послушно посторонилась. Вдруг совсем близко Александр увидел удивленно и радостно расширенные блестящие глаза.

— Вы?

— О! Это вы?!

Вагон остановился. Сзади прикрикнули:

— Товарищ моряк! Не сходите, так дайте людям сойти!

Ощущая нетерпеливые тычки в спину, Александр неожиданно для



себя нагнулся к своей бывшей соседке по театру и, почти касаясь губами ее уха, быстро шепнул:

— Пожелайте мне удачи!

Глаза ее стали совсем круглыми.

Он соскочил с подножки, прошел несколько шагов и оглянулся.

Девушка медленно покачала головой, показывая, что ничего не понимает. Потом неуверенным движением поднесла руку к щеке и чуть заметно пошевелила пальцами — все-таки пожелала ему удачи!

В поезде Александр не переставал удивляться себе.

Что это на него нашло? Ни с того ни с сего попросил почти незнакомую девушку: «Пожелайте мне удачи!»

И ведь никогда не был суеверным или чрезмерно чувствительным. Глаза, что ли, у нее были в этот момент такие распахнутые, откровенно радостные? Его будто толкнуло под руку.

На следующий день группа лейтенанта Ластикова в составе его самого и двух пловцов, отобранных среди матросов дивизиона, была переброшена на маяк, находящийся по соседству с одним из островов в заливе.

Александр разъяснил матросам задачу.

— Дело-то, выходит, с туманцем, — глубокомысленно сказал матрос Кузема.

Второй матрос, Бугров, принялся азартно толковать о новейших аквалангистах, которые якобы уже передвигаются с помощью моторчика и винта.

— Слушай! Не засоряй ты мне мозги, — попросил Кузема. — Товарищ лейтенант объяснял: наш пойдет без моторчика. Как он пролезет с моторчиком под скалу?

— Правильно, — подтвердил Александр. — Зачем попу гармонь, когда у него есть колокола и кадило? Однако учтите, всякие неожиданности возможны. Ведь это что за люди? Как говорится: один пишут, два в уме.

— Хитрят?

— Еще как хитрят!

Была установлена ночная вахта. Днем остров по-прежнему пустовал, только тщательно просматривался в бинокль, но вечером туда доставляли Александра.

Два помощника дежурили в шлюпке неподалеку, готовые по сигналу ракетой поспешить на выручку.

Первая и вторая ночи на острове прошли спокойно. Не плеснули,

расступаясь, волны, набегавшие на берег. Не скрипнула галька под крадущимися шагами. И не отпечатался на фоне неба силуэт, горбатый, хищный.

Лишь длинно шумели сосны над головой и шелестел прибор внизу. А вдали мигал маяк. Два длинных проблеска, три коротких — доброе напутствие для друзей, ободрение в ночи. И — суровое предупреждение врагам!

Незримая в воде линия границы разрубает залив в каких-нибудь шести кабельтовых от маяка. Ночью включается свет, начинает работать прожекторная установка. Белая метла, чуть распушенная на конце, аккуратно подметает залив, ходит равномерно взад и вперед, взад и вперед. Ничего незамеченного и недозволенного не должно оставаться на водной глади, никакого «мусора», никакой «соринки».

Справа — застава Рывчуна. Слева границу перекрывает корабль. Вместе с морским пограничным постом все увязано в один тугой узел.

Сейчас узел завязан еще туже — группой лейтенанта Ластикова.

На рассвете шлюпка подошла к острову и сняла с него Александра.

До полудня он проспал, потом перелистал затрепанную книжку «Остров сокровищ» и лишь вечером выбрался на воздух. Днем это было строгойше запрещено. За маяком с противоположного берега наверняка наблюдали любознательные господа в макинтошах, приехавшие из гостиницы для туристов. Появление лишних — сверх привычного числа — людей могло насторожить, возбудить опасения.

Зевая и потягиваясь, Александр уселся на скамейке рядом с начальником поста.

Население маяка обычно отдыхает здесь, под единственным своим деревом. Чудом каким-то устояло оно на каменистом мысу, обдуваемом со всех сторон ветрами. Это сосна, но приземистая, коренастая, напоминающая скорее саксаул. На ней иногда вырастают плоды, тоже необыкновенные: трусы и тельняшки, которые команда развешивает на ветвях после стирки.

— Замечание за это имею, — пожаловался Александру начальник поста. — Недавно приезжал комдив, очень сердился. «Не цените, говорит, свою флору! Сушите, говорит, на ней белье. Лень вам веревочки протянуть». А ведь с веревочек-то сдувает!

— Прищепки какие-то есть, — лениво сказал Александр.

— Откуда нам о прищепках знать? — вздохнул его собеседник. — Средства связи, устройство автомата, пулемета — это мы проходили. А прищепки — нет. Вот приедет жена, поучит.

Лицо его прояснилось.

Начальник поста был в одних годах с Александром, бронзово-загорелый, очень красивый. Весной, побывав в отпуску, он женился и теперь часто, к делу и не к делу, повторял слово «жена». Оно, это слово, было внове еще, им, видно, хотелось покрасоваться, пощеголять.

С первого же дня, проникшись к Александру симпатией, начальник принялся рассказывать ему историю своей любви.

Это была его первая любовь.

— И — последняя! — с достоинством подчеркнул он. Вокруг собеседников было очень тихо, как бывает только в шхерах после захода солнца. Ветер упал. Тельняшки висели на дереве совершенно неподвижно, не нуждаясь ни в каких прищепках.

— К нам писатель недавно приезжал, — сказал начальник поста. — Хочет о нас роман писать, про нашу героическую, а также будничную жизнь. Ну, не знаю. Другим, может, будет интересно читать. Нет, вот бы он про любовь написал! Мы ему говорим: мало вы, писатели, пишете об этом. А надо бы большой роман или даже несколько романов про самую настоящую, верную любовь. Именно — верную! Как ты считаешь?

Александр промолчал.

— Сели мы вокруг гостя под нашим деревом и критикуем его, но, конечно, вежливо. Старые, говорим, писатели больше писали про любовь. Почему? Разве сейчас стали меньше любить? А когда новые и пишут, то, извините, как-то вяло и все больше про измены или неудачную любовь. А нам надо про удачную!

— Попадается и про удачную.

— Тоже неправильно описано, я считаю. Поцеловались на последней странице, расписались, и книге конец. Мне неинтересно так.

— Как же тебе интересно?

— Мне — и моей жене, — солидно добавил он, — интересно прочитать дальше — о супружеской жизни. Как она строится, какой есть положительный опыт. Я бы желал прочесть о людях, которые полюбили друг друга в ранней молодости — как я и моя жена. Любят, понимаешь, очень сильно и много лет. Никакой фальши между ними, ни одного слова лжи. Прошли через всякие испытания, болезни, долгую разлуку и прожили в счастье до самой смерти. Вот это был бы роман!

Он с воодушевлением посмотрел на Александра.

— Писатель не обиделся на тебя?

— Кажется, нет. «Буду стараться, говорит. Самое главное, что я почерпнул на границе, — это то, что вы счастливые. А счастье —

несокрушимая сила!» Потом засмеялся. «Я, говорит, если бы сумел, всех вас так описал, что лучшие девушки в стране только за пограничников бы замуж шли». — «А что, и правильно, — заметил мой прожекторист. — Обману не будет, товарищ писатель. Пограничник-то, он — человек верный!»

Александр одобрительно кивнул.

— Погоди-ка, — сказал начальник, видимо решившись. — Чего я тебе покажу сейчас!

Он сбегал в дом и принес фотографию жены.

— Вот она такая у меня, — с гордостью сказал он. — Нравится тебе?

Из ракушечной рамки выглянуло наивное личико с круглыми удивленными глазами. Косы были уложены на голове венчиком. Чем-то напомнило ту девушку, которая любила «перечитывать» Ленинград, «перевертывая его гранитные страницы». Но у той глаза, конечно, были выразительнее, ярче...

— Хорошая, — вежливо сказал Александр, возвращая фотоснимок.

— Да? Снимок, учти, плохой. А в жизни она гораздо лучше. Красавица она у меня! — Он спохватился: — Что же это я о себе да о себе! О нас с женой. А ты как решаешь этот вопрос?

Александр пожал плечами. Получалось неловко. На откровенность полагается отвечать откровенностью.

Но он совершенно не умел говорить на такие темы.

Потом опять вспомнил о девушке из театра. А о ней бы рассказал, если бы полюбил? Нет, вероятно. Это обидело бы ее. А разве он позволил бы себе ее обидеть?

В некоторых девушек, наверно, можно влюбиться, когда они слушают музыку. У соседки было тогда такое хорошее выражение лица, сосредоточенно-нежное, почти молитвенное.

Он только отвернулся на минутку, а она уже была тут как тут, рядом с ним, будто крошечный эльф спорхнул в ложу с люстры, висевшей над залом. А из оркестра в это время звучал аккорд, протяжно-томительный, величавый.

«Это же тема великого города! — удивилась она. — А вы и не знали?..»

— Эх! Заговорил я тебя! — с раскаянием сказал начальник поста. — Вот ты и печальный стал. Пойдем заправимся! Штормовых уток будем доедать.

В позапрошлую ночь был шторм, а в непогоду птицы летят на свет маяка, как ночные бабочки на огонь, и расшибаются о башню. Утром кок

подобрал несколько штук и теперь баловал команду.

— Пошли! — Александр встал. — Через час мне на вахту...

Никакого движения на противоположном берегу — ни огонька, ни искорки. Двое в кустах неподвижны. Они разговаривают шепотом.

Точнее — это монолог. Говорит один — отрывисто, будто откусывая концы фраз. Второй лишь подает реплики и внимательно слушает. Он удивлен. У его обычно молчаливого помощника приступ откровенности:

— О! Вы назвали меня генералом от диверсий. Вы мне льстите. Цвишен — вот кого можно назвать генералом от диверсий! Я всего лишь старший фенрих, кандидат на офицерский чин.

Мой возраст, видите ли, был призван уже под конец войны. Мне было восемнадцать лет. Я выразил желание отдать жизнь за фюрера и представил документы об отличном окончании школы плавания. Бывший чемпион Европы Фриц Ягдт считал, что я могу стать пловцом мирового класса.

Командование удовлетворило мое ходатайство. После проверки я был назначен в соединение адмирала Гельмута Гейе. Наша часть находилась на особом положении. Личный состав проводил испытание секретного военно-морского оружия.

На глазах у меня испытывались «Зеехунды», двухместные подводные лодки, а также катера-торпеды. Команда нацеливала катер на вражеский корабль, потом выбрасывалась за борт.

Игра со смертью? Да. Но некоторым удавалось вернуться, особенно если их страховал второй катер, который находился поблизости.

Через полтора месяца я, согласно выраженному мной желанию, попал в отряд боевых пловцов. Мы тренировались днем и ночью. Итальянцы, как вам известно, обогнали нас в этом отношении, и нужно было наверстать упущенное.

Я, ученик Ягдта, по-прежнему шел в числе других. В одно из своих посещений сам Лев — так мы называли адмирала Деница — обратил на меня внимание. Я получил вне очереди звание старшего фенриха, кандидата на офицерский чин.

К сожалению, война быстро приближалась к концу. Силы наших сухопутных войск слабели. Флот был загнан в гавани. Именно поэтому диверсия — уже как средство обороны, а не нападения — выступила на передний план.

Да, совершенно верно. Это сказал Кеннингхэм<sup>[48]</sup>:

«В отчаянном положении единственный выход — атаковать!» Вот мы

и атаковали.

Конечно, нам не удалось добиться таких результатов, как, скажем, итальянцам в тысяча девятьсот сорок первом году. Помните: на управляемых торпедах они проникли на александрийский рейд и атаковали два линкора — «Куин Элизабет» и «Вэлиент»?

Начальство повторяло: продержаться во что бы то ни стало! Затянуть время! Нет, это не был страх агонии, хотя говорят, что умирающие всячески пытаются оттянуть последнюю, неизбежную минуту. Мы-то еще надеялись. Нам объяснили, что в подземной Германии за нашей спиной выковывается оружие победы.

Правильно! Геббельс называл его волшебным мечом Нибелунгов. Речь шла об атомной бомбе.

Но с бомбой мы, немцы, опоздали. Говорят, всего лишь на полгода.

Я, однако, еще успел получить свой железный крест. Это было почти под занавес. Во время вашей высадки в Северной Франции. Меня послали на подрыв моста через один из каналов на Шельде. Впрочем, вы знаете об этом не хуже меня. Вы же изучали мой послужной список. Там расписано куда более красиво, чем было в действительности.

Вот именно! В диверсии решают тренировка, четко отработанные рефлексы, привычка. Сотни раз мы взрывали мост, так сказать, в уме. Затем после полуночи моя группа спустилась под воду и поволокла мину по каналу — почти на плечах. Возни было с ней — до седьмого пота.

Я приказал сменяться через каждые пятнадцать минут. Двое плыли, таща мину за собой, третий шагал по дну, толкая ее сзади. Четвертый отдыхал.

Силы, понимаете, надо было беречь. За весь путь мы ни разу не поднялись на поверхность.

Как ни спешили, но лишь на исходе ночи доставили груз к мосту. Важно было не перепутать мосты, как получилось с нашими предшественниками. Пришлось всплыть на поверхность, чтобы определиться.

Я и фельдфебель Дитрих вынырнули без малейшего плеска — нас специально учили этому. Потом мы по стропилам поднялись наверх.

Это был «наш» мост, то есть предназначенный к взрыву. Выяснилось, что придется снять часовых. Это, знаете, делается очень просто, вот так... Ну-ну, не буду! Хотел показать наглядно. Важно, понимаете ли, сразу добраться до горла! Может, вам когда-нибудь пригодится.

Хотя что это я? Ведь вы только посылаете на задания. Всю свою жизнь проводите в кабинете или в легковой машине, взвешиваете, обдумываете,

потом провожаете таких, как я.

Впрочем, я бы не поменялся с вами. Мне было бы скучно. Опасность как-то разнообразит жизнь...

Убрав часовых, мы с Дитрихом прикрепили мину к подножию центрального быка. Я сверил часы и пустил в ход механизм. Ровно в полдень, время «пик», когда на мосту наиболее интенсивно передвигались грузовики и танки, мина должна была сработать.

Она и сработала. Не знаю, на сколько дней мы задержали продвижение ваших частей и какую роль сыграло это на последнем этапе войны. По моему, было бы важнее задержать русских на Востоке. И к этому в конце концов пришли, но уже в тысяча девятьсот сорок пятом году.

Моя группа услышала взрыв, прячась в прибрежных камышах. Итак, дело сделано. Однако мы думали только о том, как бы вернуться домой. Самое трудное в таких случаях вернуться. Долго рассказывать об этом. Но и Дитрих, и Михель, и Рильке остались в канале.

Я спасся лишь благодаря своей выдержке и дьявольскому желанию жить. Двое суток мне пришлось просидеть на дне выгребной ямы, проще сказать — солдатского нужника. Об этом нет ничего в реляции. Подобные вещи обычно не вставляют в реляции. О них не упоминают и в послужном списке.

Яма, по счастью, была на берегу. Она вплотную примыкала к каналу. Когда саперы, ища нас, начали швырять в воду гранаты, я изловчился и пролез в узкую трубу. Дитрих замешкался. Наверно, труп его всплыл, как всплывает глушенная рыба. Ваши солдаты удовлетворились этим трупом. Михель и Рильке погибли раньше.

Двое суток — на дне выгребной ямы! Скорчившись, как недоносок в банке, держа лицо над зловонной жижей!.. Ну, ясно, не мог взять в рот загубник! Надо было беречь воздух на обратный путь... Кулаки сжимаются, когда вспоминаю об этом!

А ведь я был романтическим юношей. Я любил Шиллера. Я мечтал умереть за фюрера и Третий райх.

Казалось, всей воды в Шельде, даже во всем Ла-Манше не хватит, чтобы смыть с тела эту грязь, эти падавшие сверху нечистоты.

Никому и никогда еще не говорил про яму. Вам — первому. Просто к слову пришлось. Вечер очень тихий — и мне сейчас идти на задание. Хотя я не боюсь. Я уже давно перестал бояться.

И все же, знаете, в яме было лучше, чем в канале. Время от времени мое убежище сотрясалось от толчков. Ваши солдаты продолжали баламутить воду своими дурацкими гранатами. Черт их знает, для чего. В

порядке профилактики, что ли?

Только на третью ночь я сумел уплыть...

Нет, вы неправы. Когда-то я был брезглив, очень брезглив. Не обижайтесь, но мне было бы интересно взглянуть на вас в яме!..

Но после этого что-то кончилось в моей жизни.

Да! Не могу забыть про яму!

Иногда я даже сомневаюсь: стоило ли так цепляться за жизнь? Не лучше ли было остаться в канале вместе с Дитрихом, Михелем и Рильке?..

Вы правы: я стал угрюмым, ожесточенным. А главное, слишком злым, чтобы бояться.

Когда ваши спустя месяц выловили меня в Ла-Манше, я не боялся. Если атрофируется душа, вместе с ней, вероятно, атрофируется и страх.

Вы-то, конечно, не знаете. Откуда вам знать?

Тот, кто просидел двое суток в выгребной яме, иначе смотрит на все: не только на жизнь, но и на смерть.

Ваш полковник в лагере понял это. Он был умный человек. Холодный, бессердечный, но умный. Поговорив со мной, отделил меня от остальных военнопленных, потом добился моего освобождения. «Дрессировка слишком хороша, — сказал он. — Жаль оставлять без применения...»

Мне? О, мне все равно. Я иду туда, куда меня посылают.

Вы, по-моему, куда больше волнуетесь. Не волнуйтесь. Операция пройдет хорошо. По сравнению с Шельдой, или захватом форта в Гавре, или потоплением плавучего госпиталя это пустяки для меня, детская игра в жмурки.

Я возникаю и исчезаю бесшумно. Об этом сказано в моем послужном списке.

А если кто-нибудь попытается встать у меня на пути, я сделаю лишь одно быстрое, хорошо отработанное движение. Не отодвигайтесь! Я помню, вы не любите прикосновений.

Механизм будет включен, часы начнут тикать. Я поставлю завод на пять утра, идет? Кое для кого это будет неприятное пробуждение.

Не беспокойтесь, я успею вернуться. Мы полюбуемся отсюда эффектным зрелищем. Огонь и дым! И опасной тайны нет больше.

Напоследок оцените мою деликатность. Ведь я так и не спросил, что это за тайна.

Впрочем, сужу о ее важности по сумме вознаграждения. Сумма велика, значит, тайна очень важна.

Впрочем, ничего бы не случилось, если бы я и знал. Умею мгновенно забывать. Это входит в мои профессиональные обязанности.



Посмотрите-ка на часы: не пора?..

Шепот стих. Только шумят мачтовые сосны, дрожит, будто в ознобе, листва осин и тяжело, глухо ударяет волна о берег...

Вечер был очень тихий, и закат хороший, не красный, но к ночи расшумелись деревья, и волны стали злее ударять о берег.

Шлюпка скрытно подошла к острову.

Всякий раз у Александра возникала одна и та же назойливая ассоциация. Сосны, казалось, обеспокоены чем-то, что происходит у берега. Быстрой вереницей сбегают по склону и напряженно прислушиваются, перегнувшись к воде. Такое впечатление возникало, наверно, оттого, что все деревья были наклонены в одну сторону.

А быть может, неприятное чувство появлялось от другого. Постоянно наклонное положение сосен напоминало роковую косу Фриш-Неррунг, у города Пиллау.

Остров был, впрочем, неприветлив сам по себе. Несмотря на множество ягод и отличную рыбалку, бывать на нем избегали.

В густеющих сумерках Александр увидел, как по скалам пробежала грязно-серая струйка. Еще две гадюки лежали у самой воды, настороженно подняв плоские головы. Один из гребцов замахнулся на них веслом, чтобы заставить убраться с дороги. Они зашипели, распрямились и неторопливо прошуршали между деревьями.

— Сторожевые змеи! — сказал Александр и заставил себя усмехнуться. — Сторожат Винету, как цепные псы.

Шлюпка с шорохом ткнулась в расщелину между скалами. Берега были круты, обрывисты.

Пристать можно было только здесь, и это было хорошо, так как облегчало наблюдение.

Александр устроился напротив расщелины, положил рядом ракетницу, маску, подводный фонарь, пистолет. Еще в шлюпке он обул ласты и с помощью матросов приладил к спине баллон. Потом отпустил гребцов.

Теперь — ждать! Набраться терпения и ждать! В этом вся тактика. Не спать, не дремать! Ловить каждый шорох, скрип, плеск! Превратиться в кошку, которая замерла у щели!

Это похоже на первую ночную вахту Александра в шхерах. Не вчерашнюю и не позавчерашнюю. Давнюю.

Тогда гвардии капитан-лейтенант послал юнгу в разведку. Ночью было очень страшно. А поутру стало еще страшнее. О берег внезапно ударила

волна, и совсем рядом, в каких-нибудь тридцати метрах, начал медленно всплывать «Летучий Голландец». Сначала показался горб боевой рубки, следом — все узкое стальное тело.

И теперь опасность поднимется рядом с островом из воды...

Но Александр быстро подавил страх.

Для этого он всегда применял испытанное средство — вспоминал войну, фронтовых друзей, команду знаменитого торпедного катера.

Ему представилось, что они стоят за его спиной в слоистой мгле между соснами: пышноусый боцман Фаддеичев, весельчак радист Чачко, флегматичный моторист Степаков и другие.

На мгновение Александр снова ощутил себя мальчишкой, юнгой, воспитанником гвардейского дивизиона торпедных катеров, которого за «глазастость» прозвали «впередсмотрящим всея Балтики», а впоследствии «повысили в звании» и стали называть «штурманенком».

Потом Александр подумал о змеях — как в ту, давнюю свою вахту.

Что ни предпринимал, не мог подавить в себе этот страх и отвращение перед змеями. Даже специально тренировался, будучи курсантом: приходил в зоопарк и подолгу стоял перед террариумом. За толстым стеклом из стороны в сторону раскачивались кобры, в углу ворочался грязновато-серый питон. Александр смотрел на них в упор, чувствуя, что волосы шевелятся у него под фуражкой. Нет, страх и отвращение не проходили.

Он немного утешился, узнав, что Белинский так боялся змей, что не смог спать в номере гостиницы, в котором по стене «пущен» был змеевидный бордюры. Но Белинский был критик, а не пограничник. Ему не надо было служить в шхерах, где полным-полно змей.

Однако сейчас Александр как будто меньше боялся их, — во всяком случае, гораздо меньше, чем в зоопарке перед террариумом. Наверно, это было оттого, что он ожидал «самого главного гада». Скользкое земноводное существо, быть может, уже плыло к острову через залив.

Александр подумал о том, что вот он наконец на пороге Винеты. А за ним, притаив дыхание, заглядывая через его плечо, сгрудились все, кто желают ему счастья и готовы помочь в предстоящем поединке: Кузема, Бугров, Рывчун, начальник поста, комдив, а также генерал и профессор Грибов в Ленинграде. Там, наверно, уже гаснут огни. Город погружается в сон.

Очень интересно наблюдать с улицы за тем, как засыпают многоэтажные дома. Занавески на окнах разноцветные. Вот исчез красный прямоугольник. Наискосок от него, на другом этаже, разом потухли два зеленых. Через несколько минут большинство окон растворилось во тьме.

Дом погрузился в сон, как в темную воду.

Кто его обитатели? Как провели они этот вечер? С какими мыслями, с каким настроением отошли ко сну?

Наверное, целый роман можно написать о любом большом ленинградском доме. Каждое окно — это отдельная глава. Каждый этаж — часть. И время одинаковое для всех: сегодняшний поздний июльский вечер...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1. На пороге Винеты

В этот поздний июльский вечер в Ленинграде идет дождь. Прямоугольники окон, оранжевые, красные, белые, один за другим исчезают, растворяются в частой сетке дождя. Потом сразу гаснут уличные фонари.

Ночь. Дождь.

Совсем немного освещенных окон осталось в Ленинграде.

Вот одно из них — на Мойке, недалеко от Исаакия.

На подоконнике грустно сидит девушка, накинув на плечи пуховый платок. Она не отрываясь смотрит на крыши домов, расплывающиеся в желтовато-серой туманной мороси.

«Удачи, — сказал он ей, — пожелайте мне удачи!»

Это не было шуткой, нет. Он так серьезно посмотрел на нее. Темные глаза его заглянули ей прямо в душу.

И ведь он — военный моряк! Войны, слава богу, нет, но, быть может, его корабль проходит в море опасные испытания?

«Пожелайте мне удачи...» Он бросил эти слова мимоходом и растворился в толпе. А она пятый день места себе не находит от тревоги.

«Удачи...» Знал бы он, как она желает ему удачи. Всем сердцем! Всем существом своим!..

Так вот, стало быть, что такое любовь! Тревожиться, не находить себе места, не спать ночей, страстно желать кому-то счастья, потому что оно и твое счастье, — это любовь?

Книги, правда, обещали ей другое. Но ведь не всегда надо верить книгам.

Пять долгих-долгих дней... Но началось это гораздо раньше. Не пять дней — почти год назад.

Тогда, придя из театра, она долго не могла заснуть.

В окно виден был Исаакий. Крылатый купол его был матово-белым под луной. За стеной слышался храп мачехи и отца — привычный дуэт на флейте и тромбоне.

Стало светать, а девушка еще сидела на своем диванчике, обтянув колени одеялом, удивляясь тому, что произошло.

Моряк с упрямым лбом и серьезными темно-карими глазами по-

прежнему был тут, рядом с нею, словно бы они не расставались. Ей было странно, даже страшно и все же приятно.

Хотя ей показалось, что она не понравилась ему.

И могло ли быть иначе?

Девушка была уверена, что она некрасива, чуть ли не урод. И зеркало холодно подтверждало это, едва она на бегу заглядывала в него. Она не любила зеркал.

Но ей не надо было смотреться в зеркало, чтобы узнать, может она понравиться или нет. Она не знала, что у нее есть нечто значительно более важное и привлекательное, чем красота. И отражалось это не в зеркале, а в ее глазах.

Они были такие блестящие, огромные, яркие, что хотелось без конца смотреть и смотреть в них.

Уже не замечалось, что рот великоват и носишко мал, а льняные пушистые волосы никак не желают завиваться. Не имел значения и цвет глаз. Он вдобавок менялся от настроения — был серым или светло-зеленым, а иногда почти синим. Имело значение лишь выражение ясного ума, правдивости и нерастраченной юной душевной силы.

А именно это никогда не отражает глупое зеркало.

И все же у нее, как она считала, была богатая любовными переживаниями жизнь.

Совсем недавно еще, подобно другим школьницам и студенткам, она подбегала к рампе и, отбивая ладони, вызывала на бис обожаемого тенора — нелепым, срывающимся, «девчоночьим» голосом. До этого, прочитав «Овода», яростно ненавидела Джемму и ревновала к ней бедного, обиженного Артура.

А еще раньше — тогда ей было лет двенадцать — она помогла одному мальчику, который дал бой крысам на Дворцовой площади. С ним ее сблизило то, что они оба не терпели крыс.

Конечно, горбатое чудовище с голым извивающимся хвостом — не очень-то хороший повод для знакомства. Но так уж получилось.

Мальчик был ранен, руки у него были забинтованы, и она хотела ему помочь.

Вскоре ему стало совсем плохо. Он сидел на ступеньках какого-то дома и кашлял и задыхался, кашлял и задыхался. И смотрел на нее страдальческими глазами, а она ничего не могла поделать. Даже ее санитарной сумки с лекарствами не было при ней.

Потом они долго ходили по набережной. Она пыталась вести его под руку, но он не хотел. Ленинград был полупустой и очень тихий. Он будто

прислушивался к их шагам, а мальчик рассказывал о своем только что погибшем приемном отце.

Но больше они не встретились. И она не помнила его лица. Все время он отворачивал лицо, вероятно, стыдясь, что показал свои чувства перед девочкой.

Однако это имело и преимущества. Впоследствии она могла воображать его таким, каким хотела. Иногда приписывала ему короткий прямой нос и строгие стальные глаза. Иногда меняла прямой нос на орлиный, а стальные глаза — на смеющиеся голубые.

Но эти герои молодости, конечно, не шли ни в какое сравнение с лейтенантом, который повстречался с ней в театре, а спустя год, выходя из трамвая, попросил ее пожелать ему удачи. Он был такой сдержанно-сильный, такой тактичный!

Она была уверена, что угадывает за его мужественной внешностью очень нежную, поэтическую душу. Быть может, никто этого не угадывает — лишь она одна. Наверно, он любит стихи, а из композиторов ему должны нравиться Григ и Чайковский.

И вот теперь ему угрожала опасность...

Девушка прижалась лбом к стеклу. Ей представилось, что перед нею не улица, а огромный аквариум. Ветви деревьев — водоросли, машины — рыбы, раскрытые зонты редких прохожих — это быстро проплывающие мимо окна медузы...

В большом, во всю стену окне, которое выходит на Неву с Литейного, свет также не гаснет всю ночь.

Генерал расхаживает взад и вперед по кабинету. Телефон на его столе безмолвствует. Это плохо. Нервы настроены на резкий телефонный звонок, который вот-вот раздастся.

Господа в черных макинтошах заставляют себя ждать. Быть может, отдумали? Хотя вряд ли. Не такие это господа!

Москва разрешила ждать не более недели. Если гости не пожалуют, придется самим протискиваться в эту Винету. К сожалению, мальтиец так и не смог толком объяснить устройство тамошнего «Сезама».

«В Винете полно камуфлетов, — сказал он. — Случайно ваш человек нажмет не на тот рычаг и обрушит себе на голову гранитную плиту. А кому отвечать? Мне».

Он, впрочем, готов идти проводником. «Идти»... Его надо было бы волоком тащить под водой.

Досадно, что пришлось немного повредить при задержании. А с другой стороны: не на танцы же его приглашали!

Генерал с неудовольствием косится на телефон. Потом, присев к столу, перелистывает бумаги в папке.

Капкан открыт, приманка приготовлена. Но что это за приманка?

В Западной Германии до сих пор ищут архивные клады. Быть может, и в шхерах спрятан какой-то чрезвычайно ценный архив?

Но почему именно сейчас активизировались поиски этого секретного архива? Почему нарушители пытаются чуть ли не гуськом идти через границу, и даже летом, в самое неблагоприятное для них время, когда ночи наиболее коротки?

На это нетрудно ответить. Достаточно взглянуть на календарь.

20 мая 1952 года, то есть месяц назад, подписан так называемый общий договор о союзе между США, Англией, Францией и Западной Германией.

Англичане, американцы и французы, подписав этот договор, во всеуслышание сказали «Б». Что касается «А», то они сказали его вполголоса четыре года назад, провокационно введя в 1948 году западногерманскую марку в Западном Берлине. Надеялись, что это нарушит денежное обращение в Восточной Германии и подорвет ее экономическое восстановление. Надежды не оправдались. Но рейхсмарка действительно провела демаркационную линию между Востоком и Западом, что и стало началом фактического раздела Германии.

Теперь, в 1952 году, вокруг боннского договора развернулась острейшая политическая борьба. Каждый документ, который показывает, насколько опасна неофашистская Западная Германия, чрезвычайно важен в этой борьбе.

После войны Винета-три оказалась на советской территории. Вот почему возникла срочная необходимость изъять из Винеты секретный архив или, на худой конец, уничтожить его.

Дата — 1952 год — дает простор для самых разнообразных догадок.

Осенью в США выборы президента. Один из кандидатов — генерал Эйзенхауэр. Нет ли в секретном архиве Цвишена компрометирующих генерала документов?

Цвишен, судя по всему, был ловкой бестией. Он мог приберечь на черный день какие-то очень важные и опасные разоблачения.

Во всяком случае, несомненно, что «Летучий Голландец» находился в самом центре тайных политических и военно-стратегических интриг того времени. Быть может, некоторые из этих интриг еще не закончены и нити

от них протянулись в наши дни?..

Генерал нетерпеливо смотрит на телефон, потом в окно.

Грязноватая муть колыхается между брандмауэрами. Через оконное стекло слабо доносится урчание водосточных труб.

«И это июль! — думает генерал. — Ну и лето! Не воздух, жижка какая-то! Воздух пополам с водой. Будто сидишь где-нибудь на дне морском и выглядываешь из-за водорослей...»

Для Грибова это тоже мучительная, бессонная ночь.

Он достаточно осведомлен о ходе событий, хотя все рычаги, управляющие ими, сосредоточены сейчас в руках пограничников.

Профессор догадывается о том, что лейтенант Ластиков ожидает врага в шхерах. Быть может, как раз в этот момент нарушитель всплыл и единоборство уже началось?

Грибов подсаживается к столу. Это единственный способ, старый, испытанный, совладать с волнением.

Но сегодня не хочется копаться в цифири.

Помимо логики цифр, в движении событий есть еще и неуклонная логика развития характеров. Как ни подходи к войне, даже со скучным арифмометром в руках, все дело в конце концов сводится к людям, только к людям.

Из ящика письменного стола Грибов извлекает пожелтевшую, надорванную по краям и на сгибах газету. Это «Дойче Цайтунг» от 2 июля 1940 года, номер, в котором помещен фотоснимок Цвишена в момент вручения ему рыцарского железного креста.

Неотрывно всматривается Грибов в лицо своего врага, стараясь до конца понять этого человека.

Цвишен снят в профиль. Это жаль. В рисунке профиля сказываются характер, воля. Понять, умен ли человек, легче, когда лицо повернуто анфас.

Но и так видно, что Цвишен дьявольски хитер.

Лоб у него чуть покатый, с залысинами. Нос длинный, прямой, кажется, даже немного раздвоенный на конце.

Самодовольства в лице только что пожалованного рыцаря железного креста нет. Словно бы он даже чем-то недоволен. Улыбка Гитлера, во всяком случае, более любезна, почти приторна.

Профессор вертит под лампой газету, пытаясь с разных ракурсов взглянуть на командира «Летучего Голландца».



Да! Очень странное лицо! Будто нарисовано одним резким, быстрым, не отрывая пера от бумаги, росчерком. Мысленно хочется дорисовать его.

Усилием воли Грибов наконец повернул это лицо анфас, заставил Цвишена приподнять тяжелые складчатые веки. Взгляд из-под них, несомненно, властный и в то же время слегка косящий, ускользящий.

Командир «Летучего Голландца» и на снимке не смотрит в лицо своему фюреру.

Цвишен и Гитлер стоят друг против друга, склонившись в полупоклоне. Рукопожатие! Оба позируют перед фотографом. Но Гитлер позирует больше. Он позирует с упоением. Цвишен делает это явно по обязанности.

В каждом характере, по-видимому, есть свое «но». Это не обязательно ханжество, притворство, лицемерие. «Но» может быть совсем крошечным, незаметным. И оно может стать уродливым и громадным, как тень, отбрасываемая на стену, если источник света поставлен на пол у ног.

Какое же «но» в характере командира «Летучего Голландца»?..

И что это означает — Винета?

Профессор переводит взгляд на карту мира.

Всегда успокаивает его зрелище мирового океана, гамма синих прохладных оттенков — на больших глубинах очень сине, на мелях и у берега голубовато-бело.

Грибов с достоинством может сказать о себе, как говаривал знаменитый военный штурман, покойный контр-адмирал Дмитриев: «Жизнь вспоминается, когда смотришь на карту мира».

Было время, когда чуткий собеседник угадывал что-то горькое в этой фразе, улавливал печальные нотки, тщательно скрываемые. Вспоминается! Жизнь прошла и вспоминается...

Но теперь не так.

Воспоминания пригодились. Как транспортир, накладывает их Грибов на карту, восстанавливая путь «Летучего» по морям и океанам.

Одного не вспомнит до сих пор: где, в каком порту, под какими широтами слышал он это странное название «Винета»?

Мысль торопливо обежала земной шар. Венеция, Венето, Венесуэла... Не то, нет!

Долго в полной неподвижности сидит Грибов перед картой мира.

Ассоциации рождаются и пропадают. Чем свободнее, без напряжения, возникают, тем они ярче, неожиданнее.

Так вспоминают забытое слово. Не надо напрягать память, торопиться, волноваться. Надо как бы отвернуться, сделать вид, что поиски не имеют

для вас значения. А подсознательный ассоциативный механизм будет тем временем делать свое дело — и вдруг сработает: подаст наверх забытое слово!

Ну конечно же: Гейне, его «Северное море»!

Поэт упоминает там сказочный средневековый город, который опустился со всеми жителями на дно. В ясные дни, согласно преданию, рыбаки даже слышат из воды приглушенный звон колоколов.

Винета в шхерах, по-видимому, сооружена одной из первых, и она — под водой.

Это, впрочем, отнюдь не откровение для Грибова, особенно после недавних происшествий на границе. Уточнен смысл условного наименования, только и всего!

Вопрос в том, дошел ли Цвишен до своего подводного убежища в шхерах.

Подобно крысе, метался он на Балтике в апреле 1945 года. Все щели заткнуты паклей и толченым стеклом. Пиллау горит. Данциг пал. Кильский канал в Бельты закрыт. Вероятно, была возможность интернироваться в нейтральной Швеции. Но это значило бы разоблачить себя.

Единственный путь — на восток, в район шхер, где советские войска.

Допустим, «Летучий» добрался до Винеты. Выбрался ли он из нее?

Этот район шхер был уже советским. Шнырять здесь, даже ночью, даже под водой, становилось труднее, опаснее с каждым днем.

И вряд ли Цвишен собирался долго отлеживаться в своем логове.

Он был человек быстрых решений. Пассивно ждать гибели? Нет, не в его характере!

Он сообщил в своей, по-видимому, последней радиограмме о том, что готов затопить подводную лодку. Из шхер выбирался бы уже посуху.

Что же он сделал, в таком случае, с секретными документами?

Наиболее важные документы захватил бы с собой. Но, вероятно, их было слишком много. Сжечь? Жаль. Да для этого, надо думать, и времени не было.

Значит, документы остались в затопленном «Летучем Голландце»?..

Но Цвишен в апреле 1945 года мог и не прорваться в шхеры.

На пути были минные заграждения, советские «морские охотники», сторожевые и торпедные катера. Цвишен мог затонуть.

А Балтийское море хотя и неглубоко, но обширно. Найти в нем подводную лодку, не зная координаты ее затопления, представляется практически невозможным.

Но если подлодка затонула, то все находившиеся в ней документы

растворились в Балтийском море.

У Грибова на сей счет не было сомнений.

В начале первой мировой войны, будучи лейтенантом, он принимал участие в обеспечении секретных водолазных работ у острова Осмуссар.

Неподалеку от этого острова наскочил на камни немецкий крейсер «Магдебург». Выполняя инструкцию, командир его в последний момент выбросил за борт корабельные документы, чтобы те не достались врагу. Документы хранились в свинцовых переплетах и сразу же пошли ко дну.

Но русские водолазы подняли их. Это сыграло огромную роль в войне. На поверхность извлечены были документы скрытой связи германского военно-морского флота. Русское командование честно поделилось находкой с союзниками. В дальнейшем немцы на всех морях пользовались своими шифрами, не подозревая, что они понятны противнику.

После войны немцы узнали об этом и приняли иные меры предосторожности.

Отныне секретные данные наносились на карты и вписывались в документы особыми, легко смываемыми чернилами. Сейфы, где хранилась документация, имели отверстия в стенках. Когда корабль шел ко дну, вода проникала через эти отверстия в сейф и мгновенно смывала тайну.

Нечто подобное могло произойти и с «Летучим Голландцем»...

А у Нэйла возникла «гипотеза понтонов».

«Если бы я был на месте хозяев Цвишена, — писал он Грибову, — то приказал бы ему спрятать секретный архив в море, вблизи какой-нибудь банки. По-моему, это надежнее шхер. Представьте себе, ночью подлодка всплывает в намеченной точке, где-нибудь посреди моря. Затем за борт спускают на понтонах ящики с архивом. Понтоны будут поставлены на определенной глубине, они не видны. Ящики, прикрепленные к ним надежными тросами, спокойно лягут на дно. Да, нечто вроде минной банки. „Мины“ приберегают до поры до времени. В нужный момент они еще сработают.

Координаты этой точки впоследствии легко определить по резко выраженным глубинам.

Таким образом, Балтийское море превращено в огромный сейф или кладовую. Правда, кладовая эта отчасти сыровата, но ящики, надо думать, водонепроницаемы».

Конечно, нельзя исключить и такой вариант решения. Винета в шхерах, подобно Винете в Пиллау, всего лишь пустышка, скорлупа ореха без ядрышка.

И Шура Ластиков, который дорог Грибову, как сын, как внук, рискует своей жизнью, чтобы доказать: орех пуст внутри?

Ведь нарушители тоже могут не знать об этом.

Мучимый тревогой, Грибов подходит к окну.

Ночь. Дождь.

В такую же погоду он в 1937 году проводил линкор «Марат» из Ленинграда в Лондон для участия в торжествах по случаю коронации Георга VI.

Балтийское море прошли в сплошном тумане. Идти приходилось уменьшенным ходом, по лоту, непрерывно прощупывая глубины. За Борнхольмом поджидал танкер. В тумане линкор пополнился горючим и повернул по счислению в узкую часть Фемарнбелъта.

Серая занавесь двигалась перед форштевнем, уносимая ветром. «Марат» шел как бы в кильватер тумана.

Лишь вблизи от места назначения разъяснило. Советские военные моряки увидели наконец белую глыбу на горизонте — остров Уайт, который прикрывает подходы к Спитхэдскому рейду.

Признаться, даже в той сложной навигационной обстановке штурман «Марата» не волновался так за свою прокладку курса, как волнуется сейчас...

## 2. Встречный поиск

Примерно милях в шестидесяти — семидесяти западнее Ленинграда дождя нет. Звездный свод медленно поворачивается над головой.

Александр придвигает ракетницу, смотрит на часы-браслет, переводит взгляд на небо.

Неужели и эта ночь пройдет напрасно? Ожидание почти нестерпимо.

Он меняет положение. Гранитные плиты холодят. Словно бы там, в глубине, находится сводчатый склеп с мертвецами.

Но так оно, вероятно, и есть. Александр не разделяет опасений Грибова и Нэйла. Конечно, «Летучий» — в Винете, и он набит секретными документами и мертвецами.

Не совсем приятно будет протискиваться по отсекам мимо скелетов. Но ведь гвардии капитан-лейтенанту было еще более неприятно. Живые Гейнц и Готлиб, наверно, куда противнее мертвых. И все же он вытерпел.

С улыбкой Александр вспоминает о разговоре комдива с Рывчуном об острове.

«Наверно, рыбалил там не раз», — шутливо укорил комдив.

«И не рыбалил я, товарищ комдив! Если бы рыбалил... Конечно, сразу бы смекнул. Ветра нет, а поплавок тянет к берегу...»

«Почему же не рыбалил?»

«Остров просматривается с того берега. Неудобно!»

Особенно важно было понаблюдать за островом в шторм. Вероятно, на поверхности у берега возникали пузырьки. Шторм загонял воду внутрь, а воздух под островом сжимался и не пускал.

Но никому из пограничников это не было известно.

Сам Александр только вчера заметил, что гребцам труднее у берега. Какой-то невидимый Мальстрем в миниатюре! Но теперь-то все понятно.

Удивительно еще, что рыбацьи сети ни разу не затянуло под остров.

Звезды — наверху, отражение звезд — внизу... Весь мир вокруг — звезды, одни лишь звезды. Будто паришь среди них, взвешенный в межпланетном пространстве.

В такую ночь особенно одиноко на посту. Но Александр не чувствует себя одиноким. Его товарищи, бесшумно окуная в воду весла, удерживают шлюпку вблизи острова. С материкового берега наблюдают за островом сухопутчики. А мористее, почти в самом устье залива, взад и вперед ходит пограничный корабль. Командир его приник к биноклю. Расчет стоит у автоматов. Команда наготове: поджидает «группу отвлечения и прикрытия».

Под конец допроса мальтиец разговорился. Он не утаил ничего. По плану «шефа» очередная «заблудившаяся» яхта должна пересечь государственную границу в устье залива, чтобы отвлечь внимание пограничников от того, что будет происходить в его глубине.

Откроется путь для нарушителя, направляющегося вплавь к острову, условно именуемому Змеиным. Так, во всяком случае, считал «шеф». Он не подозревает, что мальтиец не воспользовался капсулой с ядом и оказался словоохотливым. Иначе план этот, конечно, был бы заменен каким-либо другим.

Александр взглянул на небо. Звезды стали как будто бледнее. Светает?

Внезапно прямо перед Александром поднялся на горизонте узкий вертикальный луч. Это подали сигнал с пограничного корабля. «Заблудившаяся» яхта задержана, и товарищи Александра, сохраняя озабоченный вид, «шуруют» в ее каютах и трюме.

Но это только формальность, игра. И пограничники и задержанные

понимают, что главные события развернутся не здесь.

Столб света, покачавшись, упал. Тотчас же, чуть левее, поднялся второй. Сигнал с корабля отрепетован<sup>[49]</sup> исполнительным начальником морского поста. Вероятно, опасается, что Александр не заметил первого луча.

Итак, началось! Жди боевого пловца с минуты на минуту!

И второй луч рухнул, как подрубленный. Потом он суетливо заметался-зарыскал в устье залива. Это демонстративная суетливость. С того берега должны видеть, что внимание морского поста сосредоточено только на яхте.

В эту ночь все старательно подыгрывают неизвестному самонадеянному господину в черном макинтоше. Это игра в дурака. Им, несомненно, окажется самонадеянный господин — уж Александр позаботится об этом!

Черные столбы, которые появились на месте вертикальных лучей — их след на сетчатке глаз, — постепенно светлея, исчезают.

Ветер промчался по верхам. Сосны взволнованно зашумели. Потом словно бы кто-то шикнул на них или бросил горсть песку — разом умолкли.

Всем существом своим Александр ощутил, что на острове еще кто-то!

Не двигаясь, он повел глазами по сторонам.

На скале, которая обрывается в море, темнеет силуэт. Только что его не было здесь. Он совершенно неподвижен, будто испокон веку находится на острове, как и огромные, лежащие подле него валуны.

Александр удивился тому, что не услышал ни шороха, ни плеска.

В рассеянном звездном свете блеснули брызги, сползающие по матово-скользким, покатым, очень широким плечам. Голова кажется на них уродливо маленькой.

Перед Александром лягушка-великан. Вместо лица выдвинулась распяленная от уха до уха пасть — особая маска неизвестной конструкции. На спине торчит горб — баллон.

Александр мог бы кинуться на врага из-за своего прикрытия. Но он должен был неотступно следовать за нарушителем на суше и под водой. Лишь после того, как враг обнаружит искомое, надо немедленно разоружить и захватить его — «по возможности, живым».

Александр, однако, не только исполнитель, но и самолюбив. Он тотчас же выбросил из головы слова «по возможности» и заменил их словами «во что бы то ни стало».

Причудливый камень переместился на несколько метров к лесу —

почти неуловимо для глаз.

Очутившись под защитой деревьев, нарушитель встал и двинулся вдоль берега. Александр потрянул головой. Что это? Он внезапно оглох? Потом вспомнил: на Змеиный пойдет диверсант мирового класса, опытный во всякого рода уловках.

Человек-лягушка двигается абсолютно бесшумно, не спотыкаясь о камни, не задевая ветвей, не шлепая лапами по гранитным плитам.

Похоже на немое кино!

Скользя над землей, как призрак, он повернул под прямым углом, вернулся, опять повернул.

В движениях его нет торопливости или нерешительности. Это планомерный поиск. Руководствуется какими-то непонятными признаками, — быть может, отсчетом шагов?

Вот он поднес руку к глазам, сверился с часами или компасом, в задумчивости постоял над обрывом. Минуту или две горбатый силуэт четко отпечатывается на фоне звездного неба, потом исчезает так же внезапно, как и появился.

Александр вскинулся с места.

Мгновенно натянул маску, запихал в рот загубник, в два прыжка очутился на гранитной плите, где только что стоял нарушитель. На бегу выстрелил из ракетницы вверх. И, даже не увидев дугообразного зеленого росчерка на небе, стремглав кинулся с обрыва вдогонку за врагом...

Струящийся сумрак обступил Александра.

Под ногами он ощутил дно, спружинил, выпрямился и осмотрелся.

Во тьме масляным пятном проступал свет. Нарушитель зажег фонарь.

Александром вспомнилось, как гвардии капитан-лейтенант в одном из своих «поучений» разделял мужество на фазы.

«Первая фаза, — говорил он, — самая трудная. Вторая, та будет полегче. Решил, скажем, ворваться во вражескую гавань. Ворвался! А потом уж подхватит, понесет — только успевай реагировать на обстановку».

Как всегда, гвардии капитан-лейтенант был прав. Очутившись под водой, Александр почувствовал себя спокойнее. Первая фаза пройдена. Сейчас остается лишь реагировать на обстановку.

Вот масляное пятно закачалось, начало медленно двигаться вдоль берега. Видимо, нарушитель продолжает искать.

Александр поплыл следом — очень осторожно, чтобы не удариться о

подводные камни, не ткнуться с разгона в обрывистый берег. Однако гранитное основание острова словно бы расступилось перед ним.

Поднырнули под скалу!

Отведя руку в сторону, Александр быстро коснулся скользкой, поросшей мхом стены. Проникаем внутрь острова!

Светлое пятно стремительно взвилось. Александр последовал за ним и всплыл на поверхность.

Конусообразный луч, как комета, пронесся по гранитному своду, по ребристым вогнутым стенам, по аспидно-черной гладкой воде.

Это грот, но он обтянут изнутри железными креплениями или перекрытиями. В глубине угадывается нечто вроде причала.

Александр успел увидеть это мельком. Нарушитель опять нырнул. Немедленно сделал то же и Александр, будто невидимый трос неразрывно связывал обоих пловцов.

Почти одновременно они опустились на дно. Пучок света заметался, отталкиваясь от поросших мхом стен, выхватывая из мглы нагромождения плит и длинные, чуть покачивающиеся пучки водорослей.

Как бы луч невзначай не полоснул! Александр втиснулся в щель между двумя подводными камнями, прижался к ним, слился с ними.

Нарушитель, по-видимому, озабочен. Луч фонаря описывал кривые, поспешно обегал дно, возвращался, скользил по сваям. Грот был пуст.

Внезапно фонарь прыгнул вверх. Александр тоже всплыл.

Боевой пловец уже вскарабкался на пирс и сидел там.

Он весь серый, будто вылепленный из глины. Даже волосы на голове кажутся серыми. Обхватил руками поднятые колени, положил на них подбородок. Вероятно, привык отдыхать так, сохраняя полную неподвижность, словно бы превратившись в камень. А быть может, размышляет? То, что грот пуст, видимо, удивило и обеспокоило его.

Александр воспользовался короткой передышкой. Чуть высунув лицо из воды, жадно разглядывает грот.

Фонарь, стоящий на пирсе, бросает конус света вверх и немного вбок. Луч сломан на изгибе свода.

Вряд ли грот искусственный. Выглядит слишком грандиозно. Хотя чего не понастроили люди во время войны!

Пирс, конечно, сооружен: в его дальнем конце чернеет что-то кубообразное, вроде склада или ремонтной мастерской.

Уйму денег, должно быть, вколотили во все это!

Однако печать запустения лежит на всех сооружениях. Железные конструкции погнулись. От каменного настила отвалились две или три



плиты.

Но где же подводная лодка?

Александр ожидал, что она будет покачиваться, пришвартованная к причалу, или лежать рядом с ним на дне. Но подводной лодки в гроте нет.

Человек-лягушка вскочил, стремительно прошелся вдоль причала. Ему пришлось согнуться, чтобы проникнуть в помещение склада или мастерской. Он пробыл там недолго и, выйдя, с силой хлопнул дверью. Значит, и там нет того, что искал! Потом он стал ощупывать стены, присвечивая себе фонарем. Тоже ничего!

Наконец человек-лягушка опустился на четвереньки и быстро запрыгал вдоль причала, часто наклоняясь, чуть ли не принохиваясь к трещинам в настиле.

И вдруг из расщелины или углубления в настиле извлечен футляр! Издали Александру показалось, что это детский пенал.

Поставив фонарь на причал, нарушитель отвинтил крышку пенала. Движения его порывисты, но точны.

В руках что-то забелело. Минуту или две немец в нерешительности держал это «что-то» на весу. Потом торопливо затолкал обратно в футляр, завинтил крышку и положил у ног. Повернулся к стене, отодвинул в ней плиту. Внутри блеснул какой-то механизм.

Нарушитель поднял руку, чтобы включить его.

И лишь тогда Александр, стряхнув с себя оцепенение, бросился на врага.

Хлестнули выстрелы, оглушительно отдавшись под сводами. Александр вышиб пистолет из рук нарушителя. Оба аквалангиста упали.

Некоторое время они боролись, неуклюже ворочаясь, как черепахи. Тяжелые баллоны пригибали к цементным плитам, стесняли движения.

С сопением возясь на причале, враги подкатились к самому его краю, мимоходом столкнули футляр и упали в воду вслед за ним.

Несколько минут — или секунд? — они барахтались под пирсом, то и дело стучаясь о него. Так тесно переплелись руками и ногами, что, казалось, ничто не в силах разъединить их.

Нет связи прочнее ненависти!

Под водой боевые пловцы чувствовали себя ловчее, увереннее. Вода была их стихия.

Тактика изменилась под водой. Теперь оба стремились лишить друг друга преимуществ боевого пловца. Для этого надо было вырвать загубник изо рта.

Нарушителю почти удалось сделать это. Он зажал шею Александра

рукой, согнутой в локте, другой торопливо шарил по его лицу. Александр начал захлебываться. А враг все сильнее и сильнее стискивал горло.

В самбо это называется — гриф горла. Рука, согнутая в локте, надавливает на сонную артерию. Несколько секунд — и смерть!

В гимнастическом зале самбист, захваченный таким приемом, почти сразу начинал барабанить пальцами по руке партнера: признавал себя побежденным и просил отпустить.

Ну, он-то, Александр, не попросит. Умрет, а не попросит!

Но в том же гимнастическом зале Александр разучил с заботливым Рывчуном защиту против смертельного грифа.

Мускулы вспомнили! Они сработали рефлекторно.

Пяткой Александр изо всех сил ударил по колену врага. От резкой боли тот ослабил хватку. Пограничник мгновенно высвободился и всплыл.

Он глубоко вобрал в себя воздух, трясущимися руками поправил загубник, огляделся по сторонам.

Враг исчез. Неужели уплыл из грота?

Нет, не так тренирован был этот человек, чтобы уйти от боя. Перед Александром опять мелькнула длинная тень.

В этой ярости, в этой молчаливой злобе было что-то необычное, пугающее. Казалось, дерется не человек, а громадная взбесившаяся рыба. Мускулистое, смазанное жиром тело вывертывалось, выскальзывало. Ласты бешено пенили воду.

У рыбы только один зуб, но очень острый — стилет. Александр перехватил правую руку со стилетом и, как клещами, зажал в кисти.

Но левая рука врага свободна. Распяленные пальцы нетерпеливо шарят по лицу, по плечам. Нужно прижимать подбородок к груди, чтобы не дать этим ищущим, скользким пальцам добраться до горла.

Нет, Александр не хотел применять оружие, хотя на боку у него был пневматический пистолет. Во что бы то ни стало захватить врага живым!

Но где же Кузема, Бугров? Почему не пришли на помощь по сигналу ракетой?

Сцепившись, боевые пловцы то поднимались, то опускались. От причала они переместились к центру грота, коснулись дна, всплыли, снова очутились у причала.

Был момент, когда Александр уже одолевал. Он обхватил противника ногами и, дергаясь всем телом, молотил его затылком о сваю. Так добивают метровых щук, пойманных на спиннинг.

Но нарушитель был слишком скользким — вероятно, смазался перед заплывом. Он извернулся, взвился вверх, снова кинулся на Александра.

Острая боль резанула плечо.

Уже теряя сознание, Александр почувствовал, что нарушителя оттаскивают от него, и инстинктивно, изо всех своих слабеющих сил, сопротивлялся этому...

Застонав, он приподнялся.

Лежать было неудобно, твердо. Значит, был уже не в воде, а на земле. Ну да, вот и небо! Под соснами стояли и ходили пограничники.

— Жив? — с беспокойством спросил Александр, имея в виду нарушителя. — Жив он?

— Жив, жив! — успокоил начальник морского поста, садясь рядом на корточках. — Чистенько ты работаешь, лейтенант. Почти что и не повредил его.

— Зато очень крепко вцепились, — добавил Бугров. — Мы с Куземой едва отняли его у вас. С ключьями отдирали.

Александр посмотрел на матроса. Тот был в плавках, с ластами на ногах и мокрый весь, с головы до пят. Значит, помощь все-таки пришла по сигналу ракетой...

— Замешкались малость, — добавил матрос извиняющимся тоном. — Не сразу нашли этот подводный вход в скале.

Александр перевел взгляд на свое наспех забинтованное плечо — рука неподвижна, как полено. В другой руке зажат обрывок какой-то прорезиненной материи. «С ключьями отдирали...»

Он разжал кулак, уронил обрывок материи в траву, устало откинулся на спину.

Над ухом прозвенел взволнованный, очень знакомый голос:

«Раненый! Обопритесь на меня, раненый! В нашей сандружине я...»

Когда он опять открыл глаза, было уже утро. Народу на острове прибавилось. Звенели кирки и лопаты. Пограничники, весело переговариваясь, ворочали и отодвигали камни, будто устанавливали мебель на новоселье.

— Очнулся, — сказали рядом с Александром.

— И то пора. — Александр поднял глаза. Сверху на него смотрел комдив.

— Здравия желаю! — радостно сказал Александр, пытаясь приподняться.

Но сидевший на земле фельдшер придержал его.

— Заторопился! — укоризненно сказал комдив. — Некуда торопиться

тебе. Дело свое сделал. И сделал на совесть!

— А где... — Александр поискал вокруг глазами.

— Вот он! Все нейметя ему.

Поодаль несколько пограничников, навалившись, придерживали под сетью что-то извивавшееся и судорожно бившееся на земле.

Александр успокоенно перевел дыхание.

— Зачем камни ворочают? — спросил он через минуту.

— Ищут аварийный люк.

— Не найдут, — уверенно сказал Александр. — А найдут, не откроют.

Мальтиец предупредил: плита отодвигается изнутри. С помощью ручной лебедки. Я нырну, товарищ комдив? Мне помогут доплыть.

— Еще чего! Раненый — нырнуть! Проинструктируй своих аквалангистов!

Александр растолковал Бугрову и Куземе, как искать приспособление для подъема крышки люка.

— Мальтиец говорил: это за ремонтной мастерской. Видели ее? Только не перепутать! Посредине механизм для взрыва Винеты.

— Где кусок стены сдвинут?

— Правильно. Нарушитель собрался включить, я помешал.

Кузема и Бугров долго возились внутри острова. Минут через пятнадцать они всплыли и взобрались на берег.

— Ну как? — спросил комдив.

— Четыре трупа нашли на дне.

— Ого! И впрямь склеп. А приспособление для подъема?

— Там облицовка плотная, товарищ комдив. Плита к плите.

— Значит, не нашарили нужной плиты. Мальтиец говорил: третья снизу, во втором ряду. Отодвигается легко.

Опять длительное ожидание. Александр сердито покосился на свою неподвижную руку.

Вдруг зашумели неподалеку ветви, хотя утро было безветренным. Раздались радостно-взволнованные голоса пограничников.

Раскачиваясь кроной, начала поворачиваться одна из сосен и вместе с нею — гранитная плита, ее подножие. Под гранитной, обросшей мхом плитой оказалась вторая — железная. Зачернело отверстие, открылись ступени винтообразной лестницы, уводившие вертикально вниз.

— Молодцы Бугров и Кузема! — сказал комдив. — Что ж! Воспользуемся любезным приглашением.

Александр тоже запросился в грот.

— Нельзя. Ты ранен, — сказал комдив.

— Просто устал, вымотался.

— А плечо?

— Не болит, — соврал Александр.

Кузема и Бугров подхватили своего лейтенанта под руки. Вставая, он с беспокойством оглянулся. А где же нарушитель?

Ага, вот он — неподвижно сидит под сетью, обхватив руками колени. («Эх, не догадались связать!») Голову положил на руки, спрятал лицо. Рывчун перехватил и правильно понял взгляд Александра.

— Будь спокоен! Не уйдет!

В узкий лаз опустили несколько фонарей. Грот осветился. Затем один за другим по ступенькам сошли командир дивизиона, начальник морского поста, матросы, поддерживавшие Александра.

Вода, недавно ходившая ходуном, уже успокоилась, но следы брызг темнели на стенах. Высота свода доходила до пятнадцати метров, площадь акватории была достаточна для того, чтобы в грот могла войти большая подводная лодка, всплыть и, развернувшись, стать у пирса.

Грот был естественный. Он представлял собой как бы глубокую пазуху в недрах острова.

Как мог возникнуть этот громадный тайник?

Несомненно, не обошлось без помощи ледников. Когда-то они прошли здесь. Первый ледяной вал пропахал борозду, вырыл глубокое ущелье. Его заполнила вода, образовав бухту.

Затем, спустя сотни или тысячи лет, второй вал приволок с собой большое гранитное поле. Оно сползло в море, но край поля не коснулся дна, а повис над ним огромным козырьком. И бухта стала подводной.

Недаром деревья, которые росли на берегу, были немного наклонены в одну сторону, к воде. Поле, по существу, было оползнем.

Люди лишь дополнили, усовершенствовали то, что было создано усилиями двух ледяных валов.

Когда и как узнали о «двухэтажности» острова? Трудно сказать. Но, вероятно, эту особенность его решили использовать во время сооружения оборонительной линии.

Ее, как известно, задумали в виде неприступного барьера. Укрепления протянули по материковой суше. Воздвигали их также и на островах шхерного района. Строителями были прославленные европейские фортификаторы.

Вероятно, они «словчили», сумели утаить недра острова от тогдашних

его хозяев.

Действительно, грот не обозначен ни в одном плане фортификационных сооружений.

Между тем он существовал. И о нем знал лишь самый ограниченный круг лиц.

С началом второй мировой войны недра острова наполнились странной, бесшумной, полуфантастической жизнью. В гроте обосновался «Летучий Голландец».

Здесь подводная лодка имела все необходимое для ремонта механизмов, пополнения запасов и отдыха команды.

Пограничники обнаружили электропроводку — грот освещался электричеством.

Для удобства подхода зажигались в темное время суток фонарики, укрепленные на вешках. Они указывали путь к подводному входу в грот. Когда-то Шубин назвал это «светящейся дорожкой на воде».

Приближаясь к острову, «Летучий Голландец» давал какой-то сигнал, «петушиное слово», по которому служба Винеты включала «световую дорожку», а также ведущий кабель, проложенный на дне.

Ориентируясь по вешкам, лодка входила в зону действия кабеля, погружалась и, двигаясь строго вдоль него, медленно втягивалась в пасть огромного грота. Там всплывала и пришвартовывалась у пирса.

Наверно, в Винете были и другие средства, которые обеспечивали безопасность входа и выхода подводной лодки. Пока, однако, удалось обнаружить только кабель.

Оказалось, что вертикальная лестница проходит внутри шахтного ствола. По нему опускали громоздкие грузы. В отличие от аварийного лючка ствол открывался с помощью механизмов, которые приводились в действие электромоторами.

Даже при самом поверхностном осмотре ясно было, что Винета в шхерах не чета Винете в Пиллау. Это фундаментальная, специально оборудованная стоянка, рассчитанная на длительное в ней пребывание.

Был «запланирован» и конец Винеты.

В гроте обнаружили большое количество взрывчатки, равномерно распределенной под пирсом, между его сваями. Стоило включить приспособление для взрыва, чтобы Винета-три перестала существовать. Обрушившиеся своды погребли бы тайну под обломками.

Почему же Винета не взорвана? Забыть о ней не могли. Значит, приберегали на всякий случай — в ожидании новой войны?

Пограничники постояли недолго над тем, что Бугров и Кузема

извлекли со дна Винеты. Зрелище было неприглядным. Смерть вообще неприглядна, особенно же внезапная, насильственная смерть. От четырех трупов, лежавших в ряд на пирсе, остались только кости да лохмотья одежды, по-видимому комбинезонов.

— Кто-нибудь из команды «Летучего Голландца»?

— Вряд ли. Скорее, обслуживающий персонал Винеты. Наверно, механики, монтеры.

— Кто же их так? Цвишен?

Комдив досадливо пожал плечами. Он присел на корточки и заглянул под причал, где между сваями колыхалась чернильно-черная вода. Удивление на лице его сменилось разочарованием.

— Четыре мертвеца и пустой пирс, — пробормотал он сквозь зубы. — И больше никаких следов этого «Летучего Голландца».

— А футляр? — вспомнил Александр. — Футляр еще не нашли?

Футляр извлекли из-под свай пирса, куда подводные пловцы затолкали его, «наподдавая», как мяч, ногами.

Комдив медленно отвинтил крышку. Внутри было нечто напоминавшее туго свернутую пружину.

— Поаккуратней, товарищ комдив! Еще рванет!

— Нет! Не мина! — вмешался Александр. — Нарушитель открывал, я видел.

— Все равно, давайте-ка с этим на свет! Тут темновато.

По вертикальному лазу все поспешно выбрались наверх.

Александр ожидал увидеть в футляре свиток, письмо — нашли же в Балтийске письмо, — или записочку, донесение, подобное перехваченному в свое время Шубиным.

Но действительность превзошла ожидания. Это была магнитофонная пленка, необычная, очень тонкая и твердая, как проволока.

— Ого! Да тут метров двадцать наберется, не меньше! — удивленно сказал комдив, бережно расправляя пленку.

Нарушитель, сидевший под сетью, поднял голову. У него было невыразительное лицо, странно заостренное вперед. Возраст неопределенный — от тридцати до пятидесяти, брови и волосы совершенно белые.

— За каждый метр мне дали бы пятьсот долларов! — хрипло сказал он по-немецки. — Двадцать метров — десять тысяч долларов! И это еще дешево, как я теперь понимаю. Можно было запросить по возвращении

вдвое дороже, и они бы заплатили мне.

Те из пограничников, кто знал немецкий, с недоумением переглянулись. Рехнулся он, что ли? Толкует о возвращении, о долларах...

Нарушитель неотрывно смотрел на противоположный берег, затянутый утренней розовой дымкой. Кожа на лице его вдруг натянулась, как на барабане, что-то заклокотало в горле.

— Воображаю, как его сейчас корчит, этого недотрогу! — неожиданно отчетливо сказал он. — Ему не простят стольких провалов, я знаю. С него сдерут три шкуры за эти провалы. А он так боится прикосновений!

— Кто?

— О! Один недотрога, кабинетный деятель.

Нарушитель как-то деревянно, с напряжением захохотал. Очень злые люди не умеют смеяться.

И потом уже до самого Ленинграда он не размыкал губ...

Зато достаточно красноречивой оказалась запись на пленке, извлеченная из футляра.

Это, собственно говоря, было донесение, причем сверхтайное. Грибов, ознакомившись с ним, охарактеризовал его так: «донос из могилы».

### **3. Донос из могилы («Фюрера на борт не брать!»)**

Шорох, шипение, словно бы змеи, свиваясь в кольца, медленно выползают из гнезда! Потом шепот, еле слышный, очень напряженный:

«Штурмбаннфюрер! Сегодня, двадцать шестого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года, посылаю внеочередное донесение, которое осмеливаюсь считать наиболее выдающимся своим служебным успехом. Мне удалось вызвать на откровенность самого командира! Наконец-то я добился его доверия.

Я, к сожалению, не сумел пронести в его каюту портативный магнитофон, которым вы снабдили меня неделю назад. Вестовой, как назло, все время вертелся возле меня. Но я спешу немедленно восстановить разговор по памяти — во всей его последовательности и по возможности обстоятельно.

Лежу на койке в своей каюте-выгородке — я в ней один, накрылся с головой одеялом, держу магнитофон у рта, как вы советовали.

Наша лодка — на грунте. Ожидаем ночи, чтобы проникнуть в шхеры и укрыться в Винете-три.



В моем распоряжении еще около часа...

Штурмбаннфюрер! Дело идет о жизни фюрера! Капитан второго ранга Гергардт фон Цвишен готовит измену.

Он не придет по вызову, переданному из канцелярии фюрера, согласно условному сигналу: «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен!»

В предыдущем донесении, посланном с нарочным из Пиллау, я высказывал свои подозрения на этот счет. Сейчас они подтвердились.

Вот как это произошло.

Вскоре после того, как лодка легла на грунт, командир вызвал меня и предложил разделить с ним ужин.

— Захотелось, знаете ли, поболтать, — небрежно пояснил он. — Поговорить по душам.

— Со мной?

— Вас это удивляет? Но ведь вы врач. А врачи, как исповедники, обязаны хранить тайны своих пациентов. Не так ли? Вы хорошо храните доверенные вам тайны?

Он посмотрел на меня, по обыкновению склонив голову набок.

— О, как могила, господин капитан второго ранга!

— Вы правы. Тайну лучше всего хранит могила. Но прошу к столу!

Мы уселись друг против друга.

— Вообразите, что мы в купе поезда, случайные попутчики. Через два-три часа один из нас сойдет на промежуточной станции. Допустим, первым сойдете вы. Новая встреча исключается. Поэтому позволю себе предельную откровенность. Итак, за откровенность!

Я не спешил с наводящими вопросами, хотя внутри у меня все кипело и дрожало от нетерпения. Впереди было еще много времени — два-три часа до всплытия!

Командир сам очертя голову кинулся навстречу опасности. Он был необычайно разговорчив в этот вечер — как бы старался вознаградить себя за долголетнее молчание.

Он сказал:

— Иногда — почти непреодолимо — тянет рассказать о себе.

— Да?

— Видите ли, я известен слишком узкому кругу лиц. Военные историки напишут о Приене и Гугенбергере. Обо мне не напишут никогда. О таких, как я, не пишут. «Строжайшая государственная тайна» — таков девиз на моем щите!

— Но знаменитый Лоуренс?

— О! Этот сам создавал шумиху вокруг себя. Бойкое перо, согласен!

Во всем остальном — позер и дилетант. Настоящий разведчик должен жить и умереть в неизвестности. Но я не жалею.

Он развернул салфетку.

— Газетчики протрубили о Приене и Гугенберgere. А что сделали Приен и Гугенбергер? Потопили несколько кораблей? Ф-фа! Я сделал неизмеримо больше. Я неустанно подгонял войну! Не давал огню затухать ни на миг! Те же Приен и Гугенбергер давно уже торчали бы на берегу и получали половинную пенсию, если бы не я. И все же это пустяки в сравнении с тем... Но я забегаю вперед. Мне, доктор, ни к чему завидовать каким-то Приенам. Я даже не завидовал Канарису, хотя он — адмирал, а я лишь — капитан второго ранга. Лучше быть живым капитаном второго ранга, чем мертвым адмиралом.

— Как — мертвым?

— Неделю назад адмирала повесили в железном ошейнике, — спокойно сказал командир, накладывая себе на тарелку салат из крабов.

— Железном?!

— Чтобы дольше мучился. Агония, говорят, продолжалась полчаса. Так отблагодарил его фюрер за службу.

Я до боли сцепил пальцы под столом, чтобы не выдать своего волнения.

— Но в данном случае, — продолжал командир, — я согласен с фюрером. Канарис был двуличной канальей. Знаете, как прозвали его в Киле, в кадетском училище? Кикер<sup>[50]</sup>. В одном слове — жизнеописание покойного адмирала! Но он не только подсматривал, он еще и косил. Выражаюсь фигурально. Едва лишь фюрер перехватил его взгляды, бросающиеся искоса в сторону англо-американцев, как Кикеру пришлось сменить просторный крахмальный воротничок на более тесный, железный.

— Он был вашим другом, — осторожно сказал я.

— Наоборот. Почему, по-вашему, я был назначен командиром «Летучего Голландца»?

— Мы считали, что Канарис оказывал вам покровительство. Ведь вы учились с ним в одном училище.

— Канарис терпеть меня не мог! И фюрер отлично знал об этом. Но он любил, когда его подчиненные враждуют между собой. Да, излюбленное балансирование, всегда и во всем! Я был назначен назло Канарису.

— Вы изумляете меня, господин капитан второго ранга!

— А мне нравится вас изумлять. Надоело ходить постоянно застегнутым наглухо. Надо же когда-нибудь дать себе волю, расстегнуться хоть на две-три пуговицы.

Но, по-моему, командир расстегнулся нараспашку. Он подождал, пока вестовой сменит тарелки.

— Больше не нужен! Можешь идти.

Когда дверь закрылась, командир сказал:

— Гитлера называют гениальным стратегом. Сейчас этот стратег зарылся, как крот, в землю под Берлином. Зато он своеобразный гений в другой области: в компиляции и плагиатах, а также в притворстве. Кому судить об этом, как не нам с вами? Вы согласны со мной?

Командир продолжал говорить — я уже не слышал ничего. На минуту или две потерял способность не только запоминать, но и понимать. Фюрера при мне называли Гитлером!

Однако усилием воли я вернул самообладание. Если командир, подумал я, говорит так о фюрере, то, значит, впереди сугубо важные разоблачения. И я призвал на помощь всю свою профессиональную выдержку. Видит бог, она понадобилась мне, ибо несколько позже командир осмелился назвать нашего фюрера просто Адольфом!

— ...историческая закономерность событий или то, что сам он называл предопределением, — услышал я. — Нет, я не обвиняю его. Он сделал все, что мог.

— Звезды неизменно благоприятствовали фюреру, — пробормотал я.

— Звезды? Я не верю в звезды. Я верю в дивиденды. В этом смысле я фаталист.

— Некоторые порицают фюрера за то, что он начал войну на два фронта, — сказал я. (Из всего изложенного, надеюсь, ясно, штаурмбаннфюрер, что только в служебных целях я осмеливаюсь обсуждать гениальные предначертания нашего фюрера.)

— А что еще ему оставалось? Мы — в центре Европы, зажаты в тиски между Западом и Востоком. Отсюда эта постоянная двойная игра, то, что я называю балансированием на проволоке с разновесом в руках. Война на два фронта для Германии неизбежна.

— Но Бисмарк говорил...

— О! Бисмарк был такой же мастер темнить, как и Гитлер. Немцы всегда сражались на два фронта, начиная с Большого Фрица<sup>[51]</sup>, даже еще раньше. Справьтесь об этом у вашего друга Венцеля, — он готовился стать профессором в Кенигсберге.

Традиционное, исторически закономерное, обусловленное географией притворство, доктор! И больше всего сосредоточено оно на нашей подводной лодке. Каждый отсек ее набит притворством.

— Особенно кормовой? — сказал я, запуская, так сказать, зонд

поглубже.

— Имеете в виду каюту-люкс и ее почтенных пассажиров? Несомненно. Так помянем же наших пассажиров!

Мельком взглянув на часы, командир наполнил бокалы:

— Но вы совсем не пьете, доктор. Вы слушаете меня не дыша. Слушаете с таким напряжением, что даже, по-моему, шевелите губами! Плюньте на все. Пейте, ешьте, жизнь коротка!

Он отхлебнул вина.

— Нет, Гитлер не мог иначе. Стремление к колониям неистребимо, доктор, оно в крови. Этим я хочу сказать, что экономика империи, жизненные интересы концернов и больших банков окрашены еще и личными чувствами наших нацистских главарей. (Он так и сказал: главарей!)

— Кто же эти... главари? Мне известен лишь господин рейхсмаршал.

— Правильно. Геринг — сын офицера колониальных войск в Юго-Западной Африке. Затем идет Гесс. Родился в Южной Америке, жил в Египте. Отец — немецкий коммерсант. Потерял все свое состояние во время первой мировой войны. Мало вам? Да если хотите, я назову еще десяток имен. Рихард Дарре — уроженец Аргентины. Герберт Баке — родился на Кавказе...

— Достаточно. Я убедился.

— Эрнст Боле, наконец! Руководитель заграничного отдела нашей партии! Вы знаете его биографию? Она забавна. Детство провел в Кейптауне. Мать — англичанка. Отец — немец, притом старой бисмарковской закваски. За каждое слово, сказанное дома по-английски, детям полагалась порка. Правильные национальные идеи вколачивались будущему руководителю заграничного отдела партии, так сказать, сзади, как снаряды с казенной части!

Я, содрогаясь, поддержал его непочтительный смех, однако почти беззвучно, штурмбаннфюрер!

— Отцу Боле помогали товарищи его сына по школе. Эрнст был единственным немецким мальчиком среди англичан и голландцев. И это во время первой мировой войны! Когда он рассказывал о своих маленьких мучителях, у бедняги начиналась одышка и багровело лицо. Вот на чем, доктор, на порке и колотушках, вырос выдающийся национал-социалист Эрнст Боле! Впрочем... — Он задумчиво подпер голову кулаком. — Впрочем, мы, немцы, вообще слишком долго помним полученные нами колотушки. Возьмем хотя бы Францию...

Но он не стал говорить о Франции.

— Россия помешала нам вернуть свои колонии. Не будь ее, мы бы уж причесали этих черненьких на прямой пробор, показали бы им расу господ! Все континенты: Африка, Азия, Америка, Европа, рынки сбыта и сырья, дешевые рабочие руки, — все это скрывалось за широкой русской спиной!

— Не следовало ли начать с колоний?

Командир смотрел на меня через стекло бокала, прищурясь.

— А вы любознательны, доктор, очень любознательны, — ласково сказал он с той неожиданной стремительностью переходов, которая ему свойственна. — Впрочем, так и полагается в вашей профессии, — добавил он. — Имею в виду, понятно, медицину... Если говорить обо мне, а я, наверно, интересую вас больше всего, то знайте: могу позавидовать в Третьем райхе только одному человеку.

— Кому же именно?

— Толстому Герману.

— Господину рейхсмаршалу?

— Да. И не потому, что он рейхсмаршал, а я всего лишь капитан второго ранга, но потому, что он еще и «Рейхсверке Герман Геринг АГ». Чуть ли не двести заводов, шестьсот тысяч рабочих! А с чего начал? С кортиков. Лет восемь назад он выпросил у Гитлера монопольное право вырабатывать почетные ээсовские кортики. В то время я тянул лямку в Испании. Топил коммунистов. Я не додумался до кортиков.

Нам, доктор, забивали голову враньем. Нас уверяли, что мы, ээсовцы, — элита нации, новое дворянство, аристократия заслуг. Чушь! Наверх, в общество подлинных хозяев Третьего райха, сумел протиснуться только Толстый Герман. Каждый раз, пристегивая к поясу почетный ээсовский кортик, я вспоминаю о Толстом Германе. Правда, кое-кому из нас Гитлер дарил имения. Я не получил имения. Вы, по-моему, тоже.

Да, о Толстом Германе стоило призадуматься. Говорят: деньги дают власть. Правильно! Но и власть дает деньги, если умеючи ею распорядиться. Она дает все, к чему могут стремиться люди: деньги, много денег, виллы, яхты, чины и ордена, славу, всеобщее преклонение, любовь женщин — для тех, кому нужна эта любовь. Но самое главное, доктор: власть дает душевный покой! Она избавляет от мучительной неуверенности в себе и внутренне преображает человека!

Минуту или две он молчал, переводя дыхание.

— Но мое время еще не ушло, — добавил он непонятно.

— Разумеется, — пробормотал я, подкладывая, так сказать, еще дровишек в костер. — С вашими выдающимися дарованиями... С вашим

опытом... И до сих пор лишь командир подводной лодки... Хотя это не обычная подводная лодка! Я думаю, единственная в своем роде!

— Курт называет ее подводным лайнером. Да! Я издавна связывал свои надежды с нашими пассажирами. Всмотритесь в них внимательнее, доктор.

— Но их уже нет.

— Ну, хотя бы взгляните на них со спины! Почти все они были иностранцами, заметьте! Или, по крайней мере, выдавали себя за таковых. За проезд, понятно, господа не платили. Зато каждый из них оставлял на борту лодки нечто более ценное, чем деньги, — клочок тайны... Нет, так нельзя, доктор. Хоть пригубьте бокал! Вы обязаны выпить за наших пассажиров, пока я рассказываю о них. За помин или за здоровье, значения не имеет. Они были такие разнообразные. Социальное положение — от официанта до короля или Великого Муфтия. Цвет кожи — самый пестрый. Помните трех очень вежливых «желтеньких» — это были наши «желтенькие», — которыми Рудольф «выстрелил» в море вблизи Венесуэлы?

— Они напоминали официантов.

— Но что они должны были делать в Венесуэле?

— Не знаю.

— Проникнуть в находившийся там японский диверсионный центр и парализовать его.

— Зачем?

— Готовился взрыв шлюзов на Панамском канале. Японцы в случае своего нападения на США хотели отсечь американский Атлантический флот от Тихого океана. Но нам, немцам, разрушение канала было ни к чему.

— Слишком возросла бы мощь японцев?

— Не только это. Что стали бы мы делать, если бы Гитлер утвердил южный план вторжения в США? Порядок вторжения, к вашему сведению, был таков. Высадка наших ударных эсэсовских частей в Бразилии. Создание сотысячной армии бразильцев, аргентинцев и так далее — с прочной основой из фольксдойче (многое было уже подготовлено). Потом триумфальный марш на север под флагом свастики. А дальше? Канал преграждал путь. Вместе со шлюзами были бы взорваны и мосты.

— Навести переправы!

— Но это намного замедлило бы наше наступление. Фюрер предполагал покончить с США в течение двух недель. Вот почему я доставил этих «желтеньких» в Венесуэлу.

— И они выполнили задачу?

— Вы же видите. Канал цел.

— И все-таки я не смог бы заставить себя есть с «желтыми» за одним столом.

— По званию каждый из них был старше вас. Ну хорошо! А возьмите белого пассажира — майора Видкуна. Какая выправка! Был лишь норвежцем, но издали, особенно со спины, его можно было принять за настоящего немца, офицера прусской школы.

— Да, майор держался с достоинством.

— Говорят, когда его волокли на казнь, он порастерял это достоинство. Ну, черт с ним! Вернее, мир праху его! В тот рейс он был мрачноват. Возможно, его одолевали предчувствия. А вас никогда не одолевают предчувствия?.. Хотя что это я? С чего бы им одолевать вас? Так вот о пассажирах. Майор был, конечно, не лучшим из них. Кем был он, в конце концов? Главой маленького окраинного государства, вдобавок доставленный туда на борту «Летучего Голландца»! Нашим пассажиром, доктор, могла быть особа поважнее, августейшая особа! — Он многозначительно помахал указательным пальцем. — Да, настоящий, высококачественный, официально миропомазанный король! Угадайте: кто?

Я задумался.

— В наше время выбор королей невелик, — сказал я.

— Бывший король. За неравный брак разжалованный в герцоги.

— А! Я знаю! Жена — американка, трижды разведенная?

— Правильно. Эдуард Восьмой! Перед ним поставили выбор: жена или трон. Он выбрал жену. Но потом, надо полагать, стало жаль трона. И жена, вероятно, пилила его день и ночь. Она миллионерша. А какой американской миллионерше не хочется, хотя бы недолго, побыть королевой? Я должен был прихватить эту парочку в Кадиксе.

— Кто же помешал их прихватить?

— Россия. Все та же Россия. Не будь России, американская миллионерша короновалась бы в Вестминстерском аббатстве.

— Англичане, пожалуй, удивились бы этому.

— Они удивились бы не только этому. В одно пасмурное утро проснулись бы в новом, отлично оборудованном для них рейхскомиссариате. Титул, впрочем, Эдуарду оставили бы. Но план сорвался из-за России.

— Из-за России? Почему?

— Дюнкерк. Англичане воспевают Дюнкерк, как чудо своей организованности. Конечно, их флот поработал на совесть. Но они не унесли бы ноги из Дюнкерка, если бы не было русских.

— Позвольте, в сороковом году мы еще не воевали с русскими!

— И тем не менее они помогли англичанам в Дюнкерке. Россия существовала, вот что важно! Штандартенфюрер Зикс подробно рассказывал мне об этом. А он осведомленный человек. В кармане у него было назначение на должность коменданта Лондона. Вы помните, что у Дюнкерка английский экспедиционный корпус столкнули в воду? Путь на Англию был открыт. И вдруг движение танковых колонн к Ламаншу приостановлено! Отчего? Зикс в отчаянии. Фюрер будто бы сказал при нем: «Я в положении стрелка, у которого в винтовке только один патрон». И, конечно, патрон полагалось приберечь для России.

Я сделал вид, что очень удивлен.

— Нет, доктор, вы безнадежны. Даже под конец... под конец войны, хотел я сказать, вы не научитесь мыслить глобальными категориями. Учтите: поражение Англии и развал ее империи были бы на руку США, а также Японии. За нашей спиной они подобрали бы осколки. А нам после Англии пришлось бы еще возиться с Россией. Другое дело, если бы сначала пала Россия. Кстати, через год беднягу Зикса назначили комендантом Москвы. Наверно, хотели компенсировать за Лондон. Но и с Москвой не получилось. Смешная репутация, а? Дважды несостоявшийся комендант!

Командир усмехнулся.

— Но и нам не повезло. Мы лишились общества экс-короля. Он повеселил бы нас. Говорят: пошел в деда. Такой же кутила и балагур.

— Нас достаточно веселил американец — игрок в покер. Тот, кого мы возили в шхеры. Его приказано было именовать господином советником.

— Вы злопамятны. Советник обыгрывал вас в покер?

— Не только меня. Был какой-то двужильный. Днем без роздыха играл в карты, по ночам совещался с этими озабоченными финнами. Чем они были озабочены?

— Доктор, от вас у меня нет больше тайн. Советнику не удалось обыграть финнов! Они совещались насчет так называемого долларового нажима.

— Нажима?

— Ну, вы же помните весеннюю ситуацию тысяча девятьсот сорок четвертого года. Англичане и американцы готовили вторжение в Северную Францию. Понятно, им хотелось подольше не пускать в Европу русских, попридержать у Карельского вала, пока сами они будут перелезать через Атлантический. Система равновесия, понимаете? Атлантический и Карельский валы — на разных концах рычага. Поднялся один конец, опустился другой.



— Но при чем здесь доллары?

— А, это давняя история. В тысяча девятьсот тридцать девятом году американские военные фирмы снабжали финнов оружием. В кредит. Сумма долга в конце концов составила что-то около десяти миллионов долларов. Янки не торопили с уплатой. Но спустя пять лет, накануне вторжения в Северную Францию, мы доставили в шхеры этого весельчака — игрока в покер. Ведь янки не воевали с Финляндией. Они не могли припугнуть ее бомбами. Зато могли предъявить к уплате векселя. Что и было проделано на глазах у нас и с нашей помощью.

— Игрок в покер потребовал от финнов: воюйте или платите?

— Что-то вроде того. Прижимистый кредитор, знаете ли!

— Я понял. Нам это было на руку: сохранить Финляндию против России. Но все же финны вышли из войны — несмотря на усилия игрока. Отчасти я рад этому. Он слишком часто блефовал. И вообще действовал мне на нервы. Был шумный, бесцеремонный, самодовольный. Типичный делец-янки.

— Не слишком ли типичный?

Я недоумевающе молчал.

— Он мог сблефовать не только в покер, — сказал командир. — Предположите на миг, что это был немец, который только притворился американцем.

— Зачем ему было притворяться американцем?

— Зачем?.. Но Риббентроп прилетел в Хельсинки уговаривать Маннергейма примерно тогда же, когда наш пассажир обламывал в шхерах несговорчивых финансистов. Случайное совпадение? Не знаю. Чересчур похоже на излюбленные клещи. Финнов зажали с двух сторон: германский дипломат в Хельсинки, мнимый американский кредитор в шхерах. И это вполне соответствовало бы тактике «Летучего Голландца». Притворство, доведенное до слепящего блеска! Но я ничего не утверждаю, доктор, просто думаю вслух. Возможен и первый вариант: Риббентроп взывает к чувствам боевого товарищества, янки же хладнокровно бьют по мошне.

Он снова покосился на часы:

— Мне так приятно, что я могу быть откровенным с вами! Ведь мы случайные попутчики, не так ли? А поезд приближается к станции, на которой вы, к сожалению, сойдете.

(Мне показалось, что он лукаво подмигнул. Или так падал свет на его лицо? Он всегда держит голову немного набок. На секунду, штурмбаннфюрер, мне представилось, что командир играет в какую-то непонятную для меня игру. С лица его как бы сдвинулась маска. Он

смеялся, шутил, настойчиво угощал, а глаза, как всегда, были холодны, настороженны, враждебны. Но я не имел времени раздумывать! Нужно было слушать и слушать, не пропуская ничего!)

— Но вы так и не выпили за наших пассажиров.

— Вы тоже, господин капитан второго ранга!

Командир поднял свой бокал, посмотрел вино на свет и осторожно поставил на стол.

— Отличное вино, особое! Его сохраняли для нашего последнего пассажира. Нет, не для игрока в покер. И не для экс-короля. Для того, кто готовился быть нашим последним пассажиром. Ведь нас собиралось почтить своим присутствием самое высокопоставленное лицо в Германии. Смирно, лейтенант Гейнц! Встать и вытянуть правую руку вперед! Ну-ну, я пошутил. Но вы угадали.

Самое невероятное в этом разговоре было впереди. Командир сказал:

— Нас называют лейб-субмариной фюрера. Но с чем это связано?

— Не знаю.

— Само собой. Откуда вам знать? Это знают только трое: я, мой штурман и Адольф. Теперь — с вами — уже четверо. Но вы, надеюсь, не проболтаетесь?

Я едва не выронил бокал. Назвать фюрера по имени! Это само по себе было уже государственным преступлением!

— В кабинете Адольфа, — сказал командир, — висит, к вашему сведению, особая карта. На ней аккуратно — Адольф очень аккуратный человек — отмечается местонахождение нашей подводной лодки. Адольфу хотелось бы, чтобы в такое тревожное время мы были поближе к нему. И для этого у него есть основания.

Потянувшись за бутылкой, он чуть было не опрокинул стол. Я поспешил поддержать его.

— Спасибо... Но вы совсем перестали пить. Не пугаю ли я вас своей откровенностью?

Командир выпрямился и без улыбки посмотрел на меня.

— Слушайте дальше. Самое интересное дальше. Ежедневно в условленный час мой радист выходит в эфир и подстраивается к определенной волне. Он ждет. Он терпеливо ждет. На волне не появляется ничего, и это хорошо. Стало быть, Третий райх еще стоит. Но вот — вообразим такой гипотетический случай — в каюту ко мне стучится радист. «Сигнал принят, господин капитан второго ранга», — докладывает он. Это самый простой условный сигнал. В эфире прозвучало несколько тактов. Где-то вертится пластинка. Исполнен популярный романс гамбургских

моряков: «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен». Не напоминает ли вам: «Небо безоблачно над Испанией»?<sup>[52]</sup> Тогда небо не было безоблачно над Испанией. И сейчас пластинка звучит зловеще. Она звучит как погребальный звон над Германией! Он означает, доктор, что все погибло, Третий райх рухнул, и Адольф на четвереньках выбирается из своего бункера. Он зовет на помощь меня! Я должен бросить все дела, чем бы ни занимался, где бы ни находился, и полным ходом идти в ближайшую Винету на побережье Германии. Там в люк нашей подводной лодки спустятся Адольф, Ева, два-три телохранителя. Отсеки «Летучего Голландца» — вот все, что осталось Адольфу от его империи! Затем погружение, полный вперед, курс восток, Амазонка!.. Учтите: радист, принявший сигнал, не знает его тайного смысла. Знаем только мы: Адольф, Венцель, я и вы. Теперь уж и вы! — Он любезно повернулся ко мне всем корпусом: — Видите ли, Адольф желал бы временно раствориться в сумраке тропических лесов. Черчилль в тысяча девятьсот сороковом году собирался эвакуироваться в Канаду. Почему бы Адольфу не укрыться на том же континенте, но южнее, у своих земляков, в Бразилии? Он хотел бы, подобно нам, притвориться мертвым. Третий райх рухнул, русские на улицах Берлина, но в резерве у Адольфа «Летучий Голландец». Пока есть «Летучий Голландец», еще не все потеряно.

Он приблизил свое лицо почти вплотную к моему:

— Сигнал «Ауфвидерзеен» будет принят, не сомневайтесь! Но пойму ли я его, вот в чем вопрос! Ведь я могу и снелсонить.

— Как это — снелсонить?

— Имею в виду подзорную трубу и выбитый глаз адмирала. Забыли этот анекдот?

Я вздрогнул. Я вспомнил!<sup>[53]</sup>

— Но вы, я замечаю, вздрагиваете всякий раз, когда я говорю «Гитлер» или «Адольф». Хорошо, ради вас — ведь вы мой гость — я буду называть его «фюрер». Я объясню вам, почему хочу снелсонить.

Он откинулся на спинку стула:

— Понимаете ли, мне надоело получать приказы. В глазах этих высокопоставленных господ, которые даже не удосужились повысить меня в звании, мой «Летучий Голландец» — всего лишь подводный лайнер. Ошибка! И я отклоняю очередной приказ. Я принимаю решение самостоятельно. Вот оно: фюрера на борт не брать! — Видимо наслаждаясь выражением моего лица, командир повторил, смакуя каждое слово: — Да, фюрера на борт не брать!

Потом заботливо подлил вина в мой бокал.

— Эта мысль для вас, конечно, нова, — сказал он успокоительным тоном. — Постепенно вы освоитесь с нею. Сигнал, я думаю, раздастся завтра или послезавтра. Но это уже ни к чему. Фюрер живой — бесполезен. Мертвый, пожалуй, еще пригодится.

— Какая же польза от трупа? — спросил я растерянно. — Хотя, говорят, в Бухенвальде и Освенциме...

— Не то, нет. Гений, даже без высшего образования, годится на другое. Фюреру нужна не Ева, а святая Елена. ореол мученика будет ему к лицу.

— Имеете в виду заточение? Муссолини уже побывал в заточении.

— И зря бежал оттуда. Скорцени, конечно, ловок, но глуп. Муссолини гораздо лучше выглядел бы в заточении, так сказать, скорчившись в ногах у Наполеона, чем на виселице, да еще подвешенный вниз головой. Я желаю фюреру заточения! Стать мучеником — это лучшее, что он может сделать для пользы общего дела.

#### **4. Донос из могилы («Сохранить кофры Фюрера!»)**

— Но багаж он позаботился доставить заранее. — Голос командира донесся до меня, как сквозь плотно задраенный люк.

— Какой багаж?

— Кофры. Пять кофров. Не притворяйтесь, что вы не видели их! Вы были на пирсе во время погрузки. А что в этих кофрах?

— Откуда мне знать?

— Комбинашки Евы Браун?

— Возможно.

— Нет. Кофры, если помните, доставлены в канун Нового года. В этом был расчет. Все в Пиллау перепились. Пирс был оцеплен. Багаж сопровождали семь офицеров СС. «Не слишком ли много для обыкновенного багажа?» — подумал я.

— Разве вам не сказали, что в кофрах?

— Эсэсовцы предупредили лишь, что груз — особой государственной важности! Комбинашки, таким образом, сразу же отпали. Но на несколько минут отодвинем эти кофры! Я не договорил о себе. Упустил одну деталь. Фон Цвишены — из Ганновера. Мы гордимся тем, что нынешний английский король — наш земляк. Ну как же! До недавнего времени короли Англии по совместительству были курфюрстами Ганновера. Отец

нынешнего короля, воюя в четырнадцатом году с Германией, решил, что ему пристойнее именоваться Виндзором — по названию загородной резиденции. Раздумывая в Пиллау о судьбах Третьего рейха, я вспомнил одного из наших добрых курфюрстов, предка Виндзоров. Он продавал своих подданных в солдаты любой платежеспособной иностранной державе. И брал совсем недорого, представьте! Три талера за голову! Потом на память пришли гессенские стрелки. В XVIII веке английский король нанял их и отправил за океан бить американских бунтарей. Вдумайтесь в это! Наши предки помогали англичанам против Георга Вашингтона! Не наступит ли, думал я, время, когда Вашингтон (город, не президент) станет покупать наших солдат, чтобы с их помощью бить каких-нибудь других бунтарей? Расчет с головы, естественно, производился бы уже не талерами, а долларами, что гораздо приятнее. Что вы больше любите, доктор, доллары или талеры?..

— Я люблю и то и другое, — сказал я, чтобы отвязаться от него.

— Но это плохо, доктор. Надо остановиться на чем-нибудь одном. Видите ли, мой предок — о нем сохранилось семейное предание — уехал с гессенскими стрелками в Америку и не вернулся оттуда. Если солдаты Вашингтона не прикончили его, значит, он прижился на американской земле. Весьма вероятно, что у меня родичи в США. Попав туда, могу встретить миллионера с такой же, как у меня, фамилией. И вот, полный гостеприимства, он напомнит мне одну латинскую поговорку. Вы врач и знаете латынь: «Уби бене, уби патриа»<sup>[54]</sup>.

Я машинально поправил:

— Не «уби», а «иби».

— Пусть «иби». Но вы уловили мою мысль?

Мне показалось, что я уловил ее.

— Боже мой! — воскликнул я. — Вы хотите продать фюрера американцам?!

Я представил себе, как фон Цвишен с обычной своей ужимкой принимает на борт фюрера и сопровождающих его лиц, потом, выйдя в море, тайно меняет курс и, вместо того чтобы идти к Южной Америке, направляется к берегам Северной.

— Но это измена, господин капитан второго ранга!

Командир надменно вскинул голову:

— Я же сказал: фюрера на борт не брать! Таково мое решение. В каюте кофры, пять кофров. Для фюрера нет места. И потом, я не курфюрст Ганновера, не торгую немцами, получая по три талера с головы.

Признаюсь, я обиделся за нашего фюрера.

— Вы говорите так, — сказал я, — будто это простой ландскнехт, а не вождь германского народа и величайший полководец всех времен. Американцы, я полагаю, дали бы за него побольше, чем три талера.

— А зачем он американцам?

У меня дыхание перехватило от негодования.

— Кофры — другое дело, — спокойно продолжал командир. — Американцы, надо думать, не отказались бы от кофров. Ну вот, доктор, описав циркуляцию, мы вернулись к нашим кофрам! Слушайте дальше. Самое интересное дальше. Незадолго перед ужином я взломал замки на кофрах фюрера!

— О! Господин капитан второго ранга!

— Но ведь вам самому до смерти хочется узнать, что в этих кофрах. Вы даже подались вперед на стуле. Думаете, там слитки золота или жемчужные ожерелья? Нет! Там только папки. Черные, желтые, синие, белые. И на всех сургучные подтеки, как запекшаяся сгустками кровь. А поперек каждой папки надпись: «Государственная тайна».

Но ведь и на моем щите тот же девиз! И я не испугался...

Едва лишь я сорвал сургуч и раскрыл одну из папок, как понял, что наткнулся на клад.

Передо мной был личный архив фюрера!

Не знаю, известно ли вам, что фюрер близорук. Он тщательно скрывает это и не соглашается из кокетства носить очки. Ведь ни Цезарь, ни Наполеон не носили очки!

Поэтому для фюрера изготовлена особая пишущая машинка. Я видел ее. Литеры — спокойной округлой конфигурации, и они вдвое крупнее обычных литер.

Документы, предназначенные фюреру, печатаются только на этой машинке: на маленьких листах и с большими полями — так он любит.

Мне было достаточно взглянуть на первый же попавшийся под руку документ, чтобы понять: это отпечатано для фюрера!

— Я понял, что в папках! — вскричал я. — Там планы третьей мировой войны!

— А вот и нет! Нюх изменил вам! Но разгадка близко, почти рядом.

Я развел руками, признаваясь в своем поражении.

— Военно-стратегические концепции, — сказал командир, — очень быстро ветшают, особенно в наше время, в канун атомных битв. Но природа человека остается без изменений, и это очень плохая природа, доктор. Нам с вами известно об этом лучше, чем кому бы то ни было. Уж такова наша профессия: находить дурное в человеке, чтобы использовать

это дурное в своих целях.

Я осторожно высказал другую догадку:

— Компрометирующие документы?

— Да. И они — наряду с другими. Повторяю: там есть все, что хотите, доктор! Богатейший в мире ассортимент диверсий!

Командир захохотал. Он так редко смеется, что я от неожиданности вздрогнул.

— В кофрах, — продолжал он, — вместе с перечнями и выдержками, напечатанными для фюрера, содержатся также: отличные дворцовые перевероты, ослепительные взрывы, моментальные фотографии, сделанные из-за угла (убивают, как пули), подлинники неосмотрительно выданных расписок и мастерски выполненные фальшивки, которые были (или будут!) подброшены разведке противника через услужливую нейтральную разведку. Ведь иная погубленная репутация стоит взрыва военного объекта, не правда ли?

Есть кофр, который я назвал бы стоком слизи и нечистот. С содержимым его полагалось бы знакомиться, доктор, надев предварительно перчатки мусорщика.

В этом кофре содержатся досье на некоторых политических деятелей Европы, Америки и Азии. К отдельным досье приложены счета из ресторанов или рецепты врачей, несомненно не подлежащие оглашению.

Кое-кто из этих политических деятелей еще не развернулся, не вошел в полную свою силу. Но это не беда. Документы сберегаются про запас. А деятель, разгуливая по улицам, не знает, что кто-то уже положил пальцы на его горло и может в любой момент нажать — так, чуточку, в целях предупреждения.

Имеются также списки (по странам) деятелей, которых я назвал бы: «люди-Винеты». Этим расписки и рецепты уже предъявлены. До поры до времени «люди-Винеты» законсервированы и притаились. Но стоит подать почти беззвучную команду, и...

Спешу оградить себя от подозрений, штурмбаннфюрер. Я стал побаиваться, не превышаю ли своих полномочий, вникая в суть операций, пока только намеченных, то есть сугубо секретных. Но нашего Молчальника, нашего Подводного Мольтке, уж нельзя было остановить.

— Считайте, что это мой каприз, — сказал он, — но я хочу, чтобы вы, доктор, поняли размах диверсий, намеченных на период «после войны». Вот вам одна из них. Она называется: «На дно!». Мир никогда еще не видал таких своеобразных по замыслу и масштабу операций.

Я, доктор, напрашиваюсь на похвалу. Это я подал мысль насчет

операции «На дно!». «Мой фюрер! — сказал я, заканчивая свой последний доклад. — Почему бы не применить в отношении Третьего рейха кое-что из тактики „Летучего Голландца“? Но, понятно, в достойных вас, грандиозных масштабах!» — «Не понимаю», — сказал он. «Положите всю Германию на грунт! — сказал я. — Конечно, временно. Пока минует опасность. Изредка вы могли бы поднимать перископ и осматриваться: не пора ли уже всплыть?»

— И фюрер воспользовался вашим советом?

— Как видите. Я же говорил вам: он гениальный плагиатор. И притом прирожденный притворщик. Уверяю вас: он знал о переговорах пройдохи в пенсне с Бернадоттом! Верный Генрих<sup>[55]</sup> думал, что дурачит своего фюрера, — на самом деле фюрер дурачил Верного Генриха. Фюреру не могла не прийти по вкусу мысль притаиться. Немцам сейчас надо притаиться, замереть. Над головами их с грохотом прокатятся два встречных вала, столкнутся и... Но немцы уцелеют, покорно втянув головы в плечи. Они останутся в согбенном положении, пока им не подадут команду распрячиться.

— Кто подаст команду?

— Фюрер хотел сам подать ее. До тех пор Германия должна притворяться мертвой — подобно своему фюреру. Едва лишь вступит в действие план «На дно!», как военные заводы бесшумно опустятся под землю. Однако люди будут продолжать работу. Они будут ковать оружие, как гномы в своих пещерах. Германия под пятой врага — это страна гномов, теней, невидимок! Волшебное превращение будет длиться долго, ряд лет, быть может, десятилетий. Да, страна оборотней... Опущенные глаза, скользкий лисий шаг, подобострашие и уклончивость в манерах.

А в самых надежных тайниках сохраняются архивы. Все военнослужащие учтены, картотеки в полном порядке. Страна разбита на подпольные военные округа. Действуя бок о бок на протяжении ряда лет, различные группы оборотней ничего не знают друг о друге. Система изолированных отсеков, как на подводной лодке. О! Фюрер учел наш опыт до мелочей. В плане есть даже параграф насчет «дойных коров».

<sup>[56]</sup>

— Неужели?

— Американские тресты и банки будут этими «дойными коровами». Они снабдят всем необходимым Германию, лежащую на грунте. Вся Германия, доктор, превратится в Винету! Пройдет положенный срок, и она снова всплывет со дна, послушная зову труб. Не под звон рождественских колоколов! Под грозную музыку Вагнера! Трубы, трубы! Полет валькирий!



Недаром вагнеровский «Полет валькирий» стал маршем нашей дальней бомбардировочной авиации.

Командир зажмурился.

— Безмолвная водная гладь, и над нею стелется дым. Вот — протяжный зов трубы! Вода забурилась. И на поверхность из пены стали всплывать города. Сначала вынырнули колокольни, заводские трубы, мачты радиоантенн. Затем показались гребни красных крыш и кроны деревьев. Страна медленно всплыла, и тотчас же густой желтый дым повис над заводами, а с обсыхающих взлетных площадок поднялись самолеты и стаями закружили в воздухе.

Он открыл глаза. Холодный блеск их был как свет фар, неожиданно вспыхнувший во тьме.

— Да! Это Германия, доктор! Наша с вами Германия! Четвертый райх!

Командир долил себе вина, расплескивая на скатерть. Но почти не пил, только пригубливал. Казалось, он опьянел от одних слов, от признаний, высказанных наконец вслух.

Он сказал:

— Но когда же и выпить, как не сейчас? Представляете, что творится в бункере фюрера? Страх глушат вином прямо из бутылок и ходят по колено в коньяке...

Я молчал. Я чувствовал, что задыхаюсь.

Лодка давно не всплывала. Воздух в отсеках был загрязненный, спертый.

Вдобавок каюта командира очень тесна. Я сидел на табуретке, командир — на койке. Стол так мал, что наши колени соприкасались. Командир то и дело перегибался через угол стола и дышал мне прямо в лицо.

Удивляюсь, что меня не стошнило от этого ужасного говяжьего запаха и кислой вони. Но я вытерпел во имя служебного долга!

Я ждал, когда командир снова скажет о предполагаемом переезде фюрера в Южную Америку. Наконец он сказал об этом:

— Фюрер еще надеялся воевать. Руками пройдохи в пенсне он хотел столкнуть лбами русских и англосаксов, втравить их в драку, а сам проворно отскочил бы в сторонку!

Полагаю, что готовилась инсценировка самоубийства. Подходящий труп нашелся бы. Затем капитуляция, Третий райх уходит на грунт!

А фюрер отогревается от берлинского озноба в новом своем Волчьем Логове — в Винете-пять, на берегу реки Аракара. Постепенно к нему съезжаются помощники: Борман, Хойзингер, Эйхман. И кофры находятся

тут же, под рукой! Каждый кофр, если хотите, — это ящик Пандоры. Пять ящичков Пандоры, набитых всякими ужасами и нечистью до отказа!

Вообразите тропическую звездную ночь. Вы бывали на Аракаре и знаете, что это такое. Под бормотание попугаев и вопли обезьян фюрер, озираясь на дверь, развязывает тесемки своих папок и бережно перебирает страницы. Потом медленно, стараясь продлить наслаждение, раскладывает на столе географические карты...

Но ничего этого не будет! Я, Гергардт фон Цвишен, командир «Летучего Голландца», рассмотрев секретный архив фюрера, счел его ценным и полезным. Однако самого фюрера — лишним! О, вы не можете этого понять! Вы ведь последний верноподданный!

Говорят, у фюрера не осталось резервов. Вздор! Именно я был последним резервом фюрера. Вначале он надеялся на атомную бомбу, потом на Венка и Штейнера и, наконец, на меня. В этом разгадка нашей стоянки в Пиллау.

Я пробормотал что-то насчет запасного выхода.

— Именно так! — подхватил командир. — Карета, ожидающая у запасного выхода! Но кучеру до смерти надоело развозить пассажиров! Вдобавок я не верил в переговоры Гиммлера с англичанами и американцами.

— Почему?

— Русские, к сожалению, стали героями этой войны. И Трумен и Черчилль не обобрались бы хлопот у себя дома, если бы двинули войска против русских. Я взвесил все это, и вот «карета» отъехала от запасного выхода — с багажом, но без седока!

Кажется, я отер пот со лба. Уверен, что самый опытный следователь нечасто слышал такие признания, даже с применением средств третьей степени.

— Кофры, кофры!.. А знаете ли вы, какой приказ получил я в Пиллау? «Уничтожьте кофры!»

— Не может быть!

— Да. Они там просто взбесились от страха, эти бункерные крысы. Сплелись в клубок и катаются по полу, кусая друг друга за хвосты. Приказ дан, несомненно, помимо фюрера.

— А чья подпись?

— Геббельса. Старый враль боится, что папки попадут в руки русских или англичан и американцев. Но я не уничтожу кофры, хотя бы из уважения к труду людей. Сотни, тысячи крупнейших немецких специалистов на протяжении нескольких лет не разгибаясь трудились над планом

германизации мира. Это шедевр нашего национального организаторского гения! И уничтожить шедевр?.. Нет!

Однако дело не только в этом.

Я, доктор, добился того, о чем мечтал всю жизнь!

Вы видели: я выполнял сложнейшие секретные поручения, от которых зависел ход войны. Лоуренсу или Николаи не снились такие поручения. Отблеск высшей власти падал на меня. Но только отблеск! Всю жизнь меня изводила, мучила эта дразнящая близость к высшей власти. И вот она, власть! Я крепко держу ее в руках!

Разноцветные папки — это власть! И выпустить ее по приказу завравшегося болтуна, который сам замуровал себя в бункере? Я не был бы Гергардтом фон Цвишеном, если бы сделал это.

Один-единственный человек мог мне помешать. И не исключено, что попытается помешать.

— Кто же это?

— Американцы называют его вице-фюрером. Наши холуи — тенью фюрера.

— Рейхслейтер?<sup>[57]</sup>

— Видели его? Его мало кто видел. Он из тех, кто прячется за спиной трона и только изредка склоняется к уху повелителя. Я ненавижу его, как ненавидел Канариса. Он собирался сопровождать фюрера в Южную Америку. Ну что ж! Если он проберется туда и попробует наложить лапу на кофры с папками, поборемся! Папки мои! Не хочу больше воевать ни за Мартина, ни за Адольфа Второго, ни за Адольфа Третьего.<sup>[58]</sup>

Я растворюсь в джунглях Амазонки. Полная неподвижность, безмолвие! Буду ждать. Я научился ждать. И, вероятно, буду счастлив, ожидая. Сознание своей власти над событиями и людьми, пусть даже тайной власти, — ведь это самое упоительное в жизни, доктор! В сознании своего всемогущества буду равен самому господу богу!

(Конечно, это было уже кощунством, но после того, что я слышал о фюрере...)

— О, я начну не с кортиков, как Толстый Герман! Наступит время, когда перестанут пользоваться услугами подставных лиц: сенаторов, министров. Страной будут самолично править главы концернов, миллиардеры и миллионеры. И я хочу быть среди них! Ведь это не слишком дорогая плата за папки, как вы считаете?

Я не хочу явиться к своим американским родичам с протянутой рукой. Я явлюсь перед ними не как бедный родственник — как глава рода

Цвишенов!..

Да, так я и сделаю. Мне стало легче, когда я посоветовался с вами, доктор. Спасибо за совет.

(Но я, клянусь, ничего не советовал ему. Под конец я даже перестал подавать реплики.)

Он замолчал, глядя мимо меня, и я с испугом оглянулся: не стоит ли кто-нибудь сзади, бесшумно войдя в каюту? Но там не было никого.

Командир допил вино и обеими руками растер лицо, будто умываясь.

— А теперь, — сказал он спокойно, — идите-ка спать, доктор! Часок еще успеете поспать!..

И вот я, пользуясь этим разрешением, лег на свою койку и накрылся с головой одеялом.

Разговор с командиром отпечатался у меня в мозгу, как при вспышке магния. Ведь вы, штурмбаннфюрер, хвалили мою память, считая ее моим наиболее сильным качеством. Да это и не такой разговор, чтобы его забыть.

Вы видите: фон Цвишен выдал себя с головой! Меры нужны срочные и, смею думать, беспощадные. На пути в Южную Америку нам не миновать Винеты-первой — для заправки горючим, и тогда...

Мой фюрер! Обращаюсь непосредственно к вам! Это дело государственной важности, не терпит отлагательства! Фон Цвишен не возьмет вас на борт! Он переждет в шхерах, потом будет прорываться без вас через Бельты и Каттегат в Атлантику. Он также отказался выполнить приказ об уничтожении особо секретных документов, которые могут попасть в руки русских или англичан и американцев!

Фон Цвишен — государственный преступник! Он нарушил присягу! Он вдобавок обокрал вас, мой фюрер! Присвоил себе ваши гениальные предначертания на послевоенный период!

Он выждет время, чтобы набить на них цену, и продаст тому, кто больше даст. Он сам признался в этом...

«Идите спать, доктор!» — сказал он. И с какой ужимкой он сказал это! Я бы напрочь отгрыз его трясучую голову, если бы смог!

Мой фюрер! Они решили меня убить! Догадались, что я слежу за ними, и решили убить. Вот почему фон Цвишен выворачивался передо мной наизнанку. Я обречен.

Я понял это только сейчас. Понял внезапно.

О, я понял, понял! Так откровенно можно говорить лишь с человеком, которому осталось жить считанные минуты. Ничего не успеет разболтать,

даже если бы хотел!

Венцель уже прохаживается мимо моей каюты. А вот пришел Курт. Он уселся за стол в кают-компании. Из-под одеяла я вижу его прищуренные глаза.

Когда же они вынесли приговор? Вчера? Сегодня? Во фронтовых условиях достаточно решения трех офицеров, чтобы вынести смертный приговор.

Через несколько минут лодка всплывет. Меня проволокут по трапу на палубу. У нас расстреливают на палубе. Сзади несут балластину. Мне прикажут идти на нос, не оглядываясь. Я знаю ритуал, я присутствовал при казни. И теперь все это произойдет со мной, боже мой! Но нельзя же умереть так сразу! Я не успел подготовиться. Надо привыкнуть к мысли, что через несколько минут...

Проклятые!

Но они не знают, что донесение записано и будет отослано по назначению — непосредственно вам, мой фюрер! Фон Цвишен считает меня уже мертвым? Нет! Пока я могу говорить, господин капитан второго ранга, я опасен! Пусть яд подействует не сразу, но он подействует, и он смертелен!

Мой фюрер! Убейте их! Убейте!

Но только — медленно! Как адмирала Канариса!

Поспешите отдать приказ начальнику Винеты-первой. Пусть он схватит их сразу, как только лодка прибудет и станет заправляться горючим.

Но учтите: фон Цвишен хитер, как тысяча ведьм. Он может догадаться о ловушке по самым ничтожным признакам. А его нельзя упустить! Пошлите на пирс взвод, нет, лучше роту автоматчиков, блокируйте с моря входы в гавань.

Можно утопить подводную лодку тут же, у причала, — с помощью авиации, но надо обязательно допросить Цвишена перед казнью. С применением средств третьей степени!

Надеюсь, штурмбаннфюрер заставит фон Цвишена быть еще более разговорчивым, чем он был со мной. Не правда ли, вы заставите, штурмбаннфюрер?

Клятвенно, пред лицом смерти, подтверждаю правильность изложенных фактов! Все офицеры на нашей подводной лодке — изменники! Главный изменник — фон Цвишен! Со стенографической точностью я привел его высказывания о фюрере, которого он называл при мне Гитлером и Адольфом. Он не собирается выполнить приказ о секретном архиве. Кроме того, у него есть родственники в Америке.

Сейчас спрячу пленку в футляр.

Мой связной возьмет его, когда лодка ошвартуется у пирса в Винете. Затем футляр будет доставлен вам обычным путем.

Все! Курт встал из-за стола.

Убейте их, мой фюрер!!!»

## 5. Старое секретное оружие

Двери за ним захлопнулись. Александр постоял на тротуаре, подняв голову, глубоко, с наслаждением дыша. Сентябрьское небо щемяще синее. Просто скулы сводит от этой синевы. Но все пьешь ее, пьешь — глоток за глотком!

И оно — небо — очень высокое. Конечно, не такое высокое, как бывает в мае или в июне. Тогда весь воздух — это небо! Город пронизан светом и словно бы взвешен в нем, парит над землей.

От просторной Невы уже тянет осенней прохладой.

Чувство у Александра такое, будто он выбрался наконец наверх из духоты подводной лодки.

Только что в управлении ему дали возможность прослушать запись «доноса из могилы».

— Разгадка тайны — награда храброму! — в приподнятом тоне сказал генерал.

Прослушивание длилось более часа. И это был нелегкий час.

— Не рано ли выписался из госпиталя? — Прощаясь, генерал с беспокойством заглянул молодому пограничнику в глаза.

— Нет, я здоров, товарищ генерал.

Но, выйдя из управления, Александр никак не мог «раздышаться». Голова гудела, как сталь обшивки под ударами пневматических чеканов.

Хотелось бы обменяться с Грибовым впечатлениями, но профессора дома нет — Александр звонил ему из управления.

Как же провести остаток дня?

Кино? Стадион?

Рывчун усиленно приглашал Александра на стадион.

— Мы, самбисты, — говорил он, — выступаем в девятнадцать двадцать. Я, знаешь, немного волнуюсь. На границе почему-то не волнуюсь, а тут волнуюсь. И вроде бы я спокойнее, когда ты рядом. Ты ведь везучий!

Александр усмехнулся. Везучий! Вот и шубинское прозвище

унаследовал. Смешно, конечно, но все же лестно.

Девятнадцать часов! Время еще есть.

Он проводил рассеянным взглядом чайку, которая пересекла Неву, почти касаясь поверхности воды крыльями. Похоже, будто нищий проворно проковылял на костылях...

Очень медленно, без цели, лейтенант двинулся вдоль набережной, погруженный в свои мысли.

Он думал о том, что отцы, даже мертвые, продолжают идти рядом с сыновьями, заботливо предостерегая их от всего плохого и поощряя на все хорошее. На плече своем почти физически ощущал сейчас тяжесть руки — сильной и доброй...

О! Был бы жив гвардии капитан-лейтенант, сколько бы порассказал ему сегодня Александр! Изменив своей теперешней солидной сдержанности. Снова превратившись в болтливого восторженного юнгу, который, рассказывая, нетерпеливо засматривал в лицо командиру, ожидая одобрения.

А гвардии капитан-лейтенант удивлялся бы, вставляя реплики или поощрительно кивал головой, широко улыбаясь.

«Так, значит, радист имперской канцелярии выходил в эфир?» — спросил бы он.

«Мы думаем так, товарищ гвардии капитан-лейтенант. В положенный час и на условленной волне...»

Над миром, содрогавшимся от последних залпов, печально звучала песенка гамбургских моряков: «Ауфвидерзеен, майне кляйне, ауфвидерзеен».

Ответа с моря не было...

А Третий райх уже трещал по всем швам. Стропила прогибались. Пол качался под ногами.

В этом месте рассказа гвардии капитан-лейтенант, наверно, немного посмеялся бы:

«Доктор-то, доктор! Сам себя, выходит, перехитрил?»

Пучеглазый, с оттопыренными ушами, доносчик выглядел в этой ситуации совсем как тот дурень из сказки, который рыдает на свадьбе и приплясывает на похоронах.

Его тревожило здоровье фюрера, когда тому осталось жить считанные часы.

Он разоблачал Цвишена в стремлении сторговаться с англичанами и американцами, но об этом мечтали и там, наверху: Геринг, Гиммлер, Дениц — все, кто готовился заменить Гитлера.

Да, доктор Гейнц оторвался от действительности. Слишком долго странствовал в потемках.

А за политическую отсталость полагалась пуля в затылок.

«Мертвый писал мертвому!» — глубокомысленно сказал бы Шубин.

Наверно, Гитлер уже не раз вытаскивал из ящика стола пистолет и задумчиво рассматривал его, примериваясь, как будет вкладывать в рот, столь много лгавший доверчивым немцам и всему миру.

И Гиммлер, отрываясь от мыслей о сделке с янки, осторожно трогал языком зуб, в дупле которого вместо пломбы была капсула с цианистым калием.

А если прищуриться, то можно даже различить очередь вдаль, торопливо выстраивавшуюся к виселице в Нюрнберге, — согбенные, дрожащие призраки бывшего могущества и беспредельного самомнения Третьего рейха.

Но всех опередил доносчик Гейнц.

Со скрученными назад руками, в разорванном кителе, он сделал несколько последних шагов по узкой, сужавшейся к носу палубе. Сзади Венцель и Курт волокли балластину.

Выстрел в затылок!

«Следующий!» — крикнули за тысячи миль от шхер.

И Гитлер поднялся на дрожащих ногах со стула в своем бункере под развалинами Берлина...

Кое-кто из позднейших его апологетов пытается нахлобучить ему на голову терновый венок. Гитлер, мол, как герой, решил погибнуть под развалинами.

«Нет, — сказал бы Шубин, широко улыбаясь, — просто не хватило билетов на обратный проезд!»

Под монотонное, сводящее с ума повторение начальных тактов «Ауфвидерзеен» — море по-прежнему не откликалось! — завершился распад государства и распад личности.

25 апреля был заключен в бункере мистический, предсмертный брак Гитлера с Евой Браун.

В тот же день на севере Италии партизаны перехватили его друга и соперника Муссолини. Гитлер успел еще зябко поежиться, узнав из радиоперехвата, что «преемника цезарей» после расстрела подвесили вниз головой на виселице.

А Третий рейх продолжал нестись стремглав за «Летучим Голландцем» — к своей неизбежной гибели, на камни, прямо на камни!

Да, картина, косо висевшая в кают-компании «Летучего Голландца»,



имела многозначительный — пророческий смысл!

Гитлер продолжал ждать. Наступило утро 30 апреля.

До середины дня он не выходил из радиорубки. Цвишен не откликнулся. И тогда он нехотя вложил в рот дуло пистолета...

Александр постоял в нерешительности у решетки Летнего сада.

Не одна девушка, вероятно, с сочувствием оглянулась на него, вбегая в ворота. И кто эта гордячка бессовестная? Заставляет ждать такого парня, задумчивого и скромного, вдобавок с рукой на перевязи!

Он прикинул: посидеть на скамеечке или погулять по кружевным золотым аллеям? Но как-то не хотелось расставаться с Невой. Она текла в море, очень массивная, плотная, облитая солнечным светом. И мысли Александра плавно и неторопливо текли — рядом с нею. Им было по пути.

В Балтийском море, на какой-либо из его многочисленных банок, хотел Шубин воздвигнуть остров, искусственный, сложенный из уже бесполезных военных кораблей. (Виктория Павловна рассказала о «железном острове» Александру.)

Это не сбылось. Пока не сбылось.

Зато близ острова Осмуссар, западнее Таллина, притоплен и старательно обвехован немецкий линкор. Это корабль-мишень.

Днем и ночью вьются над ним наши самолеты. Иногда на дистанцию огня подходят военные корабли, чтобы отработать задачу — практические артиллерийские стрельбы. А порой стремглав несутся к нему торпеды с белыми хохолками пены.

Корабль не потонет. Он посажен прочно на грунт.

Находясь на практике, Александр не раз проходил мимо этого линкора. Сначала на горизонте возникало пятно — как черный пиратский парус. Потом оно превращалось в бесформенную глыбу металла. Контуры корабля уже нельзя угадать. Не зря же по нему тренируются из года в год.

И всегда при этом вспоминался «Летучий Голландец».

Именно он должен был находиться здесь. Не годы, а столетия чернеть бы ему посреди моря неподвижным черным пугалом! И чтобы вешки, оцепив его, предостерегали: «К зюйду от меня опасность!», «К норду от меня опасность!», «К весту от меня...»

Но, как обычно, он подставил вместо себя другой корабль и ушел. Отлежался в своей Винете и ушел.

А «донос из могилы» остался не востребованным. Видимо, подручный Гейнца («связной»), какой-нибудь унтер-офицер из команды подлодки, по

прибытии в Винету незаметно вынес футляр и спрятал в условленном месте. Но за футляром не пришли.

Кто должен был прийти? Быть может, монтер или механик из «службы Винеты»?

Пограничники обнаружили на дне грота четыре трупа в комбинезонах. Вот, вероятно, объяснение того, почему цепочка оборвалась.

И еще в одной своей догадке прав профессор Грибов.

Соглашения между военными монополистами возможны лишь на короткий срок. Длительный, прочный союз исключен. Он просто вне природы капитализма. Алчность рано или поздно перевесит здравый смысл. Ибо в капиталистическом мире во главе всего — алчность, но не здравый смысл.

Несомненно, за секретным архивом охотились две разведки. Бесшумный кросс через границу! Финиш — Винета!

Мальтиец и альбинос шли по заданию американской разведки. Значит, прыгун-аквалангист был посланцем конкурирующей стороны — западногерманских военных монополистов. (Существовали и частные разведки — при крупных концернах.)

Больше всего боялись того, что секретный архив Гитлера попадет в руки русских. Ведь НАТО существовало только три года и Западная Германия еще не была принята в число его членов. Обнародование некоторых документов могло помешать сложной политической игре.

Но мало того. Западногерманские капиталисты хотели перебежать дорогу своим американским покровителям. Удалось ли это?

Американцы стремились овладеть секретными планами, чтобы их парализовать. Немцы, наоборот, — чтобы реализовать.

Надо думать, пройдоха Цвишен обошел и тех и других.

В Винете-три не было, и не могло быть, ни «Летучего Голландца», ни «кофров фюрера».

Последняя радиограмма Цвишена, в которой он сообщал, что положит подлодку на дно Винеты, а сам будет пробиваться на запад посуху, была лишь враньем, очередной его дезинформацией. Цвишен остался верен себе.

Уйдя в Винету-пять, выждав там, осмотревшись, он выбрал западногерманских хозяев. Патриотические чувства при этом, конечно, не играли роли. (Цвишен говорил Гейнцу: «Уби бене...»)

Просто западногерманская марка наконец поднялась в цене. Цвишен предпочел марки долларам.

Грибов мог даже более или менее точно установить срок, когда состоялась сделка. Что-нибудь зимой 1951-1952 года.

Ведь летом 1952 года западногерманские диверсанты не возобновляли своих попыток проникнуть в Винету. Им это было ни к чему. По-видимому, архив Гитлера находился уже за семью замками, в надежных стальных сейфах.

Но ни немцы, ни их американские конкуренты ничего не знали о «доносе из могилы», о футляре, в котором содержалась как бы краткая инвентарная опись всего, что было в «кофрах фюрера».

Да, секретное оружие... Именно это — наиболее точное определение того, что было в «кофрах фюрера»: старое секретное оружие! Ибо с древнейших времен яд и стилет, диверсия, шпионаж, клевета и провокации всех видов неизменно дополняют любое новое секретное оружие.

Александр потрянул головой и огляделся. Он стоял на Дворцовой набережной.

За спиной его раздались оживленные голоса. Это гурьба экскурсантов, весело переговариваясь, входила в подъезд Эрмитажа.

Александр был в Эрмитаже очень давно, еще до войны, вместе со своей школой. От музея остались самые смутные воспоминания: что-то вроде огромного облака, в которое заходит солнце, — много багрянца и золота.

Багрянец и золото? Очень хорошо! Ему нужна разрядка.

Александр вошел в Эрмитаж.

Откуда-то сверху доносился голос, странно знакомый. Он как бы притягивал Александра к себе.

Впереди экскурсии шла девушка-экскурсовод, невысокого роста, худенькая, но хорошо сложенная. Она двигалась очень быстро.

Наконец, остановившись у черепахового столика, на диво инкрустированного, простроченного насквозь золотой проволокой, девушка обернулась к Александру, и он узнал ее. Правильно! Это Люда, пожелавшая ему удачи.

Она объясняла звучным голосом, выразительно жестикулируя маленькими руками.

С удивлением и гордостью узнал Александр, что Эрмитаж обладает самым большим в мире собранием картин Рембрандта — двадцатью пятью полотнами! В Ленинград приезжают искусствоведы даже из Голландии, чтобы изучать картины своего земляка!

А эта изумрудно-зеленая малахитовая ваза — изделие уральских умельцев, кропотливо подбиривших и наклеивавших кусочки малахита

один к одному, чтобы получить желаемый узор!

Да, труд! Самоотверженный, во имя искусства, стало быть, для радости и счастья многих поколений людей!

Смотрите-ка, чудо XVIII века — гобелен! Сколько усилий вкладывалось в него! Лучший мастер мог вы ткать за год не более одного метра такого ковра. В течение своей жизни он создавал всего лишь один-два гобелена.

Но ведь труд человеческий и война несовместимы, они противоречат друг другу! Чудовищная бессмыслица разрушений, связанных с войной, стала особенно ясна Александру в Эрмитаже.

Как! Трудиться всю жизнь, недосыпать ночей, постепенно слепнуть над своей работой, создать наконец шедевр — сгусток солнечного света, и всего лишь для того, чтобы это в какую-то долю секунды превратилось в пепел?..

А девушка тем временем рассказывала о блокаде, о том, как уберегли сокровища Эрмитажа от немецко-фашистских бомб и снарядов.

Многое было заблаговременно эвакуировано в глубь страны. Под произведения искусства занимали целые составы, хотя каждый вагон был на счету. А то, что не успели вывезти из города, укрыли в его подвалах.

И тут Люда увидела Александра, который слушал ее с таким же вниманием, как и остальные.

Кровь хлынула девушке в лицо, горячей волной залила шею, руки — она покраснела так, как могут краснеть только очень светлые блондинки, вспыхнула вся, будто сноп соломы на ветру.

Александр смущенно кашлянул. Еще подумает, что он явился в музей ради нее!

А она, верно, так и подумала, потому что ее глаза засияли еще ярче — просто заискрились, как две звездочки.

Когда экскурсия закончилась, Александр подошел к девушке.

— Здравия желаю, — сказал он несколько стесненно и потому громче, чем следовало бы. — Вот где, стало быть, вы обосновались! В Эрмитаже.

Они вышли на широкую мраморную лестницу.

— У вас еще есть экскурсии?

— Нет. Я закончила работу.

— Можно, я немного провожу вас?

— Хорошо. Только возьму плащ. Я быстро.

Александр в ожидании облокотился на перила лестницы.

Это была высокая, красивая лестница. Когда-то она называлась посольской, потому что в дни «высочайших» приемов по ее мраморным

ступеням неторопливо поднимались и спускались иностранные дипломаты, сверкая пластронами манишек или золотым шитьем мундиров. Сейчас по лестнице гурьбой сбегали экскурсанты.

Но вот на верхней площадке показалась Люда. Она действительно оделась быстро, но спускалась не спеша. Плащ был темно-зеленый и очень шел ей. Волосы были старательно причесаны.

Спускаясь, она неотрывно смотрела на Александра. Он даже испугался, что она споткнется и упадет, и шагнул к ней навстречу.

Послышался задорный перестук каблучков. Из боковой двери набежала стайка девушек. Щебеча: «Людочка-Людочек, Людочка-Людочек!», они обступили, завертели его спутницу, будто прихорашивая, показывая Александру со всех сторон. И каждая лукаво-кокетливо, снизу вверх, посматривала на высокого моряка.

Фр-р! И разноцветная стайка умчалась так же внезапно, как появилась. Девушка выглядела немного смущенной.

Вообще-то Александр не был силен по части проницательности. Но тут на него снизошло нечто вроде вдохновения.

Он понял: девушку впервые в ее жизни поджидает после работы молодой человек, и подружки рады за нее.

Они, так же рядом, чинно вышли из Эрмитажа.

И остановились, увидев как бы отражение его багрянца и золота на противоположном берегу Невы. Силуэт города был окрашен в красные, бледно-коричневые и фиолетовые тона, резко выделяясь на фоне низких желтых облаков.

Люда, вероятно, сравнила бы город со сказочной птицей Феникс, которая, в ярком оперении, поднимается из тлеющих углей. Но Александр был моряк. Ему представилось, что это эскадра. Строем кильватера она проходит перед ним. Он узнавал отдельные «корабли» по их характерным контурам, по «мачтам»: шпилью Петропавловской крепости, башенкам мечети, ростральным колоннам у Военно-Морского музея. Ленинград медленно плыл вниз по реке — на восток.

Александр перевел дыхание.

— Тициана бы сюда, — пробормотал он. — Тициан бы это, пожалуй, написал.

Люда порывисто обернулась к своему спутнику.

— Послушайте! — сказала она. — Это странно. Мне кажется, мы уже шли так. Нева, по-моему, тоже была.

Александр наморщил лоб.

— Да, что-то в этом роде, — неуверенно согласился он, потом добавил бодро: — Но это бывает, знаете ли! Рефракция памяти! Психологам известны подобные случаи...

— Ах, психологам уже известны, — разочарованно протянула девушка.

Они миновали Дворцовый мост.

— Нет, мы где-то встречались, — настойчиво сказала Люда. — Еще до театра. Если бы я верила в метампсихоз... Вы не можете меня вспомнить?

Александр покачал головой.

— Обязательно постараюсь, — пообещал он. — Мне бы почаще встречаться с вами для этого. Раз в год маловато, вы не находите?

— Мы виделись еще на площадке трамвая, — с мягким укором сказала Люда. — Вы уже забыли?

— Как я могу это забыть? Вы тогда пожелали мне удачи!

— И помогло?

— Да. Большое спасибо.

— А в чем вы добились удачи?

— О!.. В спортивных соревнованиях! Я подводный пловец.

Люда помолчала.

— Мне, значит, нельзя знать. Я не буду. Но у вас рука на перевязи. Очень болит?

— Чепуха. Ударился о стенку бассейна во время прыжка... Нет, правда, Людочка, у вас легкая рука!

Молодые люди продолжали медленно идти вдоль Невы.

Медный всадник не обратил на них никакого внимания. Он, по обыкновению, был занят тем, что, сидя на коне, хозяйским жестом простирал над площадью руку и сосредоточенно смотрел вверх голов проходящих мимо парочек.

— Сегодня как-то странно на душе, — признался Александр.

— Плохое настроение?

— Наоборот, хорошее. Но не с кем было разделить его.

Он невольно выделил слово «было».

— Я понимаю, — торопливо сказала Люда. — Если поделишься с кем-нибудь горем, то уменьшаешь его наполовину. А поделишься радостью — увеличиваешь ее вдвое.

— Вы умная, — пробормотал Александр благодарно. — Вы очень правильно понимаете все. Вы понимаете меня с полуслова.

— Умная? А я не знаю, умная ли я. Разве тот, кто прочел много книг,

умный? Но я провела блокаду в Ленинграде.

— О! Значит, понимаете, что такое жизнь.

Он сказал это — и замолчал.

Странная мысль пришла ему в голову. Он подумал, что есть сокровенный, даже Грибовым не понятый смысл условного сигнала «Ауфвидерзеен», — Виктория Павловна называла его лейтмотивом «Летучего Голландца».

«До свиданья! До свиданья! — повторяли Цвишен и его команда, уходя в туман или на дно. — Мы еще встретимся с вами. Мы вернемся!»

Но нельзя было позволить им вернуться!

Никогда не должен всплыть этот корабль-призрак, предвещающий смерть множеству людей, на топах своих мачт несущий ужас и безумие, подобные бледным колеблющимся огням святого Эльма!

Девушка подняла на Александра синие глаза.

— Вы стали серьезный, — сказала она. — Вспомнили ту войну и подумали о новой?

— Это удивительно! Вы понимаете меня, даже когда я молчу!

Александр был так поглощен своей спутницей, что не заметил Грибова.

Тот стоял на противоположном тротуаре, опираясь на палочку.

Едва закончилась прокладка курса, как сразу появилась и палочка. Но Грибов держал ее неизменно в левой руке, чтобы правая была свободна для отдачи приветствий.

До него донеслось:

— Сегодня не могу. Я не предупредила дома.

— А завтра? Хорошо бы нам с утра на Кировские острова! Я в отпуску.

Грибов стоял и долго смотрел им вслед.

Двое медленно шли вдоль Невы навстречу закату. А тучи на западе сдвигались и раздвигались, меняя очертания. Багрянец постепенно выцветал. В разрывах между тучами все чаще проглядывало чистое изумрудно-зеленое небо — признак того, что завтра погода будет хорошей.

## От автора

Автор считает нужным напомнить особо придирчивым читателям, что книга эта — роман, и отнюдь не документальный.

Поэтому здесь, как и в любом романе, вымысел тесно переплетен с фактами. Автор рисовал «Летучего Голландца», вымышленную им подводную лодку «для секретных поручений», как некое обобщение той разносторонней, хитроумно замаскированной диверсионной деятельности, которую вели и продолжают вести против мира враги его, организаторы войн.

В заключение автор выражает глубокую благодарность военным морякам и пограничникам, которые помогли ему советами во время работы над этим романом.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

notes



**1**

*Мателот* — впереди идущий, прокладывающий путь корабль.

Восточных.

**3**

Кабельтов — 185,2 метра.

4

Уборную.

Мощность моторов измеряется в лошадиных силах; в каждом моторе 1500 л. с.

Один из типов советских торпедных катеров, которые действовали на Балтике во время Великой Отечественной войны; скорость кораблей измеряется в узлах; узел — одна морская миля в час.

Ныне остров Мощный.

ОВР — охрана водного района.



БДБ — быстроходная десантная баржа.

**10**

Катера береговой обороны.

**11**

Командный пункт.

*Транец* — задняя кормовая стенка катера.

**13**

То есть буква «с» — означает: «стоп!»

Верхушка шеста.

Норд — север; зюйд — юг; вест — запад; ост — восток.

Маленький остров на полпути между Лавенсари и Кронштадтом.



«До свиданья, моя крошка, до свиданья!» (нем.)

Разница в углублении носа и кормы корабля.

Запрещено! (нем.)

Тихоокеанский флот.

Старший лейтенант.

Строй кораблей в походе.

Так шутливо прозвали штурмовиков из-за их характерного, как бы горбатого фюзеляжа.

Летучий Голландец! (англ.)



Моряк (*англ.*)

Я моряк! Ты и я — моряки, товарищи! *(англ.)*

Неприкосновенный запас.

«Тебя, бога, хвалим» (*лат.*) — молитва.

Подмытые в паводок стволы деревьев.

Командующий подводным флотом фашистской Германии.

Еды! (нем.)

Как тебя зовут, малыш? *(нем.)*



Шутливое прозвище моряков; «полундра» означает: «берегись, опасность!»

Тише, мамочка! Они здесь! *(нем.)*

*Урзель* — Урсула, женское имя.

Краснознаменный Балтийский флот.

«К золотому якорю» (нем.)

Все проходит, все проходит мимо (*нем.*)

Сначала падет фюрер, потом партия (нем.)

Большой бинокль на подставке.



Система обнаружения подводных лодок.

Молчание! (*лат.*)

Последние строчки тщательно зачеркнуты, почти залиты чернилами. Лишь посмотрев бумагу на свет, можно различить одно сохранившееся слово — «вполз».

Пл. Мира.

*Вест* — ветер, дующий с запада.

Так разводят на ринге сцепившихся боксеров.

Странствующий мусульманский монах.

Английский адмирал.



Повторен.

Подсматривающий (нем.)

Фридрих II.

Условный сигнал к началу контрреволюционного мятежа в Испании.

В битве при Трафальгаре Нельсон получил приказ, который не хотел выполнить. Приложив подзорную трубу к выбитому глазу, он сказал: «Не вижу сигнала! Продолжайте тот же маневр!»

Где хорошо, там отечество (*лат.*)

Прозвище Гимmlера.

Вспомогательные корабли, снабжавшие горючим, боезапасом и продовольствием подводные лодки, которые подолгу находились на позиции в океане.



Мартин Борман, начальник партийной канцелярии, неотлучно находившийся при Гитлере.

Имеются в виду, вероятно, Адольф Хойзингер и Адольф Эйхман.